

# Н О В Ы Й М И Р

## К Н И Г А Д В Е Н А Д Ц А Т А Я

### СОДЕРЖАНИЕ

**РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ:**

ЛЕВ НИТОБУРГ  
МИХ. ПРИШВИН  
АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ  
СЕРГЕЙ МАРКОВ  
АЛ. ТОЛСТОЙ  
И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ

**СТИХИ:**

Э. БАГРИЦКИЙ  
ВСЕВ. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  
МИХ. ГЕРАСИМОВ  
НИК. ЗАРУДИН

**ЛЮДИ И ФАКТЫ:**

С. БОРИСОВ  
МАКС ЗИНГЕР  
А. ШЕСТАКОВ  
Б. Ю. АЙХЕНВАЛЬД

**ЗА РУБЕЖОМ:**

OUTSIDER  
С. ГАЛЬПЕРИН  
Л. НИКУЛИН

**ИЗ ПРОШЛОГО:**

ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ

**ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:**

Н. ЗАМОШКИН  
И. ПОСТУПАЛЬСКИЙ  
АРК. ГЛАГОЛЕВ  
К. ЛОКС  
Ю. ДАНИЛИН

**КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:**

С. ПАКЕНТРЕЙГЕР, АРК. ГЛАГОЛЕВ, К. ЛОКС, Р. РОШ, В. ГОЛЬЦЕВ, Г. САНДОМИРСКИЙ.

М О С К В А  
4 . 0 . 2 . 0

# Н О В Ы Е М И Н У Т Ы

## V. Литература и современность:

СТАТЬИ: И. БЕСПАЛОВА, Н. БОГОСЛАВСКОГО, А. ВИНОГРАДОВА, Д. ГОРБОВА, ВИКТОРА ГОЛЬЦЕВА, Н. ЗАМОШКИНА, М. ЗЕНКЕВИЧА, Евг. ЛАННА, К. ЛОКСА, П. ЛЕБЕДЕВА-ПОЛЯНСКОГО, А. ЛЕЖНЕВА, А. В. ЛУНАЧАРСКОГО, С. ПАКЕНТРЕЙГЕРА, Б. ПЕСИСА, И. ПОСТУПАЛЬСКОГО, В. ПЕРЕВЕРЗЕВА, И. СЕЛЬВИНСКОГО, Ник. СМИРНОВА, Я. ФРИДА, Як. ЧЕРНЯКА и др.

## VI. Статьи об искусстве (с иллюстрациями):

А. БАКУШИНСКОГО, Е. БРАУДО, Н. ВОЛКОВА, П. МАРКОВА, Ф. РОГИНСКОЙ, Б. ТЕРНОВЦА, А. ФЕДОРОВА-ДАВЫДОВА и др.

## VII. Политика, история, быт, общественная жизнь:

СТАТЬИ И ОЧЕРКИ: А. АГРАНОВСКОГО, АДАЛИС, Бор. АНИБАЛА, Н. А. БАЙКОВА, В. БОНЧ-БРУЕВИЧА, В. ВАСИЛЬЕВА, А. ГАРРИ, Г. ГАУЗНЕР, А. ЕНУКИДЗЕ, А. ЗОРИЧА, М. КАЛИНИНА, Е. КРИВОШЕИНОЙ, А. КИСЕЛЕВА, П. КОЗЛОВА, Д. КРЕПТЮКОВА, Б. КУШНЕРА, Н. МЕЩЕРЯКОВА, В. НЕВСКОГО, М. ПРИШВИНА, Г. РЫКЛИНА, В. РЯХОВСКОГО, М. САВЕЛЬЕВА, В. И. СОЛОВЬЕВА, А. СМИРНОВА-КУТАЧЕСКОГО, А. СТАРЧАКОВА, Н. ШПАНОВА, П. Е. ШЕГОЛЕВА и др.

## VIII. Литературный архив

(Историко-литературные материалы и переписка).

## IX. Наука и техника

(статьи о новейших достижениях науки и техники).

## X. Книжное обозрение

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ.

ПОДПИСНАЯ  
ЦЕНА на **1930** год:

12 мес.	9 мес.	6 мес.	3 мес.	1 мес.
10 р.	8 р.	5 р. 50 к.	3 р.	1 р. 10 к.

ЦЕНА отдельной книги в розничной продаже — 1 р. 40 к.

**ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:**

1) Главной Конторой „Известия ДНН“, 2) всеми отд-ми Главной Конторы на местах, 3) почтовыми конторами, 4) письмомоскани и 5) контрагентами по распространению периодической печати.

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

Д В Е Н А Д Ц А Т А Я

Д Е К А Б Р Ь

---

М О С К В А

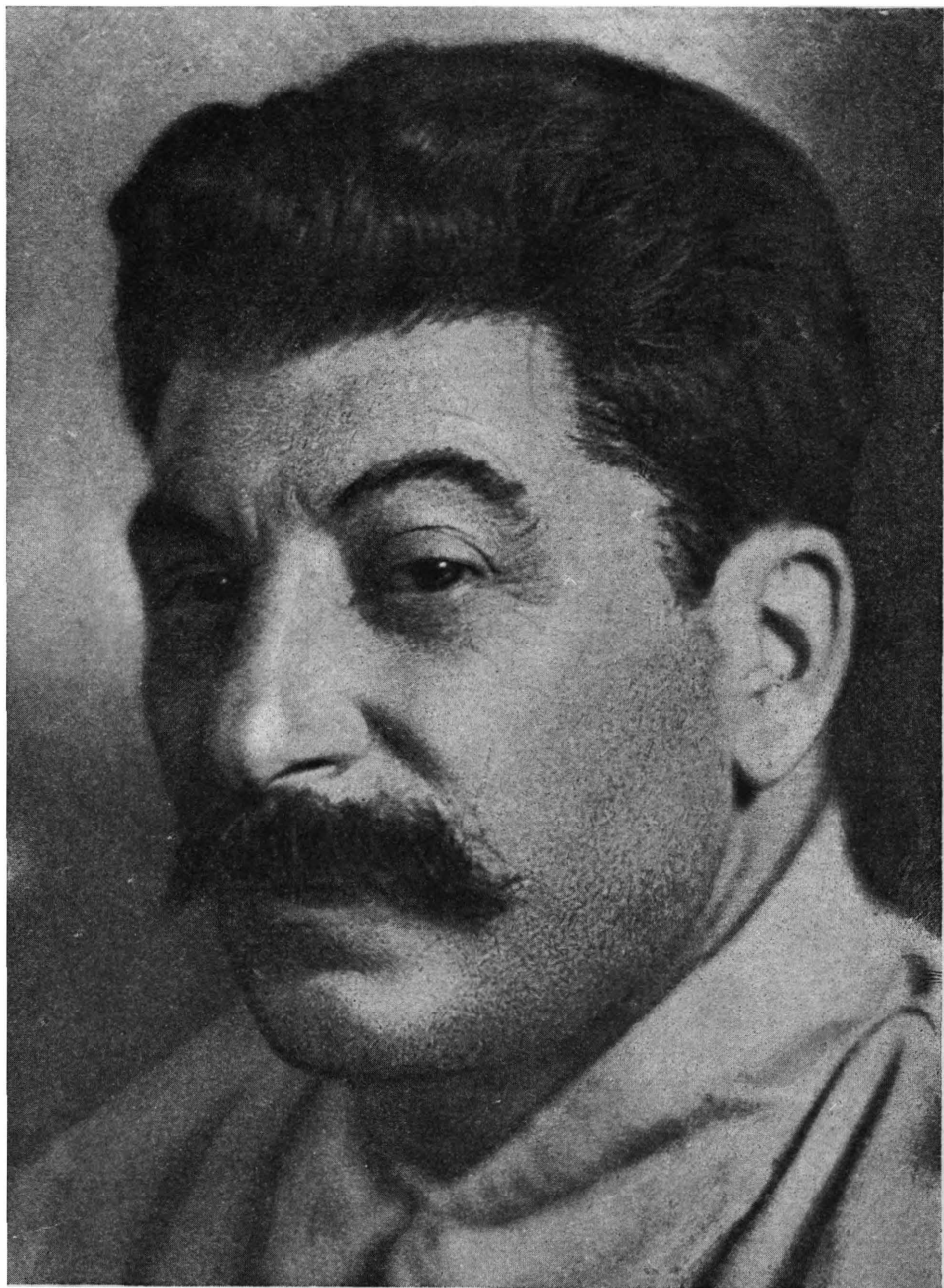
1 • 9 • 2 • 9

Москва, Главлит А 53.866.

СТАТ — формат Б/5

---

Гип. им. тов. И. И. Скворцова-Степанова, «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», Москва.



Иосиф Виссарионович  
СТАЛИН  
(к 50-летию со дня рождения)



## СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Э. БАГРИЦКИЙ.—Стихи о себе . . . . .	5
2. Лев НИТОБУРГ.—Простодушие Турсуна Фузайлова, <i>сентиментальная проза, окончание</i> . . . . .	8
3. Мих. ПРИШВИН.—Гибель биолога Давыдова и народного учителя Автономова 5 сентября 1929 г. на реке Сулоти, <i>рассказ, с иллюстрациями</i> . . . . .	47
4. Арт. ВЕСЕЛЫЙ.—Домьслы. Сад . . . . .	69
5. Сергей МАРКОВ.—Летающий куршак, <i>рассказ</i> . . . . .	71
6. Мих. ГЕРАСИМОВ.—Стихотворение . . . . .	96
7. Всев. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.—Слова, <i>стихотворение</i> . . . . .	97
8. Ал. ТОЛСТОЙ.—Петр Первый, <i>повесть, продолжение</i> . . . . .	98
9. И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ.—Тайфун, <i>рассказ</i> . . . . .	115
10. Ник. ЗАРУДИН.—В комнатах лесных, <i>стихотворение</i> . . . . .	122

### ЛЮДИ И ФАКТЫ.

11. С. БОРИСОВ.—По Донецкому бассейну, <i>путевые очерки</i> . . . . .	124
12. Макс ЗИНГЕР.—Красавец Енисей, <i>очерк, с иллюстр.</i> . . . . .	134
13. А. ШЕСТАКОВ.—«Крестоносцы» ЦЧО . . . . .	148
14. Б. Ю. АЙХЕНВАЛЬД.—Образы Алтая . . . . .	154

### ЗА РУБЕЖОМ.

15. OUTSIDER.—К вопросу об англо-американском соперничестве . . . . .	173
16. С. ГАЛЬПЕРИН.—По всему свету, <i>очерки международной политики</i> . . . . .	179
17. Л. НИКУЛИН.—Лето в Испании . . . . .	193

### ИЗ ПРОШЛОГО.

18. Вяч. ПОЛОНСКИЙ.—Новые материалы для биографии Герцена и Огарева . . . . .	208
---	-----

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО.

19. Н. ЗАМОШКИН.—Писатель-универсалист. Маризэтта Шагинян . . . . .	217
20. И. ПОСТУПАЛЬСКИЙ.—О первом томе В. Хлебникова . . . . .	237

21. Арк. ГЛАГОЛЕВ.—Социальный смысл творчества Сухово-Кобылина . . . . .	242
22. К. ЛОКС.—Рабле . . . . .	251
23. Ю. ДАНИЛИН.—Смеющийся Бальзак . . . . .	255

## КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

С. ПАКЕНТРЕЙГЕР.—Артем Веселый «Пирующая весна» . . . . .	258
Арк. ГЛАГОЛЕВ.—Пав. Логинов-Лесняк «Голубой дым» . . . . .	260
К. ЛОКС.—Дмитрий Петровский. . . . .	261
Р. РОШ.—П. Павленко «Азиатские рассказы» . . . . .	261
В. ГОЛЬЦЕВ.—П. Е. Щеголев «Книга о Лермонтове» . . . . .	262
Г. САНДОМИРСКИЙ.—Барон Алексей Будберг «Дневник бело-гвардейца» . . . . .	264
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» за 1929 год . . . . .	265
КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ НА ОТЗЫВ . . . . .	271



# Стихи о себе

Э. БАГРИЦКИЙ

І Я

Хоть бы потому, что потрясен ветрами  
Мой дом от половиц до потолка.  
И старая сосна трет по оконной раме  
Куском селедочного костяка;  
И глохнет самовар, и запевают вещи,  
И женщиной пропахла тишина,  
И над кроватью кружится и плещет  
Дымок ребяческого сна,  
Мне хочется шагнуть через порог знакомый  
В звероподобные кусты,  
Где ветер осени, шурша снопом соломы,  
Взрывает ржавые листья,  
Где дождь пронзительный (как леденеют щеки),  
Где гнойники на сваленных стволах,  
И ронжи скрежет, и отзыв далекий  
Гусиных стойбищ на лугах...  
И все болотное, ночное, колдовское,  
Проклятое—все лезет на меня:  
Кустом морошки, вкусом зверобоя,  
Дымком ночлежного огня,  
Мглой зыбунов, где не расслышишь шага...  
... И вдруг — ладонью по лицу —  
Реки расхристанная влага  
И в небе лебединый цуг...  
Хотя бы потому, что туловища сосен  
Стоят, как прадедов ряды,  
Хотя бы потому, что мне в ночах несносен  
Огонь олонецкой звезды.  
Мне хочется шагнуть через порог знакомый  
(С дороги беспризорная сосна!)  
В распахнутую дверь,  
В добротный запах дома,  
В дымок младенческого сна...

## II ОН В МОЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ

Во первых строках  
Моего письма  
Путь открывается  
Длинный, как тесьма...  
Вот, строки раскидывая,  
Лезет на меня  
Драконоподобная  
Морда коня...  
Вот скачет по равнине,  
Довольный собой,  
Молодой гидрограф —  
Читатель мой...  
Он опережает  
Овечий гурт,  
Его подстерегает  
Кара-курт,  
Его сопровождает  
Шакалий плач,—  
И пулю посылает  
Ему басмач...  
...Но скачет по равнине,  
Довольный собой,  
Молодой гидрограф—  
Читатель мой...  
Он тянет из кармана  
Сухой урюк,  
Он курит папиросы,  
Что я курю;  
Как я—он любопытен:  
В траве степей  
Выслеживает тропы  
Зверей и змей...  
Полдень придет—  
Он слезет с коня,  
Добрым словом  
Вспомнит меня;  
Сдвинет картуз  
И зевнет слегка,  
Книжку мою  
Возьмет из мешка;  
Прочтет стишок,  
Оторвет листок,  
Скинёт пояс—  
И под кусток...  
Чего ж мне надо!  
Мгновенье, стой!  
Да здравствует гидрограф—  
Читатель мой.

---

## III ТАК БУДЕТ

Чорт знает где,  
На станции ночной,  
Читатель мой,  
Ты встретишься со мной...  
Сутуловат,  
Обветрен,  
Запылен,  
А мне казалось,  
Что моложе он...  
И скажет он,  
Стряхая пыль травы:  
— А мне казалось,  
Что моложе вы!—  
Так, вытерев ладони о штаны,  
Встречаются работники страны...  
У коновязи  
Конь его храпит,  
За сотни верст  
Мой самовар кипит,—  
И этот вечер,  
Встреченный в пути,  
Нам с глазу на глаз  
Трудно провести...  
Рассядемся...  
Начнем табак курить...  
...Как невозможно  
Нам заговорить...  
Но вот по взгляду,  
По движенью рук  
Я в нем охотника  
Признаю вдруг—  
И я скажу:  
—Уже на реках лед,  
Как запоздал  
Утиный перелет.—  
И скажет он,  
Не подымая глаз:  
— Нет времени  
Охотиться сейчас!—  
И замолчит...  
И только смутный взор  
Глухонемой продолжит разговор..  
Пока за дверью.  
Не затрубит конь,  
Пока из лампы  
Не уйдет огонь,  
Пока часы,  
Не скажут, как всегда:  
— Довольно бреда—  
Время для труда!—

# Простодушие Турсуна Фузайлова<sup>1)</sup>

Сентиментальная проза

ЛЕВ НИТОБУРГ

Окончание <sup>1)</sup>).

## 6. А р б ы

**Ч**ернь, черны в августе кавказские ночи!  
В густой ровной темноте смутно очерчивается большое здание бывшего кадетского корпуса, сады, белеет шоссе, оскалившееся кучами щебня.

Горы взрезали небо рваными зубцами и протягивают к городку косматые хребты и словно крадутся неслышной и тяжелой поступью.

Вдалеке, где шоссе впадает в город, рождается звук, неожиданный и тонкий, как вскрик новорожденного. Люди, идущие по шоссе, прислушиваются: звук не смолкает, он словно повис в душной черноте,—режущий, пронзительный,— и вот уже близится, и люди переглядываются, не видя друг друга, вслепую.

— Ну, да, горцы выезжают из города.

От этого сверлящего неотвязного звука у людей щемит в сердце и тревога шелестит шепотками:

— Неспроста!

— Уже узнали. Готовятся.

— Варджикидзе поторопился слишком...

Впереди, у окраины города— редкие фонари. Электричества нет даже в бывшем кадетском корпусе, — Съезд Народов заседал в полумраке, — рельсы трамвая позаросли травой, и делегаты возвращаются в город пешком. Керосиновый свет фонарей размывает ночь неглубокими желтоватыми лужами.

И вновь и вновь буравит тишину щемящий предупреждающий звук, и люди жмутся к краям дороги:

— Посторонитесь! Едут.

Торопливые затяжки вздувают робкое тление папирос, и тогда посреди шоссе становятся видны: скрипучее колесо арбы, мохнатые черные крылья бурки и за ней — на трясучем задке — безликие укутанные женщины.

<sup>1)</sup> См. «Новый Мир», кн. 11 с. г.

— Жен вывозят, детей.

— Варджикидзе — демагог.

— Горцы вернутся, и тогда...

— Варджикидзе...

«Дж-жи-кидз-зе» — шебуршит тишина, — «дж-жи-дз-зе»... И так же однозвучно журчит по камням, шумит в долине река. Ноги делегатов шаркают по шоссе, с всхлипывающим шурушанием вшлепываются в дорожную пыль.

Варджикидзе длинно и мерно шагает через кучи щебня. Рядом, — на голову ниже, — Турсун. Плечом к плечу Турсуна — молодой, быстрый, в бескозырке: не разобрать, юноша или девушка?

Арба, визжа, проезжает; за ней, как за предвестием беды, смыкаются шопоты:

— Варджикидзе не знает наших условий.

— Чем хуже, тем лучше!

Трое идущих у самого края молчат. Изредка каблук простучит по щебню — и смолкнет. Изредка вспыхнет навстречу искра под конской подковой — и погаснет.

Так вышло, само собой получилось, когда Варджикидзе окончил свою речь. В зале закаркали гортанные голоса переводчиков, и то один, то другой делегат в черкеске вскакивал со скамей, перебивал, спрашивал. Потом фракции съезда потихоньку разошлись по классам и дортуарам, заперлись, совещаясь. Лидеры озабоченно пробегали по коридору, постукивали в стеклянные двери, переговаривались, заключали соглашения, фракционные блоки.

Только в комнату большевистской фракции никто не стучал, в комнате долго молчали. Варджикидзе — товарищ Вассо — черкал карандашом, писал резолюцию. Парни со слободок сгрудились в углу и оттуда глядели озадаченно, беспокойно. Рабочие с завода и из железнодорожных мастерских тихо шептались.

А Турсун, — он ведь часто бормотал всякую чепуху, — Турсун закусил висячие свои черные усы и начал подсчитывать:

— Железнодорожники, заводская ячейка, автоброневого отряд, еще слобожане, еще, вероятно, ингуши. Еще?..

— Еще — все трудящиеся города, — сказал. товарищ Вассо и хлопнул Турсуна по плечу.

Да, это было: приехавший из Москвы комиссар, друг Ленина, подозвал Турсуна и Нерсеса и стал с ними обсуждать, даже почти спрашивать совета:

— На съезд попали ненастоящие представители, я не уверен, проведем ли резолюцию. Все равно — не отступим.

Он вырвал листок из блокнота, дал Нерсесу:

— Езжай в город, передай Вере Константиновне. И, — его голос сверкнул медью, — приведи отряд в боевую готовность.

Потом фракция прошла в коридор, вышла в зал. И вот теперь трое вместе, впереди, торопятся в город.

Где-то в булыжнике улиц возник перебивчатый цокот, — сухой, лаконичный, — и помягчел, перейдя на шоссе.

Рывки конского галопа взрывают ночь: два всадника промчались во весь опор, душный ветерок пахнул в лицо, взметнулась пыль — вязнет на зубах.

— Гонцы. В Назрань — ингушскую столицу.

— Они вернутся. На чьей стороне?

«...Дж-жи-дз-зе... восс-сс-стание... кидз-зе на рож-жон лез-зет». — волочатся, ползут за троими идущими впереди шепотки.

Услышала. Надвинула бескозырку, стиснула рот. Уж не вязнет, — скрипит пыль на зубах.

— Поумерами не завоюете доверия ограбленных народов, — так крикнул Ваджикидзе, и гулом ответили скамьи с'езда, — не сломите сопротивление казаков, баев, мулл! Надо теперь же дать землю! Завтра же!

Свист, возгласы, топот ног. Председатель с'езда Роман Львович трясет головой, осыпает перхоть на синюю косоворотку, осыпает в зал дребезжание звонка.

Тогда захлопала в ладоши, — одинокий хлопок, — и тогда же Роман Львович опять об'явил перерыв.

Из-за реки или нет, — со стороны вокзала или скорее всего со стороны слободки щелкают винтовочные орехи, и шелуха эхо скатывается с гор.

Так вышло, — в шелухе коридорного эхо, — сжала руки, словно орех раздавила, хрустнула пальцами:

— Как же, Роман Львович? Как же вы, фракция?

Нет, он вовсе не казак, председатель с'езда и председатель демократической фракции, вечный студент с больной грудью, — он просто старается быть об'ективным.

У него очень пестрая, очень трудная фракция, — в болоте все струи замедляются: девушка в бескозырке — левая эсерка, два адвоката — интернационалисты, и еще два офицера, и еще, — всех не запомнить, — а секретарем — Славик Ржепышевский, Роман Львович называет его анархистом-индивидуалистом.

Демократическая фракция вместе с большевиками — правительственная фракция, в ней все очень образованные осторожные люди, и она желает опираться на юсетин, ингушей, чеченцев, но в то же время и на казаков, — на всех.

— Так как же, Роман Львович, будем поддерживать резолюцию?

Студент не ответил. Тогда придвинулась, размахнула складчатой клетчатой юбкой, — от шотландского обмундирования такие остались, спросила в упор:

— Значит вы с большевиками не до конца?

В семнадцать лет это очень простой вопрос, — в семнадцать, когда никакой объективности, когда сразу после епархиального — бескозырка, солдатская шинель и накоротко стриженные волосы.

— А нет, — так прощайте!

Хлопнула дверью и в коридоре — Ржепышевскому:

— Ухожу. К большевикам «насовсем». А вы? Нет? Как же это? Что же это?

И медленно, — будто против воли, — идет к Турсуну:

— Вот, решила. К вам «насовсем».

Турсун жмет ей руку, он знал, что так будет, родственница Веры Константиновны будет с ним, но срывается ее голос:

— Там Славик... Я думала... Мы... ведь он ваш...

Турсун обещает поговорить со Славиком: что ж, он еще раз попробует, он охотно пойдет ей навстречу.

Да, прав был студент, когда говорил, что Нерсесу со Славиком не по пути. Но неужели же прав и Турсун? Неужели выстроили толстые книги вокруг Романа Львовича толстую стену, такую толстую, что потерял он свой путь, остался посередине, — ведь вот, воздержался, не голосовал, сорвал резолюцию, — неужели завязав в шепотках, в толпе?

Или, может быть, еще не потерял? Еще ждет перекрестка?

Стреляют.

Люди уже попривыкли: стреляют каждую ночь — то в казачьих хуторах, то на линии, то на окраинных улицах, то еще где-нибудь.

Но сегодня слишком уж часто сыплется с гор гулкая шелуха эхо. И почему же, почему так неотвратимо настойчиво скрипят арбы?

Ну да, тут знают старую горскую поговорку: «арба стонет перед развалом». Глупая примета!

Понемногу чернота ночи разжижается белесым настоем, восходит луна, и у людей на шоссе появляются тени.

У девушки и Турсуна одна тень — четвероногая.

— Что же Славик? Куда же Славик?

Турсун держит ее руку в своей. Турсуну — под сорок, и его губы никто не целовал, кроме Анжелики Ромуальдовны. Славика — восемнадцать, но губы Турсунова сына ужалены острыми уголками Тани Прицкер, уже опалены снегом шоссе, —

— когда надо было — во что бы то ни стало надо — наглотаться снегу, — как можно больше снегу, как можно глубже, — от серебряной трубы, — каракулем головы в сугроб, — Славика, сыну бывшего начальника ингушей, казаков, осетин и чеченцев, Славика, вору, нахлебнику доктора Прицкера.

Никто не ждет жестких Турсуновых губ — «ах, где же Славик, куда же Славик?» — но никто уже не сотрет горькую извилинку и на губах Ржепышевского вниз, к ямке на подбородке, — ведь не сумел же, не стер Нерсес рукой друга, рукой, растиравшей обмороженное его лицо.

Здесь. Полгода назад. На этом самом шоссе, где теперь бегучие тени, раздвоенные книзу, где напряженна тишина и визжат арбы...

(Всю ночь у окна фельетониста унывно и нежно посвистывала труба, и всю ночь снилась другая — серебряная — труба из ресторана, — где ни одного друга, — и скрипучие колеса арбы в родном городке.

О, этот звук, похожий на камышевую свирель пастушонка-осетина в белом войлочном лопухе и на визг мартовских котов! Эта сладостная вкрадчивость немазанного колеса, неотвратимый укор, скрежет стиснутых, — не от силы, от слабости стиснутых, — зубов, двусмысленный смешок ненаписанного фельетона!

О, если бы был в комнате живой огонь, — надежный рассудительный жар камина, печь, гудящая дровяным полыханием, — если бы швырнуть в топку клочья воспоминаний и следить за рыжим танцем пламени, пляшущего тризну по отошедшему, неотрывно следить за томительным затуханием боли!

Но огонь в комнате мертвый, — батарея парового отопления ни холодная, ни горячая, так себе, тепленькая, — и влажны, влажны от ночного насморочного пота руки фельетониста.)

... тени идущих по шоссе на окраине подле фонарей вырастают и стелются под ноги ковриками. А между двумя фонарями тени совсем исчезают, растворяются в сумраке, и без них люди кажутся странно легкими, освобожденными от тяготения к земле.

И уже ничем не смягчен конский галоп. Восемь копыт чеканят булыжник, и в цокот врывается торопливое позвякивание стремян. Нерсес наклоняется к Варджикидзе, натягивает повод

— Я — за вами, тут теперь безопасно.

Акцент Варджикидзе неожиданно приобретает звонкость французской фразы:

— Раз безопасно — поедет женщина. — И жест рукой, — да, галантный, почти рыцарский жест — бескозырке:

— Садитесь, товарищ.

Нерсес, — ремни через плечо, ремни двух уздечек в руках, ремнем натянуты голос и глаза:

— Если, товарищ Вассо, приказываете...

И девушке, — слегка ослабляет ремень, до полушопота:

— Славик тоже придет. Едем.

Удивительно неловкие у Турсуна руки, удивительно неуклюжие — никак не ухватить за талию, не подсадить девушки в седло.

Стихает топот. Варджикидзе закуривает, шагает длинно и мерно, говорит вскользь:

— Крепкая девушка, — да!

— Таких больше нет, такая — одна.

Товарищ Вассо останавливается, глядит поверх головы Фузайлова туда, где белесый лунный настой обтекает изломы вершин:



— «То, что проникло в сердце, кажется сердцу прекрасным», помнится, так сказал Саади? — потом Варджикидзе ускоряет шаг:

— Утром вызови ребят из ячеек: сбор, потом демонстрация... «кажется глазу прекрасным»... воззвание, вероятно, готово. Ночью расклеют... а у нее сердце больше лежит к этому мозгляку-анархисту.

— Он — мой сын.

— Твой сын? Та-ак... Поторопимся. Мне надо еще в штаб автоброневое.

Домишки вдоль улицы пресмыкаются трусливой ядовитой мелочью. Наглухо заперты ставни. Только из фигурных, — словно карточные тузы, — прорезей вытекает совиный немигающий свет: трефовый туз, пиковый, червонный.

Эту ночь город играет краплеными картами, режется «в очко», передергивает, — того и гляди подколлет кинжалом, зарежет финкой, полоснет винтовочной пулей: «Перебор! Четыре сбоку; товарищ Вассо, — ваших нет!»

Ну, это еще как сказать: завтра при дневном свете — другая игра, в открытую.

У входа на чугунный мост — часовой.

— Пароль?

— Назрань.

— Отзыв?

— Наган.

Подле дома с медным звонком прощаются. Тот же поверх головы Турсуна взгляд Варджикидзе — на горы, на луну.

— В такую ночь хорошо стихи писать.

Визгливо и недоверчиво откликается арба.

— До завтра.

Тишина. Редкие выстрелы. Душная, пыльная в августе кавказская ночь.

## 7. Перебежка

...В первые минуты кажется, будто у соседей до утра затянулась попойка: с громким хлопком вылетает из бутылки пробка, и через несколько мгновений звенит разбивающийся стакан.

В комнате, где раньше жил кучер Ржепышевских Мкртчянц, просыпается старая женщина. Покряхтывая, она встает, подходит к окну, прислушивается; придерживая рукой рубашку на дряблых плечах, поправляет лампадку.

Комната заставлена вещами, — шифоньер, сервант, софа, козетки, киот, портреты в тусклых рамах, — в ней едва можно повернуться. У отца Нерсеса никогда не было такой дорогой мебели.

Женщина привычным, чрезмерно плавным жестом приглаживает перед зеркалом волосы. Они побелели, — недавно с них разом стерлось накладное блестящее золото. Подбородок женщины провис жи-

ровым мехом, а на ногах ее вместо лаковых узких туфель — разношенные шлепанцы; при каждом шаге стоптанные задки ударяются о ее желтые пятки.

С улицы слышен шум. Стакан вдруг разбивается совсем рядом с оглушительным звоном, и тогда становится ясно, что город обстреливают.

Женщина бежит в кухню — будить сына. Славик остался на эту ночь в доме с чугунной решеткой, он заговорился с девушкой, родственницей Веры Константиновны, поздно было идти к Роману Львовичу. Все-таки он не захотел спать в кабинете, хотя Нерсес не ночевал у себя, — ему что-то надо было сделать в штабе автоброневом отряда; кабинет был свободен, — но Славик заупрямился, устроился в кухоньке кучера Мкртчянца:

Теперь он спит, уткнувшись головой в пуховый сугроб подушки. Над ним часы-ходики угрожающе свешивают ржавые гири. Руки Славика шевелятся во сне, скребут простыню.

Он никак не может проснуться, потом сразу вскакивает, протирает глаза:

— Что? Стреляют?! Неужто — восстание?!

Да, похоже на беду: за чугунной решеткой — гул, крики. Скачут всадники. Ревя сиреной, прогремел броневик.

Славик наскоро умывается. В уши, заложенные мыльной пеной, вонзается вопль:

— Батюшки, горим! Пожар.

С полотенцем на шее Славик пробегает двор, бежит за ворота.

Снаряд попал в дом купца первой гильдии Тер-Акопянца. Торговцы выволакивают из дыма шляпные коробки, ящики с конфетами, кипы тканей. Жильцы хлопчут около узлов, швейных машин, детских колясок.

Швейные машины! Почему-то Славiku кажется, что где-то шьют белье, — полотняная полоса пробегает под быстрой иголкой, опадает на пол, швея нажимает педали. Впрочем, он не успевает понять, почему ему пришло в голову это воспоминание.

Люди глазают на пожар, громоздятся на скамейки, чтобы лучше было видно. Никто не пытается тушить огня.

Славик тоже лезет на скамейку, он не знает, что делать, когда восстание, — стоит беспомощно, растерянно смотрит. Кто-то дергает его полотенце: на девушке в бескозырке сегодня не шотландская юбка, а большие солдатские штаны, придающие ей деловой вид. Она-то уж наверное знает, что полагается делать, когда восстание!

— Казаки, — говорит девушка, и маленький нос ее морщится очень серьезно. — Казаки наступают.

Сзади, из-за бескозырки вопросительно смотрят глаза Турсуна. Ого, Турсун в сапогах, на поясе у него револьвер! О чем он хочет спросить? Ведь остался же Славик ночевать в доме с медным звонком, не пошел к Роману Львовичу. Ну, давай руку, идем!

Снаряды пролетают над городом и ложатся где-то за рекой. Итти совсем не страшно. По улице шмыгают мальчишки. Какая-то женщина ведет бычка на веревке. Бычок упирается, и женщина ругает его обидными словами. Потом Славику чудится, — он не выспался, плохо работает голова, — что часы-ходики над кроватью тикают невероятно громко.

— Пулемет, — объясняет Турсун.

Значит не часы! Погоди, погоди, как это было? Гимназистом Славик часто прикладывал школьную линейку к забору и бежал. Упругое дерево линейки щелкало о перекладины забора — такой же вот ровный дробный перебор.

Веселое щелканье. Так вот он какой, пулемет! Весело, занятно сегодня утром на улице!

Люди доходят до сквера и останавливаются, не идут дальше. Они налипли на лужайку густо, как мухи на клейкий лист. Девушка в штанах и Славик протискиваются вперед: на сухой пожухлой августовской траве лежит человек, неумело подвернув шею. Девушка удивлена: ну можно ли так неловко улечься?

Первый убитый.

— Вот оно что!

Турсун торопит:

— В штаб автоброневое. Бегом!

Улицы стали пустынными. Только пыль несется вперед, все вперед. Ветер подгоняет бегущих. Скоро перекресток, — уже видна водоразборная будка.

На углу пыль вздымается, крутится маленьким смерчем. В нем, бесцельно и бессмысленно спеша, вертятся соринки, бумажки, обрывки газет. И сразу отчетливым, близким становится татаканье пулемета.

— Обстреливают площадь.

Вот тебе и раз! Куда же делось веселье? Пулемет строчит совершенно однозвучно. Что-то нечеловеческое — гораздо страшнее орудийных выстрелов — в его абсолютно ровном машинном стрекотании.

Ах, да! — Когда надо было хоронить генерала, — умер-таки старик, не поехал на север, — Анжелика Ромуальдовна что-то шила для него, белая полотняная полоса сбегала из-под быстрой иглы. И сейчас словно чья-то нога, шаркая, равномерно нажимает педаль, вот — надвигается, вот — раздавит!

— Стой! Знаете, как делать перебежку?

Никто не знает, как делать перебежку. Турсун показывает: скрючивается и — совсем маленький — бежит вкось, к водоразборной будке.

— Ну, разом, ко мне!

Славик и девушка еще не научились пригибаться, скрючиваться. Они бегут, взявшись за руки, Славик, наклонив голову, закрывается

розовым полотенцем. Девушка едва поспевает за ним в своих широких штанах.

— Теперь вон туда.

Ветер надувает красный флаг над штабом автоброневоего отряда. Там Варджикдзе, Нерсес, ребята из железнодорожных мастерских. Еще одна перебежка, — вместе с пылью, — самая длинная перебежка.

— Ну, живей! Поторапливайтесь, не то будет поздно!

Но Славик медлит, Славик замешкался, глядит в другую сторону. Ветер треплет, срывает полотенце с его шеи, соринки сыплются ему в глаза, — Славик повернулся спиной к флагу, он смотрит назад.

Там в облаке пыли появляется женщина. Она бредет, спотыкаясь, и что-то кричит. Ветер выбирает из ее криков отдельные слова и приносит их к будке, к ушам Славика:

— Вернись... со мной... Славик... останься!

Это кричит дом с медным звонком, кабинет, чугунная решетка.

— Славик, Зютека нет, папы нет. Все умерли, никого не осталось.

Ну да, никого не осталось! Один Славик может распоряжаться домом с медным звонком, как ему заблагорассудится. Пожалуйте, Ростислав Ржепышевский, — Нерсес освободил вам кабинет!

Рука девушки крепко сжимает, изо всех сил держит руку Славика. Турсун молчит. Позвольте, что может сказать Турсун? Ведь как ни говори, — Славик все же Ржепышевский. Ржепышевский, а не какой-нибудь там Фузайлов! И Славик начинает вырываться, выкручивать свои пальцы. Тогда Турсун обнимает его. Славик, вспомни зеленое колесо обруча! вспомни казаков! — они чуть тебя не раздали, — вспомни Таню, снег шоссе, серебряную трубу! — Нет, не вырваться!

Женщина уже на углу:

— Славик, подожди. Я — с тобой.

Мать зовет, — вот сейчас начнет переходить улицу, вот еще секунда — попадет под пулеметный огонь.

Славик топчется около будки, его губы умоляют Турсуна. Турсун начинает мигать, тихонько отстраняется и шепчет — бранится.

— Славик, а я как же? А я куда же?

Это кричит девушка в бескозырке. Славик уже научился, он делает перебежку в город, к матери и дому с медным звонком.

Сгорбленная женщина выпрямляется. Какая она все-таки высокая, тучная, почти величественная, Анжелика Ромуальдовна! И она грозит девушке и прижимает Славика к своему пышному дряблему телу.

А Турсун остается один, девушка тоже уходит в город, — медленно, протянув руки вперед, точно слепая.

Флаг над штабом автоброневоего отряда надувается, как парус отплывающего корабля. Фузайлов тоже повернулся спиной к флагу. Турсун, словно покинутый путник, недвижим подле водоразборной будки.

Руки девушки ловят Славика посреди улицы, потом начинают ловить воздух, — точно она хочет взобраться на высокую гору, цепляется, обламывая ногти, ловит что-то около горла. Потом девушка пошатывается, валится на бок.

— Так тебе и надо. Отнять хотела!

Мать Славика тоже поднимает руки, — словно зажала в кулаки веревки колоколов, словно хочет звонить к молебну, словно архиерей приехал, потрясает невидимыми веревками.

— Никто не отнимет. Никому не отдам!

Славик высовывается за угол: у девушки неумело подвернута шея, над нею проносится пыль, клочки бумаги, обрывок газеты, и однозвучно, бесстрастно строчит пулемет.

— Лежишь? Все вы будете так лежать. Последнего сына хотели отнять. Погибель на вас! Погибель!

Волосы ее пляшут, неистовствуют вокруг головы:

— И тебе — погибель!

Старушечий палец пронзает площадь, он протянут к Турсуну, он словно указывает пулям на перса.

Да, Фузайлов склонился над девушкой. Дурачок, — он, верно, думает, что свинец в сердце может быть не смертельным, он даже не пробует поднять ее, — только ползает возле нее на коленях и трогает ее пальцы.

— Турсун, уходи! Турсун, — тебе в штаб!

Славик машет ему полотенцем, — розовым мохнатым флагом. Но теперь Турсуну тоже все равно, — теперь, когда Анжелика Ромуальдовна победила и не уйти от чугунной решетки, и девушка ведь не встанет с булыжника, ведь никуда не пойдет.

И вот Славик делает последнюю перебежку, хватая Турсуна, тащит за плечи, оттаскивает Фузайлова от трупов.

Он стал мужчиной, Ростислав Ржепышевский, и он грубым хриплым голосом приказывает отцу:

— Ну, пойдём, что ли. Нечего распускаться.

Они бегут к штабу. Сзади них женщина с пляшущими волосами издали проклиняет тело, лежащее на булыжнике посреди улицы.

Броневик готов к отъезду, уже клокочет мотор, сотрясая железо. Барджикидзе и Нерсес спрашивают Турсуна и Славика:

— И ждать перестали, думали — попались.

Ну, нет, так просто они не попадутся, эти мужчины с красными, словно вымазанными свежим инжиром, и жесткими губами.

— Временно придется отступить, — говорит Варджикидзе, — иначе казаки разрушат город.

Что же делать, — ведь временно, стратегический маневр, военная уловка. Трудная это штука, дело товарища Вассо, — учить осетин, ингушей и чеченцев бороться за землю.

А все-таки, хотя та девушка уж не встанет с булыжника, никуда не пойдет, все-таки Турсун может, — право же может, — еще на что-нибудь пригодиться.

Воет сирена. Снаряды ложатся все ближе, — с громким хлопком вылетает из огромной бутылки пробка, и через мгновение оглушительно звенит разбиваемый стакан.

Броневик, гроыхая, выезжает из города.

## 8. Венчики

В перелеске за железнодорожными мастерскими, за недостроенной тюрьмой и кладбищем, — окоп, несколько старых палаток, часовые, броневик, два орудия.

Лошади привязаны в холодке, они отмахиваются от слепней сосредоточенно и аккуратно. На кострах доваривается хлебово, обжаривается мясо. В полдневном свете пламени не видно, а дым лег над степью низко и остолбенело.

Люди, лошадь, две-три собаки разморены зноем, — у лагеря осовелый и совсем мирный вид. Впрочем, это только так кажется, — все готово к обороне: часовые нет-нет да и взглянут, согнув козырьком руку, на околицу, из палатки то и дело выходит парень с ремнями через плечо, с маузером на боку, настороженно смотрит в подзорную трубку и опять уходит в палатку.

Это Нерсес, — он все ждет подвоха со стороны города, он каждую минуту готов пустить в ход броневик и пулеметы. Но город молчит враждебно и непонятно: больше недели казаки и офицеры хозяйничают в центральных кварталах и на слободке, и ночами иногда устраивают вылазки. Пустяковые вылазки! — казаков отбивали без труда, за всю неделю в лагере ранено не более десятка человек, и ни одного убитого.

Похоже, что город колеблется, чего-то боится. Нерсес догадывается: каждую ночь слободские парни и взрослые мужчины, и даже старики крадутся к лагерю. Приходят тайком, обходными дорогами, приносят узлы, с'естное и одежду, приводят лошадей с копытами, обмотанными тряпьем, рассказывают о том, как казаки врываются в дома, сводят скот, обижают женщин.

Нерсес коротко опрашивает проходящих и выдает им винтовки. Мкртчянец не совсем доволен медлительностью смуглого мужчины и тучной женщины с туго обтянутой волосами головой там, в большой палатке: разве нельзя было бы попытаться выбить казаков из города? Но все-таки Нерсес не спорил на совещании три дня назад, когда Вера Константиновна говорила об осетинах и ингушах.

Ведь это правда, что все они вооружены и что их селения и аулы разбросаны на много верст кругом города. Фельдшерница указала, например, на осетин-христиан и на осетин-мусульман: дело не в том, какому богу поклоняются эти отсталые крестьяне. Дело, если

хотите, в истории края, в тех хитростях, к которым полстолетия назад прибегали разные начальники кавказских областей и их помощники.

Все это, конечно, известно, — не стоит повторяться, — но ведь те войны, когда казаки отогнали туземцев из степей в горы, они никогда окончательно не прекращались: то тут, то там абреки поднимали восстания, их ловили и вешали, как разбойников. Не даром в городе и еще в других городках начальники постоянно держали войска.

Уж поверьте фельдшернице, она давно тут живет, она знает, к каким уловкам, — кроме военной силы, — прибегали начальники областей, чтобы сохранить за собой кавказские колонии: да, они подкупали богатых и влиятельных людей среди горцев, переманивали их на свою сторону. Да, да, не думайте, что на съезде народов заседали настоящие представители осетинских и ингушских мужиков.

Ничего подобного! Те, кто сидел на скамьях в зале бывшего кадетского корпуса, они тоже стремятся получить захваченную казаками землю, — потому-то они и делали вид, будто поддерживают демократическую фракцию Романа Львовича и не хотят ссориться с большевиками. Но, пожалуйста, не надейтесь! — Они никогда по доброй воле не отдали бы земли горской бедноте, они бы постарались сами завладеть землей, устроить собственную республику или даже соединиться с Турцией, — вот для этого им и нужна мусульманская религия!

Ведь сами-то они не дорожат своим богом, многие из них не до конца воевали с казаками, а помирились и приняли православную веру. Они рассчитывали, переменяв бога, сохранить свою землю — и ошиблись: землю сохранили только вожаки, те, которые уговаривали их креститься.

Ну так вот, осетины-христиане все-таки меньше враждовали с казаками, им делались разные поблажки...

(Фельетонист должен попросить извинения: он забыл о своих земляках — о Турсуне, Славике, об Анжелике Ромуальдовне и вечном студенте — и занялся разными общими вопросами, которым место на страницах газет, в фельетонах, а не в чувствительных воспоминаниях.

Человек с насморком не остановил во-время свою умершую тетку, и вот она произнесла целую речь. Фельетонист жалеет о своей слабости, это в первый и последний раз он позволил своим землякам немного порассуждать.

Но теперь он крепко-накрепко зажмет им рты, и — вот погодите! — сейчас доберется до своего перса, до Славика и студента.)

...Ну так вот, фельдшерница кончила тем, что ингушские и осетинские мужики понятия не имеют о том, что они могли бы получить землю теперь же, без проволочек.

Товарищ Вассо согласился, что большевистская фракция еще не сумела как следует связаться с горскими массами. Что и говорить, парни из мастерских, с завода и со слободок — порядочная сила, но только в городе. А этого мало: казаки бунтуют на Дону и на Кубани, не хотят поделиться землей, их, может быть, и можно выгнать из города своими силами, но они снова будут нападать, — и этак город будет совсем разрушен.

Нет, раньше надо договориться с ингушскими и осетинскими мужиками, — вот тогда большевики укрепятся настолько, что можно будет начать передел земли.

После Варджикидзе наступила очередь Турсуна. Фузайлов ничего не говорил о земле и об истории, для этого он был слишком простодушен, да при том же все нужное было уже сказано, — перс просто предложил:

— Я пойду к осетинам. :

— Почему именно ты? — спросил, не удержался Нерсес.

— Все-таки я родился мусульманином, — объяснил Турсун, — это имеет некоторое значение.

Он не решился прибавить, что ему совсем не страшно рисковать собой, потому что девушка на булыжнике больше не встанет, больше ведь никуда не пойдет, но Вера Константиновна поняла:

— Он прав, — сказала фельдшерица и погладила Турсуна по голове.

Потом Фузайлов ушел из лагеря, — три дня назад, — и до сих пор ю нем ни слуху ни духу.

Раненые, лежащие под деревьями, дремлют, не могут уснуть, — слишком горячо, ярко августовское солнечное золото: пробивается между ветками, протискивается сквозь листья, как сквозь решето, пролезает тонкими столбиками, — в них искрятся пылинки, — и рассыпается, расчеканивается по прогалинке сверкающими монетами.

Славик тоже лежит под деревом, — он не ранен, но у него что-то разболелась голова, и глаза слезятся, никак не удержать открытыми.

Вот, если прикрыть их, не зажмуривать, а так, немножко, чтобы ресницы почти сошлись и остался только маленький просвет, — тогда не больно, а даже приятно, занято.

Солнечные столбики расщепляются на множество крохотных лучей, и они играют разными цветами — синим, красным, оранжевым, фиолетовым, целые радуги резвятся и пляшут в ресницах. А над некоторыми листьями, над уздечками лошадей и над дулом ружья загораются и сияют легкие венчики, подвижные и изменчивые; чуть приподынешь веки, — и все исчезнет, и опять — однообразно-блестящая солнечная лава, опять нудное мление неба, жара, мухи.

От распаренной земли поднимаются прозрачные струйки и дрожат-переливаются, и раненым кажется, — Славiku тоже, — что уже и стволы деревьев, и прогалинка, и вся степь льются струйками, и далекий город и даже вершины гор, струясь, поднимаются вверх, — вот



сейчас расплывутся, станут кучерявыми, потом перистыми, белыми пушистыми грядками, и исчезнут совсем.

Вдруг Славiku слышится гул, непонятный и настойчивый.

Ах, да, это река шумит, швыряется камнями. Хорошо бы теперь выкупаться в студеной воде!

Гул стихает, вместо него появляются голоса. Один голос как-будто знакомый, — ага, это Турсун! — значит он вернулся, — куда это он ездил? — Славика ведь не пустили в большую палатку на совещание, и Нерсес ему ничего не рассказал.

Нет, пожалуй, не Турсун, — у перса голос низкий, грудной, а эти голоса оба высокие, твердые. Первый — знакомый, ломкий, слегка заикается, а другой — неприятный, какой-то драчливый.

Пойти посмотреть? Ох, лень вставать, да и жалко расставаться с радужными венчиками. Но одно какое-то слово застряло в ушах, и вот — пробирается дальше, свербит в голове:

— Феопентов.

Что такое «Феопентов»? Что-то склизкое, липкое, — фи! — Анжелика Ромуальдовна, когда замечала что-нибудь неприятное, всегда поджимала губы и говорила: «фи»! А мадам Прицкер не поджимала, а выпячивала свои плоские губы, и у нее получалось не «фи», а «фе».

— Феопентов?

Вспомнил! — когда Славик был маленький, и у него болел живот, мать давала ему горькую слабительную воду «Апенту», — на бутылке, помнится, была этикетка, множество букв — прямо в глазах рябило.

И сейчас почему-то зарябило в глазах и, кажется, живот заболел. Славик остается лежать под деревом.

А Варджикидзе в палатке недоверчиво щурится: что им нужно, Роману Львовичу и человеку в черкеске, с кудрявыми волосами? Зачем председатель демократической фракции пожаловал из города и привез с собой этого Феопентова?

— На этот раз, товарищ Вассо, вы ошиблись: вечный студент явился вовсе не из города. Роман Львович убежал из города еще неделю назад. У него есть знакомые ингуши, его спрятали в арбе; ничего не поделаешь, — пришлось прикинуться женщиной, закрыть лицо чадрой.

Но у Романа Львовича есть новости. Теперь он убедился, что опираться на ингушей, осетин и казаков, — на всех вместе, — нельзя. Председателю демократической фракции понадобилось, пожалуй, слишком много времени, чтобы убеждать, его обманули, но зато ингуши...

Тут Варджикидзе предлагает ему войти в палатку.

... ингуши вовсе не собираются соглашаться с казаками. Роман Львович был в нескольких аулах и привез поручение...

Фельдшерница бежит к студенту, тяжело переваливаясь, — она знала, она предчувствовала, что «теоретическая работа» студента не навсегда отделила его от тополей! — и Вера Константиновна обнимает

Романа Львовича, хочет еще что-то сделать, и — выбегает из палатки.

Она сталкивается с Феопентовым, чуть не сшибает его с ног. Да, о госте в черкеске забыли, он скромно стоит тут в стороне, неловко усмехается, доставая, выпарывая из бешмета лоскуток.

— Вот как, товарищ Феопентов — большевик? — Печать немного стерлась, и подписи тоже позасалились, — командирован из центра?

— Ну, что ж, ладно. Пришлось тебе, батенька, попасть в переделку. Хорошо еще, что добрался. У нас каждый военный работник на счету. Да ты, оказывается, артиллерист? — Превосходно, батенька, очень удачно.

И Феопентов тоже входит в палатку.

Нерсес горячится: теперь уж можно занять город, ингуши будут наступать с другой стороны. У них тоже есть орудия? — Тогда можно сформировать целую батарею, поставить на пригорке.

— Разрушать город не будем, — только поугадать, показать, что прибыло подкрепление.

Пока Нерсес уславливается с Феопентовым, фельдшерица и Роман Львович обходят раненых, — вечный студент ведь тоже кое-что смыслит в перевязках.

Опять Славик слышит знакомый голос, поворачивается, смотрит:

Ну, конечно, это Турсун! Только почему он такой высокий, сутулый? — И на его косоворотке целый венчик перхоти.

— Турсун, иди ко мне! Турсун, я не хочу «Апенты».

Студент щупает пульс Ржепышевского, выслушивает его, — что это Фузайлов вздумал играть во «врача и пациентов», словно он маленький? — смотрит язык, мнет живот Славика.

— Нехорошо, — шепчет студент, — похоже на тиф.

Потом венчик над косовороткой загорается красным, зеленым, — и зачем только Роман Львович растревожил Славика! — венчик крутится, режет, душит Ржепышевского, сжимает его голову зеленым лакированным обручем.

Наступление началось ночью. Над городом в разных местах полыхали зарева, — казаки подожгли много домов. Выстрелы пачками, ружейная трескотня, бухание орудий, пулеметное стрекотание охватили город громозвучным кольцом. Не разобрать было, кто и откуда стреляет.

В некоторых домах казаки устроили засаду, стреляли в спины наступающих, и тогда два-три десятка человек отделялись под предводительством какого-нибудь фабричного с завода или из железнодорожных мастерских и шли на дом приступом, штурмовали его как маленькую крепость. Городская война — не очень красивая, но самая опасная, злая!

Теперь, через много лет, все это наступление, да и самое восстание, покажутся захоластными, ничтожными, не заслуживающими подробного описания. Товарищ Вассо не очень радовался победе, все чаще озабоченно поговаривал о больших восстаниях на Дону и на

Кубани в казачьих станицах, — и в скорости поехал на Север, взяв с собой и Турсуна.

Но их поездка не имеет никакого отношения к городку, а тем более к Славiku Ржепышевскому.

Славик попал домой только поздно вечером, — Нерсес и товарищ Феопентов отправились в казачьи хутора, чтобы закрепиться и там, а Роман Львович и Турсун целый день хлопотали в штабе автоброневом и устраивали новый совдеп.

Когда Роман Львович привез Славика в дом с чугунной решеткой, Анжелика Ромуальдовна вышла встречать их к воротам.

Она заранее приготовила кабинет для Нерсеса, сама вымыла пол и поставила в гостиной кровати для Славика и для студента. Правда, она забыла снять большой образ — женщину с ребенком на руках, — икона пришлась прямо над кроватью ее сына. Но это было не очень уж важно, Роман Львович не стал пенять на такую мелочь!

Да, Ржепышевская сделалась удивительно расторопной, исполняла все распоряжения студента, бегала в больницу за лекарствами для Славика, делала ему компрессы и клистир. И она очень струсилa, увидев Турсуна, — так перепугалась, что начала пятиться от него сперва и прихожую, потом в коридор, потом выбежала в гостиную и спряталась за спинкой Славиковой кровати, под образом.

Славик метался по постели, бредил и никого не узнавал. Турсун подошел к нему, хотел присесть на кровать, а Ржепышевский начал хватать что-то над его головой, — совсем как та девушка-епархиялка.

— У него кризис, — пробормотал студент, — он, вероятно, давно уже был болен.

Турсун не понимал, что такое кризис и не догадался, что Славiku нужен был венчик, который кружился над головой перса и никак не давался в руки Ржепышевскому. Турсун хотел успокоить сына, но Славик схватил пузырек с лекарством и швырнул его прямо в венчик.

Только он ошибся: пузырек полетел в другую сторону, попал в икону и разбил венчик над головой женщины с ребенком на руках.

А лекарство забрызгало волосы Анжелики Ромуальдовны.

## 8. Самовар

В угловой комнате, где обедали Ржепышевские, стоял не совсем обыкновенный стол, — ореховый с прожилками, круглый, как колесо оброча, и с ножками, сделанными в виде львиных лап.

Но кроме этих особенностей у стола было еще одно свойство, выдающаяся, так сказать, черта характера: он умел вырастать, — да, да, ни более, ни менее! — когда его раздвигали и вставляли в него доски. С одной подвижной доской он делался только чуточку овальным, а с двумя — напоминал узкое аккуратное «О».

Были дни, — еще до войны, во время наездов семейства петербургского чиновника, — между полированными полукруглыми двиди-

гали целых три доски, и тогда Славику хотелось поставить над столом огромный восклицательный знак, — таким торжественным он становился, нарядным, и такие большие красивые — самые лучшие — скатерти доставала из серванта Анжелика Ромуальдовна. Подумать только! — скатерть цвета фисташки или погасающей зари, или даже морской воды, или, в самых чрезвычайных случаях, — скатерть цвета ночного изумрудного неба с салфетками цвета вялой розы.

После того как помощник начальника области, а за ним Зютек уехали в армию, стол понемногу начал уменьшаться и в конце концов сделался совсем круглым.

Но он шел на это не по своей воле, выбрасывал вставные доски очень неохотно, только уступая необходимости, и при всяком удобном случае норовил снова расшириться.

Этот долированный орех не так-то легко сдавался, он оказался в своем роде почти таким же упорным, как тополя, ему даже пришлось пострадать за свою несговорчивость, — Нерсес отстрелил все когти у одной его лапы.

Нерсес, положим, воевал не со столом: в то самое мгновение, как начальник автоброневоего достал наган, из-за льющей лапы выглянула кудрявая голова товарища Феопентова. Нерсес сильно волновался, не сумел метко нацелиться, и кудрявая голова благополучно уползла вглубь, а на смуглой лапе обнажилось шершавое ореховое мясо.

Вот какая беда стряслась со столом! Что же касается товарища Феопентова, — он успел выпрыгнуть в окно. Мкртчянц погнался за ним, тоже прыгнул через подоконник, — и не возвращался уж целый год. Ну, а командир батареи, тот исчез навсегда, больше о нем и разговора не было. Вместо него в дом с чугунной решеткой через два дня явился полковник Трощинский.

Вообще мало ли что случилось за эти два дня, — всего и не рассказать.

Приятельницы Ржепышевской, к примеру, разделись в самые дорогие платья, которых они не смели надевать уже много месяцев; в подвалы двух больших домов и в тюрьму привели несколько сот парней из мастерских, с завода и со слободок, не успевших скрыться; над зданием штаба автоброневоего переменился флаг, и у входа начали дежурить конвойные казаки в синих черкесках и ослепительно белых башлыках; в лавках вдруг перестали принимать советские деньги; главное же, — и безусловно самое важное, — волосы Анжелики Ромуальдовны опять сделались золотыми, а медный звонок опять засверкал, как в былые славные свои дни.

Вначале Славик не знал обо всех этих переменах, он почти все время лежал в постели, — очень ослаб после тифа, у него даже не хватило сил уйти к Роману Львовичу вечером накануне того дня, когда ранили ореховую лапу. Перед этим Нерсес приходил к Ржепышевскому, долго говорил с ним, рассказал, что командиру батареи приказано при отступлении испортить орудия, а он не очень-то торопится, сообщил,

что Роман Львович, — кто бы мог от него ожидать такой прыти! — сформировал отряд партизан и собирается уходить в горы, — и еще не мало разных новостей рассказал Мкртчянц, сбивчиво и стараясь не глядеть на приятеля, а потом сразу заторопился, встал, нерешительно спросил:

— Как же ты решил? Ведь белые завтра займут город, самое позднее послезавтра...

Славик молчал, закусив губы. За него ответила Анжелика Ромуальдовна, — она вошла потихоньку, Нерсес и не догадался, что она подслушивала за дверью

— Куда вы его тянете? — начала Ржепышевская и загородила собою кровать. — Ведь он еле ноги волочит! Или захотели его окончательно погубить?

Нерсес пожал плечами, а Славик на прощанье протянул ему руку.

Ночью, когда командир батареи и начальник автобронированного прыгали в окно, Анжелика Ромуальдовна еще раз пришла к сыну.

— Ты должен вести себя смирно, и тебя не тронут, — сказала она. — Славик не поверил было, но Ржепышевская об'явила уверенно:

— Уже если мать ручается, значит можешь быть спокоен.

Больше она ничего не захотела сказать, повернулась, шумя платьем, и вышла. Да и вообще вряд ли кто мог бы разобрать, что было у нее на уме в эти дни. Один Турсун, может быть, и смекнул бы, в чем дело, если бы перс увидел товарища Феопентова. Но, как нарочно, этого не случилось: товарищ Феопентов ведь прибыл как раз в то время, когда Фузайлов был в осетинских селениях. Потом Турсун вернулся в город, а командира батареи услали проводить операцию в казачьих хуторах. Теперь же Турсун вместе с Варджикидзе был совсем на другом фронте.

Право, они будто в кошки-мышки играли и перс никак не мог бы, — даже если бы очень старался, — вспомнить, что кудрявый товарищ Феопентов в молодости умел петь цыганские романсы, слышанные им в шашлычной старшего брата Фузайлова. Славик же еще не родился в те времена, когда офицер для поручений Трощинский поздно засиживался в гостиной его матери.

Вот уж когда следовало бы запечатлеть над ореховым столом крупнейший восклицательный знак! Славик, поднявшись с постели, прибрел в угловую комнату и увидел:

Стол был опять раздвинут, опять стал похож на узкое длинное «О»; Анжелика Ромуальдовна в пышно взбитой прическе хлопотала над чрезвычайной, — цвета ночного изумрудного неба, — скатертью; напротив нее в черкеске сшитыми мягкими погонами сидел товарищ Феопентов и мял салфетку цвета вялой бархатной розы.

Кроме стола в доме Ржепышевских замечателен был самовар, — широкий, пузатый и на кривых толстенных ножках. Он был устойчивым, этот добротный самовар, не менялся в зависимости от обстоя-

тельств, а оставался все таким же солидным, дородным и вспльчивым. Иногда пузатый старик брюзжал и плевался, когда в него накладывали слишком много угля, но чаще стоял спокойно и помахивал радушно ручкой с большим узорным браслетом крана.

Впрочем, все это вздор, если можно так выразиться, игра воображения: по правде сказать, ничего-то в нем не было особенного, — самовар, как самовар, такие есть во многих домах, и про них несчетное число слов написали. Все дело не в самоваре, а в Славике.

Младший сын Анжелики Ромуальдовны любил в детстве пригибаться к скатерти и засматривать в блестящие бока и в выпуклый живот самовара, — лица людей, сидевших за круглым столом, отражаясь в самоварной меди, становились очень занятыми, не похожими на самих себя.

Помощник начальника области, например, делался удивительно носатым, у него будто ничего другого не оставалось, кроме лоснящегося, длинного, толстого носа, с мясистой нашлепкой на кончике.

А у Зютека непонятно раздувались щеки, — все остальное лицо тоже куда-то пропадало, а эти две рыхлые слипшиеся щеки вызывали у Славика непристойные представления.

— Что же касается Анжелики Ромуальдовны, то с ней творились поистине невероятные вещи. Надо было только изловчиться и повернуть голову так, чтобы мать отразилась как раз в самоварной шее, поддерживавшей конфорку с нахлобученной крышечкой и черным деревянным помпончиком-шариком.

Тогда у Анжелики Ромуальдовны, ну можно ли поверить такой чепухе? — появлялось два лица: верхнее и нижнее.

У верхнего лица был высокий лоб, свежий и гладкий, как пруд летом; глаза, глубокие и синие, как провалы в леднике; брови перистые, как две ветки цикусовых пальм, волосы, прихотливые и смеющиеся, как отражение в пруде каштанов и лип.

Нижнего же лица Славик не любил, боялся, — чрезмерно красного, что-то жующего рта; подбородка, злого, как долото, острых зубьев воротника.

Детская забава, без цели, без смысла, а вот поди же: Славик так привык к этим отражениям, что, когда он видел человеческие лица не в самоварной меди, а просто так, — они чем-то напоминали ему самоварные рожи...

(Фельетонист вдруг перестает писать; последние дни он не отрывался от стола, очень увлекся, а тут вдруг, когда он добрался до самовара, — его берет сомнение: не похожи ли изображенные им облики на те самоварные рожи?)

Да-да, на смутные неверные отображения? Ведь фельетонист не все про них знает, не указал их настоящих фамилий, адресов, как он делает, описывая разные случаи в своих фельетонах.

У фельетониста был сильный насморк, мешавший ему позаботиться, чтобы его земляки из родного городка предстали в виде

живых людей. Какая досада! — он забыл сделать самое главное: не проследил, как жили парни в железнодорожных мастерских, на слободке, на французском заводе, в аулах; не расследовал, как боролись между собой разные кварталы городка; не установил, какие сложные влияния воздействовали на дикаря-азиата Турсуна.

Хуже того, он не использовал, упустил даже самые легкие выигрышные возможности, — не показал, как его перс коверкал русский язык, как заикался Роман Львович, и пренебрег таким козырем, таким напрашивавшимся типом, как генерал Ржепышевский!

Вместо этой совершенно обязательной для каждого уважающего себя сочинителя повинности, фельетонист занялся чорт знает чем: ну, разве серьезного человека может заинтересовать медный звонок, или к примеру тополя, или какие-то там арбы, или простой ореховый стол?

То ли дело вспылать негодованием, описывая восстание, зверства белых; не пожалеть красок для подвигов, ужасных смертей; размалевать их так, чтобы волосы стали дыбом, чтобы дух занялся, чтобы в глазах зарябило, как от самого пестрого, самого цветистого плаката!

Или, — это бы тоже недурно! — поступить как раз наоборот: расписать все подробности, пересказать вырезки из газет, подпустить немножко истории, а людей вывести так, чтобы сразу, заранее ясно было, хорошие они или дурные. Вот бы славно! — Без сучка, без задоринки потекло бы повествование, по приготовленному руслу, и не к чему было бы придраться.

Еще можно бы: прежде, чем сесть за работу, перечитать романы одного знаменитого сочинителя, — многие ведь так делают, — а потом притвориться страшно мудрым и воспользоваться готовыми приемами: людей изобразить самыми обыкновененькими, чтобы каждому легко было представить себя на их месте, и заставить их удивляться таким же обыкновенным вещам: ну хоть — природе, болезни, театру, еще чему-нибудь. Для пущей же убедительности описать, как они говорят, едят, думают, какие у них излюбленные словечки и что делается с их конечностями и лицами, когда они переживают.

Да не одна, а несколько возможностей было у фельетониста, и все такие надежные, имеющие вполне установленные ярлычки: романтическая проза или документальная проза, или — самое верное дело — реалистическая проза.

Уж не взяты ли в самом деле за перелицовку мудрых классиков, не испробовать ли еще раз добрых старых рецептов, так настойчиво одобряемых знатоками? — О, тогда бы все непременно поверили фельетонисту. А теперь, — разве есть хоть крупица здравого смысла в этих беглых воспоминаниях, разрознен-

ных и непоследовательных, — в этих измятых, наугад вырванных клочьях отошедшего?

Но фельетонист никак не может притвориться мудрым и применить старые добрые рецепты к слишком близким, слишком родным воспоминаниям, — у фельетониста ничего не выйдет, ни одной мудрой строчки, потому что ему только тридцать лет. И потом — ведь у него насморк, а во время насморка фельетониста одолевают разные несуразные страхи: например, — что он может вдруг оказаться похожим на попугая, на ученую собаку, или на других всяких дрессированных зверей из цирка.

Такие ведь неприятности у этого нелепого фельетониста! — он никак не способен на беспристрастное описание милого родного городка. И, как ни стыдно ему, а надо же когда-нибудь сознаться, — городок этот не совсем всамделишный, — единственное утешение, что про всамделишный можно справиться в путеводителях и исторических исследованиях, — фельетонист попросту извратил, исковеркал свой городок и всех людей — всех (до последнего!) — в нем живущих.

Нет, сегодня пусть другие стараются не погрешить против очевидности здравого смысла, добиваются чрезмерной правдоподобности, пусть гонятся, нанизывают сотни реалистических мелочей и нагромождением их надеются всех убедить в достоверности сочиненного.

Что делать, фельетонист сплеховал, не оценил всех благ столбовой дороги. доброго старого реализма, сбился на проселки. Ему, — видите ли, — взбрело в голову, что протаптывать проселки куда как нужнее, чем плестись от столба к столбу. Он, — член «Автодора», — он вообразил, что существует такой сочинительский «Автодор», строящий дороги через новые места и из новых материалов.

А все-таки фельетонист вовсе не враг реализма, — иначе разве сумел бы он написать хоть один фельетон? — он только осмеливается сомневаться, что когда-нибудь был или есть беспристрастный реализм. Он давно уже не верит, — как и его друг Турсун, — ни во что беспристрастное в человеческой жизни, — ведь вокруг фельетониста все разрушается и создается на-ново, и сам фельетонист непрестанно обновляется, а безбурный реализм знаменитого романиста пусть останется в прошлом, незачем протаскивать его в грядущее.

У человека с насморком голова тяжела, как... — хоть и смешно такое уподобление... — как медь самовара и, как в выпуклой меди, преломляются в ней люди, идеи и вещи, целый мир, сгущенный, насквозь 'условный, и все же, — как и сам человек и его насморк — все же реальный.

Этот меднолобый фельетонист, сомневающийся в человеческой беспристрастности, верит только в одно: за окном его рыжего



кирпичного дома—всамделишный мир, и сам фельетонист—лишь капля его. Но фельетонист верит и в каплю: она живая,—в этом вся суть,—она может не только отражать, но изменять мир, соединившись с другими каплями,— и только такой действенный, преломляющий реализм—цель заболевшего насморком фельетониста!)

... Славiku иногда очень хотелось узнать, что мог бы сделать самовар с лицом Турсуна,—но перс никогда ведь не сидел за круглым столом Ржепышевской.

Зато товарищ Феопентов, после того, как он превратился в полковника Трощинского, просиживал за чаем целые вечера, и Славiku пришлось вдосталь наглядеться на его усмешку, похожую на согнутый хлыст.

Впрочем, возможно, что усмешка была похожа на что-нибудь другое, а Славик выдумал сходство с хлыстом потому, что хлыст висел в комнате полковника на стене. Анжелика Ромуальдовна часто ходила в эту комнату, и Славик слышал, как мать его плакала, а Трощинский говорил что-то высоким драчливым голосом.

Однажды полковник даже кричал,—Анжелика Ромуальдовна убежала из его комнаты, а полковник высунулся и крикнул ей вдогонку: — Я еще доберусь до твоего сынка!

Анжелика Ромуальдовна держалась за щеку, точно у нее болели зубы, и шептала:

— Какой негодяй. Нет, ка-а-кой не-годяй?

Потом она зашла к себе, порылась в шифоньерке и опять направилась в комнату Трощинского. И хотя Славик очень жалел свою мать, он не мог не погадать:

«Что она понесла теперь: кольцо с рубином? или нитку жемчуга? или брошку?»

Ночью Славик,—не первый раз,—пытался уговорить Анжелику Ромуальдовну отпустить его,—ведь партизанский отряд Романа Львовича был не так уж далеко,—в горах. Но Анжелика Ромуальдовна и слышать не хотела.

— Он поймает тебя, я знаю,—говорила она, и по ее щеке ползала красная сороконожка.—Он следит, все время следит за тобой. Бог с ним, я отдала ему все. И,—только ты никому не говори,—я уже написала письмо нашему старому другу, помнишь,—который приезжал из Петербурга. Он теперь живет в Новочеркасске, пользуется большим влиянием. Он за меня заступится. А пока—потерпи.

И Славик терпел, не уходил в горы. Вероятно, он все-таки оценил пользу послушания родителям?

Красная сороконожка на щеке Ржепышевской превратилась в синюю, потом к ней прибавилась еще одна,—на груди, и Анжелика Ромуальдовна посыпала их пудрой «Рашель». Полковник же похлопывал хлыстом по своему салугу и постоянно напевал цыганские романсы. Он многому научился, будучи офицером для поручений, многое перенял от

мужа Ржепышевской, сделал большие успехи,—Анжелике Ромуальдовне пришлось в этом убедиться.

Славик от нечего делать ходил гулять в парк на Осетинскую горку и за реку к мечети. У мечети собирались разные нищие, и сын Анжелики Ромуальдовны беседовал с ними. Он подружился с одним бородачем и как-то проговорился ему про кольцо с рубином, нитку с жемчугом, брошку и сороконожки.

Нищий погладил свою бороду, такую же рыжую, как когда-то носил хозяин шашлычной, и сказал:

— Все-таки не ссорься с полковником. Помни: Нерсес ведь арестован. Вера Константиновна—тоже. Раз уж ты не убежал,—веди себя смиренно.

Удивительно, как сошлись в это время мнения обоих родителей Славика.

Да, Ржепышевский часто приходил к мечети по вечерам подышать свежим воздухом,—около мечети тоже ведь росли тополя, целая роща.

Правда, за последние годы много деревьев порубили на дрова, но еще больше осталось.

Наконец-то Анжелика Ромуальдовна дождалась письма от старого друга, бывшего петербургского чиновника, теперь пользовавшегося большим влиянием в Новочеркасске.

Анжелика Ромуальдовна спрятала конверт у себя в платье и распечатала ночью потихоньку, без Трощинского.

Старый друг крайне возмущался поведением должковника и обещал лично приехать попробовать урезонить Трощинского, сделать ему отеческое внушение. Надо признаться, бывшему петербургскому чиновнику не очень-то хочется сидеть в Новочеркасске. Не сможет ли, кстати, Анжелика Ромуальдовна предоставить ему временно комнату в доме с чугунной решеткой?

Впрочем, может быть, не надолго, может статься, ему придется на старости лет ехать за границу: на первых порах—в Грузию, а там,—дальше видно будет.

Между прочим, если Анжелика Ромуальдовна пожелает считаться с его мнением, ей бы тоже не мешало подготовиться к поездке за границу. На всякий случай она могла бы зашить свои ценности в белье или выдолбить каблук в башмаке, что ли.

Конечно, сейчас еще нельзя сказать ничего определенного. Как раз сейчас решается судьба родины,—подумать только, в какие исторические дни мы живем,—и лучшие русские люди проливают свою кровь, отстаивая русскую землю от китайцев, жидов и всяких там инородцев.

Тяжелые времена наступили для бывшего петербургского чиновника и для орехового стола!

Вслед за письмом, недели через полторы прибыл сам старый друг: судьба его родины решилась совсем неудовлетворительно. Он

хотел урезонить Трощинского, но отеческого внушения не получилось: полковник щелкнул пальцами, засмеялся и дернул шнурок от пенснэ бывшего чиновника. Пенснэ разбилось, и старый друг пошел жаловаться Анжелике Ромуальдовне на полнейшую невоспитанность Трощинского.

Он сделался очень несчастным и одиноким, этот чиновник,—его семья осталась где-то на севере, но вместо семьи он сохранил целую горсть бриллиантов и очень боялся ими рисковать.

Анжелика Ромуальдовна шепталась с ним по ночам, а Славику не с кем было шептаться, нищий перс куда-то пропал, скрылся из городка...

(Фельетонисту не удалось восстановить последовательность событий тех дней. Немногие документы, которые у него сохранились, отчасти противоречат друг другу, отчасти—оставляют неясными крайне серьезные обстоятельства.

Почему, например, белые, хозяйничавшие в городке целый год, не расправились с Нерсесом и Верой Константиновной? Ведь они не стеснялись ставить виселицы прямо на площади и вешать своих врагов. Может быть, они не убивали Мкртчянца и фельдшерицу потому, что надеялись их обменять на своих офицеров, попавших в плен к красным? Или они хотели что-нибудь выпытать и им не удавалось?

Или, например, со Славиком: целый год он вел себя удивительно бессмысленно. У фельетониста насчет Славика есть, правда, одно предположение:

не была ли его песенка спета много раньше, давно, когда разделились струи, зачатые в ледниках детства, когда пела серебряная труба и Таня Прицкер ужалила Славика острыми уголками губ?

Но все это только предположения, догадки, не подкрепленные положительными, вескими доказательствами).

... Нищий перс, уходя, не стал звать за собой Славика, он только заставил его дать одно обещание: Нерсесу и Вере Константиновне теперь грозила самая большая опасность,—белые, отступая, непременно уничтожат всех арестантов. Славик должен был помешать этому, постараться разузнать все заранее через Анжелику Ромуальдовну,—она ведь немало ценностей отдала Трощинскому, чтобы ее сына не обижали,—и предупредить Нерсеса и фельдшерицу. Славик дал слово сделать все, что он сможет, и Турсун скрылся из города.

Вместо него в город пришло множество новых людей,—сотни, тысячи,—городок разбухал, не мог вместить столько солдат, офицеров, всяких деловых людей, коммерсантов, чиновников и их семей.

Он стал похож на воронку с узким горлышком горной дороги, в которую стремились прорваться все эти убегающие люди.

Наступил день, когда люди обтекали чугунную решетку непрерывной вереницей повозок, фаэтонов, верховых, пешеходов. Этот поток людей уже миновал бывший кадетский корпус, родник у скалы и вступал в прославленное ущелье, от которого начиналась тропа на ледник.

На ореховом столе в последний раз кипел самовар, и в последний раз Славик рассматривал похожую на хлыст усмешку Трощинского.

Чай был на редкость горячий, сын Анжелики Ромуальдовны обжигал себе горло и ерзал на стуле. Он дал еще одно обещание—матери: сказал, что поедет с ней за границу, и ему было очень трудно обмануть ее. Главное же, он никак не мог дождаться, когда уйдет полковник. Анжелика Ромуальдовна и старый друг тоже стали беспокоиться: пора было уезжать, Трощинский сказал, что ночью будут сняты посты на улицах, у тюрьмы, у здания, где раньше был штаб автоброневого,—мало ли что могло случиться без этих постов?

И вот полковник поднялся и объявил, что пойдет поторопить, заставить поскорей подать лошадей. Он сейчас вернется,—пусть все будет совершенно готово к отъезду.

Славик обрадовался, хотел тоже выйти, но у чугунных ворот стоял конвойный казак в черкеске и белом башлыке. Конвойный казак не пустил его: ему не велено было выпускать из дома ни одного человека,—так что Славику пришлось вернуться в угловую комнату и продолжать пить свой чай.

Сын Анжелики Ромуальдовны отвернул кран самовара, и кипяток полился в стакан, а потом начал разливаться по подносу. Славик не заметил этого, он не заметил даже того, что его собственный палец очутился прямо под краном. Он смотрел в окно и вспоминал, как в него выпрыгнул Нерсес. Может быть, он тоже собирался прыгать в окно, может быть, ему почему-нибудь захотелось сделать себе больно, но он все держал руку под струей кипятка и о чем-то думал.

Все-таки он потом перестал думать и закричал матери и старому другу:

— Закрутите кран! Закрутите!!!

Вот он как растерялся, — позабыл убрать свою руку и вместо этого начал орать и топтать ногами и требовать, чтобы другие люди закрутили кран.

Анжелика Ромуальдовна подбежала к сыну, хотела перевязать его руку, помазать вазелином, но Славику было уже все равно,—он упал на пол и стукнулся головой о ковер. Самовар тоже упал по другую сторону стола и погнулся.

Все это, конечно, были последствия тифа, хотя, если вдуматься,—самовар, разве он тоже перенес тиф?

А полковник Трощинский не возвращался, не явился до самого рассвета.

Конвойному казаку у ворот надоело ждать его, и он тоже поплелся в прославленное ущелье. Тогда Анжелика Ромуальдовна вышла на улицу,—ей уже никто не мешал,—остановила повозку с каким-то офицером и попросила его взять трех человек с собой за границу. Офицер сперва не соглашался, а когда Ржепышевская дала ему несколько золотых монет,—кивнул головой.

Говорят, будто Анжелика Ромуальдовна и старый друг так и не уехали со своей родины, и будто офицер потом распродал драгоценности, зашитые в белье и спрятанные в каблуках Ржепышевской, тифлисским ювелирам.

Что же касается Славика,—он потерялся еще в начале пути, недоезжая здания бывшего кадетского корпуса, в том самом месте, где раньше пела над сугробом серебряная труба, а потом бежала по шоссе четвероногая тень епархиалки и Турсуна.

Не следует думать, будто Славик так и погйб на шоссе,—нет, он побоялся в свое время выпрыгнуть из окна, но соскочить с повозки,—на это у него хватило мужества.

Он ухитрился пробежать через весь город, к тюрьме,—с ним ведь всегда так случалось, что он приходил позже других, опаздывал на несколько минут...

(Фельетонист не видал трупа своей тетки, ему только рассказывал Мкртчянц,—Нерсесу удалось обмануть часовых и в сумятице ускользнуть, а фельдшерица была в другой камере, и ее застрелили).

... Так вышло, что Славик не сдержал ни одного обещания,—ни отцу, ни матери,—вместо этого он только зря ожег себе руку. И он не повидался с Мкртчянцем или Фузайловым, но как только представилась возможность,—поехал на север. Потом фамилия его появилась в списке красноармейцев, убитых на польском фронте.

А самовар, оказывается, при падении совсем поломался, не стоило его чинить.

## 10. Ч а с ы

Из свежеокрашенного красивого дома выходит перс в барашковой шапке, с минуту медлит у двери, потом тихонько, не совсем уверенно делает несколько шагов по улице под мартовским — острым и сырым—ветром.

Давно уж,—не меньше шести лет назад,—разломали чугунную решетку подле красивого дома, на месте блестящего медного звонка начали вешать разные скучные вывески, и вот—перекрасили дом в серый цвет, так что снаружи теперь его не узнать. Да и всего городка теперь не узнать! Старая его вывеска разломана, выброшена, о ней уже стали забывать, а дети, — те даже не знают, как она выглядела.

Перс поднимает барашковый вортник своего пальто и старается его застегнуть, довольно долго возится с пуговицами, потом разом опускается на скамейку, мокрую от талого снега.

За шесть лет персу тоже пришлось сменить немало вывесок, и не каких-нибудь там пустяковых, малозначительных, нет,—каждая следующая была гораздо важнее, гораздо ответственнее предыдущей.

Все это так,—много вывесок сменили люди и вещи за эти годы, но перс сумел сохранить самое главное, что в нем было, сумел остаться тем же простодушным Турсуном, которого во всю его жизнь никто не целовал, кроме Анжелики Ромуальдовны, и от которого сбежал его собственный сын. Однако, и с ним не все обстояло попрежнему: с каждой новой вывеской у Турсуна, кроме седины в волосах, прибавлялось немного недоверия к людям и еще кое-чего... кое-чего такого, что никак не назовешь иначе, чем верой в человечье будущее.

Тут, пожалуй, некоторое противоречие: соединение веры с недоверием,—но что же делать? Азиат к старости сделался подозрительным, вероятно, у него на то были свои причины.

Ну вот, так совпало: человечья жизнь,—не только жизнь людских множеств, но подчас и отдельных людей,—бывает подобна спиральной пружине: с виду возвращается вспять, на старое место, а взглядишься—выше ушла, неизмеримо выше, шутка ли—на несколько завитков!—ну, вот, недавно так совпало, что слова в новом мандате Фузайлова оказались теми же, какие маляр написал на новой вывеске дома, у которого сломали решетку:

«Окружная Контрольная Комиссия».

Подумать только, кем стал неумелый слуга Ржепышевских на старости лет! И это еще ничего не доказывает,—старость ровно ничего: старость бывает тоже разная. Турсуну теперь-то и пригодилось его недоверие и то, что нельзя иначе назвать, чем верой в человечье будущее.

Вон он сидит на скамейке, сумерничает у памятника, поставленного на месте сгоревшего дома купца первой гильдии Тер-Акопянца, расселся тут прямо на мокрети, сцепил руки и ни с того ни с сего начинает вертеть большими пальцами. Вот и пойми его, угадай, что к чему,—целых шесть лет перс никакого внимания не обращал на скамейку, проходил мимо, а сейчас ему взбрело в голову отдохнуть, побездельничать в такой неподходящий, поздний час,—словно можно отдыхать в этом промозглом вечернем тумане.

Да не свихнулся ли уж он в конце концов? Многие ведь предсказывали, что именно этим кончится.

И впрямь, Турсун что-то шепчет, с кем-то разговаривает, а на скамейке ведь никого, кроме него, нет. Перс обращается к темноте, к вечеру, называет его своим другом, товарищем Вассо. Как же это так?—Ведь товарища Вассо совсем нет в городке, он живет в Москве, далеко, и Турсун видится с ним только один раз в году, на большевистских съездах. Поразительно, что Фузайлов ухитряется все-таки с ним бесе-

довать,—и без всякого телефона или радио, просто так, когда ему вздумается.

Это даже уму непостижимо! — Варджикидзе всегда являлся по вызовам перса, приходил к нему в организационный отдел Окружного комитета партии, и еще раньше — в земельное управление, — прямо мистика какая-то, да и только!

В последнее время Турсун советовался с Варджикидзе очень часто,—у них ведь теперь была одинаковая работа. Нужды нет, что товарищу Вассо приходится иметь дело с миллионом людей, а персу—лишь с тысячью,—Фузайлов тоже сделался совестью своей партии, только местной, окружной совестью.

Сегодня, однако, в первый раз ему не везет: почему-то Варджикидзе не отвечает, — может быть, слишком занят? или заболел? Ведь Турсун больше часа ожидал его в своем кабинете, глядя на стеклянную дверь с занавеской. Но дверь не открывалась, товарищ Вассо не пришел в кабинет и не желает подойти к скамейке.

Дело же Турсуна—спешное дело, очень серьезный вопрос, — не зря он мерзнет на скамейке и мучит свои пальцы. Может быть, Варджикидзе все-таки улучит минутку, выручит, навестит друга?—Ветер забирается персу за воротник, водит по затылку холодной колючей лапой, трамвай, презрительно звякая, проносится мимо, многие прохожие кланяются товарищу Фузайлову, а Варджикидзе, будто на зло, все нет как нет.

Тогда Турсун начинает вращать большие пальцы в другую сторону: он решил пока оставить приятеля в покое, и вместо него вызывает товарища Танина. Перс вовсе не собирается спрашивать совета и у этого товарища,—он не намерен доверяться первому встречному,—Турсуну просто любопытно поглядеть на этого постороннего парня, познакомиться с ним поближе.

Товарища Танина никто в городке не знает, он приехал из Москвы прямо в ингушский аул, на строительство силовой станции, и оттуда носа не кажет,—даже прокурор и тот его не видал. Прокурору-то, впрочем, как раз и следовало бы потолковать с Таниным, а он не заехал на строительство. Положим, Нерсес торопился, у него, вероятно, были другие задания, гораздо более срочные.

Доклад Мкртчянца председателю окружной контрольной комиссии на этот раз здорово затянулся, в кабинете под конец стало так темно, что Турсун даже не мог разглядеть лица прокурора, когда Нерсес вскользь упомянул о гидротехнике Танине.

— Ну, что ж, если товарищ Танин действительно так гнусно обманул девушку-горянку,—придется отдать его под суд. Какие еще дела у Нерсеса на очереди? Все? Жалко, понятно, снимать Танина с работы,—гидротехников не так-то много. Ну, как Нерсесу ездилось? Дороги, должно быть, отчаянные, завалы в горах,—наверно, пришлось вспомнить девятнадцатый год, партизанщину? Все-таки Мкртчянцу надо бы лично выяснить с гидротехником: Танин—партиец, а горцы очень

косо смотрят на такие проделки, как бы не вышло чего. И угораздило его связаться с ингушкой! Парень-то, видно, из молодых да ранний, подразложился у себя в Москве. Неужто он совсем ее бросил? А сам Нерсес, не влюбился ли, часом, в какую-нибудь красотку? Они ведь теперь снимают чадры, но все еще дичатся? А? Насчет же Танина,— пусть Нерсес сам разберется, ничего ведь особенно сложного нет.

— Что? Прокурор отказывается? Особые причины? Какие же это особые причины? Турсун желал бы знать. Нужно готовиться к выступлению в суде? Ну, пусть прокурор не заливает,—ему ли готовиться—поди, набил руку за столько-то лет!—Ой, смотри, Нерсес, что-то обленился ты, отлыниваешь. Погоди, погоди, подтянем тебя! Что, еще никогда не получал надраний? Ну, так держись у меня.

Тут Нерсес роняет портфель. Дела сыплются на пол. Мкртчянц, громко сопя, подбирает их.

— Прокурор вовсе не расположен выслушивать глупые шутки,— пусть Турсун зарубит себе на носу! Прокурор в любой момент готов отчитаться в своих действиях. Ладно, он сегодня же заведет дело на Танина. Ему решительно все равно, да,—ему-то наплевать!

Нерсес стоит перед столом Турсуна, размахивает рукой и спрашивает громким шопотом, как на театре:

— Может быть, председатель контрольной комиссии распорядится также еще раз расследовать обстоятельства смерти Веры Константиновны? Какое отношение это имеет к гидротехнику? Но ведь фельдшерица должна была получить некоторые указания, сигнал так же, как и Нерсес, — и не получила, и потому, наверно, попалась. — Да полно притворяться, товарищ Фузайлов, дураков нет! Будто ты так-таки и не знаешь, какое отношение имел Танин к Вере Константиновне и ко всем нашим? Извините, пожалуйста, Нерсеса не проведешь, прокурор докопается до всего! Вот!!

Потом Нерсес пьет холодную воду залпом, стакан за стаканом, целый графин, он переутомился, изнервничался, ему бы. — прокурору — в отпуск, в санаторий. Он вот с детства никогда не плакал, не давал себе воли, а сейчас, — поганство какое! — никак не удержаться, не осилить, не загнать проклятого клубка обратно в горло.

— О, ч-чорт! Словно Нерсес тоже не любил Славика? Как братья были, — ближе родного брата! Разве не они были «рекики»? Разве не вместе ходили на ледник, не вместе — с Таней Прицкер?

— Ко всем чертям Таню! Мкртчянцу пора уходить. Прощай, товарищ Фузайлов. Прокурора ждут дела.

У Турсуна руки сухие, горячие, или это Нерсесова голова так разгорелась под пальцами перса? Турсун притягивает его лоб к своему, — глаза к глазам, — в голосе Фузайлова недоверие и вера, и только теперь спохватывается прокурор:

— Как? может ли это быть, чтобы Турсун и вправду не знал: ведь Славик-то не погиб на польском фронте, — ничего подобного! И разве тогда, уезжая, Ржепышевский не сказал отцу, почему он так спешил?



Нет? Даже не повидался? Вот как! Теперь Нерсес начинает понимать, отчего Турсун никогда не заговаривал про сына,—ему было стыдно, что Славик про него забыл.

— Какой же он дурак, Мкртчьянц! А он-то думал, что Турсуну все известно: и то, что Славик переименовал фамилию, и про фельдшерицу.

— В дом-то и сила, Славик совсем не погиб, погиб один его товарищ, — очень славно погиб, — и его похоронили как Ржепышевского. Славик же уехал в Москву, — Мкртчьянц все время следил за ним, но только издали: Нерсес не желал иметь к нему никакого касательства — фельдшерицу ведь застрелили, а она могла же, должна была бежать!

— Ну пусть Турсун не принимает этого так близко к сердцу, — может быть, еще его сын тут не при чем. У Нерсеса нет определенных проверенных данных, у него только подозрения, так, ничего не стоящие догадки. Не стоит слишком огорчаться, — Мкртчьянц попросту не будет иметь с гидротехником ничего общего.

— Какая досада, что прокурор не сдержал себя, проговорился, выдал этот маленький секрет! Впрочем, еще не все потеряно, — никто ничего не знает, никто, кроме их двоих. Нерсес будет молчать, все останется попрежнему...

— Нет, не останется! — крикнул Турсун. — Товарищ Мкртчьянц, ты поступал в этом деле неправильно, — все шесть лет деликатничал, ты не имел права скрывать от меня. Я сейчас же вызову гидротехника Танина, завтра контрольная комиссия разберет его дело.

— Делай как знаешь, Турсун, только имей в виду, что ничего особенно уголовного, состава, так сказать, преступления в поступках Танина я не нашел. Придется ограничиться выговором, самое большее — предупреждением. И совсем не к чему так спешить.

— Нет, завтра же, завтра!

Вот ведь какие вещи случаются, когда одни человечьи жизни подобны спиральной пружине, а другие — как оползни с ледников детства, — ползут да ползут потихоньку, трутся о скалы и потом сразу обваливаются вниз.

Перс в барашковой шапке ерзает по скамейке. Он насиделся, — хватит с него тумана и сырости. Турсун вскакивает и бежит в дом с новой вывеской. Фузайлов возвращается в свой кабинет и, не зажигая света, нащупывает телефонную трубку.

Дежурный шофер в гараже очень удивлен: до сих пор Фузайлов не вызывал автомобиля для вечерних поездок. И чего он так торопится, на ночь глядя, в аул? Что такое стряслось на строительстве?

— Хорошо, хорошо, товарищ председатель, слушаю. Через пять минут подам машину.

Машина подскакивает, дрожит и трясется на грязной скользкой дороге, мимо темных скал, белесых пятен снега, — вперед, к светлой полосе, указываемой автомобильным фонарем.

Потом появляются низкорослые здания, редкие огни, спящие бараки.

Комната, пахнущая сосной. На столе — вскрытая консервная банка, недопитый стакан с вином. В углу — раскрытый чемодан. Под бревенчатым потолком непогашенная забытая лампочка.

Свежие доски стены роняют смолистые слезы, на походной кровати спит человек.

Турсун внимательно, — одну за другой, — разглядывает платяную, зубную, сапожную щетки, стол с чертежами, несколько пар брюк, раздавленных зажимами брюкодержателя, зеркальце и пузырьки с одеколоном и вежеталем, планы и схемы на стене, ботинки на толстой подошве, рукомойник, перчатки и фетровую шляпу, обшитую кожей.

Стараясь не шуметь, перс берет стул, ставит его у изголовья спящего.

Так и есть! Славик сильно переменился за эти шесть лет, больше, чем можно было ожидать.

От зеленоватой бледности, — жадной и робкой, — подростка, мечтавшего о серебряной трубе и не сумевшего сохранить за собой поцелуев даже Тани Прицкер, — и следа не осталось.

У человека, сжимающего во сне подушку, лицо ровное, матовое, лицо удовлетворенного молодого мужчины. Из-под шерстяного легкого одеяла высунулась волосатая, с рельефной мышцей нога, от постели пахнет одеколоном, кожей, потом и табаком. Губы Славика подобраны, печальная извилинка, — вниз к подбородку, — очертилась резко, словно подытоживает мужественность исправного тела.

Турсун всматривается: что с ней случилось? Она уже не горькая, как когда-то, — не беспомощная. В ней появилась уверенность, пожалуй, даже, — или это только так кажется, — некоторая пресыщенность. И волосы хотя и порастрепались немного, но все-таки лежат уверенно, определенно, как-будто заранее выбрали себе место на лбу и на подушке.

Да, лицо Славика теперь крепко заперто, замкнуто наглухо, — и вот Фузайлов пытается подобрать ключ. Это не сразу ему удастся. Турсун дышит неровно, напряженно, дыхание Славика, более быстрое, более порывистое, опережает его.

Наверное парню что-нибудь снится, — мало ли какие сны бывают у молодых здоровых мужчин? Нет, поглядите вы только на этого молодца, на сына азиата и пышнотелой Анжелики Ромуальдовны! Такой здоровяк разве может быть виноватым? Ведь девушки сами должны липнуть к нему, вешаться на шею, — вон он какой свежий, красивый.

Что же, времена теперь иные, — не те, когда можно было мучиться на скамейке и ломать пальцы из-за рыжих волос и поцелуев Ржепышевской. Довольно и того, что Таня Прицкер оставила в лице сына ту извилинку, — да, совершенно достаточно!

Почему это все люди должны быть непременно наказаны? — да и вина Славика, право, не так велика, тем более, что Турсун ведь имеет право помочь ему, поправить его ошибку. Интересно, кто бы решился запретить председателю контрольной комиссии выручить родного сына?

Как бьется кровь в голубой жилке у виска Славика! Это его, Турсуна, кровь, сердитая, как река во время таяния ледников, — надо направить ее, оградить сына, повести за собой.

Но прежде всего—подобрать ключ, отпереть лицо спящего человека, чтобы пробраться внутрь.

Непонятно только, почему оно само не открылось перед отцом, и Турсуну приходится пробовать чужие ключи, делать разные неприятные сравнения: например, в лице Анжелики Ромуальдовны тоже не было никакого презрения, высокомерия, — о, нет! Лицо Славиковой матери казалось удивительно любезным, и чем более проступала в нем эта чрезмерная любезность, тем больше все кругом с'езживалось, увядало, словно от засухи, — прислуга, Турсун и даже сам помощник начальника области с лоснящимся носом.

У Ржепышевской, однако, не было извилилки вниз к подбородку, и у Турсуна ее тоже не было. Несомненно Славик не получил свою извилилку в наследство от отца или матери, он ее приобрел самолично. Так вот, не послужит ли извилилка ключом?

Вполне вероятно, что такая ранняя морщинка указывает на страдание? Конечно, это можно допустить, но вряд ли Славик сознает, что страдает, и уж во всяком случае не стискивает зубов. А не может ли оказаться и так, что сын Турсуна даже гордится своей извилилкой?

Ничего не поделаешь, Турсуну волей-неволей надо быть подозрительным: сделаться совестью партии, — пусть даже местной, окружной совестью, — это даром не дается. Тут уж следует ничего не забывать, не упускать из виду, что вот такой же налет самодовольной скорби служит теперь единственным отличием людей, которые оказываются нередко врагами.

Да, Фузайлов научился заглядывать вперед: то, что внутри человека, похоже на реку, в тех же берегах всегда новые воды. И будто неожиданно вдруг изменятся берега, пролягут в лице борозды, и самодовольная скорбь превратится в уныние, не верящее в утешения, отбрасывающее их, — и тогда никакому напору уж не размыть окаменелых береговых складок.

Все зависит — вся жизнь гидротехника — от того, каково направление и сила резко окрашенных струй в самой реке, какова высота, угол падения, скорость. Турсун теперь знает эту человеческую гидротехнику. Он нашел смысл старого изречения: «Ищи не вокруг себя, а в самом себе», догадался, что ничто не может быть страшным, если река нашла выход в море, если самое важное, самое ценное отдано человеческим множествам, — и только тогда, только в этом — единственно надежное, единственно прочное счастье.

Ох, уж эта извилинка в лице сына, — вот к каким праздным мыслям привела она Турсуна! Перс даже начал бояться, что красивый, удовлетворенный молодой мужчина никогда не сможет быть счастливым, никогда не захочет расстаться со своей любезностью и самодовольной печалью, — так и пронесет их до самой смерти.

И охота была возиться с ключами! — все это глупая обязанность узнавать у людей то, что они больше всего хотели бы скрыть. Мало ли способов узнавать, но Турсун — азиат, его глаза сами зацепляются за чужие лица и не выпускают их, потому что лицо ведь — важный признак, его не переделаешь по своему желанию.

Вот Славик: ишь, — он не разбросался по постели, не распустил рта, его губы собраны, брови стянуты, он словно и во сне что-то за-таил, борется, куда-то, тяжело противясь, сползает, — как ручей пробивается в оползнь, как щебень, сползая, борется со скалой.

Ну, легче тебе, товарищ Фузайлов, от того, что подобрал-таки ключ, отпер сына? Знаешь ты, как его вытащить, как помочь переменить русло, в конце которого — срыв?

Фузайлов закрывает лицо рукой. Перс должен сосредоточиться, председателю контрольной комиссии предстоит принять решение.

А ну-ка, товарищ Вассо, поди сюда! Что бы ты предпринял на моем месте? Оставил бы Танину в партии? Постой, постой, не торопись: гидротехник, повидимому, может работать совсем неплохо, такие ведь работают споро и точно, рассчитано, как машины. Постой, рассуди: нужны ли партии чужие машины?

Варджикидзе дала недовольный жест: кто так ставит вопросы, — «нужны ли партии чужие машины», — на такой общий вопрос нельзя ответить ни «да», ни «нет». Кто бы ни попробовал, — будь он хоть семи пядей во лбу, — останется в дураках. Ведь речь идет о Славике, только о нем, не правда ли? так вот что, товарищ Турсун: Варджикидзе незнаком с подробностями, парень на походной кровати — не его сын, а Фузайлова.

— Нет, пожалуйста, не рассказывай, пожалуйста, решай сам свои семейные дела, а я погляжу, как ты справишься.

Варджикидзе отворачивается, взамен его появляется другое лицо: маленький, очень серьезно наморщенный нос, волосы стрижены коротко, и бескозырка чуть сдвинута набок.

Епархиалка не смеет давать советы окружной совести партии, она только спрашивает:

— Ах, что же Славик, куда же Славик?

Но спрашивает она очень требовательно, наклоняется к Турсуну и твердит одно и то же:

— Как же, куда же Славик?

Ведь Турсун любил ее когда-то, а она любила Ржепышевского, — по-настоящему любила, не так, как Таня Прицкер. Но если бы Славик:

женился на Тане, епархиалка, может быть, смогла бы полюбить Турсуна, — ведь отец и сын очень схожи.

В том -то вся суть: как бы Славик ни называл себя, — Таниным, Ржепышевским, — на самом деле он Фузайлов, — от этого никуда не уйдешь.

Какой он все-таки глупый, этот парень, — скрыл от партии свое происхождение, — ведь оно не такое уж дурное, с этой стороны никто не должен опасаться Славика, сына Турсуна.

Так тому и быть! Если товарищ Вассо уклоняется, — председатель контрольной комиссии сумеет обойтись без него, это ведь его личное дело. Разве всякий мужчина не имеет к старости права на семью? До сих пор Турсун ничего не искал для себя, не верил отдельным людям, а только человечьему будущему. Теперь он желает, кроме того, поверить в своего сына.

Да, Славик будет поджидать отца дома, после занятий будет заходить за ним на службу. Вокруг Турсуна зимними вечерами больше не будет пустоты, отец и сын будут рассказывать друг другу, что сделали днем, вместе обсуждать разные дела.

Славик допустил ошибку с этой девушкой-горянкой, да и еще, наверно, не раз сделает ошибки. Беда невелика: его ведь всегда можно будет пожурить, даже наказать, а потом — простить.

Турсун имеет на это право! Сознаться ли? персу ведь очень нужно было кого-нибудь простить, — хоть раз в жизни, — только некого было. А это уже последнее дело, когда человеку некого простить.

Вот сейчас он сдернет одеяло, разбудит сына, схватит голову со спокойными волосами, прижмется к мужественному лицу!

Перс уже отнял руку от глаз, уже подался вперед.

Как больно режет свет лампочки!

Сразу — словно ослеп: что такое случилось со Славиком? Протереть глаза... Нет, не глаза! Но несомненно что-то произошло, что-то изменилось.

Славик все лежит на постели, так же спокойно. Нет, не так же, — гораздо спокойнее: его дыхание стало совершенно равномерным.

Вдох — выдох, вдох — выдох.

Удивительно однозвучное дыхание, даже отчего-то неприятно. Может быть, не стоит будить, дать ему выспаться?

Вдох — выдох, вдох — выдох.

Дышит, словно заведенный, и руки уже не комкают подушку, отпустили ее, свободно сложены у живота одна над другой. Так складывала руки Анжелика Ромуальдовна, когда ей приходилось лгать мужу или еще кому-нибудь.

Стоит ли спешить открыться парню? Ведь он уже вызван в контрольную комиссию, завтра явится в кабинет со стеклянной дверью, пожалуй, лучше до этого не показывать, что председатель контрольной комиссии знает, кто такой гидротехник?

Выдох—вдох, выдох—вдох.

Каким равнодушным сделался Славик! Лицевые мускулы ослабли, рот слегка раскрылся, даже черта, — вниз к подбородку, — стала мягче. Полнейшая безмятежность!

Если бы кто нарочно захотел изобразить такой покой, — как бы это было трудно, какого бы потребовало напряжения, какой опытности!

В окно вместе с рассветом просачивается автомобильный гудок. Шофер задремал, — ах, Турсун, как ты мог забыть про шофера? Предутренний мороз разбудил его, и он вызывает председателя.

Ага, все-таки не совсем замерло лицо сына: веки дрожат, ресницы, отбрасывающие на щеки темные полукружия, шевелятся, и полукружия сдвигаются, — у них отдаленное сходство с полукружиями орехового стола.

Гудок шофера все громче лает под окном, — сейчас зарычит, оскалит зубы.

Вдох—выдох, вдох—выдох.

Решено! Завтра Фузайлов учинит сыну строгий допрос.

Придется наложить партийное взыскание, — Турсун вовсе не намерен мирволить всяким московским франтам. Этакая выходка — обмануть горскую девушку! Может, он так же обманул бы бескозырку, — кто поручится, что нет?

Да, — строгий выговор с предупреждением. Даже припугнуть исключением.

А потом, что потом? Смотря по тому, как будет вести себя гидротехник. Может быть, дружеский разговор, может быть, полное молчание. Там будет видно.

Турсун на цыпочках выходит из комнаты, не забывает повернуть выключатель.

Когда за окном, слышится удаляющийся шум мотора, Славик осторожно приоткрывает один глаз, потом другой, — как когда-то хозяин шашлычной.

— Никого нет? Уф, ну и задал же Турсун баню: проснуться в своей собственной комнате и вдруг увидеть, что над самой головой — перс, председатель контрольной комиссии! Хорошо еще, что Фузайлов прикрыл рукой лицо, — Славик так перепугался, что чуть не закричал.

А после, — как хотелось смеяться, точно его щекотал целый десяток девушек, — как он только ухитрился ровно дышать.

— «Вдох — выдох, вдох — выдох» — ловко?

Еще несколько минут, и гидротехник бы не выдержал. Вот был бы провал!

Зато теперь можно быть спокойным, — перс уверен, что Славик не знает о его посещении. Раз уж он сам приехал на строительство, значит дело в контролке кончится пустяками. Еще бы, — Фузайлов так нежно смотрел на него.

Бедный Турсун, он, верно, думает, что Славик останется жить с ним в городке. Как же, держи карман шире!

Жить здесь, где все его знают, — этого еще не доставало! Впрочем, пока не кончится срок стажировки, придется потерпеть. А там открепиться, сняться с учета, и — в Москву, к серебряным трубам, нежным и вкрадчивым, к девушкам, которые не боятся быть обманутыми. Будто в Москве нельзя добиться кабинета, даже получше, чем кабинет бывшего помощника начальника области.

Да, не Турсуну-азиату тягаться с Ржепышевским! Славик допивает вино из стакана, потягивается, снова ложится в постель, — ему хочется спать.

Заседание партколлегии приходит к концу, — на этот раз председательствует сам Фузайлов. Основные дела уже разрешены, остаются пустяки: члены партколлегии расспрашивают молодого человека в сером костюме, переговариваются друг с другом.

Молодой человек держится скромно и уверенно.

— Он не обманывал девушки-горянки, ничего ей не обещал. Гидротехник просто не знал ингушских обычаев, но если у девушки будет ребенок, он согласен его содержать.

— Что он может еще сделать? — нельзя же требовать, чтобы гидротехник жил с женщиной, которая... одним словом, у них разные потребности, разные запросы.

Молодой человек потупляет глаза: оправдываться он не станет. Что и говорить: Танин поступил легкомысленно.

Председатель окончил допрос — очень строгий, очень подробный, а Нерсес сидит, повернувшись в другую сторону, — молчит, надулся, словно мышь на крупу.

— Есть у кого еще вопросы? Не имеется? Товарищ Танин, выйдите, мы обсудим.

Прения были недолги: все согласны, что надо наложить партвзыскание, чтобы другим неповадно было.

И вот Турсун встает — внести предложение...

(Фельетонист смущен, расстроен одним обстоятельством: только-что у него был гость. Вот безобразие: фельетонист уехал в родной городок, сообщил об отъезде в редакцию, а его все-таки не оставляют в покое, приходят на квартиру, надоедают. Хотя, если уж быть вполне откровенным, он рад гостю, так рад, что его насморк будто разом прошел. В комнате рыжего шестиэтажного дома только-что сидел перс в барашковой шапке, — Турсун зашел навестить земляка.

Вот это живой человек, не исковерканный самоварной медью, — единственный знакомый из родного городка. Единственный, хотя в Москве живет и Роман Львович, и Славик. Но с Романом Львовичем все не удастся встретиться, — теперь он

уехал на посевную, а Славик... фельетониста не тянет его пови-  
дать, — могут же быть у человека свои капризы!

— Ну, как твои фельетоны? — спросил живой человек,  
сняв свою барашковую шапку.

А фельетонист вместо ответа вздумал читать ему свои чув-  
ствительные писания. Уж лучше бы он не делал этого: перс слу-  
шал его несколько часов, неодобрительно покачивая головой.  
В одном месте он прервал чтение:

— Вот ты воюешь против старого реализма, а сам разве  
не описываешь лица, руки и ноги и всякую мелочь?

Фельетонист пустился объяснять ему, что он делает это  
совершенно с другой целью, что его мелочи — мелочи особого  
назначения, — и перс замолчал. Он был живым человеком и мало  
смыслил в сочинительских спорах.

Но в самом конце чтения Турсун возмущился, схватил листок  
и смял его: таких выдумок он не потерпит, это уже из рук вон!  
Пусть фельетонист упражняет свое воображение на чем-нибудь  
другом!

Фельетонисту пришлось согласиться и зачеркнуть послед-  
нюю страницу. И он упросил живого человека рассказать, как  
было дело в действительности.

Так что фельетонист не виноват, — ему пришлось обратиться  
к реализму, передать только факты.)

...В кабинете со стеклянной дверью были плохо задернуты занавески, и Фузайлов, встав, чтобы внести предложение, — он немного волновался, потому встал, — увидел за дверью в бывшей гостиной Анжелики Ромуальдовны Славика.

Славику наскучило ожидать, — гидротехник не думал, что вся эта история так затянется, и вынул часы — посмотреть, успеет ли он сегодня попасть на строительство.

Турсун засмотрелся на эти часы и нечаянно сказал:

— Проступок товарища Ржепышевского...

Он сказал именно так — «Ржепышевского», а не «Танина» — только из-за того, что часы были те самые, в краже которых его обвиняла Анжелика Ромуальдовна и которые Славик хотел подарить в детстве Турсуну, да так и не собрался.

И Фузайлов так рассердился на эти часы, что назвал своего сына фамилией бывшего помощника начальника области.

Нерес от удивления вытаращил глаза, но ничего уже нельзя было поделать, — пришлось тут же объяснить членам партколлекции, как гидротехник обманул их.

Турсун оговорился совсем некстати, — и лишь из-за этого нечаянно выдал своего сына, а потом ничего не осталось иного, как переменить еще не высказанное предложение:

...— Исключить гидротехника Ржепышевского из коммунистической партии, — закончил свою фразу Турсун.

Предложение было принято, — только и всего.



## 11. В с к о б к а х

Фельетонист окончил свои чувствительные записи. Он бросает старые фотографии, клочки старых газет, старые записные книжки в сундук с разным хламом.

Фельетонист разделался с воспоминаниями и с насморком, но он не уходит, чего-то ждет, смотрит в окно.

(Стены двора графлены прямоугольниками окон, прямыми карнизов, — шесть этажей крепкого рыжего кирпича.)

Дворник киркой пробивает ложбинку во льду, — для весеннего мутного ручейка. С крыш стекает обильная капель, и сосульки, обламываясь, пролетают вниз, вдоль водосточных труб.

Во двор входит татарин-старьевщик. Что он такое кричит? Фельетонист распахивает форточку:

— Халат, старый одеж покупа-ам.

Фельетонист высовывается, спрашивает, не желает ли татарин купить старых бумаг и старьей насморк. Татарин отрицательно машет головой и отвечает шутливой руганью. Из прачешной выходит прачка принять участие в веселой перебранке.)

Два звонка. Фельетонист выходит отпереть дверь персу в барашковой шапке. Они вместе спускаются на улицу, такси шныряет под мост у вокзальной площади, перс становится у кассы, берет билет, идет на платформу.

(В поезде — вагон с дощечкой, на которой написано название родного городка. Перс находит свое место. Сколько пассажиров едет в родной городок! и все незнакомые, молодые, новые люди. Да и сам фельетонист молодой, ему всего тридцать лет и он очень соскучился по своим друзьям, не может усидеть в вагоне, дожидаться, пока отправится поезд, проводить Турсуна.)

Такси везет его обратно в город, к шести серым упорным этажам редакции.

Друзья окружают фельетониста, поздравляют с приездом.

— Ну, как тетка?

— Тетка... она, видите ли, немножко... умерла. А родной городок—прекрасный городок, такой благоустроенный теперь, и парк там, и на острове разные птицы... Впрочем, нет, птицы—это летом. Но городок—очень хороший, лучше и желать нельзя. Только,—что делать? — фельетонист теперь больше любит шесть этажей своей редакции.

Сколько материалов, наверное, накопилось в ящике стола, где «Справочник ТАСС»!

Фельетонист старательно прочитывает корреспонденции, делает подсчеты, потом достает самопишущую ручку:

«Весенняя посевная—в разгаре, — пишет он, — снабжение высокосортными семенами в большинстве округов Северного Кавказа оказалось удовлетворительным.

Дигорский комбинат (северная Осетия) получил новые тракторы, сеялки и триера.

Мы должны добиться выполнения посевных планов на все сто процентов.

В этом году посевная площадь превзойдет...»

«Превзойдет» — выводит самопишущее перо, и фельетонист улыбается радостной выздоровевшей улыбкой, —  
п р е в з о й д е т .

Иваново-Вознесенск, 1928—29.

---

# Гибель биолога Давыдова и народного учителя Автономова 5 сентября 1929 г. на реке Сулоти

Рассказ

МИХ. ПРИШВИН

## I

Между деревней Власово, по старой административной географии Сергиевского уезда Московской губернии, и селом Ведомшей Переславского уезда Владимирской губернии есть Ольховое болото, родина замечательной реки Сулоти, в которой так недавно в предрассветный час на утиной охоте погибли московский биолог Давыдов и народный учитель из села Заболотье Автономов. Я не был прямым свидетелем несчастья, но в это время жил на той же Сулоти в нескольких верстах от села Заболотья и так хорошо знаю край этот и охоту, что рассказать о гибели двух очень деятельных людей в цветущем возрасте считаю своим долгом. Мои фотографии технически нисколько не лучше тех, которые мы ежедневно видим в газетах, но роль их у меня другая. Там фотографии есть просто свидетельство факта, а у меня это «л и т-факт». Вот что это значит. Часто рассказываешь что-нибудь заманчивое, наступает тишина, и так летит время. И вот, когда кончишь, такой сочувствующий голосок слышится: «Скажите, как же это было на самом-то деле?» Тогда попадаешь в глупейшее положение, потому что вот только что вложил себя самого, свое самое лучшее для передачи факта, а слушатели просят рассказать о факте без себя. Так вот как я понимаю «л и т-факт»: это действительный, самый обыкновенный факт, предусмотренный, однако, мной как литератором для удовлетворения тех наивных читателей, которые спрашивают: «Скажите, как было на самом деле?» Иначе выразить, я как литератор—человек скомпрометированный, всех литераторов подозревают в обмане, в том числе и меня, а потому мне приходится стремиться к фактам гораздо больше, чем простому газетчику. «Врете!» — крикнут ему. — «Врут факты, — ответит он, — а я передал верно». Тогда кидаются на факты и забывают газетчика. У нас в литературе этого быть не может, наши лит-факты неразрывно связаны с нами, и ответ за них непременно ложится на автора, задача которого представить себя самого как факт. Так вот что

значит лит-факт, в этом смысле фотография должна быть достойным приемом для литератора.

Называют За-болотье, а сами едут туда горой, даже на автомобилях. Нам, когда мы шли на похороны со стороны деревни Морозово по

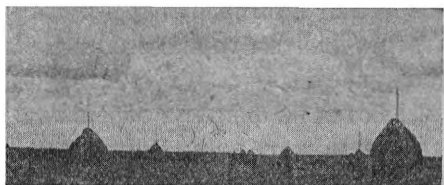


Лавы через р. Сулоть против с. Заболотье, более версты длиной. Катастрофа произошла в нескольких стах метров от лав, на Стрежне.

дощечкам разрушенных лав через Сулоть более версты, село Заболотье было действительно в полном смысле слова за-болотным селом.

Думается, не будет ошибкой ни в каком отношении, если Сулоть назвать не рекой, а системой озер, соединенных между собой протоками. Движение воды между этими озерами, однако, такое ничтожное, что в большинстве случаев догадаться о нем можно только по направлению осей листьев водяных растений. Ближайшее к истоку Сулоти

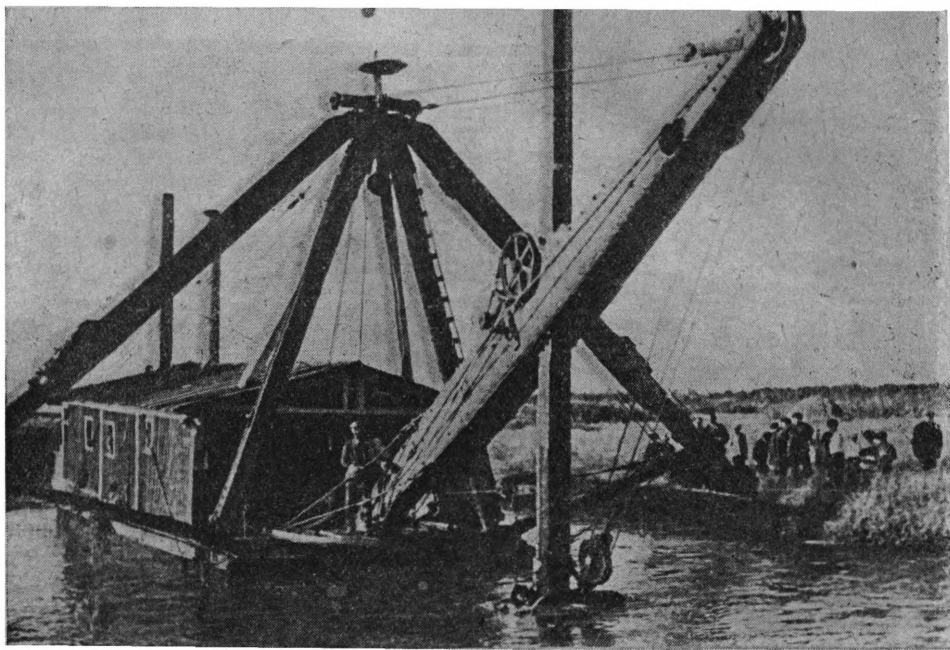
такое озеро-плесо называется Лохонью, весьма вероятно потому так, что на поверхности его нет воды, можно ходить, а под низ вода льется из разных рек, как в лохань. Это зыбкое поймо летом косят крестьяне разных деревень, расположенных отсюда в пяти—десяти кило-



Лохонь

метрах, и сено остается на месте до самых лютых морозов. В один из таких сильно морозных дней крестьяне собираются целыми обществами, идут в Лохонь и ломают по пути тонкий лед-тощак, не дающий воде замерзнуть. Как долька тощая пленка льда сломана, вода выступает наружу, замерзает мгновенно на сильном морозе. Так создается самая крепкая ледяная дорога на топком болоте и по ней крестьяне вывозят к себе в деревни из Лохони пойменное осоковое сено.

Давным-давно инженеры придумывали различные проекты, чтобы дремлющие в утиных тростниках плесы Сулоти спустить по Дубне в Волгу. Но сама Дубна в иных местах ничем не лучше Сулоти. Несколько лет тому назад прибыл с Амура старый, растрепанный пловучий экскаватор, и на Дубне началась прочистка русла. Старые крестьяне относятся недоверчиво к осушительным работам на Дубне, они говорят, что дно Лохони много ниже уровня Волги и что это:



ковш никогда не удастся спустить. Возможно, это напрасное опасение, однако, сама Дубна до того медленна, что экскаватор борется за каждый сантиметр горизонта, и машина, кажется, больше проводит времени в бездействии на мели, чем в работе.

Кроме Сулоти, в Лохонь впадает со стороны Вонятина и Пустого Рождества эпическая Сухман-река (или Сухманка), а также Крестница, Вздерниножка и другие речки с не менее интересными именами. И все-таки Лохонь признается больше за дуг, чем за плесо Сулоти, точно так же, как последнее громадное плесо, висящее над самой Дубной, всеми называется не плесом, а озером. Это у села Заболотье знаменитое своими утиными охотами озеро Заболотское.

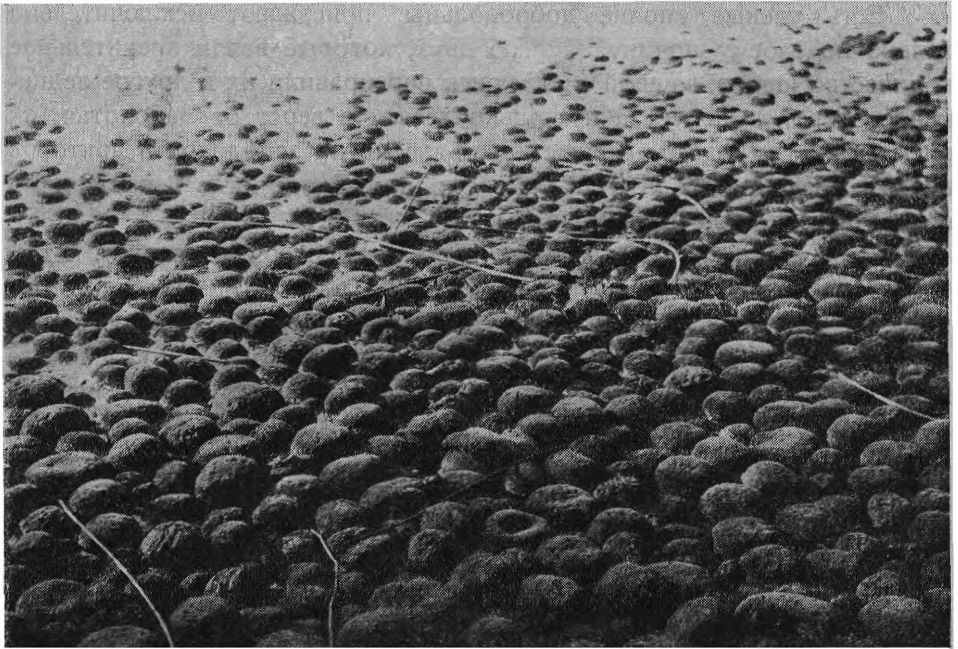


Заболотское озеро. Темные пятна на белом прибое—это обнаженная при спадании воды знаменитая водоросль *Claudophora*, или по местному названию просто «ш а р ы».

Дно этого озера покрыто редчайшей водорослью *Claudophora Sauteri*, имеющей вид зеленого шара. Нынешним летом, вследствие осушительных работ по Дубне, вода из озера стала уходить, и драгоценнейший реликт ледниковой эпохи мало-по-малу обнажаться и гибнуть на воздухе.

Ученый мир сильно взволнован близким исчезновением вида, имеющего в Заболотском озере самую южную предельную границу своего существования.

Приезжают разные геологи, гидрологи, биологи, как их называют крестьяне, доктор а воды, вероятно, потому, что измерение электропроводности воды новейшими инструментами очень напоминает выслушивание докторами больных.



**Шары.** Этот снимок мне был прислан анонимом, повидимому, заинтересованным скрыть свое имя вследствие служебных обязанностей по спуску озера. Неизвестной мне рукой было написано: «Горизонт озера спадает. Клавдофора обнажается и погибает. Надо спасти ее. Скоро уже будет поздно»



**Шары.** Шары лежат в воде на дне без корней и стеблей, при сильном ветре могут, конечно, перемещаться. Достают их обыкновенно рукой из лодки, выжимая на воздухе насыщающую шар обильную воду. Темные пятна за рукой на воде— это все обнаженная водоросль. Самые последние исследования показали, что все дно озера покрыто шарами, и значит у нас остается время спасти водоросль, пока экскаватор не врежется в самое озеро

Есть ученые вполне добровольцы, приезжают исключительно только по своему почину. Я знаю двух, которые взяли значительное количество шаров, за свой счет и риск переправили их в другое ледниковое озеро, лежащее за несколько десятков верст от Заболотья: их риск был в том, что суеверные крестьяне могли заподозрить докторов воды в желании отравить озеро, приходилось водоросль пересаживать ночью и с большой осторожностью.



Доктора воды. Химик Косинской биологической станции выслушивает электропроводность воды Заболотского озера

Биолог Давыдов, нынешним летом погибший в Сулоти, был одним из докторов воды, он приехал поглядеть на погибающий доставшийся нам от ледниковой эпохи уголок природы. Как многие биологи, Давыдов был охотником, и на Стрежень он попал, конечно, не за Клавдофорой, а за утками. Именно вот для этого мне пришлось говорить так пространно о географии Сулотского края: не в озере Заболотском, как говорят теперь, погиб биолог Давыдов, а на одном из плесов Сулоти и даже не ближайшем к озеру. Место катастрофы называется Стрежень, совсем близко от него заболоченное место пересекают те разрушенные лавы, более версты длиной, о которых я уже говорил.

## II

С учителем Автономовым я давно знаком, но как-то ни разу не пришлось с ним поохотиться. Он шепелевский, но, когда я приезжал в Шепелево, Федор Степанович обыкновенно уже начинал свои занятия в Заболотье, где он был учителем и председателем коллектива охотников. В Шепелеве я охотился обыкновенно с другом Автономова, кавалером Красного Знамени Иваном Петровичем Елкиным. Автономов и Елкин, между прочим, вели между собой постоянный спор: Автономов стоял за железные лодки, Елкин—за деревянные долбленные челночки. Кто первый начал ездить на железной лодке, я не помню, хотя началось это не так давно. Автономов, первый утиный охотник в краю и прямо можно сказать водолаз, делал эти лодки собственными руками из листового железа. Выходили эти лодки до того легкими, что в трудных для проезда местах такую лодку можно надевать себе на голову, как шляпу, и, прыгая с ней по кочкам, добираться до открытого плеса. Второе удобство железной лодки и очень серьезное — что она скользит по резуну (телорез), а деревянная в нем застревает. Кто видел на Сулоти



эти глеса-озера, так заросшие телорезом, что бывает издали и воды не узнаешь, тот поймет, какое удобство представляет железная лодка, в особенности для охотника, стреляющего уток с под'езду, а также для утиногo разведчика в поисках еще никому неизвестных утиных приса-дков. Есть одно возражение против железных лодок: если такая лодка перевернется, что постоянно бывает на охоте, то она не держится на воде, как деревянная, за нее нельзя ухватиться и подержаться: железная лодка в один миг исчезает под водой и охотнику приходится плыть по резуну, что и совсем даже невозможно.



На плесе Сулоти, заросшем телорезом. С наступлением первых холодов телорез опускается вниз и плесо принимает вид озера

Не приходилось мне ни разу тонуть, спасаясь, плыть в телорезе, только видел раз своего младшего сына в таком положении: длинней-шие стебли растения с тинной и всякой дрянью после двух-трех ударов саженками наворачивались ему на шею, насаживались на плечи, и, когда плыть становилось невозможно, он в одно мгновение с силой скидывал с себя через голову огромный зеленый хомут, спускал его себе под ноги и несколько секунд отдыхал, стоя на нем; запасшись воздухом и сила-ми, мальчуган в тот самый момент, когда, погружаясь в тину вместе с хомутом под ногами, должен был ртом хватить воды, вновь бросался плыть за убитой уткой. Вероятно, он и достал бы ее или утонул, но по неопытности молодой охотник; раздевшись, снял с себя и белье, резун исполосовал все его тело, стало до крайности больно, это заставило опомниться и вернуться назад без утки. Страстный охотник с собакой редко бывает хорошим утиным охотником, я в общем сравнительно очень мало имел опыта на утиных охотах и не испытал и по себе не могу

ничего сказать об утопании в тине и резуне. Но самому погибать ведь гораздо легче, чем смотреть на это при полном бессилии и невозможности помочь, как было это со мной, когда я прибежал к берегу и увидел мальчугана, теряющего силы в густом резуне. И все-таки я стою за железные лодки: пилот рискует в сто раз сильнее и все-таки летит. Весь спорт основан на риске.

Красный командир, переживший всю войну на фронте, насквозь простреленный в живот, раненый много раз в ноги, кавалер Красного Знамени Иван Петрович Елкин стоит за деревянные лодки, конечно, не потому, что лично боится железных. Ему, как и многим другим охотникам, часто приходится возить не плесы московских гостей, иногда с очень значительным положением или общественным весом. Вот почему Елкин против железных лодок: стоит важному лицу с большим удельным весом неловко шевельнуться при неожиданном взлете криквы, и лодка мгновенно идет ко дну. Московский охотник не может приучить себя к мысли, что сулотская долбленая малюсенькая лодочка, приспособленная для проезда в теснейших местах, — не лодка в общепринятом смысле слова, а скорее велосипед, на котором ни одного мгновенья нельзя быть вне равновесия. По старой славе Сулоть привлекает и в наше время особую рода столичных охотников, людей крайне занятых, которым некогда охотиться в широком смысле слова, а только приехать на одну-две зари, сесть на подготовленную кочку и стрелять, ничего, если не в меру, только, чтобы не скучно было, только бы выпустить весь чемодан приготовленных зарядов. В Заболотье, в Калошине, в Шепелеве многие заботой о московских охотниках кое-что себе подрабатывают. Автономов охотился только для себя. К домику красного командира в четыре окошка, какому-то голому домику без копыт на грязи каких-нибудь домашних животных, зато с отпечатком многих маленьких ног, с высочайшей антенной под самые небеса, часто даже среди ночи подкатывают автомобили и берут сонного Ивана Петровича с собою на плес. Вот почему Автономов, охотник для собственного удовольствия, всегда стоял за железные лодки, а Иван Петрович признавал только деревянные.

Неверно будет сказать, что Автономов тонул, скажем, десять раз — нет! надо сказать: десятки раз тонул Автономов. У него здоровье железное, сила непомерная, по резуну, по тине плыть ему нипочем, ни простуда не берет его, ни утомление, и возраст самый счастливый, богатырский: нет тридцати. Когда слух побежал по краю, что утонул Автономов, никто не поверил, что он совсем утонул. Один паренек ходил в Сергиев и возвращался около этого времени в Заболотье. В Зимняке ему сказали, не поверил, ответил: «Брешут, Автономов сто раз тонул». В Мергусове ему опять: «Утонул Автономов». Опять не поверил. В Смоленске, услышав опять, что утонул и что даже лежит на столе в нардоме, задал вопрос: «Сам видел?» И, услышав в ответ, что не видел, а слышал от тех, кто сам видел своими глазами, не поверил и дальше пошел. Только в Калошине сказал очевидец: «В нардоме лежит и с ним какой-

то московский». Тут только в Калошине у самого Заболотья поверил и ужаснулся.

Я сам не поверил, когда вечером пришел к себе в Шепелево из леса. — Где? — спросил я. — На Стрежне, около самых лав, — ответили мне. — Вздор! — воскликнул я. — Верней всего там он окунулся, вылез на морозовский берег и пошел чай пить в Федорцовский трактир.

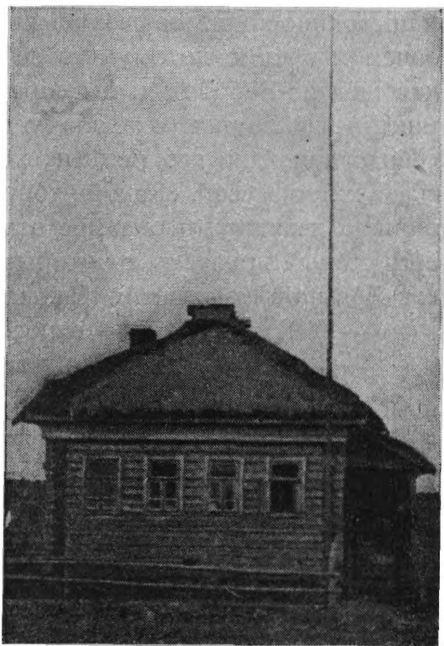
— Нет, утонул, — сказал Иван Петрович, подходя ко мне с телеграммой в руке.

Телеграмма была от председателя сергиевского коллектива охотников Раевского: он просил Елкина, красного командира, организовать взвод охотников для салюта на красных похоронах, а меня — сказать речь на могиле.

По поводу самого факта гибели Автономова и с ним какого-то московского Елкин не стал много разглагольствовать, двумя вескими словами он все объяснил, слова эти были:

— Железная лодка.

Спорить с ним было теперь уже некому, заступник железных лодок погиб.



Дом красного командира Ивана Петровича Елкина в Шепелеве



### III

Собирать охотников по деревням для салюта на красных похоронах не оставалось времени, Мы, четверо шепелевских охотников, пошли на похороны с ружьями, уверенные, что в Заболотье к нам присоединятся не только местные, но и калошинские, и скорынинские, и балеботинские, а может быть, придут даже и из Смолина, Мергусова, Копалова, Селкова и Петрушина. Иван Петрович, конечно, украсился орденом Красного Знамени.

От Шепелева до Заболотья пу-  
стыяковое расстояние для охотни-

ков, всего верст десять, если идти через новый сулотский мост и Федорцово, но мы сократили путь переходом через Строилово-Морозово к лавам, возле которых на Стрежне и произошла катастрофа.

По пути нам встречались разные люди, потому что в Заболотье есть фитильная фабрика, многие рабочие живут по эту сторону Сулоти и постоянно ходят по разрушенным лавам. Все встречные догадывались, зачем мы идем, потому что событие захватило умы всего края. Тех, кто шел из Заболотья, мы спрашивали о погибшем московском охотнике, но никто ничего не знал о нем, кроме того, что он московский, что сейчас приехали его родные, ходят по селу, плачут. Наконец, кто-то сказал: профессор. «Какой утонул профессор»? — спросил я одну фабричную девушку, и она мне ответила: «Профессор Давыдов». У меня есть старый приятель, с которым мы не виделись очень давно, профессор Давыдов Константин Николаевич, биолог.

— Как его зовут? — спросил я девушку.

— Кажется, Василь Николаевич.

— А не Константин?

— Вот, вот, Константин, — спохватилась она. — Константин Николаевич.

— Какой он с лица?

— Хороший, как вы.

Это значило: не рябой, не кривой.

— С бородой?

— Как у вас.

Он!

Сердце у меня упало. Давыдов был по духу мне отчасти сродни, тоже вдруг исчезал из общества надолго и вдруг появлялся откуда-нибудь из Новой Гвинеи, где прижился у дикарей в поисках эмбриона гориллы. Трудно представить себе человека более свободного, и вот смерть, как расплата за свободу, постепенное погружение в тину: что-то в роде провала Дон-Жуана от каменного пожатия руки.

Он!

Разрушенные лавы через заболоченную Сулоть длиннее, чем мост через Неву, больше версты, часто идешь между столбами по ныряющей дощечке, или остановишься, не решаясь погрузиться, может быть, и в глубокую воду. На середине пути у лав против Стреж-



ня мы увидели лодку с багром и догадались верно: на ней извлекли трупы и лодку оставили...

Против мыса на Стрежне виднелся какой-то колышек,—мы опять догадались, что так отмечено место гибели. Фабричная девица, разодетая по случаю нерабочего дня, раскорякой ползла по бревну через глубокую лужу. Она указала нам колышек, еще более близкий к берегу, совсем сухому месту, даже с плотиком, значит действительно погубили у самого берега, десяток-два шагов, несколько взмахов рукой.

— Как зовут Давыдова? — спросил я.

— Кажется, Владимир Николаевич.

— Может быть, Константин?

— Верно, ошиблась я: Константин Николаевич.

Он!

И опять мне представилась жизнь, посвященная удовлетворению чувства свободы и заключенная так ярко выраженной необходимостью так или иначе окончить ее: задохнулся в воде у самого берега.

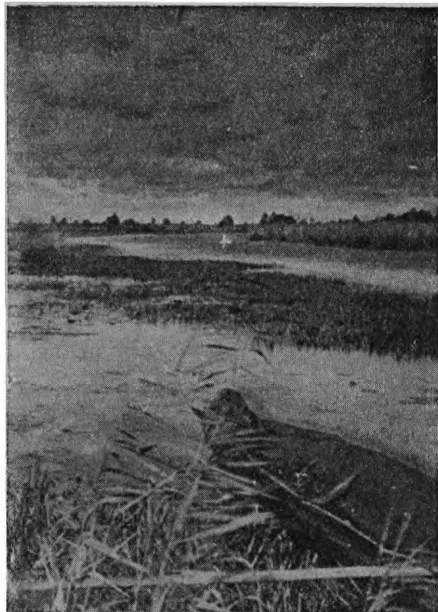
— Мокушка была на виду! — сказал мне через несколько минут один рыбак, извлекавший трупы.

Он пришел сюда за своей лодкой, имя его Мореев. Он все нам рассказал. Их было трое московских охотников. Автономов везти их на уток не хотел, отговаривался и простудой и что лодка его для одного, опасная. Упросили. За полночь сидели, рисовали карту озера, потом в темноте пошли к берегу. Конечно, Автономов развозил по одному, посадил первого на кочку в кусту...

— Вон куст! — показал нам Мореев.

Мы с волнением стали спрашивать: «Какой, где»? и вдруг оттуда, из этого самого куста, грянул выстрел, взлетела стая уток, совершенно таких же крикв, какие бывают всегда. На этом человек с природой расходится часто в обиде и злобе на то, что она не поддерживает его в скорби, продолжая при всяких человеческих трагедиях быть равнодушной.

Про охотников, стреляющих в уток в день похорон, Мореев сказал: «Поспеют!» и передал нам неприятное известие, что музыканты задержатся в Сергиеве и только к двум часам придут на грузовике.



Стрежень. Судя по названию стрежень, можно думать, что когда-то это место было широким и быстрым. Впрочем, и теперь сравнительно с другими плесами стрежень и глубокий и с заметным течением. Место катастрофы против мыса на снимке обозначено крестиком



Торопиться было некуда. Вытащив лодку на берег, мы опрокинули ее и сели отдыхать. Мореев начал передавать нам, как он представляет себе ход событий этой погибельной ночи. Один охотник сидел на месте в кусту в ожидании рассвета и утиноного перелета. За другим, Давыдовым, Автономов поехал к берегу, взял его, третий остался на берегу в ожидании своей очереди. Было еще совсем темно. Сидевший в кусту охотник услышал, повидимому, крик Давыдова: «Погибаем». И в ответ этому был голос Автонома: «Ничего, спасемся!» Потом вскоре все стихло. Сидевший в кусту вместо того, чтобы кричать, стал стрелять и совсем бесполезно, потому что ко всякой, даже самой частой стрельбе, в Заболотье привыкли и не обращают на нее никакого внимания. Охотник, оставшийся на берегу, побежал в село, его послали к Морееву. Кто мог поверить, чтобы Автономов утонул по-настоящему! «Где-нибудь на берегу в темноте сушатся» — ответил он и нехотя стал одеваться. Когда пришли к лавам, лодки Мореева, оказалось, там не было и никакой вообще лодки. Только к десяти утра удалось пригнать лодку с другой стороны озера. Семь часов утонувшие были под водой и все-таки их, конечно, откачивали.

Во время этого рассказа к нам подошел молодой знакомый мне пастух из Переславиц, большой приятель Автонома, в руке его была детская погремушка из можжевельника, сделанная особенно старательно для Автонома. Этот пастух упросил Мореева рассказать все сначала и особенно внимательно слушал. Мореев повторил рассказ свой, уверяя нас, что искал он нехотя, не торопясь, рассчитывая, что Автономов утонуть не может. И только-только хотел было бросить поиски в воде багром, вдруг увидел, что быстрая струйка подмывает челове-

скими волосами, и это, оказалось, была голова Автономова: он стоял в воде, под мышкой у него было весло, на него он опирался, потому и стоял, чуть согнув голову, а Давыдов лежал у его ног. Лодки не было, ружье Давыдова без антапок стояло торчком, ложей вверх возле Давыдова, ружье Автономова было у него за плечом на ремне.

Вот и все. По этому рассказу мы себе ясно представили, что неопытный Давыдов неловко шевельнулся в лодке, она зачерпнула воды и пошла вниз на глубине Стрежня в двенадцать аршин. Некоторое время, вероятно, Автономов тащил на себе неумеющего плавать Давыдова, очень возможно даже, что и ружье его держал, потому что ружье все-таки нашли вместе с утопленниками. Потом что-то случилось, нам совсем неизвестное, можно догадаться, что Давыдов судорожно схватил Автономова и плыть ему стало невозможно.

— Нет! — горячо воскликнул молодой пастух. — Это не так, вы не знаете Автономова: он из сил выбиться не может, сил у него хватило бы...

Помолчав немного, подумав, пастух решительно сказал:

— А я полагаю так, что Автономов от стыда умер.

— Вот что придумал! — сказали мы.

— Не-не! — упрямо ответил пастух, вполне убежденный. — Если была видна мокушка из воды и голова чуть-чуть согнута, значит, если бы ему выпрямиться, он мог бы дышать, так почему же он не выпрямился? А вот почему: как увидел он, что Давыдов захлебнулся, что никак ему не спасти его, то взял и согнулся нарочно. Я ведь очень хорошо знаю Автономова: он от стыда утонул.



Во время рассказа я, конечно, не один раз представлял себе знакомые мне лица, молодое лицо сильного удалого парня Автономова и тоже энергичное, живое лицо пожилого Давыдова.

— Давыдов, Константин Николаевич? — спросил я Мореева.

— Да, кажется, Константин, вы его знали? Ну, так надо же вам спешить, его сейчас увозят.

— Увозят!

Увезут, и я не только никогда больше его не увижу, но даже весь день сегодня и завтра и еще, может быть, долго не буду знать, верно ли это был мой Давыдов...



Почти бегом мы пустились в Заболотье и там скорей к народному дому, в котором лежали тела.

Большая толпа собралась возле дома с очень потрепанными окнами, нечего думать пробиваться через нее, да и не к чему, по движению в окнах и у лестницы видно, что гроб уже выносят, вот уже и показалась рогожка, подехала подвода, выносят... Какой-то молодой человек укладывает, хлопчет, я скорей пробиваюсь к нему, беру его за руку...

— Это Давыдов, биолог?

— Да, биолог Давыдов.

— Константин Николаевич?

— Нет, Владимир Николаевич.

И все кончилось...

Сказать, чтобы я обрадовался и мне бы сразу стало стыдно своей радости об одном биологе Давыдове у трупа другого биолога Давы-



дова, — нет! я ничему не обрадовался, но только явилось у меня глубокое равнодушие к телу этого неизвестного мне биолога Давыдова, какая-то постыдно-унизительная реакция на обман души, вовлеченной в болезненное и сладкое переживание трагического.

Оставался со мной один Автономов.

— Я вам это верно говорю — не раз шептал мне пастух, — Автономов Федор Степаныч от стыда умер.

Подвода с гробом Давыдова, выбравшись из толпы, несколько минут как бы тянула за собой немногих, но меньше, меньше, потом и последние остановились в нерешительности, и она двигалась вперед по улице уже одна и рядом с ней шел без шапки молодой человек, у которого я спрашивал.



#### IV

Мы дожидались музыкантов из Сергиева до двух часов, пили долгий чай у Мореева, Иван Петрович рассказывал о своих бесчисленных боях в Крыму за Перекоп, на льду против Кронштадта, в степях за Волгой и в Карелии среди лесов и пустынных озер. За карельские дела он получил орден Красного Знамени. Многому пришлось мне удивляться, довольно хотя бы и того, что времени счетом прошло так немного, что Ивану Петровичу нет еще сорока, а между тем казалось, что все это дела давно минувших дней. Но больше всего остановило мое внимание то место рассказа, когда Иван Петрович увидал свою часть окруженной белыми и, убедившись в невозможности сопротивления, склонился к земле, достал свежего коровьего навоза и вымазал себе поскорее лицо. — Я командир от сохи, — сказал Иван.

Петрович, — с виду, может быть, и плохенький, а все-таки командир, заметно, всякого командира сразу узнают и расстреляют непременно, вот я вымазался и не узнали. — Меня вот именно это и остановило, что простому рядовому солдату стоит только немного покомандовать, и лицо его получает до того видимые черты носителя власти, что для скрывания их приходится мазать себе лицо коровьим навозом. Иван же Петрович подумал, что не этому я удивился, и принялся по-своему толковать этот случай, тоже с уклоном в житейскую философию: что вот именно такая находчивость, большей частью тоже смешного характера, спасает людей на войне. «А что разве мог бы я уцелеть после стольких боев!» — воскликнул Иван Петрович и заразительно засмеялся. Тут я обратил внимание на другое и подивился тому, какого политика и дипломата сделала жизнь из обыкновенного деревенского парня. Я спросил его о красных похоронах довольно наивно, что почему же непременно должны эти похороны быть красными, если покойный учитель не был партийным и фамилия его как-будто даже церковного происхождения: Автономов. На этот вопрос, рискованный в известном обществе, среди людей, быть может, враждебно настроенных к безбожникам, Иван Петрович очень ловко ответил:

— В силу сложившихся обстоятельств, — сказал он, — Автономов учил детей, что никакого бога нет, а попы обманщики. Своим хорошим учением по всем другим предметам, лаской, игрой с ребятами он заслужил среди них большую любовь: спросите любого на улице от самого маленького. А если он учил одному, а хоронить его будут попы, что же будут думать ребята о таком двоедушии...

Что же касается церковной фамилии, то оказалось, покойный был настоящим крестьянином и даже бедняком, коренная фамилия его была Антонопов, но мальчик в деревенской школе оказал такие успехи, что его устроили сначала в духовное училище, а потом в семинарию и там на поповский лад переделали фамилию. Революция застала его в семинарии. Все теперь было понятно, семинария создавала чуть ли не главный кадр безбожников чисто механически, потому что любого человека, если заставить есть только сладкое, ему непременно захочется кислого и горького и, если тоже заставить обязательно под страхом лишения куска хлеба твердить одно только слово бог, то заветным желанием у такого человека будет дожидаться той поры, когда можно будет поминать чорта по крайней мере на тех же правах, как и бога...

Наша беседа за чаем оборвалась ватагой ввалившихся охотников с берданками, они явились прямо с плесов, некоторые уже, вероятно, по случаю похорон главного утиного охотника навеселе.

Появилось откуда-то вытащенное из-под воды ружье покойного Автономова с подмоченными медными патронами, ружье было более редкого 16-го калибра, патронов к нему ни у кого не нашлось, и начался спор, возьмет ружье подмоченные патроны или не возьмет. Решили испробовать патроны на могиле хозяина ружья во время салюта.

Большинство ребят было из нынешних деревенских, от ворон отстали и к павам не пристали, деревенский труд им противен, а в гору на фабрику не могут пробиться, народ полудикий, в особенности если в руке его берданка и в голову ударило. Озабоченно осмотрев публику, Иван Петрович потребовал, чтобы все сейчас же шли на двор фабрики подучиться ходить в строю, в особенности же по команде «пли!» стрелять всем разом, а не в разную, как это всегда бывает при салютах охотников без военной подготовки.

Мы отправились на фабрику. Несметная толпа народа собралась из разных деревень, прослышав, что из Сергиева будет музыка. Деревенские девочки надели припасенные на торжественный случай белые чулочки, в красненьких и беленьких платочках, в модных коротеньких юбочках, на которые к удовольствию родителей нужно всего только по метру, иногда они очень были похожи на диковинных голенастых птиц. Все мальчишки, само собой, бросились за нами великой своей ватагой, просили стрельнуть, смеялись, дразнились. Издали на все косились остатки кулаков в изодранной одежде, но все-таки с довольно толстыми шеями. Дверь фитильной фабрики с железным засовом разделила нас от буйной толпы маленьких озорников, им оставалось только без перерыву дергать за фабричный звонок у ворот, и этот резкий звук большого сильного колокольчика во время нашего обучения военному строю рстается и сейчас со мной, как только я начинаю вспоминать красные похороны.

— Взвод, стройся! — командовал Иван Петрович.

И вдруг:



— Михаил Михайлович, станьте на правый фланг.

Не будучи военным, я догадался, конечно, что на правом фланге почетное место, но очень задумался: если бы это было революционное творчество военного быта, то, конечно, почетное место было бы на левом фланге... «А может быть, — подумал я, — Иван Петрович, большой дипломат, подозревает во мне правые убеждения и хочет щегольнуть передо мной знанием обычаев императорской армии?» Я делал вид, что не слышу или не понимаю команды Ивана Петровича, пока, наконец, он сказал: «Вам ли, Михаил Михайлович, быть на левом фланге!» Взял меня за руку и перевел на самый край правого фланга.

Чтобы свободней наблюдать в себе внутреннее отражение внешних событий, фотографирование поручил я сыну, но постоянно был в тревоге, заметит ли он, схватит ли тот или другой характерный момент. Я потом его спрашивал: «А поймал ли ты позу, когда стал Иван Петрович перед нашим маленьким фронтом и вдруг всем нам стало понятно, что это настоящий командир и никакой другой человек так не станет?»

— Ну, как же! — улыбнулся мой сын.

— А тот момент, когда странно так вдруг замолчал колокольчик и там за воротами тысячная деревенская толпа не дышала, а издали слышались ритмические вздохи огромного геликон-баса. Как потом было это все ближе, ближе, толпа уже гудела, но музыка преодолевала гул победно, музыка все захватила, и вдруг широко раскрылись ворота нашей фабрики, и грузовой автомобиль в'ехал к нам на двор, и музыканты все не переставали играть. Снял ли ты это, успел ли поставить диафрагму на резкость и согласовать с этим скорость экспозиции?»



— Все я сделал, что мог,—ответил мой сын.

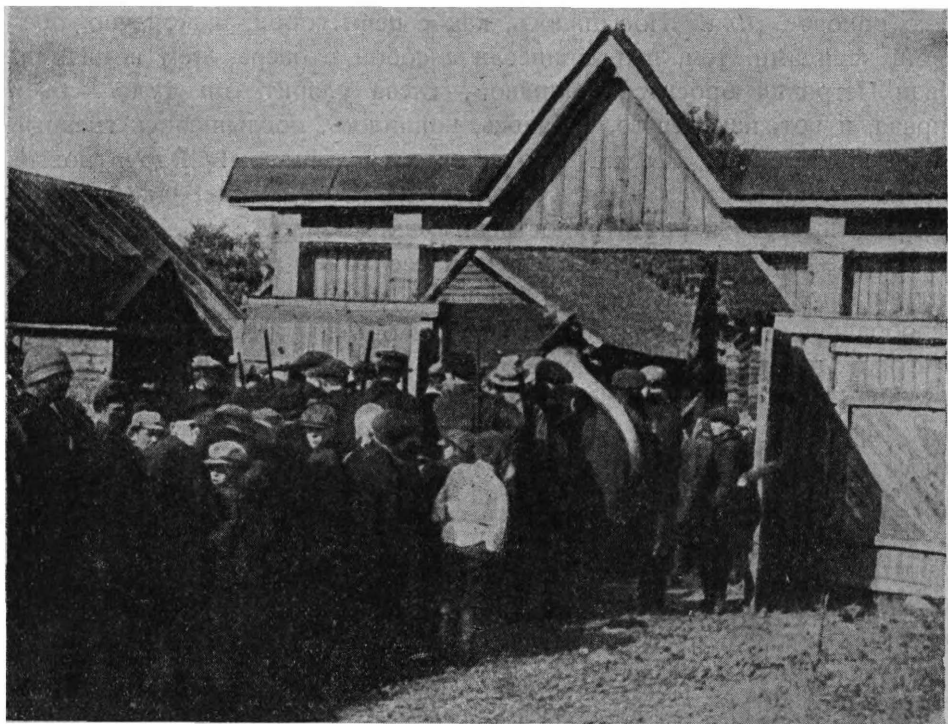
— А когда мы выстроились, красное знамя, две шеренги музыкантов, обвитых медными трубами, мы, охотники с ружьями, ячейка, комсомолочка в белых чулочках, та самая, что дежурила у гроба в почетном карауле, а потом все приставала снять с нее портрет?

Сын мой ответил, что все это он снял, и мне пришлось успокоиться с двух сторон: или это добрый сын и смотрит на мир моими глазами или события повелевают и перед ними мы все равны.

Мы шли под музыку сначала к нардому, чтобы взять с собой тело. Однако, толпа нажимала на нас с такой большой силой, что не только в ногу идти не было никакой возможности, но просто найти товарища возле нардома мы с Иваном Петровичем могли только по там и тут торчащим в толпе ружейным стволам. Во время выноса тела из нардома кто-то из охотников сказал:

— А что, Иван Петров, если по разику ахнуть для практики?

Мысль была неглупая. Иван Петрович тихонько посоветовался со мной: знает, что салют бывает на могиле, а возможно ли при выносе? Я ответил, что для практики даже и необходимо по разику.





— Разрешите вам по разику, — сказал Иван Петрович охотникам, — вы захотите по два, да у меня чтобы этого безобразия не было!

И начал командовать. Все шло отлично, пока не было произнесено роковое «пли!» Посыпалось, как с печи горох, и, конечно, боевыми зарядами, тем, что принесли с собой с озера, тем и палили. Иван Петрович бросится направо, — слева ударит, он туда, — бьет справа, и вот, наконец-то, казалось, кончилось, послышались гневные слова командира: «Вы не охотники, вы — бандиты!» Вдруг новый и сильнейший выстрел и вслед за ним радостный крик: «Взяло, взяло!» И опять выстрел и опять радостный крик: «Взяло!» Все это значило, что ружье покойника, чикнув сначала бесплодно по извлеченному из воды патрону, вдруг взяло, и обладатель его начал палить и кричать, не обращая никакого внимания на то, что тело уже вынесли, музыка заиграла, процессия тронулась.

Казалось, что у толпы была какая-то своя логика: пока мы шли к народу поднимать тело, она допускала нас соблюдать некий чин, как бы уважая некую необходимую пустоту, но когда пустота была заполнена, когда она почувяла, что там среди нас тело, то своими телами она стала туда к телу нажимать с такой силой, что в один миг от наших организаций сохранилась одна только музыкальная. С большим трудом я выбился из толпы вместе с какой-то благообразной старушкой, помог ей перелезть через канаву на боковую тропинку, после чего она спросила меня, будем ли мы стрелять на могиле. Меня до крайности удивило, что благообразная старушка, услышав ответ мой, что перед

этим было только для практики, а главная стрельба начнется только там, ответила: «Ну, нечего делать, надо идти послушать». И, конечно, вся эта огромная толпа собралась только на музыку, но что-то верно есть в самой этой музыке: волей-неволей похоронный марш каким-то чудом организовал и эту толпу, я посмотрел из-за канавки на все и—хоть куда!—вся толпа в общем шла торжественно, чинно, виднелись многие лица в прекрасной задумчивости. Много было потом и смешного и грустного, я бы мог рассказать, как одичавшие парни вовсе вышли из повиновения Ивану Петровичу, принялись стрелять в кресты православного кладбища. В каком волнении мы были, что нетрезвые стрелки побьют сидящих во множестве на деревьях деревенских мальчишек. И какие шаблонные речи говорили ораторы в роде того как: «Сегодня товарищ Автомонов в последний раз уходит от нас навсегда». В моей воле представить все так или эдак, но я подчиняюсь общему настроению: все сознавали, что Федор Степанович был отличным учителем, и хоронили его в общем серьезно и торжественно.

В особенности трогательно было среди шаблонных речей услышать звонкий голос мальчика. Ученик Автомонова читал сочиненные им на смерть учителя стихи, из которых я мог уловить только один: «И утопая, не кричал». Это, надо было понять, относилось против той версии рассказов о гибели охотников, по которой выходило, что «Погибаем!» кричал Автомонов. Другая версия была, что кричал Давыдов, а наш Автомонов ему ответил: «Не бойся, мы спасемся!»



А до чего чудесно было оглянуться вокруг себя: овес переспелый, желтый, как песок на блюдечке, был в кольце темных лесов, уже слегка подернутых лиловатой сентябрьской дымкой. Заросшее тростниками, сверкало вдали наше охотничье озеро.





# Д О М Ы С Л Ы

АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ

## С а д

**Н** А серой заре воробей был разбужен: потрескивая, лопались почки.  
Береза выкинула первый слизистый листок.  
Сияют умытые ландыши, им еще грезится зима.  
От набухшей вишневой ветви веет весной.  
Птичьи голоса свежи. Георгины и астры ведут хоровод.  
Маки стоят, как именинники. С елочной иглы свисает, словно вдовья слеза, росинка.  
Кактус, подставляя зеленые ладони, ловит светлые брызги, долетающие из фонтана.  
Куст шиповника всю ночь таил свой восторг, а при солнышке, под взволнованный птичий щебет, зацвел, распустился.  
Ветерок треплет рябину. Лапы пальм трепещут, будто ресницы взволнованной красавицы.  
Береза так легка, что, кажется, вот-вот взмахнет сквозным крылом и улетит расхорошая.  
Сребристый тополь подобен потоку, полному светлой силы, смотрю в переливы листвы, как в струи потока.  
Листья в зеленом пуху. На заре дрожат озябшие листья.  
День разыгрывается. Сколько во всем непостижимой премудрости!  
Былинка, не дающая тени на солнце, предстоит в славном явлении пред мексиканским кипарисом, имеющим пятнадцать метров в поперечнике.  
Иное дерево не берет топор, а стыдливая мимоза свертывается не только от прикосновения, но и от одного взгляда угрюмого человека.  
Так разны плоды одного корня, возросшие в неодинаковых условиях: вот поле для размышления над улучшением человеческой природы.  
Листья более мелкие, чем рыба чешуя, и цветы легче тени порхающей бабочки, а на плавающих в бассейне мясистых листьях виктории дети могут играть в мяч.

На сосновом сучке выкипает первая смолка. Стрекоза танцует над гвоздикой.

В зелени плюща, как смех, сверкает вьющаяся гималайская роза: поднимается ли в ней температура в пору цветения и любви?

Из-под забора буйно прут лопухи и репейник, разросшийся нерадением садовника. Думается о наших, за малым исключением, достижениях в литературе, музыке и живописи.

В тени цветы печальны. По мураве разбросаны вытканые солнцем ковры.

Богатое разнообразие форм, запахов, цветов и отцветков. Розы совершеннее самых гениальных стихов, африканские же стапелии воняют падалью.

Сколько тысячелетий воды жизни мыли корни орхидеи, имеющей пятнадцать тысяч видов?

Растения юные и вымирающие, доморощенные и бродяги. Береза пришла в Сибирь с русскими дружинами в XVI веке, а дерево гингко еще в доисторическую эпоху откочевало из Европы в Китай и Японию и лишь недавно возвращено оттуда на свою прародину.

В каждом листке отражается солнце, и дивным светом сквозит душа самой весны.

Вечер, вокруг разлита кроткая печаль.

Листва шелестит в полусне. На стволах сосен вянет заря.

Цветы, словно в молитве, склоняют головы.

Тихо пламя хризантем. Не в них ли свило себе гнездо само очарование?

В тесной аллее тоскует о своей далекой родине библейский кедр.

Аромашки, аромашки... Что-то вспомнилось из дней юности, нахлынула грусть.

Какая-то цветыня, коей я не знаю названия, раскачивается, точно танцовщица в медлительном танце.

Трелические папоротники похожи на распущенные волосы красавиц, которых в наше время мало уже и осталось, они переводятся, как зубры.

Голубой лотос — Индия и Египет, угасшие веры, вымершие народы, вечное круговращение жизни.

Зеленые тени, прохлада. Прозревшая мысль летит. Мне становится понятнее Иван Грозный, чье имя долго еще кровавой звездой будет мерцать во мгле веков.

Как грешные души, стайкой пронеслись грачи, и все стихло.

В кустах слитный сумрак.

Тишина... Слышно дыхание пчелы, дремлющей на цветке.

# Летающий куршак

Рассказ

СЕРГЕЙ МАРКОВ

*Мих. Дюмаеву.*

I

**К**оренастый и широкоплечий летчик походил лицом более на боксера, чем на пилота. У него была перебита переносица и разорван угол рта. Щеки пилота нависали над воротником, почти закрывая собой серебряные значки, изображавшие крылья.

Летчик медленно прогуливался по кладбищу, любознательно разглядывая надписи. Он остановился у площадки с зарослями пропеллеров и задумался, теребя полу своего мундира. Могилы товарищей пробудили в нем смутное чувство страха и грусти. Здесь были похоронены жертвы воздушных петель и неудачных посадок, люди, с которыми пилот совсем недавно пил вино, состязался в ловкости на учебных полетах и делил любовь с веселой девицей Стюрой, получившей прозвище «бабушки русской авиации». Летчик читал надписи на дощечках, разглядывал знакомые лица на фотографиях, прикрепленных по обычаю к пропеллерам, заменявшим кресты.

Высокая трава хлестала краги летчика, он тяжело топтался возле каждой могилы, много курил и вздыхал.

За кладбищем прерывисто гремели моторы, по аэродрому бегали люди. Красноармейцы несли на палке бидон с газолином. Слышно было, как кто-то ругался.

— Тебе только на комодах летать!— донесся с аэродрома грубый и густой голос.

— Ты сам на своем летучем гробе скоро капот сделаешь!— ответил протяжно тот, к кому относилась первая фраза. Осенний воздух сохранял звуки.

Пилоту казалось, что над землей высится высокая хрустальная стена. Поэтому он с непривычной внимательностью смотрел, как с земли поднялся, покачиваясь и забирая высоту, знакомый аппарат «СН—5».

Поднявшись, аэроплан подставил солнцу правую сторону фюзеляжа, сверкнув, как подброшенный клинок.

Пилот с перебитым носом, глядя вверх, подумал, что аэроплан ударится в хрустальную стену. Сейчас летчик неминуемо увидит звездчатые трещины на стеклянной стене. Аппарат врежется в стекло, как алмазный бурав, и свалится вниз.

При этой мысли пилот почувствовал летучий озноб. Он ощутил на себе невидимую крапивную рубашку и, расстегнув ворот мундира, вытер вспотевшую шею.

— Что же это я, вылетелся, что ли?—подумал он с тревогой, но вдруг увидел, что аппарат «СН—5», захлестнув невидимой петлей пухлое облако и выровнявшись, идет на посадку.

— Хорошо делает,—подумал вновь, но уже успокоенно, летчик.

На аэродроме раздались голоса, снизившийся аэроплан полз к ангару. Над мотором выросстал и содрогался желтый столб газовой выхлопки.

Пилот покинул площадку с пропеллерами и пошел к высокой стене старого кладбища.

Вдруг пилот остановился в некотором изумлении. Из ворот на встречу ему вышел широкоплечий карлик.

В руках его была железная трость и большой букет синих цветов. Лицо человека было похоже на захватанную игральную карту, на плоском и бесцветном лице выделялся, как червонный туз, лишь один непомерно яркий для карлика рот.

Пилот испытал стыдливое чувство здорового человека и уступил дорогу незнакомцу, который в это время заговорил.

— Товарищ летчик,—произнес он неожиданным крепким басом.— Разрешите у вас узнать, это вы здесь летаете?

Летчик заметил, что у человека, которого он принял за карлика, просто не было обеих ног, его широкое туловище держалось на двух обшитых кожей тумбах, скрытых полами истрепанного пиджака. Тумбы имели сходство также и с ржавыми ведрами. Инвалид довольно свободно двигал ими, ведра скрипели при каждом движении безобразного тела.

— Все летаем понемногу... А вы что здесь делаете?

Инвалид не ответил на последнюю фразу летчика и спросил:

— Значит вы воздушную атмосферу и все туманности постигли? Я большой интерес к вашему делу имею. Да оно и понятно в нашем убогом звании, — мы ростом укорочены, но стремимся в высь... Для этих целей я сюда и путешествую. Вижу я от довоенных могил всю современность, как контакты дают и как флагом машут... А мертвая петля—мамочка моя!—смотреть и то под сердце подкатывает!

Безногий говорил медленно и спокойно. Во время разговора он по-особенному взмахивал толстыми руками, будто бы ловя, как мух, собственные слова.

— Я вот, извиняюсь, только вас одних не знаю,—продолжал инвалид.—А то вот кого знаю: Замотина, Алексея Романыча, Сарычева, Можяева, Густава Шпринбаха, потом бурятской нации пилота Дорджиева.

Из вашей компании целиком... Все замечательные летчики. А вас как звать, позвольте?

— Но это же все погибшие!—вырвалось у летчика.

— Именно погибшие, верно вы заметили,—обрадовался обрубок.

— Я только погибших и знаю. Я их всех по пальцам могу перечесать. Я это наблюдение очень даже люблю,—продолжал ласково безногий. —Придешь сюда и сидишь себе на травке. Ваш брат петли делает и нет-нет, правда, хоть и редко, да и упадет. А я уж тогда цветочков ему на могилу принесу... А думы-то в тот момент легкие такие бывают, что, мол, хоть меня и бог обидел, а я в настоящий момент живу и дышу. Это я значит про умершего думаю... Еще такая дума у меня бывает, такое мечтание про это, что смутно делается и весело мне вместе с тем...

Пилот растерянно глядел на инвалида. Ему стало жутко; неподвижные глаза человека с кожаными ногами стали похожими на шляпки больших гвоздей. Летчик заметил, что у его собеседника нет бровей и ресниц.

Пилот спросил невпопад:

— А зачем цветы?

— Извольте, могу пояснить... Ежели вы просто безо всего на могилку придете, для дум,—того мечтания не выйдет. Суть-то вся в том здесь, что погибшего-то я в ту минуту взаправду жалею. Ты, мол, выше уroda был, всю жизнь ему унизил, он, урод-то, вверху оказался, да еще тебе и цветочков дал... И никто мне не мешает в моем деле. Вот разве могильщик один вредный есть, с кладбища гонит. Бородищу он за поясом таскает. Такой хамлет, себе представить не можете, хамлет какой...

— Хамлет?—спросил, недоумевая, пилот.

— Хам, то-есть, — пояснил безногий. — Ужасный хам. Культурности понять не может... Я ему про свои мечтания излагал, так вы знаете, как он меня назвал?

— Как?

Инвалид вытянул губы трубкой и протянул:

— Нет, подумайте, так прямо и назвал. Наклонитесь ко мне, я вам на ухо скажу... Вот он как меня определил...

— Ну?—повелительно сказал летчик.—Говорите скорей!

Владелец синих цветов прилип к уху пилота и произнес, пришептывая и волнуясь, только одно слово:

— Микроскоп...

— Почему же на ухо?—сердито спросил пилот.

Инвалид, отпрянув, развел руками и захихикал.

— Он еще на меня пса напускал, хотя при этом говорил, что мной и собака добрезгует, но тем не менее науськивал... Пса напускает, а сам кричит: «Эй, ты, давленный Микроскоп!»

Летчик все время пристально смотрел на Микроскопа, наклонив голову так, что тяжелый подбородок уходил в воротник мундира. При этом серебряные крылья на петлицах тускнели от дыхания пилота.

Перед летчиком вновь возникла стеклянная стена.

Из ангара опять, как пчела из улья, выполз новый аэроплан. В стороне от ангара на земле переваливался с боку на бок, подрагивая, белый, как громадная ливерная колбаса, привязной аэростат. Его начиняли газом, он покорно надувался.

В воздухе носились шелковые нити осенней паутины. У открытых дверей дежурной могильщиков горел примус. Его пламя сейчас было бесцветным.

Грязный мраморный ангел на ближней могиле поднимал обломанные руки, у ангела не было одного крыла, а из плеча торчала заржавленная проволока.

— Все-таки позвольте узнать, как ваша фамилия?—вкрадчиво сказал Микроскоп и вынул из-за пазухи клок грязной бумаги и огрызок карандаша.

Летчик молчал и, уронив ресницы на щеки, разглядывал карлика.

— Зачем это вам? — спросил пилот Микроскопа.

— Список на цветочки!—ответил тот нагло, как это показалось пилоту.

— Кто вы такой, как вы смеете! — закричал в ужасе авиатор, теряя самообладание.

— Сказано: Микроскоп, — ответил спокойно инвалид. — Очень просто — униженный человек я. Что же вы цветочков от меня не хотите? — заорал он опять басом, чуть не плача. — Не хотите, не надо!.. До свиданья, господин летающий человек!

Микроскоп сорвал картуз с лысой головы и пошел, скрипя кожаными ведрами, к воротам.

По дороге к выходу он потерял цветок из букета. Летчик поднял цветок, осмотрел его, после растер лепестки в пальцах.

Микроскоп вышел на улицу и зашагал по тротуару, держа цветы подмышкой, как веник. Летчик долго смотрел вслед Микроскопу, а потом подошел к мраморному ангелу и потрогал проволоку, вылезающую из разбитого плеча.

В это время на пороге дежурной могильщиков показался высокий человек с мохнатым лицом. Он издали поклонился летчику, как давнему знакомому.

Человек держал в руках складной аршин и железную лопату. Растрепанная борода лежала на его плечах...

## II

— Санапал, Санапал! Иди сюда. Вот млекопитающий, — не иначе к корнету Трубецкому убер. Там ему как медом помазано: все к старому миру стремится... Небось к воздушным героям не бегают,—у них одни пропеллеры, и лечь животному некуда... Склепов нет... Санапал, Санапал!

Кладбищенский сторож Угар повторял эти слова по несколько раз, озабоченно оглядывая входы в склепы. Наконец, он остановился на дорожке и достал из кармана резиновый кисет.

— Покайся, Угар, — сказал кто-то над самым ухом Угара. — Все Санапала кличешь, а Санапала на свете никогда и не было... Был древний царь Сарданапал. Повтори, неразумный!

— Сар...дан...пал, — пробормотал растерянно Угар и смущенно взглянул на стоящего сейчас рядом с ним вышедшего из-за склепа священника.

— Разве я кощун какой, батюшка? — спросил с отчаяньем Угар. — С чего мне каяться, когда я не преступал ничего!

— Слушай, раб божий!.. Кто недавно говорил, что у твоего Сарданапала хвост на кропило похож? Ага, не знаешь? Не отрекайся! А во вторых, ты везде себя, как преступник какой, именуешь мерзкой кличкой. Тебе богом православное имя дано и фамилия у тебя есть, а ты свою личность зовешь Угаром. Кроме того, жалуется вдовица Гнетенкова, что, когда она тебе денег за уборку могилки ее супруга не отдала, ты на могильном кресте начертал похабную надпись и даже с соблазнительной картинкой... Верно?

— Я на войне газами травлен, и через это я — Угар, — смиренно произнес могильщик, — и кличку эту мне дал кровожадный адмирал Колчак, царство ему небесное... Насчет кропила я знать ничего не знаю. Ужасно мне обидно, что и в надписях меня обвиняют, как неграмотного человека.

Я на те цветы взирала,  
А цветочки на меня, —

запел визгливо Угар, считая разговор оконченным.

— Погоди, погоди, — сказал растерянно священник, — при чем адмирал Колчак здесь?

— При чем, при чем, рубль с калачом, — пробормотал Угар и улыбнулся. — Да при том, что я при его высоком превосходительстве, Александре Васильевиче, адмирале Колчаке, состоял в денщиках и зеленых кирасирах. Вы бы, отец Анастасий, не придирались ко мне, — у нас начальство разное, я перед вами не в ответе. Надо мной высшая власть один только похоронный комиссар, а вы — личность духовная, и вас советская линия не касается. Ежели похоронного комиссара не знаете, я вам его покажу. Фамилия его Лимонников, а звать чудно — Марат Евсеевич; он имя себе сменил, а величанье оставил..

— Постой, — перебил священник. Он, заинтересовавшись рассказом Угара, даже присел на край древней могильной плиты. — Ты про Колчака что-то говорил?

Угар ответил не сразу. Он стоял против священника, наклонив голову, как бы что-то вспоминая. Священник выжидающе молчал, рассматривая Угара. Угар мог похвастаться незаурядностью собственной наружности: плоские виски, круглые, как кольца, шрамы на щеках и лбу, нос, похожий на пробку от графина, и длинная ватная борода,

спрятанная, как шарф, за борт пиджака, были неповторимыми приметами Угара.

Кладбищенские цветы вылезали из темных решеток, окружавших могилы.

Внезапно над кладбищем повис размеренный гром, совпавший с колокольным звоном.

Собеседники задрали головы, — вверху, как большая голубая рыба, плыл аэроплан. Он был виден в профиль, его крылья были коротки, как плавники.

Рядом с кладбищем лежала ровная площадь авиационного поля: наполненный ветром белый колпак на мачте раздувался, как бурдюк.

Угар посмотрел на другую сторону кладбища, где на могилах торчали мертвые заросли желтых пропеллеров. Они могли бы походить на кости мамонтов.

— Близко им до нас, — пробормотал в раздумьи могильщик. — Чудно думать: от неба до подземельного району всего тридцать сажен. Третьего дни идет один из ихней воздушной партии, оскалабился и говорит мне: «Эй, ты, помощник смерти, что делаешь?». Я ему отвечаю, что, мол, крест водружаю и требую мне не мешать. А он вынул из кармана кисет и мне подает. Возьми, говорит, хороший человек, только мне, в случае чего, креста не ставь. Нам, мол, винты полагается воздвигать!.. Смерть-то, отец Анастасий, ко всем одинако приходит. Марат Евсеевич Лимонников партейный, а ежели мы пойдем вместе с ним выпивать — конечно, к примеру я это говорю — и нас трамвай встренет, — то трамвай разбираться не будет, кто член, а кто сочувствующий... Задавит обоих. А кисет-то дареный у меня в кармане... Есть люди еще, батюшка, которые не умирают, в роде адмирала Колчака. Его стали казнить, а он в лестаргический сон впал, и пули сквозь тело, как через масло, прошли.

— Ой, Угар, не ври, — пробормотал священник, глотая слюну.

Кладбищенская скука принуждала священника слушать рассказы Угара и каждый раз разоблачать могильщика.

— А как же Исус Христос? — воскликнул Угар с негодованием. — Вы сказываете он воскрес, а у него вовсе лестаргия была, и он от солдатского крепкого слова проснулся.

— Не кощунствуй при мне, — закричал священник, — раз рассказываешь, так толком говори! И у Колчака ты вовсе не был!

— Здравствуйте, Марья Ивановна! Да, господи, кому знать-то лучше. И министра Пепеляева я, как эту стенку, знаю насквозь. Полный такой Пепеляев был, из себя удушливый... Дышал тяжело и самого себя за пуговицу крутил. А Колчак был поджимистый да приборчивый, — на неделе три раза брился и приемы с дрями делал. Шибко он меня уважал. Бывало, соберутся они с Пепеляевым, самой лучшей водки выпьют, по-господски закусят. Пепеляев себя за пуговицу возьмет и говорит: «Слушай, господин адмирал, измена кругом. Предадут тебя чехи и словаки!» Ему адмирал отвечает: «И чехи и словаки



изменят, англичане тоже самое, американские жители предадут, индей откажутся, башкиры побегут, лишь один человек меня не предаст. И человека ты этого знаешь».

— Стой, — кричит Пепеляев, — нет такого человека нигде. Представь мне его. Отвечает адмирал: «Человек этот справедливый — мой кирасир, по прозвищу Угар!» И меня вызывает.

Спрашивает:

— Слушай, Угар... Предашь ты меня или нет?

— Никак нет, — отвечаю я, — ваше высокое превосходительство, господин адмирал, чай я сам Рязанской губернии!

— А мне разведочная контора доносит, что индей бунт поднимают и англичане к своему королю вертаться от меня хотят.!

Я стою у стенки и обнадеживаю:

— Чудного в этом нет ничего. Индей на божий свет из пыли плодятся, а англичане пальцем сотворены... Я же за вас кровь проливаю! Угостит меня адмирал стопкой, и иду я себе на покой. После того поглядел я на их роскошную жизнь и вздумал, что не дело мне в зеленых кирасирах и денщиках состоять, когда рабочих, крестьян и маляров притесняют. Я там, значит, маляром был раньше...

— Тебя, Угар, послушать, значит согрешить. Тебя не разберешь: ты и могильщик, ты и маляр, и бог знает кто!..

Дальнейший рассказ Угара был прерван появлением долгожданного Санапала. Собака виновато подошла к хозяину и заискивающе понюхала сапог Угара. У Санапала была зеленая шерсть и необычайно мохнатый хвост, на котором висела гроздь фиолетового репейника.

— Ага, пришел! — закричал Угар. — Погрелся у старого мира. На место! — грозно закончил он и стал продолжать рассказ:

— Пошел я тогда на сознательность... Зовет меня, конечно, Колчак опять к себе, перед Пепеляевым мною выхваляться, а я докладую: ваше высокое превосходительство, господин адмирал. Не могу я вам верою правдою служить, хочу заставить за мастеровых! Простите меня за мое мнение и отпустите от себя. Пепеляев себе со злости пуговицу оторвал и говорит Колчаку: «Его надо в контровую разведку отправить!» А сам адмирал поднялся со стула, в морду сначала мне дал, а потом мне в ноги поклонился, поцеловал и говорит: «Иди с миром, Угар! Может, я через твою инициативу погибну!» И я убер к красным и после с пятой артиллерийской армией станцию Тайгу брал... После и слышал я, что Пепеляева с Колчаком поймали и повели казнить и адмирал впал в лестаргический сон...

— Врешь ты все, Угар, — резко сказал священник, — артиллерийских армий не бывает... Враки.

— А у нас была, — хладнокровно произнес могильщик. — Ну, батюшка, хватит. Враки... Враки, что кричат раки, — это рыбаки шутят! Я пойду на третью аллею, — там один вдовец просил супругу дерном обложить. А каяться мне не в чем... Я гражданин правильный...

— И я тоже пойду! Слушай, Угар, тут завтра ко мне один монах из провинции придет по делу, так ты его ко мне направь... Ладно?

Священник поднялся с плиты, а Угар свистнул собаку.

Скоро могильщик пошел вместе с Санапалом по направлению к третьей аллее.

Время от времени Угар останавливался и хлестал собаку ремнем. Это было возмездием за пребывание Санапала в склепе корнета Волконского.

### III

Монашек пришел на кладбище утром и сразу нашел Угара.

— Здравствуй, человек! — сказал он и поклонился.

— Здорово, — рявкнул Угар, испытующе взглянув на монаха. — Это ты будешь провинциальный инок?

— Я, — смиренно ответил монах.

Он снял котомку и сел на ступеньки крыльца дежурной могильщиков.

Вдоль лица монаха текли волосы цвета суровой пряжи, короткие ресницы были толсты и как бы закапаны воском. Поэтому, когда он закрывал глаза, веки его походили на зачищенные пельмени.

Инок в одном ухе носил облупившуюся голубую сережку, а на пальце белое с чернью монастырское кольцо.

— Ты что это, ровно казак или матрос? — спросил строго Угар, указывая на сережку.

— От нижней болезни, человек, — ответил монах. — Сызмальства ношу. Игумена спрашивал об этом деле, и он дозволил носить, — греха нет. Мне бы отца Анастасия здешнего надо, я с письмом послан.

— Придет твой водолаз, обожди. А ты из каких будешь?

— Из рязанских граждан, из-под города Ерахтура. А ты, поди, из петербургских дворников производишь? — спросил инок.

— В роде Володи; около этого, — довольно произнес Угар. — Рожден-то я хотя тоже в Рязанской губернии, Касимовского уезда.

— Да ну? — обрадовался монах. — Земляки значит, вот сам бог нас, видно, свел!

Но Угар решил сразу положить предел восторгам монаха... Он оглядел инока от скуфейки до старых воловьих постолов, в которые был обут инок, и, подняв палец, наставительно произнес:

— Мало значит все это, уважаемый, — мы с тобой и в городе Кокуе могли вместе народиться, дело не в этом... Не в этом сила, что кобыла сива... А вся суть в жизненной линии... Ты знаешь, кто я есть такой?

— Вы здесь к делу проставлены, — переходя на «вы», раболепно сказал инок. — По-старому судить, так вы никак не меньше станового пристава, только в другом виде.

— Поднимай выше... Я в Сибири был и там такую должность занимал, что тебе этой линии во сне не снилось... Я капельдинером при верховом заправителе состоял.

И Угар, расчесывая бороду ладонью, стал с увлечением рассказывать всю историю об адмирале Колчаке.

Ерахтурский инок слушал рассказ Угара с полной почтительностью, но почему-то эта почтительность у него скоро сменилась гордым противодействием.

— Обратите внимание, — сказал он Угару с достоинством, — не вы одни линии имели. Я тоже синь порох нюхал, хоть и нижней боезную маюсь... Я в красных гвардейцах был, до Кобдоя-города наступал и ноги у меня также поморожены. А было дело так — у нас монастырь закрывали, и мне счастливого выхода не было. Я сам в красные гвардейцы пошел, да убежал только через два года. А удалился я из-за жидовской шапки.

— Вот как? — удивленно протянул Угар. — Это какая шапка такая? Чего-то не слышал.

— Суконная, — откликнулся ерахтурский инок. — В восемнадцатом году божья благодать была, — кто в чем хотел, в том и ходил... Хошь в котелке, по-благородному, а которые все больше к судебным фуражкам стремились. Я по-простому в бывшем кадетском картузе ходил; потом и вышел главный приказ всех под одно поравнять, и выдали нам шапки острые, в которых жида Христа распинали; я на священной картине видел. Я тогда помолился на виду всех солдат и кашеваров, и ночью было мне видение, чтоб я удалялся. Так я и не опоганился, но, однако, меня поймали и как беглого солдата в предсмертный подвал посадили. Но, однако, в то время армия трех генералов да бухарского хана покорила, и меня простили, потому что я из неписьменных крестьян.

— Вон ты как, — сочувственно произнес Угар. — Однако, и ты судьбой испытан, хоть и монах...

— Кто, господи боже мой, не испытан, — подхватил инок, — татары и то линию имеют. Но самое чудное я тебе расскажу сейчас.

Монах снова, как бы утвердив свое равенство с могильщиком, стал снова говорить ему «ты».

— Ты про куршаков слышал? — спросил монах Угара. — Есть, значит, у нас под Касимовым такой народ, из села Курши, в роде итальянцев — из себя весь отрубистый, коренастый, и разговор у них грубый. Говорят они слово: «кесь», а «крошенка» выходит ласковое их прозвание. Горница по ихнему «вышка», а как в сердце они взойдут, то друг на друга выражаются: «Эх, ты, мол, красный змеище!» Трехшовные польта носят еще они. Слышать, что, как мы Литву покоряли, тогда и куршаки у нас об'явились. Девоч куршацких наши жители не берут и своих за них выдавать опасаются, племя соблюдают. Каждого куршака сразу видно, укрыться ему даже совсем нельзя. Правильной пути им нигде нет, всю жизнь по чужим дворам топотят,

такие накатистые к черной работе: бревна пилят, дрова рубят и все своей смертью жизнь кончают. И не было того дела, чтоб куршак в люди вышел. К тому я говорю, что встренул я тут у вас одного из ихней брaтьи и удивился: господи, куда куршак-то пролез! Летчиком он сейчас, под самые облака летает. В библии-то справедливо сказано, что об'явится птица по обличию, а шум-то от нее будет конский.

— Нос широкий? — спросил в раздумьи Угар.

— У летчика-то? Как есть широкий, с перебоем, — подтвердил монах. — Аль ты его знаешь?

— Подозрение у меня было давно на него, что он не нашего шалаша. Знаю такого отрубистого, один только есть под такой вид. Мордастый, щеки потрясучие, и в носу подлип сидит!

— Ох, господи, это что за подлип?—удивился монах.—С какой боли он бывает, чего-то не слыхал.

— То-то... Мало ли чего ты еще не знаешь! Подлипы в воздухе водятся и летчикам в нос попадают. Ему жить недолго, летчику-то, остается. Как подлип в селезенки кинется,—так летчику и каюк.

Ерахтурский инок долго слушал об'яснения Угара насчет полипа в носу летчика. Могильщик в одну минуту сочинил новую фантастическую историю и со слезами вдохновения начинал ею скудное воображение монаха. Угар хватал себя за бороду, бил в грудь кулаком, показывая, как доктор выстукивает пилота, когда бродячий полип доходит до таинственной области селезенки, управляющих жизненными силами куршака.

Угар рассказал монаху встречу с авиатором, историю подаренного кисета. Инок внимательно слушал Угара, покачивая головой. Скоро восторг монаха сменился злобной, чисто крестьянской завистью к пилоту. Монах вместе с Угаром стали считать заработок авиатора, его паек, прикидывать, сколько стоит его одежда. В их глазах куршак был ничем не стоящим человеком, случайным иждивенцем щедрой и презрительной судьбы, бросающей подачку первому попавшемуся.

— Куршак-то шоколад и мармелад каждый день жрет, — угрюмо говорил Угар. — Подумаешь, какая хитрость — летать. Аэроплан без него выдумали, а он только путь ему направляет. А что высоко, — так и я кресты на церквах золотил и кружения у меня не было. Нет, он пусть над землей потрудится горб себе набьет, по-нашему, по-крестьянски!

— Мармелад и шоколад, — протянул ерахтурский инок. — Ему бы еще холодной закуски — мордой об стол... Я его как облупленного знаю, Курша-то с нами рядом. В подпасах он был у наших граждан, и только бог знает как в люди вышел. А теперь заелся! Эка невидаль — кисет тебе подарил. В его звании он тебе не кисет, а порт-табашницу серебряную должен представить. Заплевался, загордился, своему брату мужику не сочувствует. Мы с тобой век живем и дураками помрем. А отрубистые вылезут — большая им воля дана!

Ерахтурский инок замолчал и сплюнул на траву. Потом он быстро вскочил, заметив подошедшего священника. Священник высморкался, надел очки и стал читать привезенное монахом письмо. Окончив чтение, поп строго сказал инок:

— Передашь своему игумену ответ. Долго здесь будешь?

Инок слегка замялся.

— Помещение-то, батюшка, для меня здесь не приготовлено. Прямо с чугунки пришел и переночевать негде.

Священник на минуту задумался и повернулся к Угару.

— Возьми пока его к себе, в дежурную... Не в асфальтовом же котле ему ночевать.

— Ладно, — согласился Угар. — Ну, ты, артист из прогорелого театра, пойдём! Чайник для тебя поставлю, нельзя иначе — земляк. Чай, я не куршак какой.

Они пошли в дежурную могильщиков, оставив отца Анастасия перечитывать полученное письмо.

— Чего товарищ игумен-то пишет? — спросил Угар монаха, когда тот поставил свою котомку в угол.

— А неведомо мне это, земляк... поди, насчет своих дел. Смута кругом пошла.

В углу комнаты высилась разноцветная пирамида новых гробов. Вверху пирамиды лежало несколько красных гробов, выделявшихся среди белых могильных ящиков. Инок спросил Угара, почему гробы не одинаковы.

— Для партийных летчиков, — охотно объяснил Угар. — Это Марат Евсеевич Лимонников заказал. Хорошие гробы — бордового цвету. Я тебе вот что скажу: неравно Марат Евсеевич сюда зайдет, а ты — прислужник культа; ты, в случае чего, за гроба присядь, пока он здесь будет.

— Есть такое дело, — ответил весело ерахтурский инок и снял подрясник.

#### IV

Агент похоронного отдела Марат Лимонников, получивший от Угара титул похоронного комиссара, был жизнерадостным желтоусым человеком. Он носил пенсне со стеклами цвета бледной лазури и, не смотря на свою полноту, играл с Угаром в городки.

Одно время Угар хотел пригласить еще двух партнеров для игры — священника и кладбищенского дьякона. Но Марат Евсеевич не соглашался на это:

— Я с ними должен борьбу вести, а тут вдруг я ему проиграю и мне его придется на своих пролетарских плечах катать. Хватит, пока-тались они на нас при старом режиме!

— Так вы, Марат Евсеевич, сами на нем катайтесь! — советовал похоронному комиссару Угар.

— Покорно благодарю! Я не на полах, а на конях ездил, я Челябинск взял и на белом коне в него в'ехал.

Подобные разговоры между Маратом Евсеевичем и могильщиком происходили очень часто. Играли они в городки на окраине кладбища, недалеко от мраморного ангела.

Угар отличался всегда свирепостью в игре; он набегал на черту, отмсчашую дистанцию, бросая рюху, как боевую гранату.

Могильщик придумал даже новую фигуру для игры, фигура называлась «гусихой» и имела отдаленное сходство с водочной четвертью.

На этот раз около могилы с каменным ангелом игроки встретились с Микроскопом.

Инвалид сидел на камне, кожаные ведра, заменявшие ему ноги, стояли на земле рядом с ним.

Марат Евсеевич осторожно подошел к рыжим ведрам.

— Зачем ты их снял?—спросил Лимонников инвалида.

— Обрубки притомились, — ответил Микроскоп, — пускай себе отдыхают.

Марат Евсеевич заметил, что ноги инвалида были отняты выше колен.

Он любознательно рассматривал тумбы инвалида, могильщик щелкал ногтем по коже, трогал ремни.

— Ничего подстановочки! Ровно в седло садишься в них гузном, — сказал могильщик тоном восхищения.

— Тебе бы так садиться, — протянул инвалид, — уйди, хамлет, не доводи до греха, у меня пуля под сердцем!

Калека отвернулся от Угара и принялся рассматривать аэродром.

— Товарищ директор, — произнес побелевшими губами Микроскоп, поворачивая лицо к Марату Лимонникову, — уймите вы своего халуя!

Потом Микроскоп поспешно схватил свои тумбы. Поставив их рядом, он приподнялся на руках над ведрами и разом опустил на них собственное тело.

— Уйду сейчас, — бормотал инвалид, завязывая ремни вокруг туловища. — Даром, что ног нет, душу скоро вынут.

— Брось ты его трогать, — строго сказал Угару Лимонников. — Нельзя жертв мировой бойни обижать... Ну, начнем! Сначала письмо ставь.

— Нет, не полагается. Вы сначала попа выбейте, а после я змею поставлю.

Тут Угара осенила счастливая мысль.

Он похлопал инвалида по плечу и пригласил его принять участие в игре.

Это было знаком примирения.

Роль инвалида в игре сводилась к тому, чтобы он собирал рюхи и выбитые городки. Микроскоп согласился, и игра началась. Угар

все время обыгрывал Лимонникова, и похоронный комиссар скоро взмолился:

— Ты меня сегодня заездишь, Угар, ей-богу. Я с тобой больше играть не буду. Позови кого-нибудь, а то мне интересу нет.

Взгляд Лимонникова упал на инвалида, но Микроскоп закачал головой.

— Не могу! У меня упору нет.

— Погодите, Марат Евсеевич. Я вам сейчас игрового человека представляю. Он хоть и монах, но монах особенный. Он в красных гвардейцах ходил и только по ряске инок, а душа у него частная. Вы с ним сыграете два кона, а потом я с ним тоже, а вы посмотрите. Он с бабами не резвится, не курит, не пьет.

— Чорт не курит, не пьет, да и то в аду живет, — вставил свое слово осмелевший Микроскоп.

Между тем Угар быстро сбегал за монахом.

— Ну, здравствуй, герой, — обратился к нему похоронный комиссар. — У тебя даже орден на груди, — Лимонников показал на образок монаха.

— Это бывший святой мой — Николай Мирликийский, промежду прочим, — сказал монах. — Я в миру Николаем был, а теперь Никодимом назван.

— Я тоже Николаем был, — дружелюбно заметил Марат Лимонников, — только у нас два царя Николая было, зачем мне одно имя с царем носить?

— Это дело не наше, — осторожно заметил монах, — а на игру я согласен.

— Ты ряску-то скидай, — посоветовал Угар, — осмеливайся, тут все люди свои, тебе добра желают.

Монах снял рясу и, щуря глаза, стал разглядывать построенные Микроскопом городки.

Угар благодушно присел на камень и стал ласкать прибежавшего Санала. Могильщик был рад разрешенному Лимонниковым безделью: Угар мог спокойно отдыхать час, другой, пока похоронный комиссар не кончит игры. Гордая душа могильщика не могла выносить скуки ежедневной работы, ему надоело вечное рытье могил, измерение гробов и уход за склепами.

Могильщик находился под свежим впечатлением вчерашнего разговора с ерактурским иноком.

То, что рассказал ему монах про куршацкого летчика, не умещалось в тесном мозгу могильщика.

Он знал по рассказам своих земляков о шаткой судьбе куршаков, как они ходят по чужим дворам, салят по две липы возле своих дворов и прощаются с деревьями каждый раз, когда покидают село.

Угар вспомнил, как ребенком поздним вечером он ехал с отцом через Куршу.

Отец остановил лошадь и послал мальчика в ближний дом спросить о дороге.

Угар подошел к чужому окну и замер от страха, заглянув в избу. У окна стоял рослый широкоплечий старик в белой холстяной рубахе. Он держал в руках отрубленную человеческую голову. Старик надевал на голову черную ушастую шапку, наживляя ее длинной и толстой иглой.

На оконных стеклах плясали синие искры, Угар от страха не мог пошевелиться, наконец, синее стекло потускнело от дыхания мальчика, и страшный старик исчез за туманной пеленой.

— Сыи, — донесся голос отца, — где ты там пропал?

Угар услышал шум упавших вожжей. Их уронил отец, слезая с воза.

Отец подошел к мальчику и взял его за плечо.

В эту минуту окно отворилось, и старый куршак негромко спросил:

— Что за жители здесь?

— Укажи дорогу, православный, — попросил отец Угара. — Мы с сыном дороги не знаем. Я его к тебе послал, да он сомлел.

Мальчик робко взглянул в окно. Страшный куршак рассказал отцу о дороге. Потом он вдруг ласково сказал Угару:

— Обожди, малец! У тебя, путник, сын-то, однако, сомнительный, боязливый... Мы сами шапками курпейными живем. У меня тоже сын есть. Возьми, возьми... не бойся!

Старик протянул руку, — на широкой ладони лежало бородавчатое и угловатое яблоко. Оно в неверном вечернем свете казалось восковым, благоухая, как дорогая игрушка.

Потом мальчик увидел сына старика: куршацкий ребенок подошел к отцу и обнял его колени. Старик поднял сына на руки и поднес к окну.

— Никитой звать, — сказал старик голосом, переполненным гордости. — Ухватистый парнишка, грамоту постиг, соседское общество его в подпаски определило. Скоро меня в росте догонит, крупный, даром, что девятый годок!

Куршак стоял, держа сына на руках. Пыльные липы осеняли путников широкой тенью, над зеленой землей вставала острая луна.

— Когда ездить будешь, заезжай, гостем будешь, — сказал куршак.

Угар боялся есть чудесное яблоко, он только подносил его ко рту, оставляя на яблоке темные кольца укусов.

— Куршаки притесненный народ, в роде мордвы али цыган, — объяснял Угару отец в эту ночь. — Их не токмо становой пристав право бить имеет, а любой солдат отпущенный. Этот куршак шапки щьет, на болванки их надевает. Ловкий народ, на министра шапку произвести могут!

Все это вспоминал сейчас Угар, глядя Санапала и следя за игрой.



Ерахтурский инок вошел в азарт.

Он выбивал пятую фигуру, Марат Лимонников суетливо брал подобранные Микроскопом палки, готовясь нанести сокружительный удар монаху.

Над кладбищем показался аэроплан.

Он то стоял в небе, как крест, замирая на секунду, падал, описывая петлю, и снова выравнивался, сотрясая воздух взрывчатым громом.

— Ишь что вытворяет, — сказал Марат Евсеевич, вытирая лоб платком. — Петля за петлей — ровно чулок вяжет... Страх какой. Я бы ему крикнул: упадешь если, — держись за землю!

— Товарищ монах в штанах, — крикнул в ответ на слова похоронного комиссара Угар. — Летучий куршак из чьих сыновей?

— Не мешай, — сердито ответил ерахтурский инок, — попа выбиваю! Отец его — головной кустарь, кончился в прошлом году на Покров. Иди-ка сюда скорее!

Инок стоял, засучив рукава и завернув полы рясы, прицеливаясь и жмурия глаз. От волнения его пельменное веко вздрагивало.

— Пять палок зря убил! — кричал монах. — Шестой обязательно выбью.

— Это еще поглядим, — ехидно сказал Лимонников. — Угар, будь свидетелем!

Все сгрудились около монаха, ожидая исхода игры.

В эту минуту на кладбище обрушился непонятный шум. Он наполнял собою воздух, разрывая осеннюю тишину.

— Смотрите, смотрите! — закричал Марат Евсеевич, бледнея.

Все повернули головы.

По земле бежал, как большая белая саранча, снизившийся аэроплан. Он подпрыгивал и рычал, раскачиваясь между желтых столбов ныли, его широкая грудь редела и, казалось, была готова лопнуть.

Аэроплан летел прямо на могилы.

Микроскоп схватил за руку Угара и закричал:

— Задавит!

Угар в ужасе отвернулся и вдруг услышал звук, похожий на щелканье громадного портсигара. Вслед за этим аэроплан в последний раз подпрыгнул и умолк. Его винт разлетелся в щепы, аппарат гкнулся в землю грудью, подмяв под себя исковерканные колеса, и встал на дыбы.

— Господи боже мой, что такое? — бормотал, растерянно крестясь, ерахтурский инок.

— Не в боге тут дело, он не при чем, — закричал падающим голосом Угар, — человека надо вызволять!

Игроки побежали к аэроплану, бессильно лежавшему среди могил...

## V

Летчик с перебитым носом напрасно выворачивал, как старую рабочую перчатку, собственную память. Он старался припомнить, когда он впервые стал бояться своего точного и выверенного ремесла. Наконец, пилот окончательно узнал, что боязнь высоты пришла к нему сразу, незаметно и властно, как любовь.

Хрустальная стена, вставшая над землей, лишила летчика покоя и уверенности.

Садясь в кабину, он каждый раз старался первое время смотреть на мутную поверхность желтого козырька машины. Козырек почти не пропускал света и поэтому близость стеклянной стены вначале не была страшна. Но потом, когда аппарат, пружиня и сотрясаясь, шел все выше и выше, когда порывистые толчки отнимали возможность глядеть на козырек, авиатором овладевал страх. Он сковывал все тело человека, от страха у летчика ныли пальцы на ногах и по-особенному зудились щеки и десна.

Авиатор вступил в страшный и непонятный мир — он начинал ощущать то, чего не могут ощущать десятки и сотни других людей. Он чувствовал, что теперь каждый пустяк, которого пилот просто не заметил бы раньше, воспринимался им совершенно по-другому. Душа авиатора была подобна мишени, по которой стреляют из авиационного пулемета. Все оставляло на его душе беглые и мучительные росчерки, похожие на следы дымящейся пули.

Стиснув зубы, он старался преодолеть страх. Делая петли на полях, авиатор каждый раз думал, что очередная петля будет его последним вызовом хрустальной стене.

Но когда он на секунду повисал вниз головой, чувствуя об'ятья надежных ремней, и после этого выравнивал аэроплан, пилоту казалось, что стена отодвинулась, образовав длинный кривой коридор, наполненный воющим ветром.

Пилот кидал аппарат в это ущелье и, только идя на посадку, чувствовал, что прекрасная старая земля сегодня снова будет принадлежать ему.

Но и на земле он все время чувствовал холодный плен стеклянной стены. Когда пилот шел по улице, он думал, что широкие озера асфальтов отражают колющее сияние стекла, и улицы упираются в ту же прозрачную стену.

Раз в дождь пилот сидел у девицы Стюры, «бабушки русской авиации». В комнате пахло мокрым сукном от повешенной наспех шинели; на пол падали отрывавшиеся от шинели капли.

Стюра сидела, прижавшись к пилоту; ему были видны сморщенные подвязки, сползающие с ее неутомимых ног. Она улыбалась, пуская папиросный дым в лицо пилота, ожидая, когда он поступит с ней, как поступают все холостые летчики девятнадцатого авиационного отряда. Девушка не знала, что сейчас она казалась гостю опы-

вающим восковым телом, заключенным в прозрачный голпак панентикума.

Стюра потушила папиросу о каблук туфли и сама обняла летчика за шею.

Он молчал, он даже не шевельнулся, когда Стюра, полуобнаженная, прильнула к нему.

Стюра почувствовала телом холод. Отпрянув от пилота, она посмотрела на свое предплечье: на нем вспыхнули быстро исчезающие следы вдавившихся в тело пуговиц мундира.

— Поцелуй скорей! — капризно и лениво попросила она, показав на пятна от пуговиц, и провела ладонью по губам пилота. — Федул, губы надул!..

Пилот вдруг резко отстранил Стюру и сел на кровать, подперев голову руками. Потом он медленно натянул на себя шинель и ушел, не попрощавшись с девушкой.

На улице, под брызгами дождя, пилот понял, что стеклянная стена отделила его и от земной жизни.

На утро он пришел на аэродром пьяным для того, чтобы обмануть себя и кого-то еще, кого — он не знал или боялся узнать.

Он ничего не говорил товарищам, а просто сел сразу в кабинку и начал привязываться.

— Тебе не ремнем надо привязываться, — ты больше за бабьи подвязки держишься, — пошутил один из приятелей, ударив его по плечу.

В другое время пилот не обиделся бы на эту шутку, восприняв ее только за похвалы своей удали, но сейчас слова товарища звучали как оскорбительный намек.

— Подвязки... Какие подвязки? — пробормотал он в смущении.

Но рослый человек, подошедший к аппарату, уже поймал рукой лопасть винта, нагнул ее к земле, схватил другую лопасть и, развернув пропеллер, отбежал в сторону.

В воздухе пилот почувствовал, что хмель сразу сделал его голову легкой и ясной.

Теперь он не боялся стеклянной стены. Ее сейчас не было.

Под крыльями аэроплана двигалась круглая громадная земля.

Покатые горизонты перемешались, расширяя границы земли.

Утренний город подпирал небо свинцовыми столбами дыма.

Город был похож на разложенные для игры кости.

Авиатор легко отыскал кладбище глазами и слегка опустил аппарат вниз.

Пилот внезапно вспомнил встречу с Микроскопом и улыбнулся, припоминая забытый случай.

Три года тому назад пилоту приказали совершить перелет через азиатскую пустыню.

Он запомнил хорошо бронзовую поверхность земли, похожую на шит, который вращала невидимая исполинская рука. Тень аэроплана

медленно плыла по пескам, догоняя табуны встревоженных дошадей.

Здесь он встретил величественное утро пустыни.

Непорядок в моторе заставил пилота сделать посадку на берегу длинного озера с синей водой. Вода в озере была тяжела и горька, и пилоту казалось, что он погружает свои усталые руки не в воду, а в жидкое стекло.

На берегу озера жил хранитель колодца — сморщенный человек с красными глазами на желтом лице. У него были лишь грубый шатер из войлока, кривой двуручный топор и котел для варки пищи.

Красноглазый человек возненавидел пилота.

В первую же минуту хранитель колодца, хихикая, изгибаясь, кланялся летчику в пояс, а после, отбегая в сторону, оплевывал его краги.

Красноглазый не говорил по-русски, он знал лишь несколько слов отвратительной брани русских гуртоправов. Он произносил их, как слова радостного приветствия, кривляясь и приплясывая.

Красноглазый, вероятно, думал, что его гость, не справясь с бедой машины, останется здесь, на пороге войлочного шатра, и хранитель колодца тогда сможет вволю натешиться над судьбой чужого человека.

Когда еще сюда придет очередной караван? До этого времени красноглазый сможет заставить гостя рубить саксаул двуручным топором, разводил костер и доставать кожаным ведром воду из илистого колодца. Владелец машины будет рабом, а он — хранитель земного колодца — превратится в господина.

Летчик знал, что красноглазый думал именно так, и только поэтому владелец машины не хотел расстегнуть потрескавшейся кобуры своего револьвера. Он не обращал внимания на красноглазого, вертевшегося около аппарата, пилот чинил мотор, зашивая продранную при посадке крышку, жалея о том, что он не взял с собой бортмеханика.

Наконец, хранителю колодца надоело все, и он сел на песчаный бугор, распевая победную песню.

Руки пилота покрывались черным слоем машинного масла, но он сломил непокорство машины и завел мотор. Сидя в кабине, пилот видел, как красноглазый в страхе сполз на четвереньках с бугра и застыл, смотря на бешеный меч пропеллера. И тогда летчик легко поднял разбежавшийся аэроплан вверх.

Красноглазый лежал на земле.

Пилот махнул рукой и закричал, забыв, что хранитель колодца все равно ничего не услышит. Ветер и гордость переполнили грудь пилота. И он, описав несколько кругов над шатром красноглазого, сделал мертвую петлю.

Красноглазый, конечно, видел это. Скоро войлочного шатра нельзя было разглядеть с высоты, аэроплан шел, прыгая в разорванных облаках, высоко над пустыней, его крылья ревели, как походные трубы.

... Микроскоп был чем-то похож на красноглазого, но хранителя колодца можно было победить и смирить невиданной им и обычной для пилота отвагой. Пусть Микроскоп ходит на кладбище со своим букетом. Когда инвалид держит цветы в коротких руках, прижимая букет к груди, он похож на ворона с синими перьями. Он ждет минуты, когда летающий человек возвратится на родившую его землю для того, чтобы умереть, ради того, что живой обрубок дышит и движется, согревая страшной радостью свое большое сердце, томящееся в исковерканном теле.

Пусть беспутный балагур-могильщик расширяет кладбище пилотов. Там, на новом месте, не вырастет нового пропеллера.

И как сейчас хороша земля, подпирающая небо столбами дыма. Она прекрасна всегда, особенно после крепкого прозрачного дождя, когда высыхающая грязь похожа на ломти пружинящего черного хлеба.

В такой день надо идти к женщине, а после, вспоминая ее, бродить по глухим переулкам, и тогда звук поцелуя и стук мотора будут равноправны перед сверкающим небом и землей.

Стеклопанель сейчас не существовало!

Мертвые петли одна за другой прошивали голубые полотнища неба.

У пилота ныли руки, закоченевшие на руле, но он не замечал усталости. Внизу осталось многое, к чему он должен возвратиться как победитель. У Стюры, кроме морщинистых подвязок, смутивших его своей бесстыдной убогостью, есть добрые глаза и еще сохранившаяся случайно нежность.

Пусть Угар ходит с черной лопатой на край кладбища, туда, где над могилами поник ангел с обломанными руками.

Направо от ангела тянется неровная полоса старого, вытопанного кладбища, где восемь лет тому назад похоронены три тысячи тифозных солдат. Могильщику велено расчистить старое кладбище под новые могилы. Угар чувствует себя хозяином громадного дома, открытого для угомонившихся путников.

Могильщик, получив от пилота кистет, обещал ему выбрать самое лучшее место на новом кладбище и разбить цветник у подножья пропеллера.

Но стеклопанели нет, и поэтому заботы Угара напрасны. Ничто не заставит пилота возвратиться на землю исковерканным, уже никому ненужным грузом, придавленным обломками разбитого аэроплана.

Еще одна петля, еще один последний гудящий круг — и авиатор опустится вниз, на прекрасную утреннюю землю.

Но воздух вдруг застыл, сгустился вокруг аэроплана настолько, что пропеллер с трудом стал разрубать широкие волны невидимого тяжелого моря.

Авиатор повернул голову и увидел, что с правого борта самолета на него медленно движется прозрачная высокая стена. По ней пробегают голубые искры, сквозь стену видна тонкая линия горизонта с торчащими на ней трубами фабрик и мачтами радиотелеграфа. Стена качается и звенит, встречаясь с неистовым ветром.

Пилот в ужасе отвернулся и посмотрел вниз, на аэродром, но сразу понял, что не успеет опуститься туда — стена уже успела подойти к границам авиационного поля.

Отвага, подаренная алкоголем, иссякла, но не настолько, чтобы лишить пилота могучего инстинкта самосохранения.

Нужно было чем-то занять сдавленный страхом мозг. Пилот громко начал считать до пятидесяти, пятьдесят секунд стали сроком, в который он должен спасти свою жизнь.

Когда он довел счет до двадцати девяти, стеклянная стена качалась около ангаров и на минуту задержалась на одном месте. И тогда пилот вспомнил о кладбище трех тысяч. Он успеет опустить самолет на вбитые в землю могильные холмы. Там нет ни одного креста, ни одного камня.

Скорее!

— Сорок три!

(Аппарат пронесется над кладбищем, покрывая его широкой тенью).

— Сорок четыре!

— Сорок пять!

(Ветер сверлит уши пилота холодными буравами. Сияния стены уже нет, земля лезет вверх, как тесто из квашни).

— Сорок шесть!

— Сорок семь!

Пилот бросает счет десятками, кричит просто:

— Раз, два, три! —

и колеса самолета сначала рвут сухую траву, а потом ломаются и самолет уходит грудью в развороченную землю...

## VI

— Да он живой, — закричал Марат Лимонников, заглядывая в кабину самолета, торчащего вверх хвостом на краю неглубокой канавы, окружающей кладбище трех тысяч.

Похоронный комиссар возбужденно махал зажатой в руке рюхой, лазурь на пенсне соскочила с его пухлого носа.

Бледный Угар стоял рядом с Маратом Евсеевичем, а ерахтурский иннок и Микроскоп жались в стороне, боясь подойти ближе.

— В лестаргию ударился он, надо вызволять, — пробормотал в ответ Угар и первым полез в кабину. Он увидел посиневшее лицо летчика и изумленно крикнул:

— Да это куршак, ребята! Вот, отрубистый, делетался,—пробормотал он, пытаясь расстегнуть ремни пилота.

Угар не знал, как открывается пряжка, и долго возился с ней, пока ерахтурский инок не подал ему ножа.

— Он самый! — подтвердил монах, робко оглядываясь на Марата Лимонникова. — Господи, какие события бывают.

— Это что! — живо отозвался Угар, разрезая ремни. — Этот хоть на землю вернулся, а я сам видел, когда у адмирала был, один из ихних поднялся и так далеко вверх залетел, что назад вернуться не мог — к солнцу притягивало. Семь дней и семь ночей в небе его носило, а на восьмой только ему снисхождение вышло.

— Не ври, Угар, хоть тут-то не ври, — сердито сказал Лимонников, — давай его лучше вытаскивать. Ну, монах, и ты помогай!

Грузное тело пилота повисло на руках тяжело дышащих людей. Они тащили авиатора на осеннюю траву у края канавы; ерахтурский инок расчищал ногой место для куршака.

— Тяжелый мордастый-то какой, накормила его власть, — говорил Угар. — Пудов на пять с походом.

— Прямо снятие со креста, — подтвердил Лимонников, — давай, расстегивай ему ворот, посмотрим за ним, пока другие летчики не придут.

Ерахтурский инок спросил Марата Лимонникова:

— Ваш помощник говорит, что куршаку подлип в селезенки бросается. Он сейчас вполне помереть может, а нас по судам затаскают.

— Типун тебе на язык! Брось агитацию, он уж дышать начинает. Раздвинься, ребята, не пугай человека. Он понемногу отойдет.

Куршак шевельнул рукой и слабо застонал. Потом он медленно открыл глаза и протянул вперед руку, приподнявшись на свободном локте. Он делал рукой движения, присущие человеку, ищущему дверь в темном и незнакомом месте. Он как бы боялся, что его пальцы должны сейчас на что-то наткнуться. Убедившись, что никакого препятствия нет, пилот быстро поднялся и сел, разбросав ноги.

— Товарищ, — обратился к нему торжественно Марат Лимонников, делая знак Угару, чтобы тот молчал, — разрешите вас поздравить с благополучным концом.

— Благополучным? — спросил спокойно пилот, глядя щеки. — А это что?

Он показал на аэроплан.

— Машину казна заведет, — пробормотал Угар и сплюнул себе под ноги.

Ерахтурский инок продолжил мысль Угара:

— Вы мне разрешите сказать, что железу скончания нет, а вашей жизни заменить нельзя. У вас пришибы большие?

— А, может, и заменят мою жизнь — другие найдутся... Все цело у меня, посижу немного и отойду. Спасибо вам всем за помощь. Сейчас с аэродрома придут.

— Чего там спасибо, — промолвил Угар и вдруг несвязно и растроганно забормотал, нагнувшись к пилоту.

— Так ведь ты наш... Рязанский, хоть и куршак. Господи, Куршуго я хорошо знаю. Старательный вы народ, ко всему способный... По над окнами липы у вас насажены, дух от них легкий... Куршаки — народ белый, крупный, хоть и рост вам больше в плечи ударяет... Я вашу нацию давно знаю.

Пилот оживленно кивал головой, пристально глядя на Угара.

Могильщик стоял расставив ноги, растрепавшаяся борода висела над склоненной головой пилота. Временами Угар нагибался к уху куршака и что-то шептал ему; тогда пилот опять качал головой и улыбался.

— Будьте свидетелями! — кричал Угар, хватая за руки Марата Лимонникова и монаха. — Никакого прижима я от куршаков не видал. Они народ обходительный... Да слушай, дорогой товарищ летчик, не твой ли отец мне еще яблоко давал. Ты не помнишь, нет? (Угар тряс куршака за плечо). Головной кустарь был он, старый мужчина такой. Рубаха на нем белая, а сам сурьезный... Я дорогу с отцом спрашивал, а старик мне яблоко дал. Яблоко — антон и три шишечки на нем, — как сейчас помню, — медовое яблоко, духмянное, сок в нем бунтует, штопором ходит... Ох, господи, ночь-то, помню, ясная, отменная, а окно-то синее... а по над окном две липы стоят, и промеж них шопот идет... Про яблоко-то ты не помнишь?

— Нет, хоть, может, и вправду так было! — ответил весело куршак.

— Десятый годок мне был тогда... Вы в притесненной нации стояли, и я, правду сказать, гнев на тебя и сейчас имел, иноку говорил про твою линию... Как, мол, куршак в люди вылез, выше наших граждан стал... Ты уж прости меня, гнев-то тяжелый был, мужицкое наше роптание... Вон иннок-то Никодим стоит, у него линия еще чуднее моей, мы с ним и возроптали...

Пилот взглянул на монаха, но вдруг заметил Микроскопа.

Инвалид сидел в стороне на земле, сняв кожаные ведра. Он угрюмо и пристально рассматривал летчика.

Куршак подумал, что Микроскоп похож лицом на хранителя колддца в Тургайской пустыне. Летчик почувствовал мгновенную обидную жалость к инвалиду.

Угар заметил взгляд летчика.

— Это тоже человек выше нас обделенный, он и злобится с этого. Он и тебя через свои ноги не любит и меня хамлетом зовет... А на тебя злобиться нельзя — ты выше всех идешь... Подумать только — раньше всякий солдат отпущенный, сапёр последний к куршаку руку прикидал, а теперь ты в люди вышел. А ты на Микроскопа внимания не обращай, пушай он волнуется...

Инвалид медленно поставил свои ведра, вскочил в них, приволакиваясь, как всегда, на руках, затянул ремни, и, не глядя ни на кого, скрипящими шагами пошел к выходу.



— У него сейчас под сердцем сосет, гордость в нем бунтует, — сказал ерахтурский инок, прикуривая цыгарку от папиросы Марата Лимонникова.

Похоронный комиссар проводил инвалида внимательным взглядом.

— Его здешний поп пигмсем зовет, — сказал Лимонников пилоту. — Он вашего брата не любит, но это понять надо... А я сегодня действительно боялся, когда на ваши петли смотрел, да все хорошо обошлось. Вы что, канавки-то разве не видели?

Пилот не ответил на вопрос похоронного комиссара и, как показалось Марату Лимонникову, на секунду помрачнев, махнул рукой.

— Да и говорить об этом не надо, — крикнул Угар. — Что было, то прошло...

— Дозвольте мне высказаться, — выскочил вперед ерахтурский инок. — Я хоть и монах, и товарищ куршак, как партийный, со мной говорить не будет...

— Почему же не будет? — перебил его Марат Лимонников. — Ты человек несознательный, к тебе подход надо делать.

— Ликование тут должно быть, — забормотал ободранный монах. — Ликование и радость мы должны высказать... Только подумайте вы — человек от земли отбился... Бог на него руку возложил, а он живой остался... Небо ясное, деревья играют, и человек нетронутый на травке сидит, трубку курит, и смерть от него отошла... Вы, может, смеяться над монахом хотите, а я правду высказываю!

— Только бог здесь не при чем, — заметил Марат Лимонников, — у нас на Бога расчета нет.

Похоронный комиссар сел на траву рядом с куршаком, Угар и монах последовали его примеру. Так они сидели, как по уговору, замолчав на несколько секунд.

Пилот курил трубку и вглядывался в светлый осенний дым, обвевающий мир. Тонкая блестящая паутина текла, как струи разлитого меда, с ветвей могильных деревьев. Пропеллеры на кладбище пилотов светились, как древние кости. Они были похожи на частокол, отгородивший землю от огромного голубого залива.

Куршак улыбнулся, убедившись, что никакой стеклянной стены нет. Следующая мысль сказала ему, что стена вовсе никогда не существовала.

Пилот, пораженный своим открытием, хотел встать, но вдруг застонал, почувствовав боль в ноге.

— Милый мой, — нагнулся к нему Угар, — ты зашибся. Сгоряча-то чувства у тебя никакого не было.

— Пустяки, — ответил куршак, стаскивая краги и заворачивая штанину. — Синяк порядочный, ногу прижало, ходить нельзя пока.

— Ваши товарищи, однако, идут, — сказал ерахтурский инок.

От ангаров к кладбищу, пересекая огромную медную поляну, бежала группа людей в зеленой одежде.

— Ну, все хорошо идет, — сказал куршак Марату Лимонникову. — Стыдно мне только перед ними, что я аппарат угробил.

— Ничего, со всяким случается, — наставительно протянул Марат Лимонников.

— Ты, Никита, послушай, чего я тебе скажу. Пришиб у тебя пройдет, он у тебя полезный, раз ты его сразу не почуял... Меня, как я был в пятой артиллерийской, газом душили, я сгоряча не почуял, а лишь на другой день в кашель ударился...

— Ты, Угар, лучше бы молчал, — сердито проговорил Марат Лимонников, — ты врешь, и сам себе веришь. Да тебя газом в минуту бы задушило.

— Дорогой Марат Евсеевич (голос Угара задрожал), пушай я, дурак, вру, пушай других тещу. Я от жизни своей вру, мне жизнь другая требуется.

В это время к пилоту подошли люди с аэродрома. У них были голубые воротники со значками, похожие на красные леденцы. Впереди шел летчик, который накануне перед полетом смутил куршака фразой о подвязках.

— Ага, все-таки сделал капот! — сказал он, улыбаясь во все лицо. — Вижу, что жив. Полезай в носилки. Аппарат-то как?

Летчик торопливо рассказал своему товарищу об аварии.

— Погоди, сейчас полезу, — добавил куршак, — только вот с людьми прошусь. Слушай, монах, ты девок любишь?

— Люблю, да они меня не любят, — глупо улыбнувшись, ответил инок. — Сейчас девки монахов презирают.

— А ты рясу совсем скинь, — посоветовал Угар.

В эту минуту Саналпал неожиданно завыл во всю ширь своей мохнатой глотки. Угар схватил собаку за уши.

— Ах, ты, млекопитающий, — закричал могильщик, — в какой день выть вздумал, дурак!

Ерахтурский инок пристально разглядывал пришедших. Он, возясь с куршаком, снял потрепанную рясу и от этого стал сразу похож на простого крестьянского парня. Кстати под рясой у него оказалась косоворотка из чортовой кожи и жилетка с ситцевой спиной.

Монах разглядывал летчиков с особенным вниманием и молчал.

— Ты чего уставился? — спросил один из авиаторов, снимая фуражку и вытирая пот со лба.

— Так, — буркнул монах, впиваясь взглядом в фуражку, возвращающуюся обратно на макушку летчика. Зеленый козырек фуражки, покрытый тонкими трещинами, напоминал чем-то древесный лист.

— Дай померять! — попросил инок и натянул фуражку до самых ушей.

— Ишь, какой Суворов нашелся, — восторженно крикнул Угар. — Замри все в два счета, оборот налево!

— Чего галдишь зря? Прибаутошник, бил тебя Сенька-будошник!

— Братцы, — тонким голосом вскрикнул инок. — Шапки правильные у вас пошли, острых нет. В такой шапке и куда хошь пойду, не забуюсь — хошь на японца, хошь на бухарского буржуя!

Летчики засмеялись, оскалив золотые зубы, и хозяин фуражки, хлопнув монаха по плечу, стащил ее с кудлатой головы ерахтурского инока.

Вдруг из-за могил показался отец Анастасий. Он бежал, путаясь в рясе, держа в руках большой желтый конверт с красными печатями.

Священник в недоумении остановился на дороге.

Он был высок, но хил, голова его лежала на правом плече, как надломленный подсолнух.

— Отец Никодим! — негромко окликнул священник монаха. — Возьми почту отцу игумену.

— Обождите, некогда... Тут другая линия, — взволнованно отозвался ерахтурский инок, жадно слушая прощальные слова пилота.

— Ты шапок не бойся, надевай опять такую и от девок отбоя не будет, — повторил во второй раз пилот, протягивая из носилок руку монаху, чувствуя, как лицо обвеваает теплый ветер, разрушивший сте-клянную стену.

---

## МИХАИЛ ГЕРАСИМОВ

\* \* \*

Печальный лес да ельник  
Да чахлые кусты,  
И лишь завод, как пчельник,  
Гудит в полях пустых.

Кипит упорным людом,  
Средь топей да болот  
Он вырос ярким чудом  
В голодный, черный год.

Мерцает свет веселый,  
Стальной пылает дуб,  
И огненные пчелы  
Летят всю ночь из труб.

Зарницы тучи лижут,  
И вскинул руки лес,  
А гроздь звезд все ниже  
С октябрьских небес.

Стекают над заводом  
С них струйки светлых струн,  
Душистым пышет медом  
Расплавленный чугуn.



# Слова

ВСЕВОЛОД РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Слова, которых нет нездешней,  
Привел мне солнечный недуг,  
Слова на букву ч: черешни,  
Чекмень, чинара и чубук.

Над полосой бледной вёрстки  
Слегка задумалось перо.  
Вот сад, вот домик в Пятигорске,  
Вот злой чинары серебро.

Польной сушью день утешен,  
Закат разбрызган, как вино,  
И блюдце бронзовых черешен  
Поставил кто-то на окно.

Хозяин ждет. С улыбкой дерзкой  
(Иль детской) смотрит в дым и свет,  
И на чекмень станицы Терской  
Похож сюртук без эполет.

«— Когда б еще забыться можно,  
Но даже страсть, как сон, легка:  
Уж лучше этот осторожный,  
Кизильный запах чубука!»—

В тот сад, серебряно-зеленый,  
Смотрю и я—сквозь дым костра.  
(Ведь есть у памяти законы,  
Есть тонкий запах у «вчера»!).

Мне слов ручей извечно сладок,  
Струится камешками дно.  
А тот или иной порядок  
Для сердца—право все равно.

# Петр Первый

Повесть

АЛ. ТОЛСТОЙ

(Продолжение <sup>1)</sup>)

10

**В** лесной чащи на берег Переяславского озера выехала вся в пыли дорожная карета разномастной четвертней. Степенный кучер и босой мужик-верховой, сидевший на левой выносной, оглядывались. Повсюду разбросаны бревна и доски, кучи щепы, разбитые смоляные бочки. И — ни живой души, только кое-где слышался густой храп. Невдалеке от берега стояли четыре осмоленных корабля, их высокие кормовые части, украшенные резным деревом и квадратными окошечками, отражались в зеленоватой воде. Между мачтами летали чайки.

Из кареты вылез Лев Кириллович, морщась, потер поясницу, — намаяло дорогой: хоть и не стар он еще был, но тучен от невоздержанности к питию. Ждал, когда кто-нибудь подойдет. Ленясь сам позвать, крихтел. Кучер сказал, прищуря глаз на солнце:

— Отдыхают... Время обеденное...

Действительно, в холодке, из-за бровен и бочек виднелись то ноги в лаптях, то задранная на голой пояснице грязная рубаха, то нечесанная голова. Верховой мужик, выручая ленивого боярина, позвал бойко:

— Э-эй, кто тут живой, православные...

Тогда близ кареты из-за канатов поднялось пропитое нерусское лицо с черными усами до четверти в каждую сторону, зарычало по ломанному:

— Што кришишь, турак...

Кучер оглянулся на боярина, — не стегануть ли этого кнутом. Но Лев Кириллович отклонил: кто их разберет — у царя Петра и генералы пьяные на земле валяются. Спросил, не роняя достоинства, — где царь?

— А шорт его снает, — ответила усатая голова и опять повалилась за канаты. Лев Кириллович пошел по берегу, ища человека рус-

---

<sup>1)</sup> См. «Новый мир» кн. 7, 8, 9-10 и 11. По техническому недосмотру в 11-ой книге «Нового Мира» в конце 9-ой главы повести «Петр Первый» было ошибочно указано об окончании первой части. Окончанием первой части повести являются главы, печатаемые в настоящей книге журнала.

ского вида и, уже не стесняясь, пхнул одного в лаптях. Вскочив, моргая, мужик—плотник—ответил:

— Утрась Петр Алексеевич плавали, из пушечек стреляли, видно уморились, почивают.

Петра нашли в лодке,—он спал, завернув голову в кафтанец. Лев Кириллович отослал всех от лодки и дожидался, когда племянник изволит притти в себя. Петр сладко похрапывал. Из широких голландских штанов торчали его голые, в башмаках на босо, тощие ноги. Раза два потер ими, во сне отбиваясь от мух. И это в особенности удручило Льва Кирилловича... Срам: царю босиком спать в лодке, да еще когда царство на волоске...

Бояре громко говорили в Кремле: «Петру прямая дорога в монастырь. Кутилка, солдатский кум, в зернь в кабаке проиграет царский венец». По Кремлю снова шатались пьяные стрельцы, нагло подбочивались, когда мимо проходил кто-либо из верхних. Софья, страшная хмельными этими саблями, безумствовала. Бесславный воитель Голицын, мрачный, как ворон, сидел у себя в палатах, обитых медью, допускал перед очи одного Шакловитого да Сильвестра Медведева. Все понимали, что сейчас либо уходить ему от дел со срамом, либо кровью добывать престол. Над Кремлем нависала туча...

А этот в лодке спит,—хоть бы ему что...

— А, дяденька, Кот Кирилыч, здравствуйте!

Петр сел на край лодки, обгорелый, грязный, счастливый. Глаза слегка припухли, нос лупится, кончики едва прѳбившихся усиков закручены...

— Зачем приехал?

— За тобой, государь, — строго ответствовал Лев Кириллович,— и не за малостью какой-нибудь, а такие сейчас дела, что быть тебе в Москве непременно, без тебя не вернуться...

Полное лицо Льва Кирилловича задрожало, на висках из-под шапки выступил пот. Петр изумленно взглянул: эге, видно дела там плохи, если ленивый дядюшка так расколыхался. Петр присел у воды и горстью напился, поддернул штаны:

— Ну, ладно, приеду на-днях...

— Не на-днях, — сегодня. Часу нельзя терять (Лев Кириллович придвинулся, едва доставая до уха племяннику): в прошлую ночь под самым Преображенским, на той стороне Язуы, обнаружили в кустах более сотни стрельцов в засаде. (Ухо и шея Петра мгновенно побагровели.) У нас преображенцы на карауле всю ночь фитили жгли, кричали в рожки... Те-то и поостереглись переходить речку... А уж после в Москве слышали,—стрелец Овсей Ржов рассказывал: у них так сговорено: как учинится в Преображенском дворце ночью крик, то быть им готовыми и, кого станут давать из дворца, тех рубить, кто ни попал...

Петр вдруг закрыл рукой глаза, — пальцы так и втиснулись, Лев Кириллович продолжал рассказывать про то, как Шакловитый

пускает по базарам крикунов — подговаривать голодный народ итти громить Преображенское:

— Народ стал отчаянный, одна забота — дорваться, грабить. А Софья только и ждет новой смуты... Ее ближние стрельцы на Спасской башне к набатному колоколу уж и веревку привязали. Они бы давно ударили, да стрелецкие полки, гостиные сотни да посадки сомневаются: набат-то всем надоел... Время такое, — бояре, как в осаде сидят по дворам... А уж сестрица Наталья Кирилловна без памяти... (Лев Кириллович прильнул к плечу, по-родственному всхлипнул.) Петя, Петруша, богом тебя молим: покажись во всем царском сане, прикрикни... По царе соскучились, — топни ножкой, а уж мы подсобим... Не то что нам, — врагам нашим надоел Васька Голицын, Сонька поперек горла воткнулась...

Много раз Петр слышал подобные речи, но сегодня всхлипывающий шопот дяденьки навел страх... Будто снова услышал он крики такие, что волосы вставали дыбом, видел наискось раскрытые рты, раздутые шеи, лезвия уставленных копий, тяжело падающее на них тело Матвеева... Телесный ужас детских дней!.. И у самого рот кривился на сторону, выкатывались глаза, невидимое лезвие вонзалось в шею под ухом...

— Петенька! Государь, господь с тобой! — Лев Кириллович обхватил тощую трясущуюся грудь племянника. Петр забился в его руках, брызгая пеной. Гнев, ужас, смятение были в его бессвязных криках. Повскакали люди, со страхом окружили беснующегося Петра. Усатый Памбург принес водки в черепке. Петр, как маленький, только брызгал, не пил, — так стиснуты были зубы. Его оттащили к карете Льва Кирилловича, но он, брыкаясь, приказал положить себя на траву. Затих... Потом сел, обхватив костлявые колени. Глядел на светлую пелену озера, где летали чайки над мачтами кораблей. Откуда-то появился, пошатываясь, Никита Зотов. По случаю утрешней потешной баталии он был в князь-папской хламиде, нечесан, в космах, в тронутый сединою бороде — сено. Присев около Петра, глядел на него, точно бородатая баба, — с жалостью:

— Петр Алексеевич, послушай меня дурака...

— Иди к чорту...

— Иду, батюшка... А ведь вот что, — доигрались... Бросать надо...

Мы и то говорим, — не маленький...

Петр отвернулся. Никита пополз на коленках, чтобы с другой стороны заглянуть ему в лицо. Петр толкнул его и молча полез в карету. Лев Кириллович торопливо крестился, подбегая...

На казанскую в Успенском соборе отходила обедня. Патриарший хор на левом клиросе и государевых жильцов на правом попеременно оглашали темно-золотые своды то отроческим сладкогласием, то ревом



крепких глоток. С тихим потрескиванием костры свечей перед золотыми окладами озаряли разгоряченные лица бояр. Служил патриарх, — будто великомученик суздальского письма сошел с доски: живыми были глаза да слабые руки да узкая борода до пупа, шевелившаяся по тяжелой ризе. Двенадцать великанов дьяконов, буйноволосые и звероподобные, звякали тяжелыми кадилами. В клубах ладана плыл патриарх, окруженный митрополитами... Возгласами архидьякона наполнялся, как крепким вином, весь собор. Сие был третий Рим. Веселилось надменное русское сердце.

На царском месте под алым шатром стояла Софья. По правую руку ее — царь Иван едва держал веки, скулы его горели на мертвеном лице. Налево стоял долговязый Петр, — будто на святках одели мужика в царское платье не по росту. Бояре, поднося ко рту платочек, с усмешкой поглядывали на него: несуразный выюноша, и стоять не может, топчется, как гусь, косолапо, шею не держит... Софья по крайней мере понимает державный чин. Под платьем, чтобы выше быть, скамеечка. Лик покойный, ладони сложены на груди, и руки, и грудь, плечи, уши, венец жарко пылают камнями. Будто сама владычица Казанская стоит под шатром... А у этого, у кукуйского кутилки, желваки выпячены с углов рта, будто так сейчас и укусит, да — кусачка слаба... Глаз злой, гордый... И — видно всем — и в мыслях нет благочестия...

Обедня отошла. Засуетились церковные службы. Заколебались хоругви, слюдяные фонари, кресты и иконы, поднятые на руках. Сквозь раздавшихся бояр и дворян двинулся крестный ход. Патриарх, поддерживаемый дьяконами, поклонился царям, дрося их взять по обычаю образ казанской владычицы и итти на Красную площадь к Казанскому собору. Московский митрополит поднес образ Ивану. Царь ущипнул редкую бородку, оглянулся на Софью. Она, не шевелясь, как истукан, глядела на луч в слюдяном окошечке...

— Не донесу я, — сказал Иван кротко, — урону...

Тогда митрополит мимо Петра поднес образ Софье. Руки ее, тяжелые от перстней, разнялись и взяли образ плотно, хищно. Не переставая глядеть на луч, она сошла со скамеечки. Василий Васильевич, Федор Шакловитый, Иван Милославский, — все в собольих шубах, — тотчас придвинулись к правительнице. В соборе стало тихо.

— Отдай... (Все услышали — сказал кто-то невнятно и глухо...) Отдай... (Уже — громче, ненавистнее..) — И когда стали глядеть на Петра, поняли, что — он... Лицо — багровое, взором крутит, как филин, схватился за витой золотой столбик шатра, и шатер ходил ходуном...

Но Софья лишь чуть приостановилась, не оборачиваясь, не тревожась. На весь собор, отрывисто, по-подлому, Петр проговорил:

— Иван не идет, я пойду... Ты иди к себе... Отдай икону... Это не женское дело... Я не позволяю...

Подняв глаза, сладко, будто не от мира, Софья молвила:

— Певчие, пойте великий выход...

И, спустясь, медленно пошла вдоль рядов бояр, низенькая и пышная. Петр глядел ей вслед, длинно вытянув шею. (Бояре — в платочек: смех и грех...) Иван, осторожно сходя вслед сестре, прошептал:

— Полно, Петруша, помирись ты с ней... Что ссоритесь, что делите...

## 12

Шакловитый, подавшись вперед на стуле, пристально глядел на Василия Васильевича. Сильвестр Медведев в малиновой шелковой рясе, осторожно беря и закусывая холеную воронова крыла бороду, тоже глядел на Голицына. В спальне на столе горела одна свеча. Струсовые перья над балдахинном кровати бросали тени через весь потолок, где кони с крыльями, летучие младенцы и голоногие девки венчали героя с лицом Василия Васильевича. Сам Василий Васильевич лежал на лавке на медвежьих шкурах. Его знобила лихорадка, подхваченная еще в крымском походе. Кутался по самый нос в беличий тулупчик, руки засунул в рукава.

— Нет, — проговорил он после долгого ожидания, — не могу я слушать эти речи... Бог дал жизнь, один бог у него и отнимет...

Шакловитый с досадой ударил себе шапкой по колену, оглянулся на Медведева. Тот не задумался:

— Сказано: «Пошлю мстителя», — сие разуметь так: не богом отнимается жизнь, но по его воле рукой человека...

— В храме орет, как в кабаке, — горячо подхватил Шакловитый. — Софья Алексеевна до сих пор не опомнится, — как напужал... Выходили волченка, — ему дикое дело начать... Ждите его на Москве с потешными, тысячи три их, если не более... Жеребцы стоялые... Так я говорю, Сильвестр?

— Ждите от него раззорения людям и уязвления православной церкви и крови пролитой — потоки... Когда гороскоп его составлял, — волосы у меня торчком поднялись: слова-то, дыфры, линии — кровью набухли... Ей-ей... Давно сказано: ждите сего гороскопа...

Василий Васильевич приподнялся на локте бледный, землистый...

— Ты не врешь, поп? (Сильвестр потряс алмазной панагией.) Про что говоришь-то, а?

— Давно мы ждали этого гороскопа, — повторил Медведев до того странно, что у Василия Васильевича лихорадка морозом подрала по хребту. Шакловитый вскочил, загремев серебряными цепочками, подхватил саблю и шапку подмышку:

— Поздно будет, Василий Васильевич... Смотри, — торчать нашим головам на кольях... Медлишь, робеешь, — и нам руки связал...

Закрывая глаза, Василий Васильевич проговорил:

— Я вам руки не связываю...

Больше от него не добились ни слова. Шакловитый ушел, за окном было слышно — бешено пустил коня в ворота. Медведев, подсев к изголовью, заговорил о патриархе Иоакиме: двуличен-де, глуп,

слаб. Когда его в ризнице одевают,—митрополиты его толкают, вслед кукиши показывают забавы ради. Надо патриарха молодого, ученого, чтобы церковь цвела в веселии, как вертоград...

— Твою б, князь, корону увила б тем виноградом божественным... (Щекотал ухо сандаловой, розовым маслом напитанной бородой.) Скажем я,—нет и нет, не отказался бы от пестрой ризы патриаршей... Прощели бы... Васька Силин, провидец, глядел с колокольни Ивана Великого на солнце в щель между пальцами и все сие увидал на солнце в знаках... Ты с Силиным поговори... А что про Иоакима,—так ему каждую субботу четыре ведра карасей возят тайно из Преображенского... и он принимает...

Ушел и Медведев. Тогда Василий Васильевич раскрыл сухие глаза. Прислушался. За дверью похрапывал князев постельничий. На дворе по плитам шагали караульные. Взяв свечу, Василий Васильевич открыл за пологом кровати потайную дверцу и начал спускаться по крутой лесенке. Лихорадка трогала ознобом, мысли мешались. Остановившись, поднимал над головой свечу, со страхом глядел вниз, в тьму...

«Отказаться от великих замыслов, уехать в деревню? Пусть мнует смута, пусть без него перегрызутся, перебесятся... Ну, а срам, а бесчестье? То полки водил, скажут, теперь гусей пасет, князь-та, Василий-та... (Дрожала свеча в похолодевшей руке.) За корону хватался,—кур щупает... (Стукнув зубами — сбежал на несколько ступеней.) Что ж это такое,—остается, как хочет Софья, Шакловитый, Милославские?.. Убить! Не его,—так он? А ну, как не одолеем? Темное дело, неизвестное дело, неверное дело... Господи, просвети... (Крестился, прислонясь к кирпичной стене.) Заболеть бы горячкой на это время...»

Спустившись, Василий Васильевич с трудом отодвинул железный засов и вошел в сводчатое подполье, где в углу на кошме лежал колдун Васька Силин, прикованный цепью за ногу...

— Боярин, милостивый, за что ты меня... Да уж я, кажется...

— Встань...

Василий Васильевич поставил свечу на пол, плотнее запахнул тулупчик. На-днях он приказал взять Ваську Силина, жившего на дворе у Медведева, и посадить на цепь: Васька стал болтать лишнее про то, что берут у него сильненькие люди зелье для прилюбления и пользуют тем зельем наверху того, про кого и сказать страшно... И за это ему дадут на Москве двор и пожалуют гулять в сытном ряду безденежно...

— На солнце глядел?.. — спросил Василий Васильевич.

Васька, бормоча, повалился в ноги, жадно чмокнул в двух местах земляной пол под ногами князя. Опять встал,—низенький, коренастый, с медвежьим носом, лысый, от переносья густые брови взлетали наискось до курчавых волос над ушами, глубоко засевшие глаза горели неистовым озорством.

— Раненько утром водили меня на колокольню, в другой раз — глядел в самый полдень. Что видел — не утаю...

— Сумнительно, — проговорил Василий Васильевич, — светило небесное, какие же на нем знаки? Врешь ты...

— Конечно, на нем нет ничего.. Только мы привычные сквозь два пальца глядеть, и это в роде как пророчество из меня является, гляжу, как в книгу... Конечно, другие и в квасной гуще видят и в решето против месяца... Умеючи — отчего же... Ах, батюшка, — Васька Силин вдруг сопнул медвежьим носом, раскачиваясь, пронзительно стал глядеть на князя. — Ах, милостивец... Все видел, все знаю... Стоит один царь, длинен, темен, и венец на нем на спине мотается... Другой царь — светел... ах, сказать страшно... три свечи у него в головке... А промеж царей — двое, сцепились и колесом так и ходят, так и ходят, будто муж и жена... И оба в венцах, и солнце промеж их так и жжет...

— Не понимаю, чего городишь, — Василий Васильевич, подняв свечу, попятился.

— Все по-твоему сбудется... Ничего не бойся... Стой крепко... А травки мои подсыпай, подсыпай, — вернее будет... Не давай девке покою, горячи ее, горячи... (Василий Васильевич был уже у двери...) Милостивец, цепь-то вели снять с меня... (Он рванулся, как цепной кобель). Батюшка, пищи вели прислать, со вчерашнего не евши...

Когда захлопнулась дверь, он завыл, гремя цепью, причитывая дурным голосом...

## 13

Стрелецкие пятидесятники Кузьма Чермный, Никита Гладкий и Обросим Петров из сил выбивались мучили стрелецкие слободы. Входили в избы, зло рвя дверь: «Что, мол, вы тут с бабами спите, а всем скоро головы пооторвут...» Страшно кричали на с'езжем дворе: «Дегтем отметим боярские дворы и торговых людей лавки, будем их грабить, сносить в дуваны... Нынче опять—воля...» На базарных площадях кидали подметные письма и тут же, яростно матерясь, читали их народу...

Но стрельцы, как сырые дрова шипели, не загорались,—не занималось зарево бунта. Не того теперь было нужно. Да и боялись: «Гляди—сколько на Москве нищего народу, ударь в набат, — все разнесут, свое добро не отобьешь...»

Однажды у Мясницких ворот рано поутру нашли четырех карaulьных стрельцов без памяти, — проломаны головы, порублены суставы... Приволокли их в Стремянный полк, в с'езжую избу. Послали за Федором Левонтьевичем Шаклэвитым, и при нем они рассказали:

— Стоим у ворот на карауле, боже упаси, не выпивши. А время—заря... Вдруг к пустыря налетают верхоконные и, здорово живешь, начинают нас бить обухами, чеканами, кистенями... Злее всех бил один толстый в белом атласном кафтане, в боярской шапке. Те уж его унимали: «Полно-де бить, Лев Кириллович, убьешь до смерти...» А он

кричит: «Не то еще будет, заплачу проклятым стрельцам (за моих братьев».

Шакловитый, усмехаясь, слушал. Осматривал раны. Взяв в руки отрубленный палец, являл его с крыльца сторонним людям и стрельцам. «Да, — говорил, — видно будут и вас скоро таскать за ноги...»

Чудно. Не верилось, чтобы вдруг Лев Кириллович стал так баловать... А уж Гладкий, Петров и Черный разносили по слободам, что Лев Кириллович и товарищи ездят по ночам, приглядываются, — узнают, кто семь лет назад воровал в Кремле, и того бьют до смерти... «Конечно, — отвечали стрельцы смиренно, — за воровство-то по голове не поглядят...»

Прошло дня три и опять у Покровских ворот те же верхоконные с толстым боярином наскочили на заставу, били чеканами, плетями, саблями, поранили многих... Кое-где в полках ударили набат, но стрельцы в конец испугались, не вышли... По ночам с караулов стали убегать. Требовали, чтобы в наряд посылали их не менее сотни и с пушкой... Будто с глазу — совсем осмирнели стрельцы...

А потом пошел слух, что этих верхоконных озорников кое-кого уж признали: Степку Одоевского, Мишку Тыртова, что жил у него за девку, Петра Андреевича Толстого, а тот, в белом кафтане, будто бы даже был и не боярин, а подьячий Матвейка Шошин, близкий человек царевны. Тут уж руками разводили, — чего же они добиваются этим озорством?

Нехорошо было на Москве, тревожно. Каждую ночь в Кремль посылали наряд человек по пятисот. Возвращались оттуда пьяные. Ждали пожаров. Рассказывали, будто изготовлены хитрого устройства ручные гранаты, и Никита Гладкий тайно возил их в Преображенское, подбросил на дороге, где царю Петру идти, но только они не взорвались. Все ждали чего-то, затаились.

В Преображенском с приездом Петра, не переставая, стреляли пушки. На дорогах стояли за рогатками бритые солдаты с бабьими волосами, в шляпах, в зеленых кафтанцах. Несколько раз бродячий народ, раскричавшись на базаре, собирался идти в Преображенское, громить амбары, но, не доходя Яузы, повсюду натыкались на солдат и те грозили стрелять. Всем надоело, — скорее бы кто-нибудь кого-нибудь сожрал: Софья ли Петра, Петр ли Софью... Лишь бы что-нибудь утвердилось...

## 14

Через рогатки по Мясницкой пробирался верхом Василий Волков. На каждом шагу останавливали, он отвечал: «Стольник царя Петра с царским указом...» На Лубянской площади свет костров озарял приземистую башню Никольских ворот, облупленные зубчатые стены, уходящие в темноту к Неглинной. Чернее казалось небо в августовских звездах, гуще заросли деревьев за тынами и заборами кругом площади. Поблескивали кресты низеньких церквочек. Множество тор-

говых палаток были безлюдны за поздним временем. Направо у длинной избы Стремянного полка сидели люди, поблескивали лезвия бердышей.

Волкову было приказано (посылался за пустым делом в Кремль) осмотреть, что делается в городе. Приказал Борис Алексеевич Голицын, — он дневал и ночевал теперь в Преображенском. Сонное житье там кончилось. Петр прискакал с Переяславского озера, как подмененный, — злой, крикливый, несправедливый. О прежних забавах и не заикнуться. На казанскую, вернувшись домой, он так бесновался, — едва отпоили с уголька... Ближними к нему теперь были Лев Кириллович и Борис Голицын. Постоянно, запершись, с ним, шептались, — и Петр их слушал. Потешным войскам прибавили кормовых, выдали новые кушаки и рукавицы, — деньги на это заняли на Кукуе. Без десятка вооруженных стольников Петр не выходил ни на двор, ни в поле. И все будто озирался через плечо, будто не доверял, в каждого вонзался взором. Сегодня, когда Волков сажился на коня, Петр крикнул в окошко:

— Софья будет спрашивать про меня, — молчи... На дыбу поднимают, — молчи...

Оглянув пустынную площадь, Волков тронул рысцей... «Стой, стой!» — страшно закричали из темноты. Наперерез бежал рослый стрелец, таща со спины самопал. «Куда ты, тудыть...» — схватил лошадь под уздцы...

— Но, но, постерегись, я царский стольник...

Стрелец свистнул в палец. Подбежали еще пятеро... «Кто таков?» «Стольник?...» «Его нам и надо...» «Сам залетел...» Окружили, повели к избе. Там при свете костра Волков признал в рослом стрельце Овсея Ржова. Поджался, — дело плохо. Овсей, не выпуская узды:

— Эй, кто резвый, сбегайте, поищите Никиту Гладкого...

Двое нехотя пошли. Стрельцы поднимались от костра, с завалины с'езжей избы, откидывая рогожи, вылезали из телег. Собралось их около полусотни. Стояли не шумно, будто это дело их не касалось. Волков осмелел:

— Нехорошо поступаете, стрельцы... По две головы, что ли, у вас на плечах... Я везу царский указ, — хватаете: это воровство, измена...

— Замолчи! — Овсей замахнулся самопалом. Старый стрелец остановил его: «Не трогай, он человек подневольный».

— То-то, что я подневольный. Я царю слуга. А вы кому слуги? Смотрите, стрельцы, не прогадайте. Был хорош Хованский, а что с ним сделали? Были вы хороши, а где столп на Красной площади, где ваши вольности?

— Буде врать, сука!.. — закричал опять Овсей.

— Вас жалею... Мало вас Голицын таскал по степям... Подсобляйте ему, подсобляйте, он вас в третий поход поведет... Будете вы по дворам куски просить... (Стрельцы молчали еще угрюмее). Царь Петр не маленький... Прошло то время, когда он вас пужался... Как бы вы его теперь не напужались... Ох, стрельцы, уймите это воровство...

— И-эх! — вскрикнул кто-то так дико, что стрельцы вздрогнули. Волков захрипел, поднял руки, завалился. Сзади на его коня с бегу прыжком, как паук, вскочил Никита Гладкий, схватил за шею, вместе с Волковым повалился на землю. Перевернувшись, сел на него, ударил в зубы, сбил шапку, сорвал саблю. Вскочил, загоготал, потрясая саблей, — широколобый, рябой, большеротый.

— Видели, — вот его сабля... Я и царя Петра так же оборву... Бери этого, тащи в Кремль к Федору Левонтьевичу...

Стрельцы подняли Волкова, повели с холма вдоль китайгородской стены, мимо усеянных вороньими гнездами ветел, что раскидывались, корявые и древние, по берегу заплесневелой Неглинной, мимо виселиц и колес на шестах. Сзади шел Гладкий, от него несло перегаром. В Кремль вошли через Боровицкую башню. За воротами горели костры. Несколько сот стрельцов сидели вдоль дворцовой стены, валялись на траве, бродили повсюду. Волкова протащили по темному переходу и втокнули в низенькую палату, освещенную лампадами. Гладкий ушел во дворец. У двери стал морщинистый, с проседью, смиренный караульный. Облокотясь на секиру, сказал тихо:

— Ты не сердчай, смотри, — нам ведь самим податься некуда... Прикажут — бьешь... Голодно, боярин... Четырнадцать душ семья-то... Раньше приторговывали, а теперь, — что пожалуют, на то и живем... А мы разве воруем против царя Петра... Да владей нами кто хошь, — вот нынче-то как...

Вошла Софья, по-девичьему простоволосая, в черном бархатном летнике с собольим мехом. Хмуро села к столу. За ней красавец Шакловитый, белозубо улыбаясь. На нем был крапивного цвета стрелецкий кафтан. Сел рядом с Софьей. Никита Гладкий придурковато, — слуга верный, — отошел к притолке. Шакловитый вертел в пальцах письмо Петра, вынутое у Волкова из кармана.

— Государыня прочла письмецо, дело пустое. Что же так спешно погнажи тебя в ночную пору?

— Разведчик, — сквозь зубы проговорила Софья...

— Мы рады поговорить с тобой, царев стольник... Здоров ли царь Петр? Здорова ли царица? Долго ли думают на нас сердчать? (Волков молчал.) Ты отвечай, а то заставим...

— Заставим, — тихо повторила Софья, всовывая пальцы в пальцы.

— Довольно ли припасов в потешных войсках? Не терпят ли какой нужды... Государыня все хочет знать, — спрашивал Шакловитый. — А зачем караулы на дорогах ставите, — забавы ради али кого боитесь? Скоро в Москву от вас и проезда не будет. Обозы с хлебом отбиваете, — разве это порядки...

Волков, как приказано, молчал, опустил голову. Страшно было молчать. Но чем нетерпеливее спрашивал Шакловитый, чем грознее хмурилась Софья, тем упрямее сжимались у него губы. И сам был не рад такому своему озорству. Много накопилось силы, покуда валялся

на боку в Преображенском. И сердце ярилось: пытай, на, пытай, ничего не скажу... Кинься сейчас Шакловитый с ножом ремни резать из спины, — нагло бы, весело взглянул ему в глаза. И Волков поднял голову, стал глядеть нагло и весело. Софья побледнела, ноздри у нее раздулись. Шакловитый, бешено топнув, вскочил:

— На дыбе отвечать хочешь?

— Нечего мне вам отвечать, — проговорил Волков (сам даже ужаснулся), ногу выставил, плечом повел. — Сами и поезжайте в Преображенское, стрельцов, — провожать, — у вас, чай, хватит...

Со всего плеча Шакловитый ударил его в душу. Волков подавился, попятился и видел, как от стола поднималась Софья, дрожа налитым гневом толстым лицом.

— Отрубить голову, — сказала она хриловато. Никита Гладкий и караульный поволокли Волкова на двор. «Палача!» — закричал Никита. Волков повис на руках. Его отпустили, — упал ничком. Кое-кто из стрельцов подошел, стали спрашивать: кто таков и за что рубить голову? Посмеиваясь, стали вызывать перекличкой через всю темную площадь охотника-палача. Гладкий сам потащил было саблю из ножен. Ему сказали: «Стыдновато, Никита Иваныч, саблю таким делом кровавить». Заругавшись, убежал во дворец. Тогда старик караульный нагнулся, потрогал за плечо окостеневшего Волкова:

— Ступай на здоровье. В ворота не ходи, а беги стеной да и перелезь где-нибудь...

Костры на Лубянской площади погасли (один еще тлел у избы), — никто не хотел таскать дров, сколько ни шумел Овсей. В темноте многие стрельцы ушли по дворам. Иные спали. Человек пять, отойдя к забору в тень навесистых лип, разговаривали тихо...

— Гладкий говорил: на Рязанском подворьи у Бориса Голицына спрятано шестьдесят чепей гремячих серебряных... Разделим, говорит, их, продуваем...

— Гладкому дорваться грабить, только он мало кого сманит на это.

— Веры нет: им грабить, а нам отвечать...

— Страшный грех, ребята: сказано не пожелай...

— Стольник правильно говорил: как бы мы скоро царя Петра не испужались...

— Недолго и испужаться...

— А эта, царевна-то наша, одних дарит деньгами, а другие торчи день и ночь в караулах, дома все хозяйство раззоренное...

— А я бы, ей-ей, ушел без оглядки в потешные войска...

— А ведь он, ребята, одолеет...

— Очень просто...

— Зря мы здесь ждем... Дождемся петли на шею...

Замолчали, обернулись. Со стороны Кремля кто-то подскакивал во весь мах.



«Опять Гладкий... Что его, дьявола, носит»... Пьяно загнав коня в костер, Гладкий на ходу соскочил, закричал:

— Для чего стрельцы не в сборе? Для чего не посланы на заставы? В Кремле все готовы, а у вас и костры не горят! Спят, дьяволы! Где Овсей? Послать в слободы! Как ударим на Спасской башне, — всем встать под ружье...

Ругаясь, раскорячивая ноги, Гладкий убежал в избу. Тогда стоявшие под липами сказали друг другу:

— Набат...

— Нынче ночью...

— Не соберут...

— Нет...

— А что, братцы, если... а? (Ближе сдвинулись головами, и — чуть слышно.)

— А там поблагодарят...

— Само-собой...

— И награда и все такое...

— Ребята, а тут дело гиблое...

— Знаем... Ребята, кто пойдет? Двоих бы надо...

— Ну, кто?

— Дмитрий Мелнов, пойдешь?

— Пойду.

— Яков Ладыгин, пойдешь?

— Я-то? Ладно, пойду...

— Добивайтесь до самого... В ноги, и — так и так... Замышлено-де смертное убийство на тебя, великого государя... Мы-де, как твои слуги верные, как мы хрест целовали...

— Не учи, сами знаем...

— Скажем...

— Бегите, ребята...

## 15

Воевать с двумя батальонами — Преображенским и Семеновским — и думать не приходилось. Тридцать тысяч стрельцов, жильцы, иноземная пехота, солдатский полк генерала Гордона прихлопнули бы потешных, как муху. Борис Голицын настаивал: спокойно ждать в Преображенском до весны. Скоро — осенняя распутица, морозы, — стрельцов поленом не сгонишь с печи воевать. А весной — будет видно. Хуже не станет, думать надо, станет хуже для Софьи и Василий Васильевича: за зиму бояре окончательно перессорятся, начнут перелетать в Преображенское; жалованья стрельцам выдано не будет, — казна пуста. Народ голодает, посадки, ремесленники раззорены, купечество стонет. Но буде Софья все же поднимет войска по набату, — нужно уходить с потешными в Троице-Сергиево под защиту неприступных стен, — место испытанное, можно отсиживаться хоть год, хоть более...

По совету Бориса Голицына из Преображенского тайно посылали в Троицу подарки архимандриту Викентию. Борис Алексеевич два раза сам туда ездил и говорил с архимандритом, прося защиты. Каждый день генерал Зоммер устраивал смотры и апробации, — от пушечных выстрелов едва не все стекла полопались во дворце. Но, когда Петр заговаривал про Москву, Зоммер только сопел хмуро в усы: «Что ж, будем защищаться...» Из слободы приезжал Лефорт, но не часто, — трезвый, галантный, с боязливой улыбочкой, и вид его более всего пугал Петра... Он не верил уж и Лефорту.

Часто среди ночи Петр будил Алексашку, кое-как накидывали кафтаны, бежали проверять караулы. Подолгу стоя в ночной сырости на берегу Яузы, Петр вглядывался в сторону Москвы, — тьма, ни огонька и тишина зловещая. Вздогнув от холода, угрюмо звал Алексашку, брел спать.

Только первые ночи до возвращения он спал с женой. Потом приказал стлать себе в дворцовой пристройке, в низенькой с одним оконцем палате, в роде чулана, — царю на лавке, Алексашке на полу, на кошме. Евдокия очи исплакала, дожидаясь лапушку, — была она брюхатая, на четвертом месяце, — дождалась и опять не осушала слез. Встречая мужа, хотела бежать на дорогу, да не пустили старухи. Вырвалась, в сенях кинулась к мужу дорогому, — вошел он длинный, худой, чужеватый, — прильнула лицом, руками, грудью, животом... Лапушка поцеловал жесткими губами, — весь пропах дегтем, табаком. Спросил только, проведя быстро ладонью по ее начавшему набухать животу: «Ну, ну, а что ж не писала про такое дело?» — и мимолетно смягчилось его лицо. Пошел с женой к матери — поклониться. Говорил отрывисто, непонятно, дергал плечиком и все почесывался. Наталья Кирилловна сказала под конец: «Государь мой Петенька, мыльню с утра уж топим...» Взглянул на мать странно: «Матушка, не от грязи свербит». Наталья Кирилловна поняла, и слезы поползли у нее по щекам.

Только на три ночи Евдокия залучила его в опочивальню, — как ждала, как любила, как надеялась приласкать! Но заробела, растерялась хуже чем в ночь после венца, не знала, о чем и спросить лапушку. И лежала на шитых жемчугом подушках дура душой. Он вздрагивал, почесывался во сне. Она боялась пошевелиться.

А когда он ушел спать в чулан, — со стыда перед людьми не знала куда девать глаз. Но Петр будто забыл про жену. Весь день в заботах, в беготне, в шептании с Голицыным... Так начинался август... В Москве было зловеще. В Преображенском — в страхе, на стороже...

— Мин герц, а что если тебе написать римскому цезарю, чтобы дал войско?

— Дурак...

— Это я-то? — Алексашка вскочил на кошме на четверинки. Подполз. Глаза прыгали. — Очень неглупо говорю, мин херц. И про- сить надо тысяч десять пеших солдат... Не больше... Ты поговори-ка с Борисом Алексеевичем.

Алексашка присел у изголовья: Петр лежал на боку, подобрал ко- лени, натянув одеяло на голову. Алексашка грыз кожу на губе:

— Денег у нас на это нет, конечно, мин херц... Нужны деньги... Мы обманем... Неужто мы императора не обманем? Я бы сам слетал в Вену, ей-ей... Эх, и двинули бы по Москве, по стрельцам, — забыли бы где портки искать...

— Иди к чорту...

— Ну, ладно... (Алексашка так же проворно лег под тулуп.) Я же не говорю — к шведам ехать кланяться или к татарам... Понимаю тоже. Не хочешь — не надо... Дело ваше...

Петр проговорил из-под одеяла неясно, будто сквозь стиснутые зубы:

— Поздно придумал...

Замолчали. В каморке было жарко. Скребла мышь под печью. Из- далека доносилось: «Посматривай», — это кричали караульные на Яузе. Алексашка ровно задышал...

Петра все эти дни томила бессонница. Только голова начнет про- валиваться в подушку, — почудится беззвучный вопль: «Пожар, по- жар»... И сердце затрепещет, как овечий хвост... Сон — прочь. Успо- коится, а ухо ловит, — будто вдалеке в доме за бревенчатыми стенами кто-то все плачет... Много было передумано за эти ночи... Вспоминал: хоть и в притеснении и на задворках, но беспечно прошли годы в Пре- ображенском, — весело, шумно, бестолково и весьма глупо... Оказался: всем чужой... Волчонок, солдатский кум... Проплясал, доигрался, — и вот уж злодейский нож у сердца...

Снова слетал сон. Петр плотнее скрючивался под одеялом.

...Сестрица, сестрица, бесстыдница кровожаждущая... Широко- бедрая, с жирной шеей (вспомнил, как стояла под шатром в соборе)... Мужичкое нарумяненное лицо, — мясничиха! Гранаты на дорогу велела подбросить... С ножом подсылает... В поварне вчера объявился боче- нок с квасом, хорошо, что дали сперва полакать собаке, — сдохла...

Петр отмотнулся от мыслей... Но гнев сам рвался в височные жилы... Лишить жизни! Ни зверь, ни один человек, наверно, с такою жадностью не хотел жить, как Петр...

— Алексашка... чорт, спишь, дай квасу...

Алексашка обалдело выскочил из-под тулупа. Почесываясь, при- нес в ковшике квасу, наперед сам отхлебнув, — подал. Зевнул. Погово- рили немного. «Послушивай» — печально, бессонно донеслось из- дали...

— Давай спать, что ли, мин херц...

. . . . .

Петр скинул с лавки голые худые ноги... Теперь не чудилось, — тяжелые шаги торопливо топали по переходам... Голоса, вскрики... Алексашка в одном исподнем, с двумя пистолетами стоял у двери.

— Мин херц, сюда бегут...

Петр глядел на дверь. Подбегают... У двери остановились... Дрожащий голос:

— Государь, проснитесь, беда...

— Мин херц, это Алешка...

Алексашка откинул щеколду. Тяжело дыша, вошли: Никита Зотов, босой, с белыми глазами, за ним преображенцы, Алексей Бровкин и усатый, угрюмый Бухвостов, втащили, будто это были мешки без костей, двоих стрельцов, — бороды, волосы растрепаны, губы отвисли, взоры блаженные...

Зотов, со страху утративший голос, прошипел:

— Мелнов да Ладыгин, Стремянного полка, из Москвы — перебежали...

Стрельцы с порога повалились мордами в кошму и, ерзя бородами, закрикали истоиво, как можно страшнее:

— О-ой, о-ой, государь батюшка, пропала твоя головушка, о-ой, о-ой... И что же над тобой умышляют, отцом родимым, собирается сила несметная, точат ножи булатные. Гудит набат на Спасской башне, бежит народ со всех концов...

Весь сотрясаясь, мотая слипшимися кудрями, лягая левой ногой от судороги, Петр закричал еще страшнее стрельцов, оттолкнул Никиту и побежал, как был, в одной сорочке, по переходам. Повсюду из дверей высывались, обмирали старушенки.

У черного крыльца толпилась перепуганная челядь. Видели, как кто-то выскочил — белый, длинный — протянул, будто слепой, перед собою руки... «Батюшки, царь!» — со страха иные попадали. Петр кинулся сквозь людей, вырвал узду и плеть из рук караульного офицера, вскочил в седло, не попадая ступнями в стремяна и, нахлестывая, поскакал, скрылся за деревьями.

Алексашка был спокойнее: успел надеть кафтан и сапоги, крикнул Алешке: «Захвати царскую одежду, догоняй» — и поскакал на другой караульной лошади за Петром. Нагнал его, мчавшегося без стремян и повода, только в Сокольничьей роще.

— Стой, стой, мин херц!

В роще сквозь высокие вершины блистали осенней ясностью звезды. Слышались шорохи. Петр озирался, вздрагивая, бил лошадь пятками, чтобы опять скакать. Алексашка хватал его лошадь, повторял сердитым шопотом:

— Да погоди ты, куда ты без штанов, мин херц...

В папоротнике шумно зафырчало: путаясь крыльями, вылетел терев, черной тенью пронесся под звездами. Петр только взялся за голую грудь, где сердце. Алексей Бровкин и Бухвостов верхами привезли одежду. Втроем торопливо, кое-как одели царя. Подскакало еще чело-

век двадцать стольников и офицеров. Осторожно выбрались из рощи. В стороне Москвы мерцало слабое зарево и будто слышался набат. Петр проговорил сквозь зубы:

— В Троицу...

Помчались проселками, пустынными полями на троицкую дорогу. Петр скакал, бросив поводья, — треухая шляпа надвинута на глаза. Время от времени он ожесточенно хлестал плетью по конской шее. Впереди него и сзади — двадцать три человека. Размашисто били копыта по сухой дороге. Холмы, увалы, осиновые, березовые перелески. Позеленело небо на востоке. Похрапывали лошади, свистел ветер в ушах. В одном месте какая-то тень шарахнулась прочь, зверь ли, — не разобрали, — или мужик, приехавший в ночное, кинулся в траву без памяти от страха...

Нужно было поспеть в Троицу вперед Софьи. Занималась заря, желтая и пустынная. Упало несколько лошадей. В ближайшей яме переседлали, не передохнув, поскакали дальше. Шестьдесят верст отмахали в пять часов. Когда за поворотом выросли острые кровли крепостных башен и разгоревшаяся заря заиграла на куполах, — Петр заплакал. Шагом вехали в монастырские ворота. Царя сняли с лошади, внесли, полуживого от стыда и утомления, в келью архимандрита.

## 17

Случилось то, чего не ждали ни в Москве, ни в Преображенском: Софья не смогла собрать стрельцов, набат на Спасской башне так и не ударили, Москва равнодушно спала в ту ночь, Преображенское было покинуто... Все — Наталья Кирилловна с беременной невесткой, ближние бояре, стольники, домочадцы и челядь и оба потешные полка с пушками, мортирами и боевыми снарядами — ушли к Троице.

Когда на другой день Софья стояла обедню в домово́й церкви, — сквозь бояр протолкался Шакловитый. Был он странен лицом. Софья изумленно подняли брови. Он с кривой усмешкой оглянулся на бояр:

— Царя Петра из Преображенского согнали, ушел бос, в одной сорочке неведомо куда...

Софья подобрала губы, проговорила постно:

— Вольно ж ему, взбесия, бегать...

Важного будто бы ничего не случилось. Но в тот же день стало известно, что стрелецкий полк Лаврентия Сухарева весь целиком ушел в Троицу, — непонятно, когда его успели сманить и кто, должно быть Борис Голицын, давнишний собутыльник Лаврентия. В Москве началось великое шептание. По ночам скрипели ворота, то там, то там выезжала боярская колымага и, громыхая по бревенчатой мостовой, мчалась во весь дух на ярославскую дорогу... Василий Васильевич Голицын ночи напролет проводил с Медведевым, пытаясь волшебством угадать судьбу свою. А днем бродил во дворце сонный, на все соглашался. Шакловитый метался по полкам. Софья, затаив бешенство, ожидала...

Неожиданно в Троицу ушел с пятисотенниками, сотенниками и частью стрельцов полковник Иван Цыклер, семь лет тому назад вытаскивший из церковного тайника под алтарем брата царицы Ивана Кирилловича. Он был в доверенности у Софьи. И там, моля Петра о прощении, раскрыл все царевнины замыслы.

Узнав про Цыклера, Софья растерялась. Василий Васильевич сильно испугался. На кого же положиться теперь, когда такие верные псы уходят? В Троице воодушевлялись. Оттуда стали прибывать гонцы во все девятнадцать стрелецких полков с грамотами (написанные рукой Бориса Голицына и подписанные наискось, с чернильными брызгами, «Птр»...), где приказывалось полковникам и урядникам быть в Троице для великого государственного дела...

Гонцов били на заставах и грамоты отнимали, но некоторые успели проскочить в полки и прочесть указ. Тогда Софья велела объявить: «Кто осмелится итти к Троице — тому рубить голову...» Объявили. Полковники сказали: «Ладно, не пойдем». Василий Васильевич надумал послать надежных людей к тем стрелчихам, коих мужья перекинулись к Петру, и, пугая, уговорить стрелчих написать мужьям, чтобы вернулись. Так и сделали, но толку от этого вышло мало.

Послали в Троицу патриарха Иоакима уговорить Петра мириться. Патриарх охотно поехал, но там и остался, даже не отписал Софье. Прибыли новые грамоты от Петра в полки, в гостиные и черные сотни, в слободы и посады: «...Без оплошки явиться в Троицкую лавру, если же кто не явится, — тому быть в смертной казни...» Вышло: и тут голова прочь, и там голова прочь летит. Полковники Нечаев, Спиридонов, Норматский, Дуров, Сергеев, пятьсот урядников, множество рядовых стрельцов, выборные от купечества и посадов в великом страхе ушли в Троицу. Царь Петр, стоя на крыльце, одетый в русское платье, — с ним Борис Голицын, обе царицы и патриарх, — жаловал стопкой водки приходящих, и они вопили слезным воплем, прося кончить смуту. В тот же день в Сухаревом полку закричали: «Идемте в Москву ловить злодеев...»

Василий Васильевич сказался больным. Шакловитый, боясь теперь показываться, тайно пребывал в задних дворцовых покоях. Гладкий с товарищами спрятался на подворьи у Медведева. В Кремле закрыли все ворота. Выкатили пушки на стены. Софья, не находя места, бродила по опустевшим палатам, — шаги ее были тяжелы, руки сжаты под грудь. Лучше открытый бой, восстание, резня, чем эта умирающая тишина во дворце. Как сон из памяти, уходила власть, уходила жизнь...

Город продолжал шуметь площадями и базарами. Казалось, про Софью забыли. Сухаревцы не пришли. Воевать решительно никто не хотел. Тогда Софья решилась и двадцать девятого августа одна с девкой Веркой в карете и с небольшой охраной сама поехала в Троицу.

*Конец первой части.*

# Тайфун

Рассказ

И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ

**В** канун последнего своего рейса капитан Босс ночевал на берегу. Сбираясь в город, он долго, с обычно неторопливостью европейца, привыкшего точно распределять время, одевался, натягивал на свое гладкое, побледневшее от прохладного душа тело короткое белье, шелковые скользкие чулки. На палубу, где с привычной почтительностью провожал его низенький и быстрый, похожий на итальянца шиф-офицер, он вышел, великолепно сияя крахмальной белизною костюма, свежестью выбритого, еще моложавого и ширококостого лица. Хозяйски-привычно он оглядел пароход, блестящий такую же праздничной белизной и порядком. Справа за бортом густо синевел океан, слева белел город и туманно лиловели подковой огибавшие залив горы. Внизу, у обитого медью трапа, скучившись носами, дежурили лодки. Капитан, пожав руку провожавшему его офицеру и взяв под козырек двумя пальцами, колебля трап, хозяйски-неспешно спустился мимо вахтенного, вытянувшегося в струнку матроса, и, помедлив, сел в ближайшую, длинную, как пирога, опустившуюся под его тяжестью лодку. Два малайца гребца, молодой и старик, с открытыми, курчавившимися барашком и блестящими кофейнокоричневой кожей головами торопливо взялись за весла. На длинных, разбивавших весла руках малайцев, на голых шоколадных грудях с выступавшими точками сосков, на длинных женских шеях скользнули отразившиеся от воды и белого борта блики.

Капитан один сидел на корме и правил. Океан у берега резко изменял свой цвет. Шлюпка скользила быстро. На берегу ярко белел город и поднимались серые метелочки пальм. Малайцы гребли дружно, далеко откидываясь, вытягивая тонкие шеи и открывая зубы. Иногда они произносили два-три слова. Океан был синий, лазоревый, высокое стояло солнце. А было больно глядеть на воду, на белевший на берегу город, на лиловевшие над городом, похожие на складки синего бархата горы. Высоко отставив локоть, капитан положил право руль, и лодка пристала, черкнув о каменную стену, под которой медленно ко-

дыхалась вода и было видно усеянное ежами и круглыми камнями зеленое дно. Черные узкие руки малайцев легли на выступ белого камня. Капитан ловко выпрыгнул на мокрые, с разбегавшимися крабами ступени и, не глядя на гребцов, бросил в лодку две серебряные монеты. Неторопливо, как свой в своем, он поднялся по белым отлогим ступеням и, твердо шагая, пошел вдоль широкой, освещенной солнцем, неустанно шумевшей людьми и машинами набережной...

Город, в котором провел последнюю на берегу ночь капитан Босс, был белый, насквозь пронизанный солнцем, заросший пальмами и садами. На белых, ослепительно-чистых улицах рядами высились тонкие пальмы, бросавшие голубоватые тени на белые стены домов, на широкие каменные панели, по которым, шелестя обувью, двигалась, растекалась человечья толпа. В центре широкой изумрудно-зеленой площади, поросшей подстриженной муравой, на мраморном пьедестале высилась белая мраморная женщина. Лицо женщины было обращено в туманившийся океан, откуда шли, точками показывались, дымили путники-корабли. Капитан Босс, плотно шагая, пешком прошел набережную, застроенную складами и конторами пароходных агентств, кишмя кишевшую белыми и каштановыми, одетыми и полуголыми людьми, не боявшимися недвижно палившего высокого солнца. На углу Большой улицы он завернул в контору, где живой, черноволосый и черноглазый, в рубаше с засученными по локоть рукавами человек — агент — принял его с собой и подобострастной почтительностью. Они сидели в кожаных, спиртуозно пахучих, глубоких креслах, говорили о делах и курили. Потом капитан Босс — опять пешком — прошел в банк и, стоя у окошка, прорезанного в толстом зеркальном стекле, распорядился о переводе денег. У капитана Босса, как и у многих других моряков, было две семьи: на родине и в Гвинее, что, впрочем, не мешало ему быть отличным семьянином и отцом...

Родился капитан Босс в стране, воспитавшей и похоронившей поколения моряков. Отец Босса был моряк, и все предки, изображения которых висели в домашнем кабинете Босса, были моряками, точно так, как предки земледельца непременно были земледельцами. Море воспитало Босса. И, как положено моряку, от раннего детства и мореходной школы капитан Босс прошел долгую и тяжелую дорогу, умел работать и бороться. Страна, в которой родился Босс, была богата и крепка. В отцовском старом доме с черепичатой крышей и свистевшими над трубою скворцами, с кроватями, прятавшимися по-старинному в нишах стен, с моделью парусного корабля, подвешанной над очагом, с чистейшим, как стекло, полом и закрывавшимися на ночь ставнями капитан Босс недавно праздновал золотую свадьбу отца, и весь маленький, точно игрушечный, городок собрался под освещенные и открытые настежь окна, за которыми тот вечер собралась вся многоголовая родня Боссов. Толпа стояла под окнами, пела и плясала. Старухи, сверстницы матери Босса, водили хоровод в масках молодых женщин, пели песни, самые те, что некогда — пятьдесят лет назад — пели на свадь-



бе молодых Боссов. И певуны такие выделявали па, так были молоды и свежи, что в них никак нельзя было признать семидесятилетних ведьм-старух... Поля, засеянные тюльпанами, высокие ветряные мельницы, каналы и чибисы на сырых кочках, чистейшие города и маленькие домики, у порогов которых стояли и курили по вечерам трубки отцы семейств, тележки селечодников на углах и освещенные лавочки, тишина кирх и костелов, в которых, положив скрещенные руки на спинки резных стульев, стояли молящиеся,—все было незыблемо прочно, веками нерушимо в этом воспитавшем капитана Босса мире. Люди умели побеждать, умели жить прочно. И родина Босса, бывшая некогда непроходимым болотом, стала похожа на великолепный цветник. Цветами были засеяны тысячи гектаров, и об'езжавшие город тележки с хлебом и живыми цветами каждое утро останавливались у порогов маленьких домиков. Так было в каждом городе, во всей казавшейся игрушечной стране. Цветами торговала страна, родившая Босса. А не только цветами была крепка родина Босса. Тысячи кораблей приходили в порты, с каждым годом росли и крепились построенные на сваях города. И, как все люди его страны, капитан Босс умел работать неутомимо, был отменно здоров. Сердечная болезнь, свойственная профессии моряков, еще мало мучила его, и он лишь начинал пить иод. Счастье само шло к капитану Боссу: к сорока годам—возраст в Европе далеко не могильный—он был командиром большого быстроходного парохода, возившего в Европу бананы и рис, и совладельцем крупного дела...

Мир, в котором жил и действовал капитан Босс, казалось, был непоколебим. Правда, после войны, расшатавшей и самые твердые устои, нечто нарушилось и в этом благополучном мире. Чаще застаивались корабли, немало разорилось людей и дел. Но дело, в котором работал и был совладельцем Босс, продолжало жить. А, быть может, не все было благополучно в этом, казавшемся ненарушимом, мире. Неблагополучие виделось в том, как переутомившиеся, измученные бессонницей миллионеры выбрасывались в море из собственных аэропланов, в том, что во всех городах мира, сиявших великолепием и порядком, толпами ходили голодные и бездомные люди, в том, наконец, что попрежнему неизменно брала людей смерть—богатых и бедных, слабых и сильных. Но и о смерти никогда не задумывался капитан Босс.

Вечером капитан Босс сидел в большом людном кафе с горевшими на столах китайскими фонарями, вокруг которых падали и неслышно чертили ночные бабочки и жуки. Он пил коньяк и ледяную воду, смотрел на двигавшиеся, танцовавшие между столов пары, на ходившего в первой паре неестественно красивого брюнета, по-женски опускавшего обведенные кругами печальные глаза, с подчеркнутой изможденностью выступавшего по блестящему полу носками лакированных туфель. Потом во втором часу ночи, под сине-сине-черным, усыпанным звездами, пересеченным млечным путем небом, мягко покачиваясь и шелестя глушителем, длинный лакированный автомо-

биль нес Босса за город, а в свете прожекторов волшебным показывался лес каких-то змеиноподобных, валившихся на автомобиль деревьев. Ночевал капитан Босс в большом загородном отеле, тонущем в ночной зелени садов, вместе с женщиной, записавшейся его женой.

Женщина, записавшаяся женою Босса, была не первой молодости. Она жадно и много курила, глубоко сидела у открытого, синевевшего звездным светом окна, подобрала ноги и выставив обтянутые шелком, блестящие колени. Было в ней что-то особенное, привлекавшее и даже пугавшее Босса. Это особенное было в некоторой неправильности ее излишне бледного лица, в бездонной глубине черных, тревожно светившихся глаз, которыми она пристально, как бы с усмешкой следила за капитаном Боссом, в излишней порывистости движений, с которою она, точно от внезапной боли, вся вздрагивала и сжималась. Отличны были ее длинные, немного широкие в кистях руки, зыбкая и детская ее походка, с которой, неслышно ступая по мягкому ковру, поднималась она по освещенной лестнице отеля, впереди тяжело шагавшего Босса. По национальности она была русская. И капитан Босс, из всех земель света не побывавший только в России, о русских и России знавший не более, чем о загробной жизни, с любопытством, насколько позволяло его спокойствие, рассматривал новую свою подругу... Ночь капитан Босс провел отлично, ежели не считать дурных сновидений, вызванных привычкою капитана спать на берегу в неподвижной постели: всю ночь, стоило закрыть глаза, снился ему танцующий томительно опускавший подведенные глаза молодой человек. Сновидение было столь навязчиво, что капитан Босс, не будя спавшую или притворившуюся спящей подругу, встал рано, когда еще только начинал подниматься отель. Неслышно умывшись, положив на стол десятифунтовую бумажку и не прощаясь, капитан Босс вышел на волю. Опять автомобиль мчал его по красной твердой дороге, но уже не казался волшебным окружающий дорогу, сдвигавшийся в серую полосу лес. И опять капитан Босс зашел в контору, где тот же человек в белоснежной рубашке с засученными рукавами почтительно усаживал его в кресла и угощал сигарой...

На пароход капитан Босс вернулся за час до отхода. Все так же порядком и чистотой сверкал пароход. Через час, молчаливый и величественный, весь в белом, он стоял на застекленном, отражавшем слепящее солнце мостике и отдавал приказания. Круглый, точно выкованный из чугуна голландец-лоцман, не выпуская из зубов трубки, хрипло кричал в телефон. На корме и на баке шевелились, неторопливо выбирали и скатывали концы люди; медленно, звено за звеном, роняя грунт, выходил из воды канат. Все шло налаженно и точно, как механизм отлично проверенной, тысячу раз испробованной машины. Минута в минуту, сотрясая воздух гудком, пароход тронулся с места и стал забирать в море. И капитан Босс опять спустился в свою каюту. Он долго сидел в сверкавшей мрамором и серебром кранов уборной,

тщательно и с наслаждением растирал и окатывал водою свое красневшее, вздрагивавшее под кожей тело, старательно и ритмично дыша, занимался гимнастикой, чувствуя, как приливает его жезнерадостность и привычное желание работать. Потом—после кофе, которое подал в каюту белоснежно одетый, с синевешей жесткими волосами головою стюарт-чинез—он сидел за большим, уставленным фотографиями, стоявшем на середине каюты столом. Каюта капитана Босса размерами и убранством похожа была на большой роскошно убранный кабинет. И, как в наилучшем отеле, как в самом благоустроенном доме, все и во всякое время было к услугам капитана Босса. Капитан Босс, прошедший нелегкую дорогу от матроса до командира океанского корабля, отлично, с природным умением европейца, пользовался окружающими его удобствами, не замечая, как человек не замечает воздуха, который вдыхает. Он сидел за столом в полосатой пижаме, работал. Все было отменно прекрасно: здоровье и дела капитана Босса, переливавший всеми цветами, игравший зайчиками на шелковых занавесках, чуть зыбившийся и покачивавший корабль океан. Сотни раз проходил этим путем капитан Босс. И океан, как никогда в это время года, был приветлив и нежен. Босс уже давно не восторгался величием океана, и, как многих закоренелых моряков, живее привлекали его земные дела. Давным-давно прошли времена, когда отважные предки Босса ходили на деревянных, похожих на большие гробы кораблях, гибли и побеждали. Давно известны пути, измерена каждая пядь, мириадами знаков и цифр испещрены новейшие мореходные карты. А бывало, как и в прежние времена, погребал океан большие железные корабли-города, — но меньше всего гибелью и опасностью заботился капитан Босс...

На третий день пути было получено радио о тайфуне. Радист—худощавый, белобрысый, с пробором в редких прилизанных на круглой голове волосах—сам принес капитану депешу. Он почтительно постучал в дверь капитанской каюты, почтительно изогнувшись, стоял у капитанского, покрытого малиновым сукном стола. Тайфун был далеко, путь его расходился с путем корабля, и капитан Босс спокойно, откинувшись в кресле, прочитал синий, положенный перед ним листок. Тот же час в судовом журнале, с указанием долготы и широты, минут и часа, было отмечено кратко о появившемся на океане тайфуне.

А ни с чем не сравним, ужасен и губелен для кораблей проходящий и внезапно пропадающий тайфун. Как одушевленное страшное существо, точно бешеный зверь, сорвавшийся с цепи, мчится он по океану, и не ведает никто, когда и как изменится его путь. Потому так сбивчивы и противоречивы были сыпавшиеся радио тот и следующий день — с Гонконга, с Пратаса, из многих других мест — о движущемся, виденном кораблями тайфуне. Одно было ясно: радио вопило о небывалой силе продвигавшегося в океане тайфуна, о необычайной сжатости его круга. И капитан Босс, не желая заходить в Гонконг, дорожа временем и стараясь избежать встречи, трижды изменял курс,

и было похоже, что тайфун гоняется, как дикий зверь, за пароходом. На третий день очевидностью стало, что, по выражению самого Босса, сохранявшего полное спокойствие и веселость, корабль идет прямо в зубы тайфуну. Ночью был объявлен аврал. Вся команда, выбиваясь из сил, в вое нагонявшего пароход урагана работала на палубе и в машинах, приготовляясь к страшной встрече. И кратко запечатлевая начавшееся бедствие судовая запись: «...ветер двенадцать баллов, крен двадцать пять градусов, вступаем в первую поступательную четверть тайфуна...»

Никто потом не мог рассказать подробно. Люди помнили, что началось бедствие ужасным ветром, что в самый страшный час, когда пароход вступил в центр урагана, не стало времени. Как в дни творения, была тьма, и воздух смешался с соленой водою, пароход то падал во внезапно открывавшиеся пропасти, то возносился на вершины водяных, чудовищно сталкивавшихся гор. От напора газов с треском лопались и взлетали в воздух трюмные люки. Как потом вспоминали люди, много необъяснимых явлений сопровождало тот страшный час. От избытка влаги коробилось дерево, и сами собою оживали и двигались многие предметы, в свитки свивались висевшие на стенах цыновки, крупные капли ржавчины, подобные крови, выступили на белых стенах и потолках кают. Погас свет, и птицы, которых везли в каютах матросы, в полночь заехали—странным и ужасным в грохоте бури показывался тонкий птичий свист! Готовый разбиться в куски, озаряемый вспышками молнии и светом фосфоресцирующих брызг, увлекаемый в вихорку урагана, обнажая дно и кингстоны, не слушаясь руля, целую ночь кидался пароход из пропасти в пропасть. И всю страшную ночь капитан Босс стоял на посту, крепко стиснув челюсти, обеими руками держась за мокрый планшир... Погиб капитан Босс, когда, нежданно одолев бурю, пароход уже выходил из центра тайфуна и, подавая людям надежду, стал медленно подниматься барометр. Толчком, подобным подземному удару, оторвало Босса от удерживавшего его планшира, и, с куском дерева в руках, падая, ударился он головою о выступ компаса. С великим трудом, много раз падая, сбиваемые с ног, матросы перенесли его в роскошную, теперь растерзанную каюту, положили в раскачивавшуюся кровать. Скончался капитан Босс утром от сотрясения мозга, когда корабль, умытый ураганом, с поломанными мачтами и поврежденной трубой, спасшийся как бы ценою смерти самого Босса, медленно плыл по зеркальному океану. И опять деловито и кратко, в немногих словах запечатлел гибель капитана Босса судовой, никогда не прекращавшийся журнал.

Хоронили Босса на другой день. Опять был невозмутимо нежен и перламутром отдавал океан, легкий ветерок тянул с левого борта, относя черный, отражавшийся в зеркальной поверхности дым. Капитан Босс, нарядный и белоснежный, с надушенным платочком в боковом кармане, прикрытый до груди полотнищем флага, сидел в глубоком лонгшезе. Яркое пекло солнце. Пароход стоял недвижимо. И капитан

Босс разлагался на глазах окружавших его людей. Синевело, иззелена-чугунным становилось и искажалось его лицо, страшно раздувались высовывавшиеся из рукавов лежавшие на груди руки. И прежде положенного часа похоронили капитана Босса. Тот самый матрос, что стоял у трапа, когда в последний раз сходил на берег капитан Босс, зашивал белый коробившийся брезент. Похожий на мумию, капитан Босс лежал на широкой, подвешанной на четырех смоленых концах доске. Маленький, на итальянца похожий шиф-офицер, заменивший на корабле капитана Босса, обнажив голову, печально прочел молитву. Под прощальное завывание гудка, при спущенном флаге тело капитана Босса вместе с доскою стало медленно опускаться вдоль белого с кружками иллюминаторов борта. На малую минуту оно остановилось над самой поверхностью чуть зыбившегося, игравшего отсветами солнца океана. Потом, по знаку маленького человека, поднявшего руку, конец доски нахинулся, и — сперва медленно — оно скользнуло в легко всплеснувшую, раздавшуюся, прозрачную, как голубое стекло, воду. Матросам, стоявшим у борта и смотревшим вниз, было видно, как пошел под воду, странно колеблясь и все уменьшаясь, капитан Босс.

---

# В комнатах лесных

НИК. ЗАРУДИН

I

## Лежа в апрельском лесу

Вот он—на припеке горячий  
Весенний березовый быт:  
Сухая, прозрачная дача,  
Белея на листьях, стоит.

Как-будто, пыля зеркалами,  
Поднявши сквозняк на весь дом,  
Пустой, обогретый стволами,  
Лес выложен серым теплом.

Весь настезь от солнца и света,  
Пятнистых, дрожащих жуков,  
Как-будто летящих с паркета  
На белые рамы стволов.

Где сладко бродя от соседства  
Воздушного,—в почках густых  
Молчит полутемное детство  
Язычеством комнат лесных.

Лишь изредка в серые листья,  
Живой аромат шевеля,  
Цветок медуницы повиснет  
Оранжевым плюшем шмеля.

И знойно гудя, улетает  
Далеким трамваем в окне...  
И лес, шевелясь, прорастает  
Усатой травой в тишине.

Да облако поймано сетью  
Березы. Да счастьем роста  
Лежу я ребенок столетий  
И нюхаю солнце с листка.

II

## Время отлета

В осень с поэзией вместе заранишь  
Сердце, как вальдшнепа. Мыли в дому  
Окна опушек, и выпался за ночь  
Лес в растворенном настезь дому.

Был он печален: пруд был граненый,  
Там, где кленовая роща живет,  
Жолтых листов в холодке изумленно  
Шол валовой и последний пролет.

Винные пятна текли в одиноком  
Воздухе позднем—и на стекле  
Осень, казалось, стояла у окон,  
Раскрытых в последний раз на земле,

Словно вдыхая запах восстаний  
Светлого мира, темнея, когда  
Медленно реял воздух признаний  
Вместе с кровавым вскриком дрозда.

Чувство от'езда. Тогда на охоте  
Больно от жизни и верениц  
Серого счастья, что снится болоту  
Где-то за синим отечеством птиц.

Чувствуешь жадно. И тянет. И наша  
Темная кровь уносит за лес,  
И поднимает, и медленно машет  
За пролетающий, траурный крест.

И в заболевший от гогота воздух  
Нижусь я шумно; несу и несу...  
И на земле, из далекой и поздней  
Стаи, себя замечаю внизу...

— Время отлета!—машу я,—навек!  
И—за горящим пыжом, опален,  
Словно с отлетным криком калеки  
Падаю в лес, что к зиме застеклен.

Пьяно дышу, замираю— и тянет  
Нежное море глаза наверху...  
Время отлета! И, может, на ране  
Слышишь, как перья скребут по перу.

Может, то, вспомнив дикий и серый  
Холод зари и под крыльями дрожь,  
Жизнь, ты, как синее небо Гомера  
Гуси зовут, за плечами зовешь?

Или же томик бессмертья, от власти  
Хлынувших дум, как в саду на скамье  
Перелистав, умирая от счастья,  
Ты, не разрезав, забыла во мне?



# Люди и факты

1. С. БОРИСОВ. — По Донецкому бассейну. 2. МАКС ЗИНГЕР. — Красавец Енисей.  
3. А. ШЕСТАКОВ. — «Крестоносцы» ЦЧО. 4. Б. Ю. АЙХЕНВАЛЬД. — Образы  
Алтая.

## 1. ПО ДОНЕЦКОМУ БАССЕЙНУ

Путевые очерки

С. Борисов

1

Степи Донбасса...

Любителю естественных красот природы тут делать нечего: унылая, выжженная солнцем степь, изредка безнадёжная беспредельность покрыта зелеными квадратами пшеницы, белые хаты хуторов, сухие балки и пыльные степные шляхи... Традиционной в описаниях степи «сладкой горечи полыни» нет: пылью, дымом пахнет. Отсутствует лес. Редко встречающиеся рощи дубняка так малы, что их даже не замечаешь.

В паутине железных дорог, «шляхов» и просто проселков ничего не разберешь. И, главное, кажется — крутишься вокруг одного места: в какой округ ни ездил, всегда пересекал станции Дебальцево, Криничную, Ясиноватую — и везде одну и то же: степь, заводы, шахты, степь.

Еду на новой шегольской рудоуправленческой машине. Пять лет назад я плутал по степям Донбасса и сейчас не узнаю этих мест: новые поселки, заводы, мачты электропередач.

Спрашиваю у шофера:

— Правильно едем — на Сталино?

— В аккурат...

— Раньше этих поселков и заводов не было.

— То раньше... Вон тут каких делов наворочали. Строят, как ошалелые... Индустриализация... А к заводам не подобрешься — дорог нет. Строители... По воздуху я машину поведу, что ли... Купили, пижоны, машинку, а на ней только барышень по асфальту катать...

Заговорившись, он не дал руля вовремя и машина на выбоине яростно подпрыгнула, словно резиновой лапой на горячее наступила.

— Вот... Тут и танку не пройти... Дороги-то к новым заводам Николай угодник будет строить? Пижоны...

По всем линиям горизонта аккуратные обнаженные холмы, напоминающие скифские могильники-курганы, да из окутанных дымом контуровзданий и труб плывет по знойным просторам беспрестанный скрежет, голодный лязг железных чудовищ.

Зной, пыль, дым...

Везжаем в пыльный и извращенный поселок.

Делаем остановку.

— Что за поселок?

— А — так. Мерзвый. Завода близко нет — жизни нет. Где завод — там и жизнь. Тут только жители живут.

В нескольких рудоуправлениях я видел диаграммы жилищного строительства. За наше советское время, вернее с 1924—25 годов, построено в Донбассе для шахтеров жилищ больше, чем за



несколько предшествовавших десятилетиями, когда недра Донбасса принадлежали русским и иностранным капиталистам.

И в то же время на каждом руднике, на каждом заводе, начиная от директора и кончая сторожем у заводской калитки, все в один голос стонут:

— Нет жилищ...

— Не можем развернуть добычу — некуда поселить рабочих...

Когда указываешь на диаграммы, на сотни новых поселков, то отвечают:

— Это капля в море жилищной нужды.

За поселком около километра — шахта. Я иду туда просить провожатого осмотреть поселок. В шахткоме меня отговаривают: неинтересно, мол, поселок старый, отмирающий, «построен капиталистом», лучше посмотреть новый поселок, становящийся типичным для нового советского Донбасса.

Я убеждаю, что мне, как журналисту, интересно все посмотреть.

Председатель культкомиссии соглашается.

— Ну, что же, пойдемте в Шанхай...

— Почему — Шанхай? Китайцы там живут?

— Все наши — из рязанской, тамбовской... Это по тесноте, грязи и вони называют поселок Шанхаем.

Председатель культкомиссии из шахткома шахты № 5/6 Рыковского рудоуправления показывает мне «без прикрас» поселок, где живут шахтеры.

Широкая, серая от пыли, заваленная мусором, тряпьем и битой посудой улица. Приземистые лачуги огорожены листами ржавого железа, плохо сколоченными заборами, посреди улицы, по обеим сторонам — грязные и вонючие будки-клозеты, ящики с отбросами. Полдень. На улице взрослых не видно. Из десятков кухонь-печурок стелется горький дым, летит сажа. За заборами возня с посудой, слышен ребячий плач и, нудно переругиваются через забор две женщины с злыми и какими-то одеревяневшими лицами... Душно от жары, вони и тупой и ненужной человеческой злости. Посреди улицы блаженствуют свиньи и около ящиков с

мусором играют дети, на которых и больно и стыдно смотреть...

— А зимой что тут робится, — говорит мне мой спутник, — в грязи потопнуть можно.

Заходим в первую попавшуюся лачугу.

На дворе рухлядь, в кутке свинья с поросятами, печурка на дворе, в котле булькает незатейливое варено, хозяйка держит на руках грудного ребенка, тут же, у ее ног, путаются еще два погодка...

— Здравствуй, — говорит ей мой проводник, — покажи москвичу свои комнаты.

У входа в квартиру в кучу свалено в угол черное тряпье — шахтерская рабочая одежда. Квартиры все па один лад: кухонька — летом опа не топится, и комната квадратная — шесть шагов длины и столько же ширины. В кухне помещается только плита, кровать и узкий проход в комнату. В комнате темно, вдоль стен — постели, окно занавешено тряпкой — от жары — и, лювидимому, никогда не открывается. Если открыть, — пыль с улицы и вонь от сортиров. В комнате запах пиши, несвежего белья и пота. На кровати спит шахтер из ночной смены.

— Сколько человек у вас тут живут?..

— Пять душ...

— Скрываешь, наверно, больше?

— Зачем же ей скрывать? — спрашиваю я.

— Они еще жильцов держат — сезонников к себе пускают.

Хозяйка вмешивается в разговор.

— Обратите внимание на пол — цементный, сколько раз заявляла, чтобы застлали досками, а то у детей от этого пола ревматизм пошел...

Пол выщербленный, грязный.

— За чистотой плохо следите, — обращает внимание хозяйки мой провожатый.

— Милый, я надтрывалась, все чистила, плакала от грязи, а потом забрюхатела и где уж тут — руки опустились...

Проходим дальше.

Обошли с десяток квартир — везде одно и то же. Есть и хуже. В таких конурках живут по 8 человек...

В одном из дворов я обратил внимание на печение хлеба. Пекли хлеб лепешками — как в голодные годы.

— Почему не берете готовый, печеный хлеб?

— Это в капирации? Пропади они с их хлебом. Пекут сырой и тяжелый, как кирпич. Мукой берем.

По всему Донбассу, особенно в отдаленных рудниках, жалуются на плохо выпекаемый хлеб кооперативными пекарнями.

Когда я спрашивал, почему шахтеры через шахтком не нажмут на кооператоров, то ответ был безнадежный:

— Шахтком — он высокой политикой занимается, а до хлеба ему дела мало... Продолжаем обход.

Мой спутник не может мне сообщить что-либо утешительное. Досугом в старых поселках владеют водка, карты, улица...

— По воскресеньям шахтер гуляет. На улице, как на толчке, пьяные, песни орут, безобразий много (какие — не сказал). Мы боремся против того, чтобы в домики брали жильцов, а они все же берут — выгода им от сезонников, они и кормят его и водкой потихоньку торгуют. Милиция каждую получку делает обходы, составляет протоколы за шинкарство, но все равно — в одном домике накроют, а в другом начинают...

От осмотра хибарок переходим к казармам.

На пустыре, на отлете, темнокрасные, унылые по однообразию, рядами стоят десять казарм. Вокруг ни дерева, ни кустика. Вытопанная степь, покрытая густо пылью и сором. В дождь пустырь превращается в сплошное озеро грязи.

В комнатах по 6—8 коек, сравнительно просторно, живут холостяки. Грязь, спертый воздух — правило общее. Всюду на кроватях и под кроватями валяется одежда, пол залезван, заброшен окурками. На кроватях матрасы, простыни серые от грязи, подушки засалены: белье выдается казенное, за плату 1 р. 50 к. в месяц и стирается через две недели. А шахтеры, придя домой со смены, часто не умывшись как следует, и как мы видели, даже в сапогах ложатся спать... Клобы и вши

— явление частое. Попадают койки без постельных принадлежностей. Это — новичков, которым при поступлении на работу постель дается только через десять дней, и это время они спят на голых и грязных досках. Нерадостно встречает шахта новичка.

Мой проводник, председатель культуркомиссии, говорит, что и у старых рабочих иногда не бывает постели:

— Пропивают или проигрывают в карты.

В каждой казарме имеется красный уголок — малоуютного вида и, похоже, часто пустующий. Радио почти всюду отсутствует, газеты и книги встречаются редко.

Вопросами казарменного быта сейчас занялась донецкая печать. Она ударила в набат, призывая массы к борьбе за оздоровление казармы. Дворцам культуры предлагается со стороны рабочих принять над казармами культурное шефство. Под влиянием кампании «поход на казарму» создаются бытовые тройки, конкурсы на лучшую чистую комнату, началась очистка дворов, насаждение деревьев и так далее.

— Слабо у вас тут, повидимому, идет работа по культурной части, — замечаю я своему провожатому.

— Сразу всего не искоренишь, — отвечает он. — Тут десятилетиями жизнь складывалась, и потом тут кадровых рабочих мало... Постепенно и эти поселки отомрут — денег на все сразу нет... Один бы такой поселок надо оставить для показа: вот что капиталисты давали шахтеру... А теперь я вам покажу новый Донбасс — советский Донбасс...

Переходим пустырь, отделяющий старый поселок от нового.

Широкая чистая улица, дома за палисадниками, цветники, черными лентами тянутся тротуары из укатанного шлака. Крыши на солнце отливают серебром, большие окна блестят, и за стеклами цветы, над каждой крышей самодельные антенны радиоприемников.

Входим в одну квартиру, другую. Где больше достатка, где меньше, но везде чистота, забота об уюте, блестят

крашенные полы, на стенах картинки— советские лубки на военные темы, вышитые полотенца. Квартиры все одинаковые — из двух комнат, кухни, чулана и погреба.

Другой мир — здесь всюду встречаешь и газеты и книги.

Живут те же шахтеры-забойщики, крепильщики, что и в «Шанхае».

Разговариваю с одним шахтером, другим.

Бодрые, полные уверенности речи.

— Как стал жить по-человечески — пить бросил, интерес ко всему стал...

— У меня ни черта раньше не было, а теперь, как получка,—а зарабатывать стал больше,—не гуляю—все купишь то да се...

— Как получил новую квартиру, — точно новую жизнь получил. И ребяташки выправились и бабу перестал бить.

— Раньше тянуло в шинок, бродить, а теперь из дому на собрание или в клуб.

## 2

Сталино...

Ранним ли утром, или поздней ночью улицы полны народа, движения, магазины вблизи фабрик торгуют круглые сутки. Днем этот город наполнен грохотом, окутан серой, пылью и дымом. Город в кольце фабричных труб, и откуда бы ветер ни подул, облака дыму нависают над улицами... В ровные промежутки времени город наполнен звуками — симфонией гудков окружающих заводов. Ночью город озарен: электрические зарева пылают над заводами, и в черном южном небе то гаснут, то разгораются пламенеющие красные озера — отсветы доменных печей...

До войны это был маленький и грязный заводский поселок — посад Юзовка, лежащий в балке Скоморошка и основанный в конце 70-х годов прошлого века, одновременно с чугуноплавильным заводом Джона Юза... Сейчас из посада создается окружной центр, губернский по старому масштабу город, насчитывающий уже около 90 тысяч населения. В этом городе широко развернулась научная работа. Созданный

в последние годы Донецкий горный институт с факультетами горным, горно-механическим, горно - химическим и рабфаком уже в течение 6 лет проводит непрерывную производственную практику и готовит специалистов, вопрос о которых особенно обострился после шахтинского процесса. Сейчас этот институт, руководимый молодым ученым Лугачем, представляет собой мощный учебный комбинат. Институтом развернуто около двух десятков лабораторий, открыты курсы горных инженеров, инженеров - маркшейдеров, горный техникум, курсы шахтоуправления и курсы по повышению квалификации инженеров и техников. Институт создан на «пустом» месте и теперь он обладает высококвалифицированным кадром профессуры. Широко идет строительство, строятся новые корпуса, дома для студентов и преподавателей. В 15 километрах от Сталино находится Макеевский институт по изучению горно - спасательного дела, тут же строится первый в мире институт по изучению свойств газа и пыли в горной промышленности, затем научные учреждения по охране труда и т. д.

Весь город охвачен лихорадкой строительства. Улицы разворочены, замощиваются, асфальтируются тротуары, прокладываются водопровод, пустыри огорожены заборами, закладываются фундаменты колоссальных домов, тут же, рядом с обреченными на слом хибарками, вылупливаются из лесов серые кубы четырех- и пятиэтажных домов, открылась новая почта — огромное здание из бетона и стекла, дом Югостали, недавно проведен трамвай— 7 километров до станции железной дороги. Вся степь, по которой проложен трамвай, разделена на участки, они застраиваются, и через несколько лет Сталино будет иметь обстроенный новыми большими домами проспект в 7 километров длиною.

Сталино находится в центре крупнейших металлургических, трубопроводных, коксо-бензолных и химических заводов, и Сталинский округ—самый богатый по количеству шахт (даже недр этого города изрыты шахтами...). И этот район, имеющий богатое на-

следие от старой пятилетки 1923—27 гг., результаты которой как-то остались в тени перспектив новой пятилетки, явится на данном участке нашего строительства концентрированным и мощным воплощением идеи индустриализации СССР.

\* \* \*

С трудом и не без протекции получаю номер в гостинице «Металлургия».

Иду звонить на рудник, добиваюсь центральную заводскую станцию и слышу только по-украински певучий голос телефонистки:—Сушаю... сушаю...

Несколько раз пытаюсь начать фразу: будьте ласковы... А телефонная душня продолжает:—Сушаю... сушаю... Який вы нетерпячка...

В открытое окно несется рычание: «Сушайте, сушайте», затем хриплый лай и музыкальная окрошка. Дневной радиоконцерт. С ревом и грохотом проносятся грузовики, трезвонит трамвай, нестерпимо палит солнце, а на площади перед громкоговорителем сотни слушателей — рабочие из ночной смены. Из окна номера видна улица, площадь перед кино, где громкоговоритель, ряд лавчонок. Перед одной из них, с вывеской —

### Крамница

Вино в роздриб—

очередь с бутылками... Радио внезапно давится, замолкает, откуда-то выскакивает беспризорный и, вытащив две деревянные ложки, бойко ударяет ими в колени и доставляет небольшое развлечение стоящим в очереди песней:

Жила - была Расея,  
Великая держава...

В соседнем номере на балкончике грузный сидящий мужчина склонился над книжкой. Он кричит кому-то внутрь номера:

— Добродий, побачь трошки... Тут «и» с одной крапочкой или с двумя...

— Плюнь, идем пиво пить...

— Пиво... зубришь, зубришь, а в Киеве академия выдумает новые грамматические правила — начинай долбеж сызнова, а у меня дети взрослые...

Это — прибывшие из России совработники, которым необходимо сдать по

«украинской мови» экзамен «по першей категории». Совслужащие, не выдержавшие испытания, увольняются пачками...

Обеденное время. В столовых «Нархарча» чисто, вкусные и сытые обеды по 60 коп., но переполнено, очереди. В саду ресторан «Окрохматмлад» — окружного отдела охраны материнства и младенчества. Ни чаю, ни воды в этом ресторане не водится: любезно предлагают пиво, вино. Повидимому, Окрохматмлад считает, что на доходы от спайвания родителей он лучше будет охранять интересы матерей и младенцев от произвола пьяных родителей... В ресторане играет инвалидный оркестр—попурри из похоронного марша, марсельезы и «Интернационала»...

Возвращаясь из сада переулком, — за тесовым новым забором лязг, грохот: строится завод или новый цех. Новый дом-клуб. Жарко, а в открытое окно доносится гул голосов, аплодисменты. У входной двери афишка:

Доклад и прения  
на тему:  
Американские темпы и российская расхлябанность.

3

Шахта. Рудничный двор. Для понимания, что представляет собой добыча угля, поверхность шахты—рудничный двор — не дает материала. Основная масса рабочих и основа производства — под землей, на поверхности, или, как шахтеры говорят, «на горá» — в котельной, машинном, ламповой и по разгрузке — занято немного рабочих.

По опыту знаю, что инженеры — плохие проводники для неспециалиста: они очень точно, словно лекцию читают, детализируют все специальные функции данного аппарата или процесса, но обычно от таких объяснений в голове застревают, как соломинка в бороде, термины и не знаешь к чему их отнести: к машине или к процессу работы. Иногда за это расплачивается журналист, из добросовестности старающийся записать все в блокнот и рассказать читателю. Я дружески этому коллеге посоветую: по напечатании не попадаться на глаза специалисту...

В шахткоме секретарь мне рекомендует провожатою.

— Идите к классовому врагу, он сейчас на западное крыло будет спускаться.

В комнату входит шахтер в «специ» с лампой на поясе.

— Вот и классовый враг пришел, — объявляет секретарь.

Знакомлюсь с товарищем. Председатель комиссии по охране труда. Почему его называют классовым врагом — это он незлобливо мне объясняет:

— Такая должность собачья. На хозяйственника начнешь нажимать, требовать улучшений по охране труда, он тебе в рожу сует директивы о снижении себестоимости. Ладно. Тут я его директиву директивной крою — об охране труда и улучшении техники безопасности. Орем тут друг на друга, на бюро грожусь вопрос поставить. — «А, в бюро, — кричит он, — хорошо-с, а дисциплину кто подтянет, порчу машин, прогулы...» — И понесет, и понесет... Идешь к рабочим (первым делом к партийным, этих ребят иногда жмешь так, что сок течет) — так и так, надо прогулы, труддисциплинку и прочее... Рабочие свое: насчет спецодежды плохой, пересидки в шахте, — ну, друг друга кроем, а толк один: у шахтера насчет меня идея — хозяйственнику проданся... А мне что — больше надо? На собрании заявляю — переизберите. Тут тебе за это от ячейки влетаети сами же рабочие требуют: «пусть классовый враг наши интересы защищает...»

Подходим к производственной бане. Обширные помещения раздевалки, сушилки мокрой спецодежды и зал для умывания: вдоль стены два десятка душей. Старый Донбасс таких бань не знал, так же, как и таких мелочей, как кипячильники, фляги для подземных рабочих, а сейчас почти нет ни одной шахты, где бы не было производственной бани. Труд шахтера очень тяжел. И поэтому, в противовес капиталистической рационализации, выдвигающей исключительно интересы снижения себестоимости и увеличения добычи, советская рационализация идет другим путем: улучшать условия и обстановку

труда, облегчать производственные процессы путем механизации, гармоничной согласованности всех отдельных моментов труда, взаимно дополняющих и взаимно облегчающих. Я вспоминаю слова одного шахтера-партийца, который говорил мне, когда заходила речь об улучшении условий труда шахтера:

— Ильич где-то сказал: «мы должны добиться, чтобы труд в нашей стране был красивым». К этому мы стремимся и к этому мы придем...

Наша советская рационализация ставит себе целью сохранять и увеличивать рабочую силу, что в экономическом итоге дает улучшение, увеличение и удешевление продукции.

Но и на этом пути стоят мелочи...

Поднимаемся по деревянным ступеням к клетке. У железной решетки перед клетью сгрудилась смена для спуска в шахту. Гудят сигналы, грохочет железо, лягают решетки клетки. Вверх и вниз. Снизу вагонетки с углем, направляемые чумазами от угольной пыли работниками, летят по уклону эстакады, вагонетки опрокидываются в платформы, по другому пути стальной канат тянет пустые вагонетки, и они исчезают в шахте за новой добычей.

Я обращаю внимание на обыск рабочих перед спуском.

Кто-то из шахтеров слышит мой вопрос и говорит:

— Позор тем, кого обыскивают...

Провожатый мне объясняет:

— Табак ищут, спички. Шахта газовая и за пронос третий пункт (немедленное увольнение)... Старый шахтер не пронесет, знает, что может погубить себя и товарищей, взорвет шахту, а «летуну» — ему наплевать...

Входим, нагнув головы, в мокрую клетку. Свободной рукой крепко держусь за железную штангу над головой, в другой руке лампа, ноги упираются в рельсу. Камнем летим вниз. Грязная вода ручьями стекает в рукав поднятой руки, за воротник. Сердце срыгается в какую-то пропасть: исчезает ощущение — летим вниз или вверх. Мрак. У ног расплывается светлое пятно от лампы. Движение замедляет-

ся. Клеть мягко стучается о железные кулаки.

Нижний горизонт — полкилометра под землей.

Лучами к стволу сходятся штреки, лошади подтаскивают вагонетки, горит электричество, стекающая вода бежит канавками вдоль штреков и блестит как деготь.

Электричество только у ствола, — путь дальше освещаем лампочками. Электричество — коварный помощник под землей. Искра от мотора, соединение проводов взрывают газ или угольную пыль. Небрежная очистка мотора, во время которой соскабливается изоляция, — причина гибели людей, взрыва шахты. Вопрос о применении электричества в шахтах — вопрос сложный, почти неизученный, и ни один инженер не даст гарантии за безопасность мотора.

Мрак, теплый сырой воздух, скользкие сходни ведут нас в темную и кажущуюся таинственной глубину.

Мы спускаемся по стремительно крутому и скользкому спуску. Ряд двойных дверей открывается и закрывается за нами. Дверь под воздушным напором вентиляционной струи силится захлопнуть нас, мы ее придерживаем: стучать дверями не позволяют правила безопасности — нужно принимать сотни разных предосторожностей, чтобы не потревожить в шахте дремлющего и беспощадного зверя, имя которому гремучий газ метан.

Вода местами выше щиколотки, ноги вязнут в липкой грязи, на сырых столбах крепления растут цветы невиданных и прекрасных форм: белые, как вата, подземные паразиты — особый вид грибов. Когда шахта умирает, забрасывается, грибы сплошным белоснежным покровом стелются по штрекам.

Бесконечные повороты, подъемы, спуски. Час ходьбы. Мы приближаемся к забою. Долог путь к забоям и тяжел — этим путем идут шахтеры.

Поражала пустота шахты: мало было народу. По наряду должно быть более двухсот человек, а в нашем крыле было два-три десятка и не больше на другом крыле.

— Где же народ?

— Сегодня получка — прогульный день. Первая смена полностью работала, а сейчас получка, — вот и вторая смена гуляет.

Забойщик вмешался в разговор.

— Теперь такой народ пошел, из деревни; ему на корову зарабатывать, а на остальное — наплевать... «Летуны» работать не любят.

Я вспомнил диаграмму добычи и себестоимости в конторе шахты, кривая вздымалась и опускалась, как линия температуры больного лихорадкой.

Нога споткнулась о мягкую кишку электропровода к врубовой машине. На животе вниз прополз монтер, и врубовая машина наполнила лаву скрежетом. Темный туман — угольная пыль — закружился вокруг огонька лампы. Машины не было видно, но чувствовалось, как ползучий электрический зверь с хрустом вгрызается в угольный пласт.

Внизу засвистал листогон: можно спускаться. Мы повесили лампы на шею и сели в жолоб из железных листов, по которым стекал в вагонетки уголь. Крутым, почти отвесным уклоном мы пролетели 120 метров, успевая откидывать назад голову, чтобы не разбиться о крепление. Уголь летел за нами вслед, опережая нас, куски попадали под сиденье, за ворот, кололи тело. Ноги уперлись в твердый пласт угля: над нами лежала земля, пласт высотой в полкилометра, изрытый продольными и поперечными ходами...

Спускаемся в лаву, где работа идет вручную.

Узкая, длинная, на 80 метров щель, высотой около полуметра. Часто наставленное крепление поддерживает верхний пласт угля от обвала. Лежа на боку, забойщики рубят уголь. Угольная пыль скрадывает и без того скудный свет лампочки. Извиваясь ужом, ползет саночник на животе и тащит за собой на веревке, обмотанный вокруг шеи, санки с углем. Варварский, изурительный способ добычи угля, отмирающий сейчас в Донбассе. Проползти на животе эти 80 метров мучительно

трудно... От жары пересохло в горле, во рту каша от угольной пыли, нечем сплюнуть — сухо...

У бремсберга, на бревнях для крепления, мы присели отдохнуть.

Смена кончила работу — «упряжку».

Мой провожатый окликнул проходившего шахтера:

— Садись, папаша, отдохни... Пора тебе бросать работу, на пенсию переходи... Поработал, пусть другие работают...

Около меня садится бородач, ставит между ног лампу.

— Я еще поработаю, — отвечает он, — пока сына не выручу... Без подмоги ему трудно.

Подсевший к нам — один из редких могиканов Донбасса — шахтер Погодин, работающий в шахтах с 1889 года! Он дважды тяжело пострадал от катастроф в шахтах, но по выздоровлении возвращался на производство. Ему предлагают получать заслуженную пенсию, — половину месячного оклада, — но он продолжает работать и на пенсию перейдет, когда его сын окончит вуз в Харькове, которому он материально помогает. Этот бодрый старик не имеет ни одного прогульного дня и дает лучшую норму выработки на труднейшей работе забойщика...

На бревна подсаживается еще один товарищ — заведующий шахтой, коммунист, рабочий из выдвиненцев

Мы привыкли читать на последней странице «Известий» объявления, кричащие о страшной нужде в специалистах. На шахтах эта нужда, переведенная на язык фактов, выражается в том, что один инженер занимает две-три штатных должности, и как это отражается на качестве технического руководства, говорить не приходится. Темпы, взятые горной промышленностью, начинают тормозиться, упираясь в «узкое» место: недостаток инженеров, техников.

— Центры, — говорит мне заведующий шахтой, — набиты специалистами, которые сидят в главках и трестах. И занимаются там нередко специалисты путяками. Пора поставить вопрос о переброске, перераспределении специалистов, а иначе у нас ерунда получает-

ся: производство мы не поднимем, а даже и тех специалистов, что имеем, порастеряем. Вы вот ездили по шахтам, — где вы встречали инженера, просидевшего долго на одном месте? Хорошо — полгода, а то и меньше. Посидит и бежит... Боятся ответственности. Не хотят отвечать за несколько дел сразу. У меня вот инженер занимает три должности: заведует механизацией и по совместительству заведует вентиляцией и динамитным складом. Он мне уши просверлил, чтобы я освободил его от совместительства, и парень действительно запарился — мало того, что на производстве загружен, тут еще по общественной линии, по ИТС, на производственных совещаниях, отчетность разная... Он спит и во сне видит — как бы ударить отсюда. Жизнь на рудничном поселке не сладка. А главное — ответственность. Несчастье какое или что — к суду его первым потянут. Дошло даже до того, что при проведении какой-нибудь рационализации ни один из них не хочет брать персональной ответственности, а соглашаются, если все специалисты вместе подпишутся под этим мероприятием, тут получается страховка, прятание за коллектив и фактическая безответственность...

На обратном пути, возвращаясь из шахты, он жаловался на «летунов».

«Летуны» — рабочие, которые кочуют с одной шахты на другую, пользуясь недостатком рабочей силы, возмутительным образом нарушают трудовую дисциплину, не выходят на работу, небрежно относятся к машинам, в отдельных случаях такое отношение переходит в прямое вредительство — порчу кабелей, конвейеров и т. д. Такого рода вредители в большинстве случаев — кулаки и подкулачники, сумевшие затесаться в ряды горнорабочих.

На протяжении нескольких дней я натолкнулся на случаи самого дикого и нелепого хулиганства «летунов».

В воскресенье на Смолянке, на шахте, пьяный парень забрался к стволу и, желая показать своему приятелю, как работает клеть, дал сигнал к спуску. Случайно в этот момент в стволе не

находились ремонтные рабочие, иначе они были бы раздавлены. Парня, конечно, немедленно уволили и, когда его спросили, почему это сделал, он ответил:

— Просто так... А что ты мне сделаешь?

На шахте «Карл» два коногона, Скубаков и Манука, вырвали у лошади язык и, когда их вызвали к управляющему, они, нагло смеясь, заявили:

— А что ты нам сделаешь?

Дело было передано в милицию, но так как в уголовном кодексе не нашли «статьи о лошадином языке», дело было прекращено.

Уборщик Морозов из хулиганства включил рубильник тока большого напряжения и чуть не убил двух монтеров, а так как по российскому обычаю «чуть» не считается, поступок остался безнаказанным...

На Ремовской шахте № 23, Чистяковского рудоуправления, где работа «летунов» не была пресечена и «летуны» не изгнаны из рядов шахтерской массы, в результате падения трудовой дисциплины и невыходов на работу не выполнена норма суточной добычи угля: вместо задания в 350 тонн добывалось всего 200 тонн. Шахта давала убыток.

Председатель Донугля тов. Ломов обратился в Чистяковское рудоуправление с телеграммой:

«Предлагаю поставить перед организациями и рабочими решительный вопрос: или Ремовская шахта будет к 18 августа полностью справляться с заданием, приведена в боевое состояние или 18-го приказываю ее закрыть».

Кадровые рабочие шахты решили не допустить закрытия шахты. Обсудив на общем собрании приказ<sup>3</sup> Донугля, рабочие послали такую телеграмму:

«Состояние шахты позволяет выполнить задание по добыче и себестоимости. Позорное невыполнение задания связано со слабой дисциплиной, невыхождаемостью, невыполнением норм и порчей механизмов. Настаиваем на сохранении шахты в действии и твердо обещаем вместе с техническим персоналом и всеми организациями решительными мерами привести шахту в боевую готовность, выгнать вредителей и изжить не порядки, восстановить революционную дисциплину и социалистическим соревнованием выполнить годовое задание».

Телеграмма заканчивается такими словами:

«Отрем позорное пятно, на деле покажем, что шахта № 23 в Донбассе будет в первых рядах!»

4

Санитарный инспектор мне сказал:

— Донбасс, это — фронт. Не проходит дня, чтобы из рядов горняцкой массы не была вырвана человеческая жизнь, армия инвалидов труда не получила бы нового пополнения.

Число несчастных случаев в Донбассе растет. Правительственная комиссия, обследовавшая состояние техники безопасности, не встретила ни одной шахты, где это дело было бы хоть удовлетворительно поставлено: слаб надзор, отпускаемые средства расходуются нерационально, не по назначению, встречается, что отпущенные кредиты вовсе не используются.

В погоне за добычей и снижением накладных расходов экономят на мероприятиях по предупреждению катастроф: по технике безопасности и охране труда. За эту экономию отдувается потом соцстрах, бюджет которого растет не по дням, а по часам... У хозяйственников есть прекрасные программы по развитию добычи, — есть ли у них программы восстановления шахтерских кадров, слой которых с каждым годом становится тоньше и растворяется в самой дорогой и малоэффективной массе сезонников и «летунов» с их текучестью и рваческими настроениями...

Это — тема острая и волнующая шахтерскую массу.

Я был на одном производственном совещании на Ново-Смоляниновском руднике, где шахтеры с удивительной деловитостью и не меньшей страстью обсуждали вопросы безопасности — проблема, в которой узлом завязываются вопросы поднятия производительности, снижения себестоимости и т. д. Протокол этого собрания — не только любопытный материал для производственника, но ценное свидетельство роста шахтерской массы: это расуждения не наемной рабочей силы, продающей свой труд, а подлинных хозяев земных недр.



**ПРОТОКОЛ<sup>1)</sup>**  
**заседания шахткома № 1 Ново-Смолянни-**  
**ского рудника**  
 23 июня 1929 года.

Присутствовало:

члены шахткома . . . . .	10 чел.
» ИТО . . . . .	8 »
» произв. комис. . . . .	8 »
прочих. . . . .	220 »

Итого . . . . . 246 чел.

Из них:

член. партии . . . . .	110
мужч. . . . .	230
женщ. . . . .	18

Слушали:

Доклад тов. Шульпина (члена ЦК горняков) о целях и задачах техники безопасности.

Прения:

Тов. Варламов. — Мы варились в бумагах, живого дела нет, оно умерло, находится в бумагах, техники говорят, что виноваты рабочие, а рабочие говорят, что виноваты техники. Я скажу, что виновны и те и другие. Многие десятники не знают своей работы и нужно подбирать расторопный кадр десятников.

Тов. Андрияхин. — У нас на днях было выделение суфляра<sup>2)</sup> — это не первый случай и вероятно не последний. Нужно сказать, что и в дальнейшем мы от этого не избавимся. Теперь о лампочках — страхасса хочет пред'явить хозоргану иск за ожоги, которые причиняют эти лампочки. Нужно позаботиться о приобретении таких в сущности маленьких вещей, как резиновые прокладки.

Тов. Жданович. — Правительство отпускает много средств на технику безопасности, с каждым годом увеличивает кредиты, а число несчастных случаев как-будто не уменьшается — это происходит оттого, что если посмотреть на расходование этих средств, то

<sup>1)</sup> Дается в сильно сокращенном виде.

<sup>2)</sup> Суфляры — внезапное выделение газа метана — почти неизученное наукой явление. В невидимых пустотах угольного пласта столетиями скопился гремучий газ. На Смолянке, лучшей шахте Донбасса, забойщики приблизились к такой пустоте, газ вырвался наружу, выкинул несколько вагонов угля, раздавил трех забойщиков и двоих тяжело отравил газом.

Рабочие на собраниях требуют изучения этого явления. Над этим работает научная мысль не только у нас, но и на Западе. Этим вопросом специально занимается наш Макеевский институт — единственное научное учреждение в СССР, изучающее вопросы техники безопасности в горной промышленности. Но наука еще не в состоянии решить эту задачу — предупредить и борьбу с суфлярами. Пробуют применять сотрясательные взрывы, бурение, но ощутительных результатов мало. Прим. С. В.

мы увидим, что они расходуются больше на установку компрессоров и таких машин, которые предотвращают крупные аварии, а на устранение мелких случаев средств отпускают мало. Смолянка — это вулкан, туда нужно обратить самое серьезное внимание. Все это осталось только словами, никаких новых мероприятий для предотвращения аварий цевтр не дал. Нужно сказать, что Макеевский институт не занимается вопросами внезапного выделения. У нас устраиваются всевозможные заграничные производственные поездки, но никто не задумался о том, чтобы послать туда людей специально изучать вопрос по технике безопасности.

Тов. Шаповалов. — Хозорганы совсем не отчетываются, куда они израсходовали средства на технику безопасности. Нужно обратить внимание на Смолянку — это самая опасная и в то же время самая ценная шахта своим углем.

Тов. Корачун. — Комиссии приезжают часто, много говорят, но мало делают. Комиссия уедет и никаких последствий. Комиссий накопилось столько, что комиссия на комиссии едет и комиссией поговяет, а дела нет. Пора на двенадцатом году революции поставить работу так, чтобы не было неполадок, связанных с условиями безопасности труда.

Вслед за этими выступлениями декларативного характера более десяти товарищей выступило с конкретными предложениями по вопросам устранения «неполадок» и улучшения производственных процессов. По отзывам специалистов, эти предложения являлись не только ценными и оригинальными, но и вполне деловыми, осуществимыми, основанными на глубоком знании практических условий работы. Собрание это, происходившее в воскресный день, продолжалось около шести часов и проходило с самым оживленным настроением...

Но...

По приезде в Москву я прочел в «Правде» такую телеграмму:

«Пролетарская общественность Сталинщины целиком поддерживает предложение «Правды» о привлечении к ответственности профсоюзных и хозяйственных работников шахты «Смолянка» за игнорирование рабочих предложений, внесенных в процессе показательного смотра производственных совещаний. Постановлением райкома союза горняков шахтком шахты «Смолянка» распущен».

Донбасс не исчерпывается угольной промышленностью. Металлургия и химия занимают там выдающееся по-

ложение. Наш очерк — маленькое наблюдение за жизнью одной шахты, без охвата таких важных вопросов, как социалистическое соревнование, проблемы кадров и взаимоотношений между шахтером и специалистом и т. д. Но писатель, который поставит себе

целью изучить в различных разрезах жизнь одной шахты в течение многих месяцев, получит материал для книги чрезвычайной ценности, которая еще никем не написана. Жизнь шахты не только богата темами, но и поучительна.

## 2. КРАСАВЕЦ ЕНИСЕЙ

Макс Зингер

### Поход в тайгу

Было последнее число августа. Осень в Игарской протоке вызолотила всю тайгу. Из густо-зеленой вчера она стояла сегодня вся в изжелта-красных пятнах. Над Енисеем табунились гуси — им предстояло уходить отсюда в теплые края. Первый раз сегодня ночью вспыхнули столбы северного полярного сияния. Долго стояли они в небе, поджигая горизонт изжелта-голубым сиянием, потом исчезли вдруг, чтобы вспыхнуть снова с еще большей силой. Остяки и юраки снимались с чумами и уходили вглубь тайги.

— Сей год беда — худо с рыбой, — говорили люди в оленьих шкурах.

Енисей обманул рыболовов. Пустые сети поднимали они в этот год на свои илимки и на свои тоболки из Енисея. В чумах было дымно, холодно и голодно. Люди торопились с ездовыми и промысловыми собаками в тайгу, в землянки. Скоро можно будет промышлять колонка, белку, горностаю.

Рабочие-грузчики Игарского порта подсчитывали свою выручку за летнюю работу. Через несколько дней в последний рейс приходил «Спартак», на котором полмесяца нужно было подниматься до Красноярска.

Морские пароходы по самую ватерлинию грузились пиломатериалом. Ледокол «Красин» поджидал их во льдах Карского моря. До первого октября нужно было проводить все морские пароходы из Ледовитого моря. Каждый час был на учете, и люди работали в три смены.

Штабеля на лесной бирже редели с каждым днем, и членам изыскатель-

ской партии, жившим в палатке, с каждой ночью становилось холоднее спать. Начались утренние заморозки.

Два дня назад при рытье котлована для силовой станции на большой глубине нашли бивни мамонта и в другом месте дорылись до оленьих рогов и слоя валуна. Каждый день отрывали клиньями новые пласты чистого льда, ушедшего глубоко в вечную мерзлоту.

Через несколько недель строительная работа на открытом воздухе прекращалась. Морозы, отчаянные сибирские полярные морозы, должны были сковать Игарскую протоку, а с нею и игарское строительство.

В Игарке оставалось двести пятьдесят зимовщиков и пятьдесят членов их семейств.

В этом году нужно было пустить в ход первый двухрамный лесопильный завод и начать распиловку экспортного леса в самом Игарском порту.

На зимовку оставался и метеоролог Теплоухов, у которого хранились кости мамонта, найденные при рытье котлована в Игарке. Брат Теплоухова Константин жил вместе с метеорологом в деревянной будке на брандвахте. Когда-то это был неплохой пароход «Рудзутак», но жилищная нужда приспособила его под пловучую гостиницу, которую и звали брандвахтой. Здесь несколько сот рабочих жили, ели и спали вповалку.

В этом году Константин закончил зимовку на острове Диксон, где был метнаблюдателем. С острова Диксон, с лютой зимовки, он вез домой трофей — пушистую шкуру белой убитой им

медведицы, ружье, из которого он убил медведицу с медвежонком. Шкуру медвежонка, согласно правилам общежития, он оставил на Диксоне. В Челябинск — родной город зимовщика — вместе с ним шла его промысловая собака Диксон, отец которого атаковал медведицу с медвежонком. Диксон была славная остромордая собака с ушами, поднятыми постоянно вверх, и ухватки её были волчьими. Волки были её предками. Поэтому она никогда не боялась волков, заигрывая с песцами; единственный враг её, и злейший враг, был белый медведь. При виде его поднималась шерсть медвежатника Диксона — собака преображалась, становилась воинственно-неспокойной.

Пароход Карской экспедиции «Леонид Красин» пришел в Игарскую протоку через льды Карского моря с заходом на Диксон. Сюда на остров Диксон был доставлен «Леонидом Красным» самолет Чухновского после вынужденной посадки.

Третий штурман «Леонида Красина» Гордилов, зимовщик Диксона Теплоухов и я завтра с раннего утра отправлялись в однодневный поход в тайгу.

Лоцман Очередыко, два десятка лет плавающий по Енисею, не раз говорил, что медведи лазают к его дальновским мигалкам, которые он расставил по берегу. Мигающие огни не дают покоя медведям. В изыскательских партиях, ходивших в тайгу, говорили, что медведь испугался дыма и гудков пароходов и уходит теперь поглубже в тайгу, подальше от шумов порта и стройки, подальше от человека.

Тайга в Игарском порту была повалена улицами. Повсюду торчали пни, и поваленные деревья преграждали дорогу. Но вот кончились порубки. Началась тайга. Березы, кедр, пихта и лиственница толпились, словно люди на митинге. Приземисто красными пятнами росла полярная карликовая береза. Где-то прокричала кедровка и шумно поднялась с дерева. Вдруг Диксон подбежал к пихте и стал царапать ствол лапами.

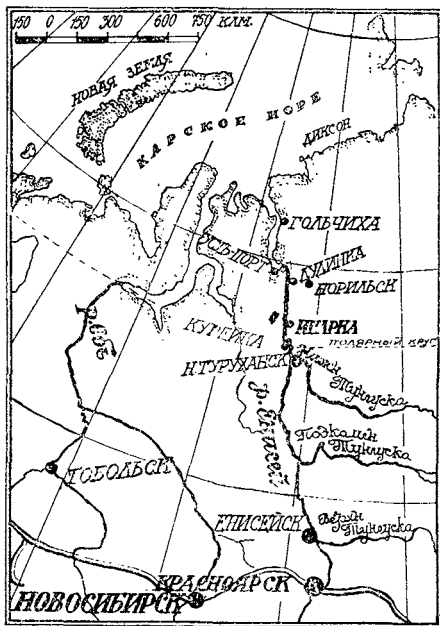
— Кто-то есть на дереве, — сказал Теплоухов. — Должно быть белочка. Да нет же, это — бурундук.

Маленький зверенок приплюснулся к стволу, и защитный двет пушистого хвоста и шубки бурундука почти скрывал его от глаз охотников.

Решили стрелять не из ружья, но из учебного пистолета.

После первого промаха от шума выстрела бурундук сёжился, будто желая войти поглубже в дерево. Бурундук почувал смертельную опасность.

Пять промахов дал пистолет, но бурундук не трогался с места. Только в последний раз он упал на ветку ниже, очевидно, потеряв равновесие. Шестой



выстрел попал бурундуку в правый глаз, и бурундук, считая ветки, упал на землю.

У охотников не оказалось ножика с острым концом, чтобы освеживать бурундука и высушить шкуру на чучело. Финские ножи не годились для этого дела. Пришлось отдать бурундука Диксону, который мигом справился с ним.

Ураганы прокладывали ежегодно свои улицы в дремучей тайге, и бурелом затруднял дорогу. Приходилось прыгать через стволы поваленных деревьев, которые от времени покрылись мхом и рассыпались при первом ударе палкой. Чем дальше от берега, тем тайга становилась угрюмой и ди-

чее. Неожиданно показывались кочковатые болота, и нужно было, балансируя по дрожащим кочкам, проходить до сухого места.

Запахи леса, болот были необычайно пряны. Под ногами все было красно от брусники и превкусной морошки, несколько напоминавшей нашу малину. Местами чернела голубика.

Мы выходили в лесную гарь. Сотни гектаров были выжжены от безвестной причины. До этого года сюда не заходил человек, огонь мог проникнуть сюда только с молнией.

Солнце склонялось к закату. Становилось прохладно. В тайге было насто-роженно тихо. Мы ушли на десять километров в самую чащу тайги, туда, куда от человека уходил медведь.

— Нам следует возвращать и в Игарку с таким расчетом, чтобы солнышко било нам в правое ухо, — сказал Теплоухов.

— Недавно здесь один рабочий ушел в тайгу и заблудился, не нашел обратного дороги в Игарку, — рассказывал штурман Гордигов. — К нам с завода прибежали рабочие. — Выручайте, братцы! — Мы завели сирену. Такую полундру подняли, всю Игарку разбудили. Рабочий услышал сирену и пришел на голос.

К самой ночи добрались мы до Игарки. При свете полярного сияния белел красавец Енисей. Горели огни на морских кораблях Карской экспедиции. Тарахтели лебедки, набивая трюмы экспортным полноценным лесом.

### На «Спартаке»

Пароход уходил из Игарской про-токи на юг, в Туруханск — столицу долганов, юраков, остяков и тунгусов — их «сказочный» центр.

На пароходе не было ни одного свободного места, а капитан Братухин все еще продолжал получать радиogramмы о бронировании мест возвращающимся в Красноярск медработникам, культбазам, сменным радистам и рабочим-сезонникам.

Берега Енисея становились круче, обрывистей. Ровными грядами по берегу лежал иссиня-серый валун. Камни доходили до громадных размеров.

Они — обломки скал — вмерзали в лед в верховьях Енисея и дрейфовали сюда со льдом во время ледохода. Енисей щедро дарил своим низовым берегам не только камень, но и плавник — топливо зимовщикам.

На густо-синем небе, затмевая звезды, вспыхнуло северное сияние. Оно было в форме завесы, исключительное по своему электрическому наряду, радужно-цветенному в мягкие, быстро переходящие тона.

Уже рассвело, когда мы подходили к Туруханску.

Рулевой, покручивая маленький штурвал, сам сибиряк, знал здесь каждое местечко.

— Сюда, в Туруханск, еще в мирное время архиерей приезжал инородцев крестить в православную веру. Один из старых юраков, посмелее каторный, подошел к преосвященству и говорит: не будет ли ему беда-худо, если он скажет то, что думает.

Юраку разрешили говорить.

— Попа не было, был шаман. Пошаманит — горностай получает. Поп-батька пришел ребенка крестить — давай один нохо (песец), сына женить — давай два нохо. Русская вера говеть велит — давай попу один нохо. Помрешь, так обязательно три нохо давай. Семнадцать нохов поп у нас в год забирает. А себе чего оставлять? Шаману давал за все одного горностая, он стоит рубель, а песец — восемнадцать рублей. Беда-худо православная вера. Беда-худо, — закончил старик.

— Ишь, воды-то сколько в Енисее, — сказал лоцманский ученик.

— И вода-то вся пресная, — сказал старый речник, некогда плававший на морских судах. — А вот в Гольчихе при западах соленая вода уже с самого лета. Соленая вода до Караула доходит. Тяжко приходится судам здесь плавать, когда пресная вода на пароходе вся выйдет.

— А глубина-то, глубина-то, как! морский пароход прямо к берегу без пристаней на трапы становится, — сказал лоцманский ученик.

— У Мироедики глубина страшная. Когда низовый ветер поднимается, такую волну разводит страсть. На од-

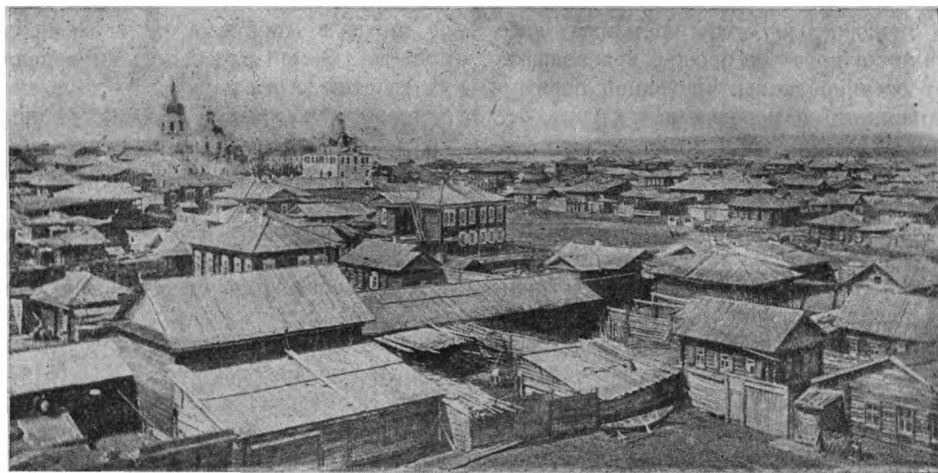
ном лихтере в прошлом году все стрелы оборвало.

В Туруханске простояли несколько часов. На домике, вросшем в землю, почти у края города висит красная вывеска. Такая, какую вешают над волисполкомами или почтовыми отделениями. Под серпом и молотком значится «РСФСР» и такие слова:

«В этом доме жил в годы ссылки председатель ВЦИК Я. М. Свердлов».

Из Туруханска пошли с длинным хвостом, таща на буксире две баржи, один моторный катер и два паузка. На передней барже горел красный огонь, это значило, что баржа несет огнеопасные материалы.

пять дальше на север. Другие — давай повоюем еще, может, пробьемся. Потом пошли друг дружку арестовывать. Белые пришли, нас тепленьких и взяли. Половину поубивали. Тысячи две народу положили. Остальных увели с собой. Тут ведь в мирное время какие обиралы жили по станкам. Страсть! За счет инородцев дома строили, наживали. Инородец так из долгов никогда не выходил. Спаивали его. Бутылка водки — песец. А песцу хорошему — цена сто рублей. Ну теперь, конечно, все замерло. Только вот с Карскими опять оживает наш Енисей. Если дело разовьется, — Енисей не узнаешь. Красота река будет.



Общий вид гор. Енисейска

После маленького бревенчатого Туруханска первый станок — Мироедиха.

— Когда мы в восемнадцатом году отступали из Назимовой, — рассказывает рулевой, — это был первый станок, где нас, как людей, встретили, напоили, накормили да и на дорогу с собой дали. Не то что в других станках на нас охотились. В Селиванихе один крестьянин по фамилии Турбов лично тридцать красногвардейцев убил.

— А где он теперь?

— Опосля наши его, конечно, убили.

— Куда же вы отступали?

— А сами не знали куда. Тут с нами были и чехи, и мадьяры, и весь совдеп. Одни говорят — давай отсту-

Такой реки в России нет другой. Вот мы подходим к Черноостровску. Остров Черный тянется на двадцать километров с лишним и приставай к нему со всех сторон. Такая глубина! Ведь морские пароходы доходили до самого города Енисейска. Подумайте, морской порт в глубине страны! А тут на Черном острове много каменного угля. Сюда разведыватели приезжали.

Пароход вспугнул с реки стаю гусей. Они, шумно хлопая крыльями, едва оторвались от воды, так раскорчились и отяжелели за лето.

Берега становились выше Жигулей, обрывистые, поросшие на склонах тальником и хвоей.

— Вод видите, — Сушков станок, —

сказал лощман, — два дома и станок. Такая поговорка есть: первый парень на деревне, а в деревне один дом.

По берегу шла какая-то женщина и, согнувшись, тянула лямку, а в лодке сидел здоровенный детина за кормовым веслом.

— Ты устала тянуть лямку, сядь-ка погребни веслами, — предложил детина, развалиясь на корме.

— Это здесь всегда так, — сказал мне один старый сибиряк. — Вот она погребет часок-другой, он ей потом скажет: ты, милая, устала, небось, грести, иди тянуть лямку, а сам будет сидеть за кормовым веслом. На Енисее у нашего брата, у русского, так принято.

Низкорослые кусты тальника взбегали по крутому берегу, красневшему от осенней травы, хваченной первыми утренними заморозками.

#### Клады за полярным кругом

С полсотни лет тому назад тундровый купец Сотников разыскал в Норильске уголь и медную руду. Из местных материалов соорудил печь. Заложил штольню на медь и уголь. Огнеупорность кирпича оказалась слаба, печь расплавилась. Купец никаких записей не вел, все держал в голове, и труды его пропали даром.

Туземец Матвей Алексеевич Петешкин — крещеный тунгус — один живой свидетель сотниковского предприятия. Тунгуса прозывают «Болдушка». Он ничего толком не может объяснить. Бегаёт, машет руками и что ему ни сказать — со всем соглашается. Любит, когда его по имени-отчеству величают. Двадцать лет не мылся в бане. А когда у Сотникова парился, Болдушка одевал рукавицы — жгло с непривычки руки, — так объяснял Петешкин.

Узнали все-таки от него, что печь кладена была из местного материала, не городского, и что она расплавилась. Больше ничего не сказал тунгус.

— В районе Норильска имеется десять пластов угля, запасы его превосходят Кузбасс и Черембасс вместе взятые. Уголь вполне коксующийся. На том же плато находится руд-

ный массив, содержащий в себе платину, палладий, иридий, никель и кобальт, — сказал мне начальник экспедиции Ведерников. — Его хватит на тысячу тысяч Карских экспедиций.

Инженер Урванцев похитил у полярного севера его тайну, найдя его клады, и с будущего года в Норильске приступают к подготовительным работам по вскрытию рудных месторождений и к установке завода.

От Дудинки, станка на Енисее, до Норильска — сто километров. Зимой туда можно пройти на оленях, а летом только пешком, сквозь жалящий строй мошки, паута и комаров.

Норильск расположен на 71° северной широты. На таком полярном севере нигде в мире еще не было предприятия. Зимой здесь целыми неделями свистит пурга и заметает дома снегом по самую крышу. И в каждое зимнее утро люди выходят из домов с лопатами, раскапывая свои жилища.

Тысячи километров, отделяющие Норильск от культурных центров, зимой нужно пройти на оленях в пургу, в шестидесятиградусные морозы. Летом сюда идут набитые людьми баржи и маленькне пароходы на работы и с'едение мошке.

От Норильска к Енисею должна пройти одноколейная дорога, по которой потекут богатства, поднимая край, создавая новые селения, города и пристани. Но весной здесь выпучивает землю. Чтобы расколотить летом вечную мерзлоту, нужно тяжелыми кувалдами вгонять в землю железные клинья и затем кайлом разгрести мерзлоту. Вот почему здесь хотят делать подвесную дорогу на столбах. Она станет дешевле и меньше придется поднимать вечную мерзлоту.

Начальник Норильской экспедиции Ведерников стоит за проект сооружения пути Норильск—Игарка. Этот путь пройдет по одному плато и наполовину по таежной местности, где вечная мерзлота залегает значительно глубже. Слабые места можно бутить местной лиственницей.

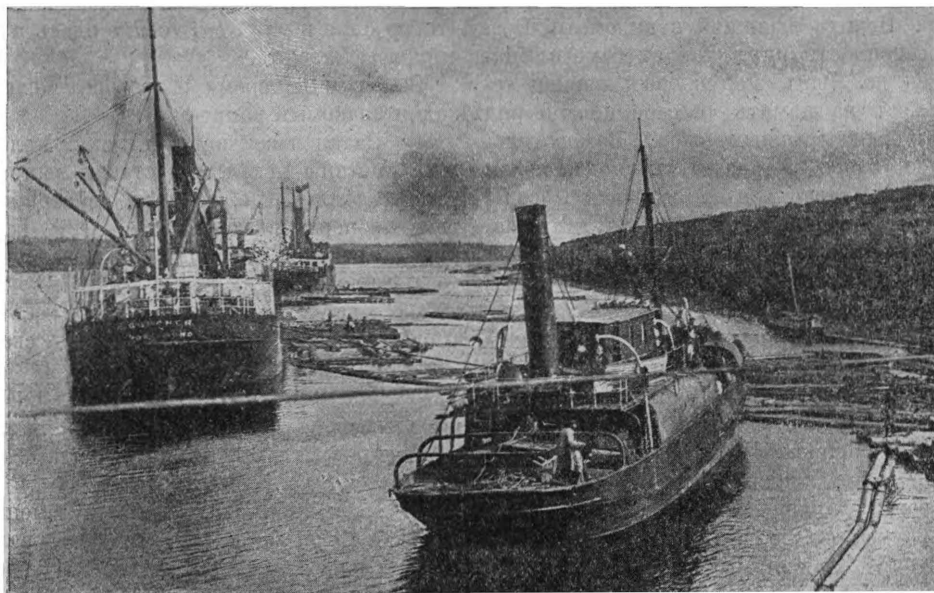
В Игарке естественный порт на двести пароходов, своего рода полярный Архангельск. В случае шторма мор-

ские пароходы могут отстаиваться здесь без повреждений в природной бухте. При других вариантах пути на Дудинку или Усть-Порт нет бухт, где пароходы могли бы укрыться.

Благодаря под'ездным путям американцы, купив Аляску, добыли за шестнадцать лет то, что царское правительство на Алдане и Бодайбо за шестьдесят лет. Если не разрешить здесь проблему транспорта, богатейшие клады останутся спрятанными в земле.

### Разговоры сибиряков

— В Норильске пробы угля взяты из поверхностных слоев. Глубоких проб не брали. А глубже уголь наилучший залегает, — говорил участник Норильской экспедиции инженер Степанченко. — Подсчеты запасов угля сделаны по его выходам. Геологи сейчас их оконтуривают, подсчитывают дополнительно. Действительные запасы угля — триста пятьдесят млн. тонн, а вероятные — все семьсот. Одноколейку проведут,



Иностранные пароходы пришли в Игарку за сибирским лесом

Экспедиция выбрала в Норильске места для рабочего поселка, обследовала грунт, выяснила все местные строительные материалы, нашла большие выходы на поверхность земли тунгусского плитняка, отличного по своим строительным качествам, и обследовала под'ездные пути к этим подаренным природой материалам.

Наступает осень. В Норильске уже осыпалась листва на низкорослых березах. Птицы собрались в табуны, готовясь в дальний перелет на юг, кходящему отсюда теплу. По ночам под большой Медведицей загораются северные сияния в форме завесы, драпри, лент, столбов и дуги.

рудник откроют, и загремит Енисей.

Инженеру Степанченко за время экспедиции некогда было бриться, и сейчас его молодое лицо окаймлено русой бородой.

— Если протянуть колею Норильск — Игарка, великое это будет дело. Игарка как порт к тому времени окрепнет. Карские экспедиции развернутся шире. Появятся в Игарке склады, помещения, механизация и материалы все под руками.

— Говорят, Енисейск с Томском хотят соединить и по Туркестано-Сибирской дороге погонят к узбекам лес, а к нам — хлопок, — сказал Матвей Кириллович.

— В Енисейске шестирамный завод предполагают строить, пилить сплавы будут. Чулымский лес в Сибири самый ценный. Авиолес, музыкальный лес и па карандаши хороши.

— А про курейский графит вы забыли? Нынче на Курейке тоже дело разворачивают.

— Карандашное производство перейдет все на Чулымский лес. Одно здесь плохо — мошка заедает. Приходится в накомарниках ходить, — говорит Степанченко. — Этот год в Норильске было мало мошки. А места красивые. Горы до восьмисот метров, а гора Гучиха вышиной в километр. Возвышенности идут так от самого Енисея до Лены. Ледниковый период оставил на память о себе целый ряд глубоких рыбных озер. Замечательное озеро Лайда. Тут недалеко и речки — Норильская, Рыбная и Пясень. Одно время был вариант пути в Норильск через океан и далее по реке Норильской, но потом отбросили, слишком далеко.

— Что говорить, в нашем краю много кладов зарыто. Там, слышишь, уголь нашли, там графит молотят, там золото копают, платину, — сказал старый сибиряк. — Человек здесь о пище не заботится ни для себя, ни для своих домашних животных. Собака тунгуса или долгана ловит мышей в тундре. Надоест мыш, — пойдет к берегу, смотрит в воду, как только увидит рыбу, — хватать ее, и готово дело. А мышь здесь толстая, бесхвостая. Ею песцы питаются. Так и зовут ее — песцовая мыш. Олени отрывают себе зимой из-под снега мох-ягель, а летом сами пасутся в тундре. Когда тунгусу нужно собрать стадо, он зарет, пустит собак, а те уж знают, что им делать, живо оленей загонят в стадо.

— Жестоко обращаются инородцы с оленем, своим кормильцем, — сказал один из молодых участников экспедиции. — Водят его в первобытной упряжке. Олень заскочил за постромку, никто ее не поправит, бедняга так и скачет до первого станка, километров пятьдесят. Олень сдох в пути — так его на шкуре до станка и прита-

щат другие олени. Никто не станет его выпрягать.

— Полудикий народ, — вставил один из собеседников.

— Тут не поймешь, что и за народ. Я вхожу, — рассказывает Ведерников, начальник Норильской экспедиции, — в один чум, смотрю, там статная, стройная русская блондинка среди тунгусов. Спрашиваю, вы русская? Она головой мотает, по-русски не говорит. Рассказали мне, что мамаша ее с купцом Сотниковым некогда согрешила. Да и русских здесь от туземцев не отличить. Кровь смешанная, и говор один и тот же. Русские здесь все присюсюкивают.

В каюту во время разговора вошел один знакомый капитан.

— Шатался сейчас по станку. Молока, сметаны искал, еле стакан выпросил. А ягоду еще, говорят, не собирали. Кооператив на запоре. Они, как только свисток парохода услышат, сейчас лавку запирают.

— Сюда товаров мало забрасывают, приходится им так и поступать, — сказал один из собеседников.

— Зашел я на местное кладбище. Кресты повалены, некоторые пожжены, надписей никаких нет. А какие были — те от времени стерты.

— Такой надписи, как мне в Тюмени на кладбище пришлось видеть, вам нигде не отыскать, — сказал Матвей Кириллович.

Все обернулись в сторону капитана.

Спи, верная супруга,  
При жизни мы измучили друг друга,  
Теперь отдохнем, —

произнес Матвей Кириллович.

### Некогда шумный город

Пристань Енисейск. По мелкой гальке от пристани дорожка повела в город. Он напоминает своим обликом церковь Великий Устюг. Город тих и спокоен. Будто все люди попрятались по домам или в городе объявили осадное положение.

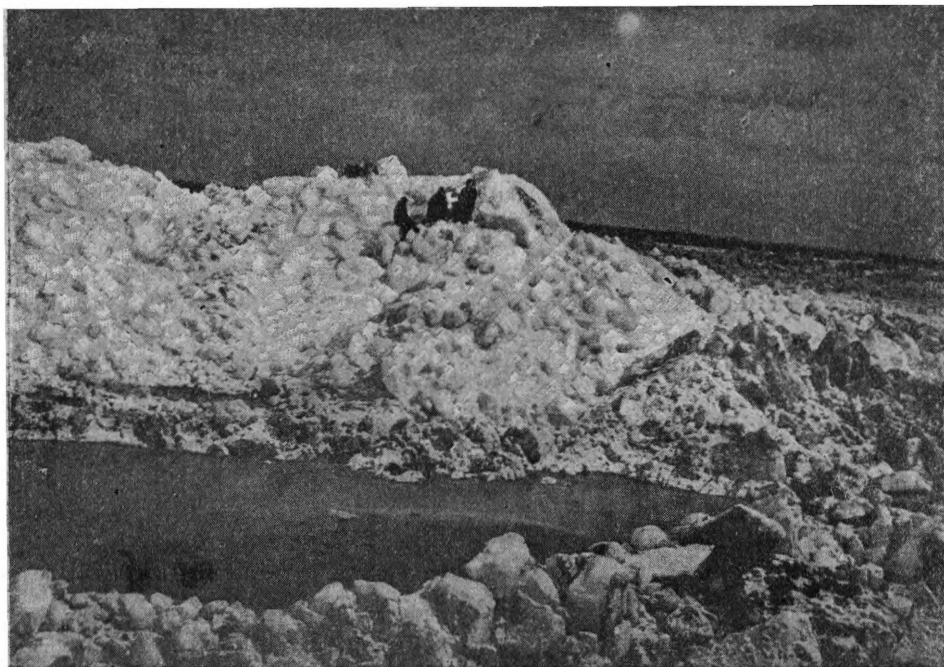
Енисейск был некогда главным городом Заенисейной Сибири, «поместившись на страже трех Тунгусок в середине звероловных племен», как сказал историк Сибири П. А. Словцов.



На Енисейские ярмарки съезжались купцы со всех краев, и товары енисейские находили себе дорогу даже в Монголию и Китай. И сейчас еще с давних времен сохранился в городе гостинный двор. Здесь в шестидесяти лавках шла бойкая торговля. В 1719 г. в Енисейске было 1.406 дворов, а по последним сведениям в городе всего 851 усадьба. Так захирел город.

В середине восемнадцатого века построили тракт от Томска до Иркутска через Красноярск. Енисейцы обрадова-

строгости разуместь, что будто бы там иссякли источники богатств, нет; пока хвойные леса в тамошнем крае будут зеленеться, источники богатства не высохнут. Перемена только в том, что Енисейская ярмарка, некогда шумная, уже не празднуется, вероятно, потому, что сами енисейцы основали непосредственные связи с Кяхтою и Нижним-Новгородом, город перестал видеть у себя картину торгового съезда, но граждане его продолжают торговать».



Торосы во время ледохода на Енисее

лись. Теперь колодников поведут не через Енисейск, а стороной, не придется больше выполнять наряды и поставлять задаром подводы полицейским. Но по этому тракту пошли не только колодники. Переселенцы из центральной России двигались потоком в Сибирь по новому тракту, через Красноярск.

Енисейск оставался где-то на отлете.

Историк Н. А. Словцов писал в «Письмах из Сибири» в 1826 году:

«Енисейск отвел свою очередь торговли, ненужно, однакоже, во всей

— Здесь в Енисейске люди шумно жили в старину, — говорит мне Кузьма Антонович, помощник капитана «Спартак». — В шампанском купались. Видите, сколько церквей понастроили, сколько каменных домов. Пожары здесь дома поубавили. А раньше город очень славился. Приискатели жили. Народ богатейший.

В 1775 году купец Лобанов, винный откупщик, в Енисейске соорудил два морских судна, чтобы пройти в Архангельск теперешним путем Карских экспедиций. Суда затерло льдом. Часть людей в тяжелой полярной зимовке по

гибла от цынги. Экспедиция провалилась.

Это была далеко не единственная попытка пробиться с товарами на европейский рынок близким северным путем.

Енисейцы понимали, что им необходим близкий и дешевый путь на европейские рынки, закрытый некогда воеводой Куракиным, уничтожившим Мангазею — древний сказочный город Севера.

Но прошло много лет. Появились мощные ледоколы, самолеты, и северный путь, наконец, был открыт. Ледяные ворота, залптые столетиями, распахнулись. Люди разломали лед.

Но Енисейск не ожил с открытием северного морского пути. Он ждет терпеливо постройки Томск-Енисейской железной дороги, которая должна оживить этот некогда шумный город.

За прошлое столетие, начиная с роковых годов, через Енисейск прошло пятьсот тонн золота. Найдены были в бассейне великой реки залежи полезных ископаемых, которые ждут своей разработки.

Но пока, пока город мертв, как сонное село. Есть школа-девятiletка, клуб, кино, электростанция и музей. Это первый музей на Енисее, начиная с самого Усть-Порта. Где раньше кипела торговая жизнь и шныряли хищники-золотоискатели, где некогда была торговая биржа и затем управа, — теперь сюда приходят школьники посмотреть редкостные экспонаты, послушать объяснения руководителей музея.

Основал музей Игнатий Критманов, сын золотоискателя. Двадцать семь лет собирал Критманов этот музей, и теперь музей хранит его сын.

Один из работников музея, знаток местного края Миндаровский, проделал интересную работу. В течение нескольких лет он составил полную картотеку политических ссыльных, перебывавших по реке Енисею в Туруханском крае за все годы.

Я открыл картотеку на букву С.

Свердлов,  
Яков Михайлович,

— в ссылке весной 1913 г. в Верхне-Имбатском, Курейке, Селиванихе, Манастыре (Гуруханске). Состоял в переписке со Стасовой, с Каменевым и думской пятеркой.

Сталин.

Иосиф Виссарионович,  
род. в 1879 году.

«Неистовый Виссарионич»,

— в ссылке, в Курейке, в 1913—17 гг. неводил подледную осетрину, потрошил ее, изготовлял сам невода и сети. Навещал его Швейцер и Спандарьян.

Показал мне М. П. Миндаровский волокушу — экипаж, на котором местные тузы ездили через тайгу к приискам. Собственно, экипажа нет. Представьте себе запряженную лошадь с предлинными оглоблями, которые волокутся по земле (волокуша). И на такой высоте, чтобы не задевать только земли, на оглобли поставлен небольшой возок. Вместо колес — концы оглобель.

Пароход дал уже третий свисток. Наша беседа с М. П. Миндаровским была прервана.

### В океане лесов

— Сейчас будем проходить мимо Пономаревских камней, — сказал капитан «Спартака» Матвей Кириллович.

— Надо подняться наверх, посмотреть проходку.

Пономаревские камни грядой поднимались из воды, тщетно загораживая путь Енисею. Он шумно прорывался вперед. Только быстрины становились сильнее и глубже вертелись воронки над подводными камнями.

В коридоре, на скамье, с самого Ярцева с нами шли два пассажира, у одного была перевязана нога.

— Кто они такие? — спросил я капитана.

— Это с лесозаготовок, комсеверпутьские. С ним его товарищ. Одного ранило на работе лесиной, другой десятник Шиманица.

— Как вы тут работаете? — спросил я десятника Шиманицу.

— Да вот целое лето в этих краях провели. Леса енисейские осматривали. Но все больше беломошник встречается. А на белом мху лес плохой.

Водослою много, трещины и гниль. По реке Сымы смотрели, там лес с краснотой, тоже не годится для экспорта. По Касу — там немного лучше будет. Раньше мы по рекам Чуне и Оне делали заготовки, да на Тасеевой и Усолке. Там лес превосходный. Богатейшие массивы. Но нас, комсерверпутцев, оттуда лестрест выжил. А леса хватило бы обоим на полвека. Леса еще нетронутые человеком. Никогда ни одной лесной организации здесь не было. Да вот с рабочими руками здесь

нуму-то поймаешь. Мелководье да камни.

Вот если по Ангаре взорвать пороги, это бы дело было. Там главные пороги Стрелковские. Два камня всего — Боец и Подбойчик. А между ними — каменная плита. Еще бы на Енисее Осиновские пороги взорвать — тогда лес почти спокойно, не разобьет.

По реке Тасеевой, выше порога Дурака — чистые сосновые бора, им никто края не знает. Лестрест нас выжил, а сам только берега очищает. До пяти



Курейские пороги. Неподалеку идет разработка курейского графита

худо. Пользуемся завозной силой. Рабочий старается себя оправдать. Ему в день нужно обтесать пять слиперов. На вид лесина ничего, а свалишь ее, она — с пороками: трещина, гниль. Приходится валить десять деревьев и из них выбирать. Вот работа и дорожает.

— А как у вас в этом году на Ангаре дела? — спросил я десятника.

— На Ангаре лес лучший. Но там шивера, каменистые проходы, пороги да мелкие места. То там плот на мель сядет, то его разобьет, вот и получается так, что убыточно сплавать. Ангара шире Енисея раза в два-три. Километров до шести ширина доходит. Разобьет плот, где их, слиперов, по од-

километров от берега не обрублено. А дальше считают дорогой для себя за готовкой.

— Говорят, на Подкаменной Тунгуске хорошие леса? — сказал я Шиманице.

— Там преимущественно листвяк, лиственничный лес. Чем дальше на север, сосны становятся меньше, а все лиственница да лиственница.

На крайнем севере сосна растет медленней, в ней больше смолистых веществ, мелкослой. Посмотришь, здесь сосне двести пятьдесят лет, а она семивершковая. Ближе к заболони простым глазом колец не сосчитаешь. На севере по Енисею, сосна растет курти-

нами, гнездами. Встретишь рядом с нею и осину и березу. Вот и приходится торить по снегу дороги в поисках сосны. Это чего стоит? По правому берегу кедрачу много. Но пожаром много поуничтожено. Палы — это бич лесов. Крестьяне сняли рожь. Ржище густое, пахоть тяжело, он его палит и не затушит, когда выпалит. Охотники жгут костры, уйдут, вокруг костра не соскребут сухой травы и мха. А летом здесь — пороховой погреб. Чиркнул спичку, трава сухая, густая и пышная, как подушка. Вот тысячи гектаров выгорают ежегодно по Сибири.

— А как в этом году с плотами дело было? — спросил я.

— По Оне плавил большую матку. Две — Лесогрест, одну — мы. Лесогрест попал под большую воду, потрепало их, но прошли все-таки. А нас разбило. Сбирать разбитые плоты — плохо. Целыми челянями на мелях сидят.

— Надо сплавливать однорядки, — сказал капитан «Спартак» Матвей Кириллович, подошедший к нам после окончания вахты. — Как в два ряда положат, так беспрерывно камни будут цеплять.

— По-вашему выходит, что лес в Сибири негодный, а весь мир кричит о сибирском лесу! — сказал я десятнику.

— Лес-то хороший, но не тот, что вы сейчас на берегу видите. Его надо поискать, хороший лес-то, он сам в руки не идет. А у нас что? Пошлют смотряков, обследуют всего три тысячи гектаров — разве это работа? Тут нужна экспедиция. Надо лес проверить, отметить на карте что произрастает и где. А ведь это что получается? Хищничество, больше ничего. Смотряки выберут, что нужно только для данного года, и валя лес! Лесничий и не смотрит.

— Обозначьте, говорит, знаками, мы потом проверим. А где уж там потом проверять-то, понавалят так, словно бурелом. И много деревьев остается поваленных, но неразработанных. Я скажу так — треть леса зря пропадает после порубки.

— Если поделить участки, — скажем, Лесотресту пятьсот километров и Ком-

сверпути столько же. Подавайтесь вглубь! Стройте узкоколейки. Лучшему строевому лесу конца не будет.

— Хороши леса выше Красноярска, — сказал десятник. — На Кежму податься, там тоже боры хороши. Южнее Киренска там и лесные массивы и ископаемые.

— Богатств у нас много, — сказал Матвей Кириллович. — Вот надо ими завладеть только.

### Два года в тундре

В Туруханском совете в одной из комнат бревенчатого здания я долго наблюдал двух людей, водивших карандашами по карте Туруханского края.

— Из этой вот речки Аваш мы перешли волоком в Тагенар. Только карта ваша неверна. Здесь не больше километра между реками, а по карте вон какое расстояние, — говорил человек, которого звали доктором.

Он оказался одним из активных участников медицинской экспедиции в Хатангскую тундру Туруханского края. Два года вдали от шумов городских зимовал доктор Ривво с медицинским отрядом среди инородцев.

Пароход «Спартак»! Вряд ли найдется еще один такой пароход на свете, где сосредоточилось бы столько изыскателей, инженеров, агрономов, докторов, рабочих разных специальностей, где слышны сразу десятки говоров, где европейский костюм чередуется с сакуем и чебаном и оленьими пышными мехами.

Этот же «Спартак» два года тому назад доставил медицинскую экспедицию до станка Карасино; люди пересели в илимку (огромную лодку) и в осенние бури дошли безбрежным Енисеем в Дудинку. В несколько часов налетевшие морозы сковали Енисей и по санному пути на пяти нартах и одном балоке (небольшая, крытая оленьими шкурами и парусом кибитка) семьсот пятьдесят километров прошли до станка Беленького. Здесь в одном инородческом доме в декабре 1927 года развернули первую на тундре больницу на пятьоек. В прорезях южон, где не было драм, вставляли кусок льда и зали-

вали водой, которая на лету замерзала, и окна были готовы. За пять, за шесть недель оконный лед от тепла подтаивал, его снова заливали снаружи водой или заменяли новым льдом.

В отряде, кроме врача, были фельдшер и три сотрудника младшего персонала.

Зимой поднималась такая пурга, руки протянутой не было видно. Ино-

тундру. Инородцы веснуют на реках. В летнее время они никогда не обслуживались. За ними смотрит врач в станке. Но раз инородец ушел из станка, он ушел и от медицинской помощи.

Якуты, долгане, юраки, самоеды, тунгусы и затундровые крестьяне — вот с кем встречалась врачебная экспедиция.



Станок Беленький. Хатангская тундра. Больница в инородческом доме. Вместо стекла в окна вставлены куски льда

родцы находили путь к своим чумам даже в такую пургу. Они определялись по заструге.

Над небольшими кочками и под'емами земли снег поднимался, заносился высоко. По этим застругам и находил инородец пути к родному чуму. Ногами он ущупывал застругу.

Весной пришел в Юго-Западный район тундры грипп и стал косить инородцев. Отряд вышел навстречу гриппа и боролся с ним до самого июня.

В конце июня отряд двинулся на лодке по системе рек, обтекающих

Затундровые крестьяне — обинородчившиеся русские, беглые казаки со времен Грозного, беглые крепостные и всякие люди из России, спасая свою голову, уходили сюда, смешивались с местным населением. Создавался новый язык, на котором говорит поллярный север.

— Я сегодня аргишал в станок Беленький.

Аргишная дорога.

Аргишать — ездить, поехать.

Помощь — пособка.

Ничего не поделаешь — как доспеть.

Пойти в гости — гостевать.

В прошлом году — лани год.

Песни самоедов монотонны и поются речитативом. Самоед поет всегда о том, что видит перед собой. О пасущихся оленях, придавленном пастью песце, о своей жене и детях. На что посмотрит, о том и запоет. Изогнутая в виде лиры металлическая пластинка служит инородцу музыкальным инструментом. Один конец пластинки берется в зубы, а свободный слегка ударяется пальцами и дрожит звенящим однотонным звуком.

Детям, чтобы не кричали, суют в рот оригинальные соски, кусок сырого мяса, проткнутого поперек прутом, чтоб ребенок не заглотнул.

Любят инородцы гостевать и чай пить в гостях. Некоторые умудряются до тридцати чашек выпить за одно гостевание. Питаются мясом, рыбой, немного жиров и хлеба. Самоеды живут обособленно. Они не знают никакой культуры. Самоед мануфактуры не купит. На нем пукшы — меховые штаны. На нем бакари — меховые сапоги. Парка внутри подбита мехом, а сверху весенним оленем — адындрой, — это тип меховой тужурки. Сакуй одевают через голову без застежек. Это одеяние из шкуры рослого оленя или молодого — лыжа.

Самоед считает нарядным белый или светло-серый мех, остальные инородцы — только черный.

Самоеды рослы, сильны и нередко красивы.

— Они миролюбивы, добродушны, что про других инородцев не скажу, — заметил доктор. — Хохочут они — это просто прелесть, заразительно, от всей души. Падки на спирт.

Честность их не менее норвежской. Она чрезвычайна. Самоед ничего чужого никогда не возьмет. Их глухие санки — передвижные амбары, где сложено все добро самоедина — песцы и продукты, накрыты оленьими шкурами и парусом и остаются надолго без всякого присмотра. Разве медведь польстится на муку самоедина, никто другой не украдет его добро.

Самоедин никогда не подходит к лесотундре. Ветвистые рога оленей не дают ему возможности ходить со сво-

ими стадами по лесу. Да и не собрать ему стада в тайге.

Отдельно от самоедов живут другие инородцы. Они делятся на три рода, управляемые родовыми советами: Авамский, Вадеевский и Таймыровский роды. Признаки деления положены по местам кочевий.

Инородцы не болтаются зря по тундре. У них есть строго намеченные пути. Они идут, каждый род своим путем, обычно прямым, по которому представлены пасти для ловли песцов. Теми же путями возвращаются с кочевий.

В последний год инородцы были поражены повальной чесоткой.

— Целые бочки вилькинсоновой мази, несколько пар резиновых перчаток истер я, пользуясь чесоточных больных, — рассказывает доктор. — Чесотку ликвидировали. Инородец понимает необходимость медицинской помощи. Раньше он держался недоверчиво, настороженно, а потом сам приходил от шамана к нам и просил оказать ему помощь.

### Казачинские пороги

Немного оставалось до темноты. Через несколько часов Казачинские пороги закрывались. Это значило, что «Спартак» должен был ночевать перед порогами, ждать рассвета, когда туер поведет пароход с баржами, лавируя между подводными камнями.

Перед самыми порогами пошел дождь. В каюте командира стал протекать потолок.

— Протекает, Матвей Кириллович, как же это так? — сказал я командиру.

— Протекция, ничего не поделаешь, — ответил старый речник.

На туере, особом пароходе, был барабан с цепью. Эта цепь закреплялась выше порога на якоре. Туер спускался вниз, разматывая барабан, прокладывая цепь по фарватеру и затем по этой цепи подтягивался снова вверх, уже буксируя пароход с баржами. В самом сливу, в самом сильном месте на пороге течение было двадцать три километра в час. Только один «кооператор» — буксирный пароход с легкой баржей, грузом до 350 тонн, поднимался самостоятельно порогом. Остальные все шли с туером.

Казачинские пороги были мощные каменные преграды, частью взятые штурмом енисейских вод.

Западно-сибирская низменность лежала по левому берегу могучей реки, а средняя — сибирская платформа, уходила от правого ее берега до самой реки Лены. Между низменностью и платформой Енисей прорвал в свои буйно-молодые годы, несколько десятков тысячелетий тому назад, каменную гряду и падал вниз шумящим водопадом — падуном. Под прилавком, с которого падал Енисей, образовались огромные выбоины, ямы. И здесь, в этих бездонных ямах, крестьяне недавно ловили в течение нескольких дней десятки тонн осетров и стерлядей.

Из буйного возраста река переходила в зрелый. Водопад отступал, снижался, разворачивая камни, унося их в низовья. И теперь перед нами бурлил уже размытый водопад — порог. Отдельные камни огромными кусками торчали из реки, под ними, в тихом течении — улове — шружилась вода.

Два слива, два сильных течения с камней было у порога.

Раньше на пороге было двое ворот. Правый — барочный ход, а левый судовой.

В 1911 году зимой взорвали камень, который разделял барочный ход от судового, и теперь в пороге остались только одни ворота. В 1896 году пошел вниз пассажирский пароход «Модест». Штурвальная цепь оборвалась, и его нанесло на плиту, к левому берегу. Люди спаслись. Камень был ровный. Крен был небольшой, и воды пароход не зачерпнул. Его разобрали зимой. Сняли машины. Кормовую часть по кочегарскому отделению течением обрвало и унесло неизвестно куда. В 1907 году Карская экспедиция поднимала здесь баржу с грузом импорта. В верхнем сливу, в пороге получился тяпок. Буксир сорвался с буксирного кнехта (гака), и баржу понесло к правому берегу, ниже порога. Баржа наплыла на береговой камень и затонула.

Под баржу водолазы подвели плавтырь, сделали ларь (ящик, где был пролом) внутри баржи, проконопатили

его. Вода из пробоины попадала только в ящик. Воду выкачали из баржи, и она всплыла. Груз — свинец, олово, машинные части — перегрузили на другую баржу и отправили в Красноярск.

— Вот когда пароход «Петровский» еще именовался «Дедушкой», у туера, у этого же самого, на самом главном сливу возьми да оборвись цепь. Его понесло, подтянуло через камни. Пришлось нам его выручать, — рассказывал Матвей Кириллович.

Туер подтягивался вверх по цепи и тянул на буксире «Спартака».

— Буксир слабо! — кричали передатчик.

Капитан уменьшал ход, чтобы не получилось тяпка. Можно было оборвать буксир во время рывка туера.

— Буксир набивает!

Буксир становился туже и тогда прибавляли ход «Спартаку».

Вдруг капитан побежал от машинного телеграфа к носу парохода. Туер остановился. Цепь завалило за камень и барабан не мог вытянуть ее из воды.

— В самых воротах застряла, — сказал матрос.

— Выгребем, — сказал другой.

Застопорили и пароход «Спартак». Но не прошло и минуты, цепь вырвало из-под камня, и туер тронулся, потащив пароход.

С левого берега древние гнейсы блестели суровыми уступами и на вершинах их гнездились сосны и пихты. Под крутым берегом ревела на камнях вода, словно прощаясь с ними навеки перед уходом в Ледовитое море.

Среди камней неожиданно показалась остроносая лодка. Она неслась, как испуганная лошадь, со страшной скоростью. Казалось, вот-вот она вылетит на берег. Но люди, сидевшие в лодке, знали, что нужно делать. Гребли попеременно веслами, и рулевой также рулил веслом.

— Разобьются, — говорили на «Спартаке».

— Они привычные к порогам, знают дорогу, — говорил матрос. — При такой большой воде им не страшно.

И лодка пронеслась через пороги.

— Ну, теперь прошли ворота, послезавтра будем в Красноярске, — сказал Матвей Кириллович.

Стемнело как-то сразу. У пристани, куда должен был подойти туер, горел огромный костер, указывая путь парходам.

Люди говорили о том, что хорошо бы взорвать эти камни, очистить реку и сделать ее свободной.

Если люди не взорвут камни, — красавец-Енисей сам взорвет их своей могучей силой, и пороги, шумные, лещащиеся пороги, станут перекастом. Но Енисею для этого потребуются тысячелетия, а человеку — один сезон.

### 3. „КРЕСТОНОСЦЫ“ ЦЧО

#### А. Шестаков

Тихий Воронеж, год тому назад ставший столицей ЦЧО, необычно встревожен. У разбросанных по главной улице громкоговорителей появляются все новые и новые напряженно-внимательные слушатели. Большинство — рабочие в коротких ватных куртках, бородастые крестьяне в дубленых шубах, в армяках, пожилые женщины в теплых платках — у них нет дома радио, на котором в эти дни все, кто не на работе или не на службе, висят с утра до вечера, слушая судебный процесс «федоровцев».

Нарочито получившие отпуск рабочие и служащие с примесью домашних хозяек и домработниц берут с бою Дворец Труда, областной штаб профсоюзов, уступивший свой зал для суда над «крестonosцами» из ЦЧО. Милиция с трудом сдерживает напор, пропуская лишь счастливых с билетами из организации безбожников. В «безбожной» канцелярии та же толчея и длинные очереди. На центральном плакате написано: «Религия опиум для народа». Дело федоровцев — прекрасная иллюстрация этих значительных слов. И безбожники работают, не покладая рук: брошюрка о контрреволюционных сектантах, статьи о них в газетах читаются нарасхват, на «безбожных» митингах и лекциях о «федоровщине» полно.

Как в бочке сельди, набились люди на процессе в зале Дворца Труда. Из-за тесноты суд перенесли в обширный клуб Карла Маркса, оборудованный резонаторами, радиоприемниками, кино-аппаратурой и т. п. «Федоровцы крестonosцы» — злоба дня ЦЧО. Когда

их из тюрьмы доставляли на суд, на улицах толпы провожали людей в одеждах с нашитыми крестами любопытными, злыми глазами. И па базарах и в хвостах очередей всюду разговоры о деяниях этих контрреволюционеров, с крестом и обрезом выступивших против советской власти. Судебный процесс раскрыл перед трудящимися массами ЦЧО лицо классового врага в деревне наших дней. Это было не так-то легко.

Почти две недели день за днем суд распутывал сложную паутину скрывавшейся под маской религиозной секты активной контрреволюционной организации.

Зародилась «федоровщина» в тех местах, где ЦЧО граничит с бывшей Донской областью. Там, на высоком берегу Дона, на плодородных полях чернозема разбросались богатые слободы нынешнего Россошанского округа. Россошанские слободы на Дону и речке Черной Калитве отличались своими торгами, ярмарками, на которых продавалось много пшеницы и скота. В слободах работали шерстобойки, овчинные заведения, вырабатывалось простое крестьянское сукно. Много было в них маслоек, ветрянок, медовых пасек, широко поставлен сбор душистых лекарственных трав. Всюду в слободах на Дону и Калитве шло энергичное «первоначальное накопление». Накопившими были кулаки, издавна ворочавшие делами во всей округе, державшие в своих руках бедноту, про-



цент которой насчитывался (по данным 1926 г.) до 40.

Кулацкому накоплению оказывали большую помощь и поддержку монастыри и церкви, в изобилии разбросанные по всем росошанским слободам и селениям. На выборах в учредительное собрание росошанское кулачье подбило середняков и бедноту голосовать против большевиков за правых эсеров.

Когда пришла Октябрьская революция, южные уезды бывш. Воронежской губ. и в их числе Росошанский округ не хотели признавать советскую власть. Кулацкие подголоски — правые эсеры — в конце 1917 г. — начале 1918 г. попробовали использовать юг губернии в качестве базы для восстания против большевиков и против советов. Но их карта была бита. Солдаты-фронтовики вместе с беднотой сумели добиться достаточного влияния на середняка, чтобы весной 1918 г. приступить к «черному переделу» всех земель и начать раскулачивание деревни. Правда, для южных уездов вскоре наступили тяжелые времена: немцы и гайдамаки с Украины, казаки красновцы из-за Дона набросились па юг губернии и разгромили первые зачатки советской власти в этих районах. Кулачество торжествовало. Оно было на стороне «победителей». Однако, беднота и середняки не хотели мириться с созданным положением: из их рядов вышли защитники советской власти — первые бойцы Красной армии, разбившей красновцев и приостановившей наступление немцев и гайдамаков. Росошанский округ дал немало героев, бравших приступом Бобров, Богучары, Валуйки.

Осень 1919 г. явилась новым испытанием для советской власти. Деникинские банды прорвали фронт и, захватив южные районы, забрали в свои руки значительную часть Воронежской губ. Впрочем, их царствование продолжалось недолго, и в конце 1919 г. губерния была снова очищена от белогвардейцев. Кулачество южных уездов снова очутилось лицом к лицу с беднотой, принявшей восстанавливать разрушенные белыми органы со-

ветской власти, воссоздавать аппараты по снабжению продовольствием, по вылавливанию дезертиров и направлению их в ряды Красной армии.

Деревенские рыцари первоначального накопления решительно выступили против всех этих мероприятий советской власти. При их помощи широко развернулось антисоветское «зеленое» движение. Шиповский лес, охватывавший несколько уездов юга губернии, был заполнен тысячами дезертиров. Кулачество снабжает их орудием, продовольствием. Шиповский лес примыкает к огромным массивам Тамбовской губернии, где организуются из таких же «зеленых» дезертиров банды Антонова. Росошанский округ становится центром организации банды под руководством кулака Колесникова из слоб. Старая Калитва.

В октябре 1920 г. колесниковская банда открывает «боевые» действия в слободах Новая Калитва и Березоватка, нападая на продотряд и убивая 18 продармейцев. На общем слободском сходе в Калитве было объявлено поголовное восстание против советской власти. И вскоре село за селом, слобода за слободой выступают против советов. В начале 1921 г. колесниковцы сумели создать у себя банды, насчитывавшие до 5.000 участников с 6 орудиями и 11 пулеметами. В самые трудные времена борьбы Красной армии на польском фронте и против Врангеля советам приходилось выделять лучшие силы, чтобы раздавить бандитов. В 1921 г. это было достигнуто путем жестоких репрессий против ряда контрреволюционных слобод калитвянского района. Бандиты были раздавлены железной рукой диктатуры пролетариата.

Наступают годы нэпа. Калитвянские кулаки жадно используют «передышку» и набрасываются на возможность накопления, ведя вместе с тем борьбу против советской власти «тихой сапой»: сопротивляются ликвидации монастырей, организации совхозов, коммун, срывают хлебозаготовки. К 1927 г. в былом центре колесниковщины вырастает новая контрреволюционная сила. Все остатки колесниковского дви-

жения, избежавшие расстрела, — сумевшие скрыть свое участие в бандитизме или бежавшие из района, — снова «стягиваются» в слободы Россосанского округа. Тогда же в слободе Новый Лиман закладывается местными кулаками ядро секты «федоровцев». Контрреволюционно настроенного психически больного крестьянина Федора Рыбалкина кулачество выдает за святого. У «святого» Федора — бывшего белобандита — на свитке кресты, в руках «патриарший» посох. Бормотания больного истолковываются как откровения свыше. Кулаки Лимана усиленно распускают «славу» о творимых новым святым чудесах, пророчества о гибели «антихриста» — советской власти, коммунистов. Вокруг Рыбалкина собираются группы богомольных стариков и старух, его поклонников. Кулаки Нового Лимана пользуются «святым» Федором для прикрытия контрреволюционной организации. В качестве помощников кулачество втягивает в организацию местное духовенство. Монахи и монашки ликвидируемых монастырей работают, как агенты связи и ведут «агитпропработу». Бывшие люди, проживающие в округе, получают поручения по инструктажу и несут службу дальней связи с контрреволюционными организациями на Украине и на Дону и через них с монархистами в Европе и Америке. Главари организации находятся в тесном общении с тихоновской церковью и ее представителями в губернском городе и в Москве. В 1927 г. ОГПУ «изолирует» Федора Рыбалкина. Из конспиративных соображений организация переносится из Нового Лимана в любимое «святое» место Федора Рыбалкина — в Новую Калитву, где снова собираются силы для контрреволюционных выступлений против советской власти. Ведется работа по дальнейшему расширению влияния «секты» в районе и по организационному ее закреплению в массах. Каждый «федовец», входивший в организацию, берется на учет, и на его доме появляются таинственные знаки в виде треугольника с нарисованным «зраком» внутри и словом «бог», внизу ставятся две большие

буквы Х. В. («христос воскрес»), разделенные большим крестом с маленькими крестиками в четырех его углах. По этим знакам «федоровцы» безошибочно определяли своих. Для дальнейшего отличия членов контрреволюционной организации от простых смертных «федоровцы» нашивали на свои одежды кресты. Их количество на рубашке, штанах, кафтане или шубе зависело от степени посвящения данного лица в дела контрреволюционной организации. Обычно все «вовлекаемые» делились на разряды: по первому шли лица безусловно приемлемые в организацию — все так или иначе пострадавшие от советской власти: кулаки, бывшие городские и жандармы, военные из царской армии, духовные и все те, которые участвовали и помогали колесниковским бандам и явились потерпевшими при их ликвидации. По второму разряду в организацию принимались лица, ничем себя в прошлом не зарекомендовавшие, но уже доказавшие свою преданность делу «федоровщины». Для второразрядников существовал своего рода «искус», предварительный испытательный срок, после которого они получали знаки «крестоносца».

По третьему разряду втягивались в организацию люди важные и влиятельные, — бывшие советские работники на селе и... комсомольцы. Но обычно их держали далеко от центра организации и не давали им права носить кресты. Молодежь обычно использовалась главарями секты для террористической деятельности.

В качестве главаря новокалитвенского центра был выдвинут Дм. (Митро) Пархоменко. Новолиманские организаторы секты передали ему свитку Федора Рыбалкина, обшитую крестами, и его посох, служивший паролем для верховодов. Своеобразный патриарх крестоносцев ЦЧО в прошлом — крупный кулак, владелец сотни гектаров купленной земли, беспощадный эксплуататор бедноты. Во время «черного передела» в 1918 г. он потерял купленную землю и остался только

с трудовым наделом. Затаив злобу против советской власти, Пархоменко в 1920—21 гг. активно борется с нею в качестве участника банды Колесникова. При разгроме банды его братья были расстреляны, Митро же уцелел, скрываясь у донских «благожелателей». В Новый Калитве снова объявился уже в 1927 г. в качестве «пророка» и «благовестника». Увешанный крестами, с длинными волосами, с посохом в руке, Митро — красочная контрреволюционная фигура. Его моления в особом шалаше во дворе его усадьбы в Новой Калитве привлекали общее внимание. За шалашем день и ночь следила кулацкая охрана. В шалаше Пархоменко показывался вновь посвящаемым крестноносцам в качестве «святого». Именем Пархоменко, якобы непосредственно беседующего с самим богом, главари пользовались для прикрытия своих темных дел. Он часто фигурировал в качестве «отца небесного». Настоящий центр организации, решавший все дела, был строго законспирирован. Во всяком случае, «головка» была тесно связана с Митро Пархоменко и другими «благовестниками», выступавшими с проповедями среди паствы. «Христос воскрес» было обычным конспиративным приветствием при встрече крестноносцев друг с другом.

«Федоровцы» местом своих собраний избирали слободскую церковь, где они становились во время богослужения на правой стороне, прогоняя оттуда всех нефедоровцев. После поповских молитв федоровцы тут же в церкви читали свои молитвы и выпускали своих проповедников.

Другим методом вовлечения массы в ряды организации являлись массовые обеды, на которые приглашались как посвященные, так и вновь вводимые в «секту». Обеды устраивались, во-первых, с целью уничтожения хлебных и всякого рода других хозяйственных запасов в кулацких хозяйствах («чтобы они не попали большевикам»), а во-вторых, путем обедов старались привлечь бедноту в ряды организации. Обеды устраивались чаще всего под открытым небом. Из

кушаний подавались на первое сладкие пирожки и на второе — горький лук. В перерыве между пирожками и луком произносилась проповедь о том, что раньше жилось так же сладко, как сладки пирожки и что после свержения власти антихриста — власти большевиков — жизнь снова будет такой же сладкой, как и прежде. Затем подавался нарезанный лук, который все присутствующие были обязаны есть. Проповедник снова сравнивал горечь лука с горечью власти антихриста — советской власти — и призывал к борьбе с ней.

Главарями контрреволюционной организации применялся целый ряд способов одурачивания масс, вплоть до разного рода инсценировок с красным чортом, белым ангелом и т. п. Были сочинены легенды о скором пришествии великого князя Михаила, вождя белых всадников, которые свергнут советскую власть. Пускались слухи о скрывающихся по слободам царских дочерях. Некоторых монашек или наиболее ярых федоровок, подходивших по возрасту к дочерям Николая Романова, выдавали за таковых, указывая, что уже близко время великих перемен. Организацией неоднократно назначались дни прихода белых всадников и производились массовые моления перед ними.

Пользуясь таким методом, «крестноносцы» собрали в своих рядах значительное число последователей. Наряду с этим шла контрреволюционная работа. Все советское и партийное объявлялось «антихристовым». Под влиянием этих лозунгов «крестноносцы» вышли из кооперации, объявили бойкот советским учреждениям: перестали обращаться в больницы, к врачам, к агрономам, запретили детям посещать школу. Особенно яростный антисоветский характер приобрела деятельность «крестноносцев» с 1928 г. Прикрываясь религией контрреволюционеры решительно выступили с лозунгом против налогов и займов, против хлебозаготовок, против само-

обложения. Сельхозналог взыскивали путем продажи имущества. «Федоровцы» открыто агитировали против сдачи хлеба государству. «Не надо им давать хлеба — скорей антихристы погибнут». «Федоровцы» всячески тормовали расширение посевных площадей, сокращали свои посевы, засевали свои поля низкосортными и неочищенными семенами, стараясь вести свое хозяйство так, чтобы только-только прокормиться самим. Поля «крестоносцев» были запущены и вообще все их хозяйство выглядело, как пораженное особой болезнью. Таким образом разложение хозяйств «крестоносцев» в Россосанском округе являлось своеобразной экономической контрреволюцией и тем самым было опасно для всего хозяйственного благополучия округа в целом. В 1929 г. контрреволюционная секта усилила свою агитацию, пытаясь использовать конфликт из-за Китайско-Восточной жел. дор. как аргумент для доказательства правоты пророчеств Пархоменко о скорой гибели советской власти. Все это действовало разлагающим образом на крестьянство Россосанского округа. Однако, население в массе было настроено против «федоровщины».

За словами шли дела. «Крестоносцы» перешли в наступление. Они начали сжигать хаты, принадлежавшие коммунистам, комсомольцам и рядовым крестьянам. Поджоги велись по особой системе, объявлялось заранее о гневе «отца небесного» на того или иного «сопротивника», и в назначенный срок его хата или какое-либо другое имущество загоралось с четырех сторон (крестообразно). Бывали случаи и массовых поджогов: жгли при этом тоже крестообразно и мешали тушить пожары; при этом пелись молитвы о необходимости приносить жертвы «отцу небесному». Кроме активистов, от поджогов крестоносцев страдали выходившие из организации или отказывавшиеся входить в нее. В 1928—29 г. произошло 30 пожаров, но ни одного не было в будни: либо под праздник, либо в праздник, когда вожаки «федоровщины» молили царя небесного о снисхождении на нечести-

вых «огня незримого». У самих «федоровцев» за последние два года не было ни одного случая пожара. Они это объясняли особым покровительством господ бога.

Поджоги разнообразились хулиганскими выходками, нападениями на отдельных лиц и уничтожением их имущества. С этой целью в хатах неугодных людей начисто выбивали стекла, били посуду. Погромам подвергалось и «сатанинское» учреждение — избачитальня.

Пионеров пугали: при приходе белых всадников—освободителей от большевиков — у каждого пионера будет вырезан галстук на шее такой же формы и размеров, какой они носят из материи. От поджогов, погромов и угроз было недалеко и до убийств. На суде факты убийств подтвердились. Так, в Новой Калитве был убит некто Умывакин, одно время примыкавший к террористической группе «крестоносцев». Террором занималось молодое поколение «федоровцев», действовавшее по директивам головки организации. Чтобы не навлечь на себя подозрений, головка тщательно отгораживала «старых» от молодых. Последним рекомендовалось держаться подальше от открытых «федоровцев», от их богомолений, торжественных обедов, шествий и т. д. Молодые «федоровцы» часто делали вид, что они не согласны со стариками, но иногда срывались. Два активных террориста — молодые Лосевский и А. Пархоменко — однажды на базаре, агитируя против советской власти, кричали: «бей жидов, спасай Россию, режь коммунистов...» Молодой Яницкий при приеме одного из бедняков в комсомол бросил своим «друзьям»: «принимайте больше, нам больше будет мяса».

«Крестоносцы» очень активно готовились к общей резне всех коммунистов и комсомольцев, называя ее «Варфоломеевской ночью». Об этой ночи знали все «федоровцы» и нефедоровцы от мала до велика. «Варфоломеевской ночью» кулаки терроризировали всю остальную массу крестьянства в округе.

Шаг за шагом суд раскрывал нити преступной организации. Головка подсудимых сначала думала дурачить суд. Бородатые, с длинными распущенными, как у женщин, волосами, в армяках с большими капюшонами, напоминающими внешне ку-клукс-клановцев, «федоровцы» в первые дни суда приходили перевязанные крест-накрест голубыми лентами и изображали из себя религиозных фанатиков, прикидываясь своего рода Никитам Пустосвятами. Потом они изменили тактику и стали изображать из себя душевнобольных. На вопросы судей, защитников бормотали: «отец небесный знает, а я не знаю», крестились непрерывно, рассаживались вместо стульев на полу, ползали по полу, мыча бессвязные гнусавые моления о грядущем пришествии великого князя Михаила. Один из молодых «крестоносцев» устроил симуляцию самоубийства. Когда суду удалось все эти «штучки» преодолеть, со стороны подсудимых началась политика наглого вранья, замалчивания, клеветы, замечания следов: хорошо грамотные люди превращались в неграмотных, бывший подпрапорщик царской армии Тоцкий, кулак, участник банды Колесникова, забывает, в каком полку он служил и решительно ничего не знает о «федоровцах», во главе которых он стоял, и т. д.

В результате напряженной работы суда, допросившего массу свидетелей с мест, факт кулацкой контрреволюционной организации был отчетливо установлен. Были вскрыты ее связи с границей и даже с Америкой, откуда головка «крестоносцев» получила 62 тыс. долларов на «дела религии». Тихоновская православная церковь также оказалась в тесном содружестве с «крестоносцами». Один из их вождей, кулак Дорошенко, выполнял роль связующего звена между организацией и тихоновцами. Он был законспирирован в среде самих «федоровцев». И на суде Дорошенко появился в обычном костюме без нашитых крестов. Он отрицал связь с организацией крестоносцев, выдавая себя лишь за искренне верующего православного,

уплатившего сельхозналог и страховку, что же касается самообложения, займов, хлебозаготовок и пр., то к этому делу он-де никакого касательства не имеет, ничего «этого» не знает и знать не обязан. «Федоровцев» он всячески обеляет, уверяя, что они тоже занимались только молитвами, вели праведную жизнь и т. д.

Суд установил, однако, что Дорошенко был главным руководителем всей организации и через него получались директивы от тихоновских церковников.

Так, склеивая по кусочкам отдельные факты и показания свидетелей, суд сумел преодолеть созданные для его работы затруднения и с достаточной четкостью выявил лицо рыцарей обреза, прикрытых крестами.

После судебного процесса стало совершенно ясно, что перед нами классовый враг пролетариата, бешено сопротивляющийся социалистическому строительству. Рыцари белого войска в своей борьбе с диктатурой пролетариата широко использовали религию, как идеологию, враждебную коммунизму. После процесса можно считать вполне установленным, что чем энергичнее росли темпы наших великих работ по строительству социализма, тем злее, тем изощреннее, тем упорнее действовали наши враги, никак не желавшие, вопреки теориям Н. И. Бухарина, «вростать в социализм».

Прикрываясь религией, федоровцы открыто готовили восстание против советской власти, восстание под трехцветным знаменем царизма. На суде произошел любопытнейший эпизод. Одному из подсудимых, алкоголику Аторкину, показали портрет Николая Романова. Он чуть не бросился его целовать. А при взгляде на портрет Ленина Аторкин заявил: «Ленина мы не любим, Ленин — наш враг». На суде была четко вскрыта монархическая подкладка организации «крестоносцев». Знамя с надписью «боже, царя храни», отобранное у федоровца Редькина, являлось вещественным доказательством.

Затем в программу крестоносцев входила задача восстановления цер-

жовой власти. По этому поводу общественный обвинитель т. Лунин говорил на суде: «Пятилетка великих работ больно ударяет и по религии. Мы по советской земле раскидываем густейшую сеть школ. Мы на одно из первых мест ставим задачу поголовной ликвидации неграмотности, а значит, пятилеткой мы под самый корень рубим религию. Поэтому-то сейчас религия и является тем знаменем, вокруг которого объединяются все остервенелые враги социалистического строительства».

«Федоровщина» не только монархическая организация, состоящая из озверелых религиозных мракобесов, — она по классовому составу вождей и по своей программе прежде всего кулацкая организация. В нее входили кулаки, торговцы, бандиты, бывшие люди, пропойцы, хулиганы, вору, поджигатели. Она боролась всеми мерами с тем основным, что проводит сейчас в деревне советская власть: с колхо-

зами, тракторными колоннами, кооперацией (все федоровцы вышли из кооперации), контракцией, займами, самообложением, хлебозаготовками, школой. Вместе с тем ново-калитвенская группа «федоровцев» — одна из ячеек международной банды разбойников капитала, ведущего упорную работу по срыву нашего социалистического строительства.

Все это поняли широкие массы пролетариев ЦЧО — профессора, студенты вузов и ученики школ, организованные группы бедноты и середняков деревни, решительно требовавшие в бесчисленных резолюциях на митингах протеста и в самой зале суда применения к «крестоносцам» высшей меры наказания.

Тихому Воронежу, а с ним и всей общественности ЦЧО через «крестоносцев» был дан яркий наглядный предметный урок разворачивающейся в новых формах классовой борьбы.

#### 4. ОБРАЗЫ АЛТАЯ

Дневник путешествия

Б. Ю. Айхенвальд

27 и ю п я. В 10 ч. вечера выехали из Москвы. Первая неудача — нет постелей. «Сулит мне труд и горе грядущего волнующее море».

28 и ю н я. Пыль и духота.

29 и ю н я. Долго не ложимся спать, ждем Свердловска. Рассвет. Огни озера Исет, луна. За городом степь. Это Сибирь, Азия?

Своеобразная романтика, воспринимаемая через Пильняка и поэзию ка-торжных песен.

30 и ю н я. Тюмень. Степь и лес. В этой огромной дикой стране смешно говорить о километрах, здесь надо найти иную меру. Тысячи клм. — и одна железная дорога. Немец, который тоже едет на Алтай, сказал: «Endloses Land!»

Здесь земля — планета в ее первоначальной форме.

1 и ю л я. Сегодня приедем в Новосибирск. Омск вчера проспал. Пыль не-

вероятная. Жара, Азия, Азия — Сибирь. Приятно повторять эти слова. До Новосибирска езды почти 4 суток, и это треть того, сколько нужно ехать до Владивостока. «Путь сибирский, дальний...» Дальний Восток, Манчжурия, Азия, Азия... Приехали в Новосибирск — изумительный, прекрасный город. Это не провинция.

Динамика роста — европейская устремленность города; он — центр Сибири и интересен не только своим sein, но своим werden. Новая Сибирь расцветает в этом городе.

Вечер. Посадка на Байск. Сплю на третьей полке, над головой низко доски, — как в гробу.

2 и ю л я. Групповод (руководитель экскурсии) обещал, что будем сами себя обслуживать. Жарить барана — перспектива приятная. Это совсем по-гомеровски. Народничество и толстов-

ство устарели — в них шаблон сентиментальности, но почему не говорить о «гомеризме» — о подражании эпически живущим героям эпоса?

Впрочем, предпочитаю читать Гомера, а не инсценировать его на самом себе, да еще под режиссуру С. (групповод). Это единственное, что меня (пока...) смущает. Романтики в этом не вижу, а хлопот много. Нет ли в идее «опрощения» некоторой «простоватости»? Это безвкусно — особенно для нашего времени. Но как же с этим совместить туризм? Ответ: смотреть на уподобление спутникам Одиссея не как на опьяняющую романтику, а как на необходимость, неприятную, скучную, но... — выхода нет.

Бийск — воплощение пыли. Бродим и ищем пристанища. В четвертом месте нас приняли. Умылись. Какое блаженство, когда вам на голову льют холодную воду. Гениален тот человек, который изобрел воду.

Пародия на обед и на баню. Кофе в саду — последняя дань культуре.

3 июля. Выежаем на коробах (в роде тарантаса) в 6 ч. 30 м. Настроение хорошее. Ехать приятно, но тесно. Кругом необыкновенный простор, лесостепь. Переехали на пароме Бюю, едем вверх по Катунь, переезжаем и ее. Наш ямщик — алтаец — грязен, медлителен. Изумительно плюется как-то через зубы, почти без участия губ. На каждый вопрос сначала отвечает: «А?», потом повторяет последнее слово. Тип лица монгольский.

Катунь бело-серебряная, вялая, но быстрая и широкая. Сзади остается высокий, странной окраски холм. И волна подобных холмов видна и дальше, по берегу Катунь. Бледно-розовые и бледно-зеленые тона, изредка темно-лиловые.

Здесь начало цветной Азии.

Едем дальше — и на горизонте все больше и больше холмов, все теснее становятся их объятия. Один холм похож на кусок бархатно-зеленого, заплесневевшего хлеба. Темнеет, вечер, раскладываем палатку — первая ночь.

4 июля. Снова цветные холмы — это предисловие к Алтаю. Удивительные

тона и цвета. Снова переезд через Катунь, уже быструю и кипящую, широкую. Пыль соединяется с безмятежным и величавым покоем холмов. Если наклонить голову набок, то еще нежнее и радостнее цвета — голубое, розовое, но все мягкое, нежное, целомудренное... Быть может, именно целомудренное — нет сотен туристов (плечи Элен и Наташи).

Низина — Улала, столица Ойротии (не Ойратии, как обычно пишут и говорят в Москве).

Улала притворяется, что она город. Мороженое скверное, но квас дешев и хорош. Были в музее, слушали лекцию об ойротах-алтайцах.

Века нищеты, гнета, унижений сделали этот народ примитивным и жалким.

Но в своих обрядах он так же целомудрен, как природа. Он умеет смаковать жизнь. Великое искусство играть иногда в жизнь — удел детей и отсталых народов.

После обеда прощаемся с Улалой. Пыль, от которой ничего не видно. Но, собственно говоря, особенно неприятно сознание, что ее придется смывать. Алтайцам хорошо — им безразлична грязь, а мы не имеем настолько мужества, чтобы не нуждаться в мыле и воде, чтобы примириться с пылью. Вериги Европы следует ли переносить в Азию?

Катунь среди холмов, во всем блеске своей ослепительной красоты пороги, пена, седина злобы; широкая, белая, стальная лента. Наступают сумерки; останавливаемся на выступе над Катунью. Благодаря полутьме и пыльной завесе все кажется сказочным, нереальным. Недалеко деревня Монжерок.

5 июля. Дневка около Монжерока, над Катунью. Внизу порог, один из самых больших. Волны бьются с бешенством и упорством. Трудно поверить, что можно веками сохранять такой градус ярости, такое непрерывное напряжение (как в романах Достоевского). В голову приходят ассоциации Кавказа. Если взять прозаическое сравнение, Катунь шумит, как гигантский примус.

Утром пошли в «Пещоры», как здесь говорят. Переезжаем на лодке Катунь — жутко; но смотреть, как перевозят других, страшнее, чем плыть самому; каждую секунду лодка может перевернуться. И поражает, imponирует мастерство, уверенность 70-летнего перевозчика, который с необыкновенной ловкостью управляет лодкой, отданной во власть течению.

6 километров пешком по лесу до деревни Талды—колоритные Кержаки. Берем с собой двух мальчишек и начинаем подниматься по крутой тропинке на гору, ко входу в «пещоры». По дороге наши гиды готовят факелы из сосновых веток. Смело ныряем в темную дыру катакомб и то на четвереньках, то ползком ползем по скользким коридорам. «Пещоры» загибают вправо и одновременно поднимаются вверх. Факелы слабо трещат и почти тухнут, мальчишки утешают, что где-то есть «бездонная яма»; поднимаемся еще выше по какому-то бревну, и вдали появляются бледные дневные тени; выбираемся на узенькую площадку, на которую другого хода, кроме как через «пещоры», нет. Открывается неожиданная панорама ленты Катунь, благодаря высоте, неподвижно брошенной среди леса.

Зажигаем новый факел и скользим вниз, назад. Наши мальчишки бегают по мокрым камням, как по паркету—привычка. Когда им дали 15 копеек, они были очень довольны.

Происхождение пещер так и не удалось установить; повидимому, есть какая-то связь с прошлым талдинских кержаков — молеельни или убежища.

Выкупались в Катунь, взяли верхних лошадей и вернулись обратно.

Закат и смена цветов на холмах. Вечер, ночь.

6 июля. Встали в 3 часа утра, после очень холодной ночи. Едем по берегу Катунь; горы и вода. Спать хочется невероятно. От этого многое пропадает. Человеку, как это ни грустно, спать необходимо. И он спит примерно треть жизни.

К вечеру приехали в Чемал, знаменитый ойротский курорт.

7 июля. Вчера вечером и сегодня днем новые образы и ассоциации Индии (хотя никогда там не был). Ночью Катунь мрачная, страшная, днем торжественная, гордая. Ганг—священная река Индии, и Катунь священна для алтайцев, они связывают с ней свои песни и легенды, обожествляют ее.

Эй, красавица славная Хан-Алтая, быстрая река!

Эй, крутобережная, беловодная Катунь!  
С высоты-крутизны, с ледяной, белоснежной, поднебесной горы, — Эй!

Ты бежишь между скал быстрее лучшего коня.

Через тебя, Катунь быстротечная, нет мостов-переправ, — Эй!

Ээзи, водный дух, не велел строить мост.  
Знаем мы, Катунь, как старик Сартакпай богатырской стрелой, — Эй!

Просекал тебе путь с Тельдекпена на Чема-л.

В твоих бурных волнах, за свободу девичью борясь, — Эй!

Бросаясь вниз со скалы, утонула Хапа дочь.  
По твоим берегам с давних пор в дымных юртах алтайцы живут, — Эй!

И тебе, мать - Катунь, с бубном молятся они.  
А теперь, Катунь, далеко унеси ты наше горе с собой, — Эй!

На волнах закачай и в пучину опусти.

Такова народная песня о Катунь. Ее поют медленно и протяжно—заунывная, грустная мелодия.

Цветные горы, синева холмов и далей и надо всем или подо всем — сталь Катунь. Удивительна фантазия природы.

8 июля. Познакомились с Бабраком—алтайцем-краеведом. Любопытная фигура. Девяти лет он вышел из юрты, был попом, теперь учитель в Чемале. Обидчив, самоуверен, но знает и любит Алтай. Считается одним из лучших местных знатоков края. Ездили верхом по берегу Катунь.

9 июля. Катунь декоративна. Так, в таких декорациях должен был бы ставить Большой театр какой-нибудь фантастический балет. Стрела Сартакпая, легендарного богатыря, просекала здесь, среди картонных утесов, путь Катунь. Насыщенность декоративной красотой, — но утонченной, культурной. Не таковы ли сады Черномора?

В Катунь впадает Чемал—синеватая, прозрачная, быстрая и легкая речка. Ездили опять верхом вверх по Чемалу.



Потом ходили пешком как раз в тот прорез между скал, куда попала стрела Сартакпая. Там два перпендикулярных хребта — и между ними течет Катунь. Дошли до впадения Чемала в Катунь — красота изумительная. Ясна граница синего, задумчивого, я бы сказал резонера Чемала и бессонной белой Катунь. В устье Чемала почти незаметно его движение — он философичен в своей холодной синеве. Дальше путь наверх — и снова вверх по Чемалу. Чем выше, чем дальше, тем моложе Чемал, он покрывается пеной, теряет свою спокойную синеву. Камни и пена — любопытное соединение самого легкого, почти не существующего и тяжелого, «человеческого, слишком человеческого». Дальше Чемал дробится, делится на протоки и становится из Канта задорным мальчишкой, уличным гаманом. Он не внушает уже уважения, он непостоянен и несолиден. Катунь производит иное впечатление.

Поднялся довольно высоко на край обрыва. Видны Катунь и Чемал, и горы — синие, зеленые, лиловые: цветная Азия. В вечерней дымке особое обаяние гор — уже гор, а не холмов. Проходим бором — это уже намеки на тайгу. Завтра начнется самое трудное — выезжаем верхом.

10 июля. Утром дождь; неужели это период дождей? Вместо июня он будет в июле? Как раз до тех пор, пока мы будем в горах. А когда мы снова поедem на колесах, дождь кончится, начнется жара, — и мы вновь будем глотать пыль.

Ждем. С. (групповод) придерживается правила: на охоту ехать — собак кормить. Совсем как у Чичикова. В последний момент оказалось необходимым ковать лошадей и что-то еще. Дай бог, чтобы выехали в полдень.

Полдень пробил — лошадей нет и неизвестно, когда будут. Проводник Бабурганов уехал за ними куда-то очень далеко, обещал вернуться вчера вечером — и исчез. День проходит тоскливо и нудно. Вечером свою желчь срывали на С.

11 июля. Не уехали и не уедем и сегодня. Проводник исчез. Начинаются переговоры о том, чтобы до Онгудая

ехать на колесах. Глупо, гнусно, досадно. С. путает и врет на каждом шагу, идет дождь без надежды на самоуничтожение. Полное разложение, упадок, сплин. Когда же выедем из Чемала? Без конца спим и тщетно ждем Бабурганова.

Вечером кто-то сказал, что другой «кто-то» где-то видел «кого-то», кто видел Бабурганова — он жив и здоров и нанимает последних лошадей. Это называется «кошомный телеграф».

12 июля. Ура! В 12 ч. дня Бабурганов приехал. Но новая беда — никуда негодная сбруя, ужасные седла. Шум, крик, ругань.

Беспредметное вчера раздражение нашло, наконец, свой предмет и изливалось на него в течение, примерно, двух часов. Потом — по естественному психологическому закону и так как сделать все же ничего нельзя — успокоились. Снова ждем чего-то, вторично сложив вещи.

Наконец, *horribile dictu!* В 8 ч. 30 м. вечера выехали из Чемала.

Закат, поэзия, все довольны. Остановились у парама в 11 ч. вечера, легли спать в час ночи. Опять палатка, опять кошмы, прелесть дальнего пути.

13 июля. Встали в 5 утра. Ехать хорошо. Опять переехали Катунь на пароме. Первый перевал, спуск довольно крутой.

Бедные лошади. Когда люди ездят на лошадях, они ведут себя, как свиньи. Наступает вечер. Воздух, как принято говорить, становится прозрачным. Жара спадает. Проезжаем бом — узкая тропинка в скале, нависающая над обрывом. Внизу — Катунь. Спускаемся, ведя лошадей на поводу, едем по берегу Катунь.

Кажется, что Катунь состоит из пяти двух родов: белосиние волны и золотистые, цвета золотой бумаги, из которой дети делают картонажи, но только темные, матовые. Катунь делается шире и спокойнее. Изумительные цветные, спокойные, ласковые горы.

Есть ли связь между глубоким величием Алтая, его светлым и спокойным целомудрием, и тем убогим, грязным, робким народом, который посе-

лился в этих горах? Кавказ в этом смысле цельнее.

Останавливаемся на ночлег в 8 ч. вечера. С. ждет бури. В нем много хлестаковского. Если бури не будет, — тем хуже для бури.

Р. С. Бури не было.

14 июля. С'ехали с Катуня—прощаемся с ней на недельку. Много раз переезжаем вброд какую-то речонку, назойливо вьющуюся под ногами.

Вторая половина дня полна приключений: во-первых, двигаясь по какой-то ужасной тропе, попали в болото; во-вторых—дождь. Пишу в седле, подробности потом.

15 июля. Хмуро, пасмурно, сыро. Ноги и прочее мокро. Встаем в 5 ч. утра и в 7—выезжаем.

Вчера ясно поняли (уже!), что все это удовольствие для любителей.

Кто же мы? Мы, повидимому, играем в любителей.

Дождь подготовлялся постепенно и планомерно. Если природа вообще способна действовать обдуманно, то в данном случае она эту способность бесспорно проявила. Началось с того, что мы в'ехали в трясину: лошади падали, выюки падали, люди падали. Когда я уезжал на Алтай, я героически был готов к гибели—но к какой? Погибнуть в грязи, в болоте — это унижительно и противно. Около часу хлопала по трясине,—и к этому-то времени природа подготовила дождь—холодный, решительный, наглый. Он собирался медленно и упорно и с еще большим упорством доказывал нам свою независимость.

Хорошо, что разложили палатку и зажгли костер без дождя. И приняли это как должное. Но, собственно говоря, могло бы быть хуже. (Могло бы быть! Ведь еще будет!) Дождь, гроза и К°, все это способно объединиться против измученных путников. Поели, попили и легли спать. Сыро, холодно. На утро—хмуро, сыро и холодно. Среди дня—мокро, хмуро, сыро и холодно.

Настроение круто падает, все молчат и тупо сердятся.

Вчера С. кому-то сказал: «Вы едете не на пикник, а на Алтай!» Увы!

Горы закрыты сеткой дождя. Сырой и угрюмый Алтай. Лоскутные горы молча поднимаются к туманному небу. Что утверждают они своим подчеркнутым безмолвием? («...Народ безмолвствует...») Вечное молчание — может ли оно быть случайным? Как разгадать его?

Грязный и мокрый перевал. Ведем лошадей под уздцы. Резкий перелом горы — и перед нами неожиданная и в своей неожиданности незабываемая картина: уступом идущие, покрытые хвоей горы, перед ними и за ними долины — особенно за ними, светлая, напоминающая оазис. Далее угрюмые, синие, мрачные, злые горы — лес и туман — нахмуренные брови. И выше всего, уже светлые и радостные, сверкают, поднимаясь к небу, первые белки. Небо над ними светлее и легче, и видно, что белки сияют, что синее, лазурное небо освещает их своим блеском. Недоступные, гордые, сияющие льды и снега.

Но спускаемся вниз — и опять туман и дождь, опять сырость и сетка дождя, покрывающая лоскутные синелиловые горы.

В 2 часа приехали в Каракол. Остановились в школе, переоделись, расположились. Это — в дождь — лучше, чем в палатке. «Проклятые» вопросы: как сушить вещи, когда кончится дождь? Сейчас хорошо: лежу на одеяле и жду кофе, а ведь завтра опять ехать, и опять, и опять... Тоска по чужбине — и тоска по родине. Хорошо вспоминать, но какво переживать. Интересно писать, зная, что будешь все это перечитывать. Живешь медленно и трудно, перечтешь и вспомнишь быстро.

«Что день грядущий мне готовит?»

16 июля. Проснулся рано, в 5 ч., и вышел наружу. Небо попрежнему туманно и хмуро, горы покрыты облаками, спускающимися иногда очень низко. «Ночевала тучка золотая на груди утеса великана». Только не тучка, а туманные, босфорейные белые облака, и не на груди утеса, а на животе гор, и, что самое важное, «утром рано» они не ушли гулять и играть по лазури, а хмуро остались, плача и хныча.

После обеда выезжаем из Каракола. Опять дождь и броды, но создалась уже некоторая привычка. И назойливая ласка дождя отступает перед новыми, долгожданнами образами — мы едем в аил, в юрты, в гости к первобытному человеку. Далекий, незнакомый, спрятанный в горах мир.

У неугасимого огня сидит женщина с ребенком на руках; она не двигается, не поворачивает головы; дым от костра поднимается вверх, к отверстию юрты, и застилает ее монгольское лицо, на котором лень, покорность, равнодушие — быть может, мудрость. В памяти алтайцев ревниво хранятся бледные образы прошлого.

Уходящее в далекие века полулегендарное Джунгарское или Ойротское государство, в состав которого входили алтайцы, восточные турки, гордо сохранившие свою самобытность перед лицом арабской культуры, не подпавшие под ее влияние, как это было с тюрками западными; гражданские войны, междоусобицы, разрушившие старое царство в половине XVIII-го столетия; желтый и жадный Китай, захвативший все, кроме Алтая; новые враги — монголы и киргизы; и, наконец, день самозаклания у ног Белого Царя — доверчивое обращение в Петербург, за помощью.

И вот Алтай становится при Екатерине II русской провинцией. Дальнейшее просто, горько и обычно. Сначала льготы и торжественные слова — взамен пушнины; потом суровые русские колонизаторы, медленно, но верно отесняющие робких туземцев в горы; наконец, — тщетные жалобы алтайцев и лицемерное двурушничество Белого Царства; с одной стороны закон Сперанского, запрещающий насильственное заселение Алтая русскими, с другой же — тайные инструкции губернаторам, предписывающие обратное. Милостивый закон оказался, по выражению Бабрака, «не при чем». «Губернаторы заселяли Алтай, чтобы обрусить наших алтайцев, еще сказать, чтобы национальный дух выветрить».

На Алтай первыми пришли купцы и миссионеры. Купцы спаивали ал-

тайцев водкой и за романтику 5-копеечного зеркала получали будни 7-годовалого быка; монахи конкурировали с шаманами и продавали отпущение всяческих грехов и долгов за мелкую монету механического, а иногда и насильственного крещения<sup>1)</sup>. В годы войны алтайцев крестили огульно, загнав в Чую и не разбирая полов и имен. Многие мужчины поэтому носят женские имена.

Долго пакипала в душе кроткого и добродушного алтайца ненависть к «тонконогоим, рыжим грабителям», и в 1904 году началось среди них полурелигиозное, полуполитическое движение. Для главарей оно кончилось тюрьмой, для массы — новыми унижениями и усиленным грабежом. Чужая воля, чужой народ и чужой закон владели и правили «девятитысячным Хан-Алтаем», пока не пришло время «своего закона», и Алтай, в память легендарного царства, стал Ойротской Автономной Областью.

Новая культура постепенно переделывает первобытного алтайца, но все-таки — какая страшная, какая темная жизнь! Как медленно в «дымную юрту» проникает свет!

Юрта имеет конусообразную форму; в ней девять жердей-вершин, по числу вершин «Хан-Алтая». Жерди связаны тремя деревянными кругами, сверху войлок, хворост или доски. Цена такой юрты — 15-20 рублей. Внутри — кошмы, изредка нары. По стенам «капы», мешки с вещами, число их характеризует богатство алтайца, иногда висят ковры. Тут же навешены разноцветные ленты: светлые, чтобы привлечь добрых духов, темные — отогнать и умиловить злых.

<sup>1)</sup> Рассказывают об одном алтайце, который упорно и долго уклонялся от христианского лона. Однажды в его аиле или даже юрте какое-то начальство забыло новые калоши. Алтаец надел их и хвастался своим нарядом. За это его схватили, обвинили в краже и предложили выбирать между тюрьмой и церковью. После мучительных колебаний он все же предпочел крещение. Но, покорно окунувшись два раза, он категорически отказался от третьего, мотивируя свое решение тем, что ведь он украл две, а не три калоши. Известно, чем кончилась эта оригинальная торговля.

Внизу горит неугасимый костер — горе тому дому, в котором потухнет священный огонь! Дым поднимается вверх, уходит в отверстие юрты, встречаясь там с солнцем, снегом, дождем.

Над костром решетка, на которой сушат сыр, приготовленный из чигэна — квашеного молока. Полки с деревянной посудой. До самого последнего времени алтайцы не знали и не употребляли мыла. Сами они не моются эмпирически (лишь утром, набрав из чайника воды в рот, брызгают на руки и таким образом умывают лицо, которое потом сушат у костра); посуду не моют принципиально: счастье покинет ту юрту, в которой вымоют чашку или горшок. Поэтому на посуде чуть ли не вековые наслоения грязи. Погоня за этим «счастьем» дорого обходится алтайцам: среди них свирепствуют сифилис и трахома. Глазные летучие отряды, организованные в последние годы, должны не только лечить, но и учить.

Белья алтаец не знает, одежду не меняет, пока не истлеет; надев осенью шубу, он носит ее, не снимая, до весны, спасаясь от ветров и морозов, проникающих через щели в юрту. В апреле спускает один рукав, в мае другой, и только в июне сбрасывает шубу совсем.

«Эта жисть юрты — она страшна», говорил Бабрак. Но особенно страшна жизнь женщины... Она не человек, но предмет, необходимый в домашнем хозяйстве, безгласное существо, купленное за калым; муж, ленивый и беспечный, взваливает на нее всю работу. Женщина поддерживает костер, доит коров, варит чай, арачку (водка), шьет обувь, шубу, колет дрова, седлает коня пьяному мужу, — а иногда и непьяному.

Но именно женщине суждено быть носительницей нового. Развивается и растет женское движение — и «чалегатка» (делегатка) становится культурной и даже политической силой. Затронутые новыми веяниями женщины моют руки с мылом, иногда даже — шею (sic!), мучную лепешку месят не на голом и грязном колене, а

на доске; «чалегатки» ездят на с'езды, работают в ячейках, постепенно ломают старые обычаи и старый быт.

Интересна судьба алтайского ребенка. При рождении его мажут конским жиром и кладут в зыбку — этим ограничивается тот прием, который оказывают ему при его вступлении в свет. Тот самый бадан, из которого готовят чай, служит для гигиенических целей: предохраняет от прений надлежащие части ребенка.

До года у ребенка, если он не умер, бывают ожоги — результат падений в костер. В 3 года он уже ловит арканом телят, в 6 ползет с луком по лесу — наследственное звероловство — и тех же зверей лепит из речной грязи и вырезывает на дереве, в 10 мальчишка пытается уже сдержать коня, в 16 — независимо мчится верхом.

Алтайцы гостеприимны, приветливы, ленивы, добродушны, грязны, терпеливы, отличаются долголетием и молчаливостью.

Сахара и овощей алтайцы не знают. Едят мясо без соли, хлеб из ячменной муки, сыр, творог, пьют квашеное молоко — чигэн, похуже на кефир, соленый и смешанный с мукой чай (вкус рвотного) и арачку — слабую водку-самогонку, сделанную из молока. Кроме бадана, собирают еще какое-то растение кандык, корень в роде луковицы, в котором будто бы есть сахар и крахмал, собирают чеснок и лук просто.

Арачку пьют много и долго, и под ее влиянием алтаец теряет свою молчаливость и вялость, становится разговорчивым, хвастливым и даже драчливым.

Алтайцы любят играть в жизнь, смаковать ее: пример — свадьба.

Жених должен украсть невесту — с этого начинается вся процедура. Затем кто-нибудь со стороны жениха берет на себя трудную и неприятную миссию известить отца невесты. Надев шубу, а иногда и две, благородный друг жениха садится на пороге ограбленной юрты и, сообщив отцу свадебную новость, терпеливо ждет вечера, покорно вынося ругательства и удары нагайкой (для этого-то и нуж-

ны две шубы). Вечером он в праве уйти — и этим заканчивается второй акт. На другой день снова приходят представители жениха и приносят с собой арачку. Отец невесты долго хвастается своими табунами и своим родом, — до тех пор, пока его не заставят, наконец, выпить арачки, — тогда наступает мир. Торгуются о калыме и привозят его. Затем следует последнее действие, самое интересное, знаменитый «той».

В айле жениха собираются гости, при чем каждый привозит с собой запас арачки. Как обязательное правило, родители невесты отсутствуют. Быстро строят новую юрту, и старший в роде зажигает повый костер. Приводят невесту, расплетают ее девичьи бесчисленные косы и заплетают волосы всего в две косы; меняют девичье платье на женское — и с этого момента, без всякого участия шамана, она считается женщиной. Начинаются пир, пляски, песни, скачки, борьба, сказки. Среди гостей ходит специальный драчун-забияка — Чалчи-Кижы, — который обязан поднимать шум и возню для вящего веселья. Арачки выпиваются море, гости и молодые пируют всю ночь. На другой день делаются официальные визиты.

Теперь заключительное и малопривлекательное указание: невесте лет 17-19, жениху — бывает — 8-9. И если у молодой хозяйки через два-три года все же родятся дети, мораль алтайцев не обвинит ее: дети нужны для хозяйства и посланы милостью Ульгена — доброго духа.

В свою очередь муж, выросши из детского возраста, может жениться вновь, уже более сознательно; так разводится многоженство.

После революции приходится бороться и на этом, матримониальном, фронте. Запрещены воровство невест, калым, вступление в брак раньше 18 лет.

Первобытен и торжественен также похоронный обряд.

Покойника экипируют всеми нужными вещами и хоронят — вернее, хоронили — в россыпях или на дереве. На могилу Кама (шамана) кладут бубны.

Загробный мир создают алтайцы по своему образу и подобию: Алтай, вечное лето, прекрасные луга, много хорошего, тучного скота, арачка, безмятежный покой...

Алтайцы — язычники, шаманисты или бурханисты. Шаманы и Камы отгоняют злых духов, призывают покровительство добрых, лечат, гадают, приносят жертвы скотом во время сезонных праздников. Знаменитого процесса «Камлания» увидеть нам так и не удалось. Жаль! Зрелище любопытное!

Алтайцы отдают малую дань и искусству. Вырезают на деревьях и ножах изображения зверей и птиц и просто орнаменты, играют на жалких музыкальных инструментах, поют, импровизируя часто слова песни; поют о природе, обожествляя ее, о тех же зверях и птицах, о своем прошлом.

Кроме песни о Катуня, есть еще известный народный гимн, посвященный Хан-Алтаю:

Устуртун корордо  
Уч толунгу Хан-Алтай.  
Туразынан корордо  
Тогус булунду Хан-Алтай  
Кайазынан корордо  
Камчы сынду Хан-Алтай.  
Куски конгон Туртуна  
Курэн чепкэн, тожогондий Хан-Алтай.  
Таскы конгон Туртуна  
Тажыл торко тожогондий Хан-Алтай.

Если сверху взглянуть, —  
Трехгранный Хан-Алтай.  
Если сбоку взглянуть, —  
Девятигранный Хан-Алтай.  
Если с окраины смотреть, —  
Как плеть разлит хребет Хан-Алтая.  
Как бурое сукно разостлано  
По осеннему жилищу Хан-Алтая.  
Как зеленошелковый ковер разостлан  
По весеннему жилищу Хан-Алтая <sup>1)</sup>.

Вот еще одна песня, которую Бабрак снабдил таким примечанием: «Эта песня по народному преданию пета была алтайцами на горе Талмонку после опустошения Алтая вследствие войн с другими племенами, в особенности после войн с Чадаком, приходившим из Монголии».

За милый Алтай много лилось крови!  
Сосны, имевшие крепкие ветви, обезглавлены  
ны они, бедные!

<sup>1)</sup> Перевод и транскрипция алтайского текста русскими буквами списаны мною у Бабрака, учителя-алтайца в Чемале.

Полный величия Алтай мой, опустошен  
он, несчастный!  
Сосны, имевшие твердые ветви, обезглавлен-  
ны они, бедные!  
Мило устроенный Алтай мой, обчищен он,  
несчастный!

Мелодии всех песен скудны и однообразны.

Около часу провели мы в айле, ходили по разным юртам — бедным и богатым. По обычаю мужчины должны были становиться налево от входа, женщины — направо. Везде нас встречали с равнодушным гостеприимством, угощали арачкой и чиганом, принимали папиросы и леденцы, но хозяйка сидела попрежнему неподвижно около костра с ребенком на согнутых коленях. Мы ходили по юрте, осматривали вещи, трогали их, снимали (нельзя только трогать священные ленты), — она ни разу не повернула головы. Что это — закон вежливости или форма восточного фатализма?

«Эта жисть юрты — она страшна».

И трудно переломить ее, переделать. Но работа идет. 87 ойротцев учатся в вузах, среди женщин выбираются «чалегатки», в Чемальском аймаке 70 партийцев, растут школы, больницы, летучие отряды борются с трахомой и грязью, появляется мыло, создается латинский алфавит.

→ Октябрьская революция докатилась и до нас, — гордо заявил Бабрак.

Вечером мы увидели блестящее подтверждение этому — алтайскую коммуно онгудайского аймака. Спим в коммуне, перед сном через Бабургапова долго разговариваем с ее председателем. Скачок от доисторического человека к человеку далекого будущего. На белки алтайских гор идет новая культура. Фантастический сон дикаря.

17 июля. Утром кусочек неба и солнца. Сияют теректинские белки. Выехали поздно, в 7 час. 30 мин. Солнце чередуется с дождем, не претендуя на примат. Едем тайгой — глушь, «чернь», по выражению сибиряков. Переваливаем через одну гриву и начинаем подниматься на Теректинский хребет, правда, где-то сбоку. Открываются каракольские белки; клочья снега разных размеров разбросаны по мрачным горам. За ними туманное не-

бо. Если это все, то Кавказ богаче и величественнее. В нем сила, мощь, гордость. Здесь же — уныло и грустно, здесь дальняя, сибирская таежная страна, бедная и убогая, здесь Алтай, здесь те горы, среди которых живут темные и нищие алтайцы. Может быть, это только временное впечатление, связанное с моим настроением или с дождем. Катунь, правда, производила иное впечатление, — по ведь было солнце.

Целомудренные и женственные под солнцем, убогие и грустные при дожде — может быть, это решение, может быть, таков характер алтайских гор?

По словам С., после обеда, продолжая подъем на Теректинский хребет, мы пойдем уже по самым белкам.

Если привыкнуть к грязи всех родов, — пот лошадиный, навоз, грязь просто, пыль, зола, копоть, — если привыкнуть к сырости и дождю, то уже ничто не страшно. Но вопрос именно в том, как привыкнуть, как освободиться от культурных надстроек, ставших почти физиологией?

После обеда действительно стали подниматься на Теректинский хребет. Тайга осталась внизу, мы на лугах, кажется, альпийских. Сзади, с перевала (2.000 м.) видны Каракольские белки. Голый холм перевала. Спереди радостные перспективы — свет, солнце. Сзади — мрак и тоска, синие, почти черные горы, небо сливается с землей, тучи, дождь, гроза, злоба. Гибель Содомы и Гоморры (похоже на гравюру Рембрандта «Три креста»). Мы бежим от туч и дождя, но они гонятся за нами, тоже поднимаясь на перевал. Туманы бродят около нас по горам. Внизу, у ног, белые анемоны и другие, желтые и лиловые, цветы. Если бы солнце! Проходим мимо белка — большого куса снега. Поднимаемся дальше, на второй перевал — и тут-то гнев Алтая настаивает нас. Сначала холод и ветер, потом град, потом серия дождей. Едем по хребту, нигде нет никакой надежды, всюду дождь, холод, сырость. Спереди ворота из двух необыкновенных радуг, огибающих все небо, сзади легкий, бледный просвет. Новое снежное поле, которое

кажется продолжением неба. Под звуки трубы и органа из хаоса создается свет и земля. Облака клубятся, как снег, и снег кажется облаком. Небо поет радостный гимн. (Короленко прав, когда зрительные впечатления передает через слуховые образы: это полно, ярко и глубоко.)

Но диалектика художественного образа не обязательна для природы. Небесный хор и радуга не спасают от нового дождя. Это становится уже безвкусным и назойливым.

Измученные, замерзшие, злые съехали, наконец, с хребта. В 8 ч. ночлег. Спать сыро и холодно.

18 июля. Проснулись и встали в 5 — до свистка — от холода. Едем сначала в густой и высокой траве, потом по долине Тонкой Терехты. Горы прекрасны, Терехта шаловлива, особенно сверху, с бомов. Слияние с Толстой Терехтой, брод. Чуть не утонула лошадь. С горы на гору — бомы — внизу вьется Терехта. Другая лошадь срывается с горы. С трудом вытаскиваем ее. Постоянно падают вьюки. Наконец, выезжаем в Уймонскую степь и скачем на перегонки 15 км. до Верхнего Уймона. Радуемся, как дети, выравнившиеся из класса. Ночуем у кержаков — по протекции Бабурганова, брат которого женат на кержачке. У них и ночуем.

Погода исправляется, дождя почти не было.

Горы и реки, вся природа Алтая, кажется, любит себя. Она не так равнодушна и нейтральна, как это думают. Кокетство, но соединенное с величием — вот первый шаг к разгадке тайны утверждения гор. Но соединимо ли кокетство и величие? Лучше сказать: в горах есть самосознание и самоудовлетворенность.

19 июля. Уймон прячется в котловине гор — к вечеру они тускнеют, покрываются туманом, темные тона и цвета. Кержаки — сочные, сильные, типы партизан Всева Иванова. Особые интонации, суровость. Хозяйка, у которой мы остановились, ругается безобразно и артистически. Я «опоганил» котел, потому что чистым, но «своим» половником зачерпнул из не-

го воды. Разгневанная красавица (а она действительно красавица) выплеснула уже почти вскипевшую воду, вымыла чугунок, принесла новой воды и поставила 11-летнего сынишку сторожить его невинность. Мальчик этот, несмотря на свою юность, уже насквозь кержак. Он носит кержачью шляпу, говорит типичными полувопросительными интонациями, медлителен, не по-детски суров. Гордость касты. Детей не посылают в советские школы. Внешнее и внутреннее отмежевание себя от мира — отсюда некержаков называют «мирские». Приветливы ли они? По-разному: одни суровы, другие любопытно-любезны.

Весь Уймон — литературная иллюстрация.

20 июля. Вторая ночь у кержаков. Сегодня выезжаем из Уймона в десятидневное, приблизительно, путешествие по ненаселенным диким катунским белкам на ледники Белухи и оттуда на Рахманинские Ключи. Эти 10 дней — самое трудное и ответственное нашего пути. Когда наступит тот час, в который я напишу как о прошлом об этом перегоне?

Сегодня делаем три перевала.

Из Уймона поднимаемся на первый и попадаем в туман. Как в «Синей птице», из тумана вырисовываются неожиданно очертания деревьев и людей. Но вот мы поднимаемся выше тумана. или он рассеивается, — но внизу, под нами, видна Уймонская степь, горы, полоска Катуня, — все синеватое, с туманной завесой кое-где, с клубами тумана и потому нереальное. Как в театре, туман ежесекундно сдвигается, и все яснее становятся очертания гор — лишь в ущельях по-прежнему белая пелена. Из мглы первобытного хаоса рождается земля, — чистая, незапятнанная человеком, юная и невинная, — земля в первый день своего бытия, со своими горами, лесами, реками, слегка окутанная синеватой дымкой.

Второй перевал — каменный белок, третий — студеный белок. Горы и горы — однообразно. Внизу реки, белые и быстрые. Погода становится хорошей.

21 июля. Дивный день. Едем вверх и вниз — подъемы и спуски. Изредка броды. Проходим Зайчихинский и Собачий перевалы. Какое огромное значение имеет название. Гипноз слов. И этим пленяет Кавказ. Гергетский ледник, Алибек, Пассанаур, Теберда: «Я поднимался на Гергетский ледник» — это солидно, благозвучно, торжественно — «es klingt»; сказать же, что я был на леднике Белухи через Зайчихинский перевал — это быт, будни, деловая проза... Тяга к романтике даже здесь. Если эти же места назвать по-алтайски, непонятными словами, все будет иначе. Название определяет называемое.

Мягкие, женственные горы.

Купались днем под холодной струей быстрой реки. Путь все время по перевалам — вверх, часто пешком, с конем на поводу, и вниз — тоже пешком. С белка на белок, раз 5-6 за день.

Прилично только последнее название — Хайрузовский хребет. Еще подъем — наверху розовый от заката снег и внизу неожиданно, там, где ждешь долины и речки, — зелено-темный глаз озера Тальмень. Не верится, что это действительно озеро, нет для него основания — произвольная причуда природы. По цвету воды видно, что оно глубокое и холодное.

Когда дождь, — то плохо, а когда нет, то — модификация Шильонского Узника — жаль, что его нет: больше было бы богатства в расцветке гор и озера.

Образы сохраняются, — дождь и досада забудутся.

22 июля. Второй солнечный день — голубое и зеленое. Мудрое озеро, скрытое в горах, оно в философской атараксин, как индусский иог, созерцает себя, свой «пуп». Бескорыстность полная — оно не интересуется зрителями и их мнением, оно творит для себя.

В творениях природы есть ли какой-нибудь план, сознательность?

Поднимаемся на хребет и идем по склону горы, по узенькой тропинке; внизу холмы, речки, деревья. Еще перевал — налево амфитеатр из оскален-

ных зубов с белыми кусками снега, направо — утес, тоже с белками. Останавливаемся в долине, темнеет.

Вверху розовеет небо, синяя полоска гор, одно темно-зеленое дерево. Все это в рамке суровых, неприветливых стен. И розовая полоска поэтому неожиданна, трогательна, грустна.

Дождь не дал питья чаю. Пили в палатке.

23 июля. Медленно собираемся, едем дальше — по берегу речки Юрген-Су. Несколько опасных бродов, наконец, — Катунь. Попржему бело-серебряная, быстрая, но уже, чем у Монжерока. Величия и злобы почти нет. Останавливаемся у устья Кургана, впадающего в Катунь. Зелено-синее и белое. Вода в Кургане очень холодная. Долина Катунь прекрасна: белая змея вьется серебряными зигзагами среди темно-зеленых хвой; по сторонам в синеватой дымке мягкие склоны гор с белыми пятнами кое-где.

Два жутких брода — через Курган и через Катунь. Ноги мокры до колен, по радость, возбуждение, торжество: перебрали Катунь!

Едем по золотой долине — гнуснейшее болото с мириадами комаров. Видны отроги Белухи. Темнеет, долго едем по трясине, тщетно выбирая место для почлега. Наконец, на каком-то полумокром скате пристраиваем палатки.

24 июля. Эту фразу пишу на Геблеровском леднике Белухи.

Сегодня утром простились с нашей болотной стоянкой. Подъехали почти к подножью Белухи, верхом пересекли Катунь — мелкую, широкую, с бесчисленными отмелями, и пошли на ледник. Идем сначала по скользкой траве, потом по грязному снегу. Начинаются льды — бело-зеленые, холодные, гордые. Истоки Катунь — ее закулисная сторона, скрытая лаборатория. Глубокая, высокая, гулкая ледяная пещера, уходящая и вверх и вниз — отверстие зев ледяного дракона; на дне кипит темная струйка Катунь, кругом снег и тишина. Катунь проходит подо льдом, принимает в себя другие ручьи, стекающие с ледников, и,



простившись с Белухой последним поцелуем у ледяных столбов, устремляется вниз, к океану.

Идем еще дальше, к ледопадам. Они кажутся близкими и доступными. Но чем ближе мы к ним подходим, тем они становятся выше, грознее, неприступнее. Ползем по скользкому льду, прыгаем через трещины. Кругом лед и солнце — вечный, неподвижный, субстанциальный лед. Назад спускаемся при помощи веревки и топора. Вечером Белуха освещена луной. Кажется, что можно утолить жажду, смотря на нее.

25 и ю л я. Ходили на водопад Рассыпной. Сила, но нет той злобы, которая у Катунн. Белая пена, брызги, превращающиеся в пыль. Высота, говорят, 30 метров. Когда-нибудь при помощи его энергии электрифицируют подъемную дорогу на Белуху.

Погода прекрасная, и обе головы Белухи ясно видны. Между ними вечно-холодное, вечно-спокойное дожде ледника. Вечная тишина, холод, молчание.

В 2 часа едем дальше. Дождь, дождь почти непрерывный в течение всего дня. Мы мокры и измучены; все продрогли. И кажется, что так невеликодушно со стороны дождя добивать нас. Нельзя бить лежащего, а мы духовно лежим. Мы уже не смеемся над ним, не игнорируем его, — мы ждем только одного, тоскливо и упорно мечтаем об одном, — когда же кончится дождь. Мы покорны, мы лежим, мы побеждены, а дождь снова и снова идет, — и перспектива безрадостная, безнадежная. От вечного льда к вечному дождю. Что лучше: миль или дождь?

Делаем два перевала и останавливаемся на берегу Черной Берели.

Среди хвойных утесов бежит по камням темная вода. Место прекрасное, — особенно утром. На вершине второго перевала изумительное зрелище. По мере того как мы поднимаемся, появляются вершины желтых холмов; они постепенно становятся пирамидами. Благодаря тучам, дождю, закату освещение фантастическое. На небе желтые клубы, — и по одному из жел-

тых холмов, поднимаясь почти отвесно к небу, проходит радуга; сбоку намечается другая.

Египет, Аравия или Сирия — что-то причудливое и незабываемое. Странно желтые пирамиды, сетка дождя, радуга, странно свивающиеся оранжевые клубы нависшего неба.

А сзади — цепь Катунских белков; спокойные, трезвые, дневные еще, не затронутые фантастикой Востока. Север и Восток, сила и тайна, величие и мистика...

Близится ночь, спускаемся в долину Черной Берели.

Дождь забудется — пирамиды останутся...

26 и ю л я. Еще один перевал — «Перелом», и с высоты его — вся цепь Катунских белков с гордой величавой Белухой. Трудно ее характеризовать. Нет мощи Кавказа, но какой-то особый налет юности, девственности, свежести.

Две головы, и между ними так называемое «седло». Четыре ледника. Белуха воспринимается как обнаженная гора, но в этой обнаженности нет бесстыдства — она безгрешна и целомудренна. Белуха прекрасна в своей наготы, и эта нагота подчеркнутая. Изредка туман окутывает ее ледяные, белые вершины. Обнаженная грудь Белухи — и ледяные потоки катятся с этой груди, омывая ее и охраняя от упорных ног человека. И кажется, что победивший разум человека все же мельче большого Разума Умолкнувшей и Обнаженной Горы.

Внизу озеро Арасан, Рахманинские Ключи. Неужели позади самое трудное и страшное? Пройден тот жуткий дерегон, о котором я писал в Уймоне. «Все мгновенно, все пройдет, что пройдет, то будет мило». Жизнь записывает свой дневник в моем сознании. Будущее будет, время идет — и это служит утешением в самые тяжелые минуты. Но ведь прошлое было — можно ли это вычеркнуть? «Прошло!» — жалкая отговорка! «Было» — вот огненное слово, которое нельзя залить водой времени.

Но все же было самое трудное — мы в относительно культурных условиях

Рахманинских Ключей обедаем, ужинаем. Ложки, тарелки, хороший хлеб...

Круглая долина на озере Арасан, несколько барачков для жилья и будки с деревянными срубам, в которых протекает горячая, до 40° по Цельсию, чудотворная вода: ревматизм, говорят, вылечивает изумительно. Какое будущее ожидает этот маленький уютный курорт Казахстана «Горячие Ключи», как его называют алтайцы? Он растет с каждым годом, больные стремятся к нему со всех сторон, несмотря на ужасную дорогу, — через Катоп-Карагай и Берель (со стороны противоположной той, с которой подехали мы).

Людей привозят привязанными к седлам, со скрюченными ногами — через месяц они начинают ходить.

Какие еще тайны хранит Сибирь?

Озеро похоже на Тальмень, но меньше и легкомысленней. Кругом горы. Купаемся в теплых ваннах.

Вечером снова дождь. Лежать, даже под дождем, в полунепромокаемой палатке лучше, чем ехать. Самое досадное и скверное, что нужно что-то делать: раскладывать костер, сушиться и т. д. В палатке же ничего не нужно делать — лежи и мокси. Человек вообще животное пассивное. Лень и нелюбовь к делу — это *differentia specifica* человека. И поэтому дождь без оргвыводов не страшен.

27 и юля. Сегодня месяц, как мы выехали из Москвы.

Едем верхом на водопад, который тоже называется «Рассыпным». Головокружительный спуск, — я не дошел, вернулся к лошадям, потом снова, уже по «тропинке» (вдвойне в кавычках: не тропинка, а нечто менее непроходимое, чем обрыв) спустился к водопаду.

Несколько ступеней, по которым падает Арасан. Самая высокая — в мрачном ущелье, кругом декоративные скалы с желтым мохом. Черные объята принимают белую пену. С другой стороны в узкой щели между зелено-серых склонов гор — голубовато-белая лента Белой Берели. Она поднимается кверху и видна далеко. Сочетание нежного и мрачного. Омытые голые черные камни, суровые хвои, желто-

бархатный мох и лирика Белой Берели, ее задумчивость, тишина...

Вечером звездное небо над тихим озером.

28 и юля. Отдыхаем, купаемся в горячей воде. Читаю Дж. Лондона. Пережив в миниатюре экзотику, интересно читать об ее напряженнейшем *maximum'e*. «И мы пахали» — уголок пашни.

Синие горы кругом начинают утомлять. Над горами за озером на закате легкий розоватый отблеск. Озеро неподвижно. Швейцария. Вечер.

29 и юля. Опять раннее вставанье, в 4 ч. 30 мин., опять свертыванье. Болото, камни, грязь, крутизна. Бедные курортные больные! Три перевала до Берели. Последний взгляд на Белуху с высоты Арасанского перевала. Две ее головы попрежнему высоко возвышаются над гребнями гор, попрежнему белые и спокойные.

Но в дымке жаркого утра гора кажется не ледяной, юной, гордой, а сонной, как бы усталой, заколдованной красавицей. Она чуть-чуть поблекла среди разнежившихся холмов, окутанная сонным небом.

Спускаемся вниз. Южный Алтай оправдывает свое название: жара и нега, на горах мало деревьев; зелень, бархатная и пежная, сливается с голубым туманом неба. Юг — жара, истома.

Кочевой киргизский аул. Киргизы-казаки на одну ступень выше алтайцев. Как дети, смотрят в фотографический аппарат. Они живее, любопытнее алтайцев.

С любопытства начинается человек. Как примирить это: человек — животное пассивное и любопытное?

С вершины третьего перевала видим далеко внизу, в широкой долине, Берель — сначала речку, потом деревню. По бокам темные горы, выше и дальше — величавый хребет с белками, Нарымский хребет или Большой Алтай, уходящий в Монголию. Спускаемся ниже, к самой реке. Берель не Катунь. Грация, изящество, веселье. Дорога идет по самому берегу, кругом не только хвоя, но лиственные деревья. В час дня приехали в Берель. Верхний путь окончен.

После обеда на телегах едем в Урыль. Опять тряска, опять пыль. Время неподвижно. Ложь, что оно «идет». Обман при помощи метафоры.

Перезезжаем через Бухтарму. Новый оттенок воды — нежно-зеленый, голубовато-зеленый. С Берелью роднит ласковость. Нет мрачной злобы Катуня, злобы, ключ к которой в мрачной пещере ледников, откуда берет свое начало эта Белая и Злая Река, священная река Алтая. Через эту пещеру делается попятен характер Катуня. И ее вялость около Уймаона или Бийска — лишь лицемерная маска, лжеоблик, который подчеркивает подлинную душу сдавленной горами, вечно раздраженной, вечно недовольной и сердитой Катуня.

Берель и Бухтарма — оптимистичны и жизнерадостны. Если фактически они тоже вытекают из пещер, то это является для них случайным, несущественным, на их характере это не отражается.

Катунь коварна — Бухтарма и Берель открыты и рыцарски благородны. Они могут вспылить, могут быть жестоки, беспощадны, бешены, но им все же чужда злодущая, седая, бессильная злоба колдуньи-Катуня.

Вечером приехали в Урыль, ночевали в крестьянской избе.

30 июля. Снова едем на коробах, снова цветные холмы, похожие на Коктебель, но их объятия становятся все шире и шире, они расступаются, уходят в стороны — и в прошлое. В 6 часов приехали в Катон-Карагай. Миф стал реальностью. Будущее сделалось настоящим.

Закат, светло-лиловые, розовые горы.

31 июля. День в Катоне. Хороши холмы, покрытые дымкой. Здесь можно со вкусом пожить некоторое время, если бы иметь культурные условия. Купил медвежью шкуру и послал в Москву. Приятно приобретать — дух накопления. К медвежьему меху нехватает халата и туфель.

Нежный и тихий закат.

1 августа. На тряских и неудобных телегах выехали на Согорную, к Бухтарме, где должны сесть на плоты. 20 клм. пыли и тряски убедили,

быть может, временно, самых строптивых и антиплотских в преимуществе воды перед пылью. Небольшая пауза в устье Согорной. Обедаем и ждем прибытия наших бронепосцев. Есть! Плоты идут, их как-то и где-то ловят — и перед нами «славный корабль», хотя и не бочка. Плот листовяпый (из листовенницы) сидит уже без нас глубоко. Состоит из трех сплотов, связанных лыком и прутьями. Ширина метра 4, длина всего плота — около 10. По бокам узкие настилы из досок, на которых пока сухо. Размышлять поздно, да и не стоит. Храбро пускаемся в путь. Ноги по щиколотку в воде.

Бухтарма попрежнему зеленая, гордая, своеобразная. Камни, пороги, утесы. Часто плот насккивает на камень и проезжает по нему — тогда все трещит, сгибается, и некоторые бревна отскакивают, лыки рвутся. Плотовщики, ссорясь и переругиваясь, как-то ухитряются все вновь поставить на свое место, починить и связать.

Своеобразная модификация тряски по дорожным камням.

На ночлег пристали к берегу. Для этого, постепенно подведя плот, плотовщики бросают на берег канат, потом выскакивают сами и с этим канатом бегут, сломя голову, за плотом, спотыкаясь, падая, прыгая по кустам и кочкам, пока не удастся уцепиться за какое-нибудь дерево и обвязать канат вокруг него.

Мы тоже выскакиваем и тоже падаем — в этом наша помощь.

Спим не в палатке, а на палатке, под звездами.

2 августа. В густой траве необыкновенно сыр, роса «очи выедает» — холодно и туманно. Встаем в 5, дрожим и зябнем. Говорят о юге, о тепле, о том, что есть Крым, Сочи, Геленджик. Снова погружаемся на плот. Сегодня все воспринимается радостнее и ярче. Человек — животное привыкающее. И, преодолев неудобство мелочей, начинаем чувствовать своеобразную прелесть путешествия и красоту берегов.

На рассвете Бухтарма не зеленая, а серая и вялая. Восходит солнце, становится теплее. Зеленый блеск возвра-

щается к реке. В углублениях между легких волн цвет глубже, холоднее — странное соединение темно-желтого и блестяще-зеленого. Кругом утесы, леса, изредка деревни. Удручают жара и неподвижность. Сидим босиком на вещах. Не очень-то побегаешь по скользким бревнам, особенно, когда вода местами чуть не до колен. Мы распределены равномерно на всех трех сплотах. Стоит кому-нибудь перейти с своего на чужой — и гостеприимный сплотов к ужасу хозяев и гостей начинает погружаться еще больше. От воды избавлены лишь узкие деревянные настилы, на которых мы с вещами, да земляная насыпь, на которой зажигаем костер и варим суп и чай. Изредка купаемся. Вода теплая, приятная.

Алтай далеко. Холмы почти сплошь мягкие, женственные, цветные.

Сами по себе факты природы — лишь голое констатирование самобытия. Через человека только они наполняются утверждаемым содержанием, поэтому и утверждают они человеческое.

Грандиозная проекция человека. Человек + факт = природа.

И, описывая природу, нужно пользоваться ультрачеловеческими категориями, рафинированными человеческими понятиями.

Но отсюда вытекает относительность природы (не впечатлений, а именно самой природы, так как сама природа есть уже синтез факта и человека).

В природе есть и общечеловеческое, и национальное, и классовое, и индивидуальное.

Тайну утверждения гор надо искать именно здесь. Они утверждают человека, даже если чужды и враждебны ему. Без человека нет утверждения.

Во второй половине дня зелено-желтые пятна реки чередуются с голубыми. Ближится вечер. Ночь, предпоследняя на полотке.

3 августа. Бухтарма растекается, становится шире, спокойнее, теплее, безличнее. Она теряет индивидуальность и становится текущей водой. Кругом холмы и холмы, цветные и неж-

ные. К вечеру — «озерная гладь» — тишина, цветная вода от заходящего солнца. Иллюзия Коктебеля, но все же нет его роскоши. С точки зрения живописи — дешевая олеография.

Выплывает в закатной цветной тишине Крепость (так называют деревню Усть-Бухтарминскую). И так же тихо, как в сказке, уплывает в даль. Сказка о царе Салтане.

Последняя ночь под звездами. Жаль.

4 августа. Выплываем в Иртыш. На скале будка, телеграфный столб и маленький семафор. В этой простоте хочется видеть знаменательное. Разницы с Бухтармой нет. Та же спокойная, безличная вода, бархатные лилово-рыжие, розово-зелено-синие холмы. Изредка темные тени на скалах. Но дальше Иртыш приобретает лицо — угрюмое, суровое. Нет цветных далей Бухтармы, простора волнистого горизонта. Кругом сдвигаются почти голые скалы и утесы, покрытые желто-рыжим мхом. Скалы обступают Иртыш тесными рядами, и он плывет одиноко и сумрачно — старый скептик.

Кое-где открывается пологий скат, покрытый пестрым ковром, но тона уже мрачные и нерадостные.

К Иртышу идут сумрачное небо, дождь, сырость. Деревень почти нет, изредка заимки. «Мрачный берег...»

Голые, жесткие, жестокие скалы, потускневшие цветные холмы — тоже земля в своей основе, без человека; но не до человека, как Алтай, а после человека, земля, пережившая своего обитателя, опустошенная, состарившаяся; такой будет наша планета в период конца мира. Люди и все живое погибли. Солнце, смех, радость — все это в далеком прошлом. Осталось угрюмое, одинокое, безнадежное умирание — старые зубы. Цветные одежды утрачены навсегда, земля потеряла все близкое и дорогое и осталась горькой вдвойне, одинокой и старой.

Там было созидание мира, здесь конец мира.

В этом крае, на таких берегах должны вырастать суровые и гордые люди, презирающие все человеческое.

На Иртыше не может быть смеха, детей и детских игр.

Ночь. Плыдем, садимся на мель, с трудом общими усилиями сталкиваем плот — и снова попадаем на мель. Так три раза. Наконец, плывем дальше. Изредка огни баканов: по Иртышу уже ходят пароходы. Дождь, холодно, хочется спать. Причалили где-то у скал, тащимся в какую-то контору и там спим на лавках, столах и полу. Но это уже привычно, буднично, просто.

5 августа. Усть-Каменогорск — далекий город на берегу Иртыша. Бродим по пыльным улицам. Сколько захолустий в мире. Кто знает, кто интересуется тем, что где-то есть какой-то Усть-Каменогорск! А люди живут, вернее пародируют жизнь.

Вечер, закат в холмах. Ночь проводим в клубе железной дороги на Риддере.

6 августа. Утром сели на поезд — игрушечная, узкоколейная дорога. Кругом рыже-красные холмы. Крушение, — свернулась рельса. Говорят, что когда крушения не бывает, то это — странный каприз судьбы. Вопрос о расписании — бестактен, неприличен, наивен.

Ждем и будем ждать неопределенное время. Из Риддера обещали подать платформы, пока что у станционного сторожа пьем чай с вареньем.

В 5 часов действительно подали платформы из Риддера и нас домчали в 50 минут. Оставили где-то вещи и начали хождение по «кругам». Вернулись в два часа ночи, побывав на обогатительной фабрике и в шахтах.

7 августа. Утром были еще на двух заводах — свинцовом и электролитном.

Трудно подвести итог впечатлениям Риддера. Нерв поселка — под землей, и туда, вглубь земли, устремлено, кажется, внимание людей. Человек здесь дан в своей первородной сущности, в своем естественнейшем качестве, как борец с природой. И потому, несмотря на кино и прочее, облик Риддера деловит и суров. Человек Риддера должен быть голым.

Но он все же преодолевает свою наготу разумом. Человек торжествует. Вчера ночью мы спустились в шахты.

Восьмой горизонт, 85 метров глубины. 35 секунд спуска — и мгновенно охватывают холод и сырость.

Кругом течет, все одеты в брезентовые костюмы. Но горит электричество, и по рельсам двигаются вагонетки с рудой. С мучительным напряжением вливается бурильная машина, управляемая рабочим, в толщу руды. Острие вертится силой сжатого воздуха, но надавливает его и управляет им человек. В скважины положат динамит и руду взорвут.

Одни бурят, другие взрывают, третьи вывозят руду, четвертые крепят забои. Землю побеждают системой, планом, расчетом.

Человек контролирует стихию. Здесь больше чем где бы то ни было чувствуется отвлеченный разум «Человека вообще». Из шахт руда идет на обогатительную фабрику, где отделяют ненужные породы и разлучают свинец с цинком. Потом свинцовый завод, на котором из свинцового концентрата делают чистый свинец и даже металл «доре» — сплав золота и серебра. Потоками жидкого огня выливается из кранов шлак и остывает в чугунных чашах — «красный цветок»; трудно оторваться от его изумительной, огненно-красной красоты. На электролитном заводе пытаются новым способом, при помощи электричества, получать чистый цинк.

Во всем поражают сложность, систематичность, продуманность. Сотни процессов — и все учтено. Уравнение со многими неизвестными блестяще решено.

Человек пользуется водой — промывание; землей — разные из земли добываемые химические вещества; огнем — плавка; воздухом — окисление, сжатый воздух, приводящий в действие бурильные машины.

Вот это разум: все четыре стихии — огонь, вода, воздух и сама земля — помогают человеку победить землю!

*Divide et imperia!* (Раздели и повелевай!) Например, цинк, который был с таким трудом отделен от свинца на обогатительной, на свинцовом заводе вновь соединяется с ним, чтобы из свинца же похитить серебро. После

ряда сложных процедур, смешанный со свинцом в «огненной купели», цинк срастается с долями свинца, насыщенными серебром. И уже более ненужный, свое дело сделавший, цинк снова удаляется: он плавится скорее, чем свинец и серебро, и его раскаленные пары уходят, остается так называемый «богатый» свинец. И для своей последней хитрости человек пользуется воздухом: свинец окисляется легче, чем серебро, и капает на землю из усовершенствованных английских ванн.

В ваннах аккуратными плитками лежит «доре».

Знание, расчет, сила,—все применено коллективным разумом. Из недр земли взятая руда стала свинцом.

Самое сильное все же — жуткий полумрак холодных и сырых шахт, восточные и западные коридоры, главный штрек, забои, «шоры», неясные, почти всегда согнутые брезентовые фигуры, давящий навес руды и упорные руки человека, высоко над головой врезывающего бурильное жало в эту руду.

Вряд ли отдельный рабочий, выполняющая будни труда, сознает свое величие и дерзость. Героический подвиг подведен под тарифную сетку, регламентирован, распределен по часам. Шесть часов в сутки человек бывает Человеком с большой буквы и не замечает этого.

Он стал фамильярен с землей, обращается с ней за панибрата, не уважает и не боится ее.

Человек поднял от земли передние лапы, поднял руки, и в этих руках оказалось бурильное сверло, тупо и гениально дробящее грудь земли.

В 3 часа уехали назад. Благополучно прибыли в Каменогорск и прекрасно спали в нашем клубе.

За эти недели так привыкли ко всему, что совершенно спокойно можем спать где и как угодно. Лишь бы иметь уголок, чтобы расстелить свое одеяло. «Много ли человеку земли нужно?»

8 августа. Сегодня садимся на пароход и едем в Семипалатинск. «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...»

Притупилась способность воспринимать, переживать и переводить в образы. Окружающее блекнет. Последнее напряжение сил было в Риддере<sup>1)</sup>.

В 3 часа пароход отходит. Умыванье, бритье и проч. Потом обед. Культура, культура, ты победила!

Иртыш уже не кажется мрачным, горы ласковые и цветные. Вечером в салоне I класса ужинаем и слушаем музыку. Нет никакого желания смотреть на Иртыш, хотя ночью он должен быть особенно интересен. Наоборот, плотнее хочется задвинуть занавески, отгородиться от «интересного» и наслаждаться удобным, привычным, мягким. Довольно экзотики — давайте комфорт!

Сплю раздевшись, на мягком диване, в отдельной каюте. Сначала было неловко и неудобно с непривычки. Хотелось снять одеяло, и, мирно положив его на полу, около дивана, там и спать — сухо, тепло, свободно.

9 августа. Семипалатинск. Смотрели музей, но без всякого аппетита, больше по обязанности.

Потрясающая новость! Из-за какой-то будто бы регулярной чистки котлов или чего-то другого, происходящего каждый месяц, парохода на Омск завтра не будет. Нужно или ехать отсюда железной дорогой, или ждать до 13-го. Досадно и обидно. Жалко из-за трех дней лишаться пароходного отдыха, тем более, что вряд ли мы выиграем что-нибудь во времени, если героически поедем на Новосибирск (без плацкарт!). Решили ждать. Снова, значит, валяться в школе. Ну, что ж!

Организовали ночлег прекрасно. Условия те же: пол и одеяло.

10 августа. Ездили в Джана-Семей, Новый Семипалатинск — город киргизов-казаков. Смотрели мечеть. Все это производит впечатление разоблаченного Востока. Наша ли усталая фантазия тому виной или действительность, но мы видели как бы сцену со сцены, а не из зрительного зала. Бенгальский огонь романтики не горит; не ориентальную экзотику, а

<sup>1)</sup> 31 августа на Риддере произошел пожар, во время которого сгорела обогатительная фабрика и сильно пострадали шахты.

скудную, пыльную, жалкую жизнь на-шли мы в Джана-Семей. Эффектны лишь двугорбые верблюды, не созерцаемые благоговейно, как в зоопарке, а использованные в качестве рабочей силы, запряженные вместо лошадей в телеги.

Когда-то, лет триста назад, здесь были семь таможенных палат — граница с Китаем,—отсюда название города. Еще раньше здесь жили калмыки, их оттеснили киргизы, киргизов — русские. Теперь снова восстанавливается национальное право киргизов, и они получают перевес над русскими. Быть может, придет время, когда вновь вернуться калмыки?

Семипалатинск издали красивее и интереснее, чем вблизи. Снаружи он хорош, изнутри плох. Таков же и Ал-лаш (старое название Джана-Семей). Судьба многих людей. Впрочем, бывает и наоборот. Достоинство города определяется его домами и его движением. И то и другое в Семипалатинске ниже критики.

11 августа. Ездили на «Стадион» — остров на Иртыше, где отдыхают по праздникам семипалатинцы — русские и казаки. Любопытно лишь одно: семипалатинцы берут с собой на Стадион детей, детские колясочки, гамаки, ковры, примусы, самовары и проч., и проч. Манера сверх-немецкая.

12 августа. Смотрели дом, где жил Достоевский. Убогий, двухэтажный, покрашенный в белую краску, несмотря на это угрюмый, «серый» в кавычках; ни одного украшения, никакой даже самой скромной претензии на лишнее; бревна, окна с закрытыми ставнями, крыша; на улице даже двери нет — вход со двора; и, повидимому, пропорции линий таковы, что исключается всякая мысль о радости и дне; все это сгущает впечатления.

Если человеку дать только необходимое, он превратится в животное, — говорил король Лир. Нельзя ли перефразировать: если дому дать только необходимое, то он превратится в гроб. Ведь действительно, гроб может быть эмблемой последнего ограничения, предела, идеального *minimum'a*. Только необходимое.

Гроб это и есть дом, но для того, кто уже никогда не захочет лишнего. Жизнь есть излишек, смерть — нивелирование лишнего, сведение его к голу нулю необходимости.

Такое же впечатление производит мрачная угловая комната, где жил Достоевский. Низкие потолки, неуютные пропорции стен, какая-то внутренняя обнаженность, гнетущая и упорная тоска.

Есть ли скрытая и странная связь — диалектика жизни — между этой белой и низкой комнатой и давящими потолками петербургских мансард — «гробом» Раскольниковца.

Бедный Достоевский! После Мертвого Дома — два года жизни в мертвом городе; и не был ли «дом», где он жил, тоже мертвым домом или домом для мертвых?

13 августа. Пароход опоздал на 17 часов — вместо 4 утра ушел в 9 вечера. После тоскливого дня приятный вечер и мягкая ночь. Ужин, электричество, постель.

14 августа. Широкий, многоводный Иртыш, но он не привлекает. Долой интересное! Комфорт приятен. Но в итоге — можно ли за чечевичную похлебку продать свое первородство? И не это ли делают многие? Материальная удовлетворенность часто ведет к удовлетворенности духовной. Нуждаться благороднее, чем быть обеспеченным. Довольство делает человека самодовольным. Чертковщина, — она ужасна, если знаменует век. Человек и янки.

Семиарск — глухая казакская деревня; казаки, казаки, казаки.

15 августа. Павлодар. Тяжело жить в русском провинциальном городе — лучше в деревне.

Изумительный закат, небо отражается в воде; все цвета — от красного через оранжевый, желтый, зелено-белый до серого. Но нужно напрягать воображение, чтобы почувствовать это. Желудок безнадежно полон, и лишь рассудок говорит, что это интересно, красиво и проч., чувство же просится в каюту, равнодушно позевывая. Предельная сытость!

16 августа. Спокойный, тихий, прозрачный Иртыш.

День пустой и легкий, почему-то быстро заходит солнце. Делать нечего, писать не о чем.

17 августа. Приехали в Омск, и еще один день на положении беспризорных. Ночуем в каком-то техникуме, днем бродим по городу. Аромата Сибири нет — в пас или в Омске?

Но музей смотрели со вкусом. Какой богатый край — растения, звери, минералы, природа — Великая Сибирь. Интересен отдел гражданской войны. Белогвардейские плакаты: например, Ленин и Троцкий в коронах, с хитрыми и жадными лицам — «комиссародержавцы»; «кровавая рука» большевиков и т. п. Наполеоновские приказы белых генералов, газеты, объявления, портрет «правителя Омского».

На улицах тот же, что и в Новосибирске, «Акорт» (Акционерное общество розничной торговли). И на фоне неизменного названия статичного магазина особенно отчетливо видно, как изменились, постарели, потускнели мы.

Отрицай после этого время! Только мерить его нужно не движением стрелки по кругу или солнца по небу, а своим «я». Психологическое время!

Как привыкли мы к беспризорности! Как просто, быстро, естественно пол становится домом. Вот шедевр строительства!

18 августа. Все кончается в мире, многое повторяется. Снова вагонная

тряска, редкие станции, вокзалы, города. Через три дня — Москва.

Фраза: «Как красиво!» меня возмущает. Долой красивое!

19 августа. Начинается второй день, и скоро начнется Европа. Подъезжаем к Свердловску. Мутит от слова «красиво». Поздно вечером пьем чай в Перми.

20 августа. Приближаемся к Вятке. Все-таки родной русский край — «бедные селенья», «скудная природа», «смирренная нагота» — правда или миф? Было правдой, стало мифом. Нужен ли вообще миф? «Человек — вот правда» — Горький. «Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман» — Пушкин. Освежают и радуют после экзотики Алтая тишина и простор русских полей и перелесков — тихая и простая, скромная лирика природы.

21 августа. Последний день, последняя записка. Миновали Ярославль и Ростов, скоро начнется дачная часть пути; но она теряет свою будничную пошловатость и выглядит по другому *sub specie* Сибири и Азии, овевая их романтикой — одно из звеньев Великого, «дальнего пути»... Сергиев Посад, Хотьково... Несколько километров — последняя соломинка Алтая. Пушкино, Мытищи, Лосиноостровское... «Москва, Москва»...

Лето 29 года.



# За рубежом

1. **OUTSIDER**—К вопросу об англо-американском соперничестве. 2. **С. ГАЛЬПЕРИН**—По всему свету. 3. **Л. НИКУЛИН**—Лето в Испании.

## 1. К ВОПРОСУ ОБ АНГЛО-АМЕРИКАНСКОМ СОПЕРНИЧЕСТВЕ

### OUTSIDER

При обсуждении проблемы англо-американского морского соперничества обычно принято считать, что эта проблема упирается в вопрос о соотношении флотов обеих стран. Англо-американские разногласия и их острота регистрируются поэтому в зависимости от положения переговоров о количестве судов различных категорий, которые будет иметь право строить каждая из спорящих сторон. Равным образом считается почти что установленным факт неудачи так называемой тройственной морской конференции в 1927 г. в Женеве из-за того, что Англия и САСШ не сумели договориться по вопросу о соотношении крейсерских флотов. Наконец, последняя поездка Макдональда в Америку расценивалась с точки зрения того, удастся или не удастся английскому премьер-министру договориться с президентом Гувером по вопросу о соотношении флотов. Согласие Макдональда на принятие принципа паритета между английским и американским флотами учитывалось, с одной стороны, как капитуляция Англии (что несомненно верно), а с другой—как признак достигнутого между Англией и Соединенными Штатами соглашения в основном вопросе их морского соперничества (что неверно).

Мы не станем в настоящей статье рассматривать вопрос о морском со-

перничестве между Англией и Соединенными Штатами во всей его полноте. Наша задача заключается в изложении истории и нынешнего положения одной лишь части этой проблемы и притом части, о которой сравнительно немного говорят, но которая играет несомненно чрезвычайно большую роль в деле англо-американских разногласий. Мы говорим о так называемой проблеме «свободы морей».

Можно утверждать, что эта проблема в концентрированном виде отражает не только существо англо-американской борьбы за гегемонию на море, но и существо борьбы Соединенных Штатов за решающую роль в мировой политике.

Вопрос о свободе морей имеет весьма длинную историю. Формально-юридическая часть этой истории такова: основным актом в истории вопроса является парижская декларация 1856 г., разрешившая нейтральным судам во время войны перевозить всякие товары во всякий порт (в том числе и в порт одной из воюющих держав), за исключением тех портов, которые находятся под действительной блокадой противника, т. е. охраняются его флотом. До декларации 1856 года по существу не было никаких ограничений прав воюющих и не было никаких обязательств считаться с правами нейтральной торговли. После 1856 года были

кое-какие нарушения установленного декларацией правила. Так, в 1885 году Франция захватила китайские транспортные суда с рисом. Царская Россия в 1904 году во время войны с Японией объявила контрабандой всякое продовольствие, идущее для Японии. Однако, в обоих случаях и Франции и России пришлось уступить в виду энергичных протестов со стороны Англии и Америки. Во время мировой войны парижская декларация 1856 года была фактически отменена. В 1915 году спор о правах нейтральной торговли между Англией и Соединенными Штатами достиг чрезвычайно большой остроты и едва не сделался поводом для англо-американского столкновения. В июле 1916 года государства Антанты объявили контрабандой всякие товары, которые могли бы помочь врагу в ведении войны, и вследствие этого заявили о своем праве захвата любого нейтрального судна, везущего эти товары. Современная техника дошла до таких пределов, что любое сырье может быть использовано для военных целей, а поэтому почти нет такого товара (включая продовольствие), который не мог быть помощью «врагу в ведении войны». Международная обстановка второй половины империалистической войны, быстро толкавшая Соединенные Штаты к выступлению на стороне союзников, привела к отказу от заострения англо-американского спора о правах нейтральной торговли. Тем не менее Америка отнюдь не собиралась отказываться от защиты своего тезиса о свободе морей. В 1917 году президент Вильсон в своем обращении к конгрессу заявил: «Морские пути должны быть свободны де-юре и де-факто. Свобода морей—условие, без которого невозможны мир, равенство и сотрудничество народов. Нет сомнений, что необходим частичный пересмотр до сих пор установленных правил международных отношений для того, чтобы морские пути действительно стали свободными и доступны при всех обстоятельствах для использования человечеством».

В послании конгрессу от 8 января 1918 года президент Вильсон форму-

лировал свои знаменитые 14 пунктов, которые легли в основу предлагаемой им программы мира. В пункте 2-м этой программы выставлено требование о свободе морей. Под давлением Англии именно этот пункт был исключен из общесоюзнических условий мира, что опять-таки ни в какой мере не означало отказа САСШ от своей точки зрения.

Англо-американские разногласия, выявившиеся после мировой войны и особенно обострившиеся в период пребывания у власти в Англии консервативного кабинета, снова поставили в порядок дня вопрос о свободе морей. Здесь уместно будет подчеркнуть, что морская конференция 1927 года была сорвана отнюдь не вследствие разногласия между Англией и Соединенными Штатами из-за нескольких крейсеров, а вследствие категорического отказа Англии обсуждать проблему свободы морей. Эта проблема с необычайной для истории англо-американских отношений резкостью была поднята в момент вступления в управление президента Гувера в марте этого года. Председатель иностранной комиссии американского сената Бора выступил со статьей, в которой вопрос о свободе морей был заострен до последней крайности. Во время пребывания Макдональда в САСШ вопрос о свободе морей обсуждался печатью обеих стран сравнительно мало. Но нет никакого сомнения в том, что он служил темой беседований между Гувером и Макдональдом. Наконец, 11 ноября, в день годовщины перемирия после империалистической войны, Гувер произнес речь, в которой, коснувшись вопроса о свободе морей, «неофициально» настаивал на применении принципа свободного плавания для пароходов, перевозящих продовольствие в военное время, а также госпитальных судов. То обстоятельство, что Гувер выступил с требованием признания принципа свободы морей после своего свидания с Макдональдом в то время, как Макдональд в своих речах вообще не касался этой темы, служит косвенным доказательством отсутствия соглашения между ними по этому важнейшему вопросу.

21 января 1980 года в Лондоне открывается конференция пяти держав, посвященная вопросам морского разоружения. Никто не сомневается в том, что одним из пунктов порядка дня этой конференции явится вопрос о свободе морей.

В чем же заключается существо этой проблемы?

В упомянутой выше статье сенатор Бора так формулирует свое представление о свободе морей. «Это представление,—говорит он,—подразумевает право нейтральных стран производить свою торговлю в военное время так же свободно, как и во время мира, исключая случаи, когда эти страны доставляют военное снаряжение или стремятся прорвать блокаду. Блокада должна быть достаточно сильной, чтобы воспрепятствовать проходу судов, а не только блокадой па бумаге. Что же касается законной торговли, то нейтральным державам не должно чинить никаких препятствий».

Далее Бора продолжает: «Воюющим государствам должен быть предоставлен минимум, а нейтральным—максимум прав. Идея об объявлении контрабандой того, что пожелает объявить контрабандой держава, господствующая на море, находится в полном противоречии с представлением о свободе морей. Право законной торговли вывозить все, что угодно, кроме военного снаряжения, есть единственное определение свободы морей, которое останется навсегда удовлетворительным».

Цитированные места из статьи сенатора Бора дают полное представление об американской концепции понятия «свободы морей». Требование Соединенных Штатов направлено целиком и полностью против английского понятия морской блокады, являвшейся до последнего времени историческим оружием британского империализма. При помощи блокады Англия воздействовала непосредственно на воюющую с ней страну и одновременно перерезывала пути ее морской торговли. Во время войны блокада охватывала не только воюющие, но и нейтральные страны, при чем эта блокада далеко не везде была эффективной, т. е. действительным окружением того или иного

порта противника при помощи цепи крейсерских судов. В большинстве случаев это была блокада декларативная. Тот или иной порт, а иногда целое побережье объявлялись состоящими под блокадой, и это объявление устанавливало право воюющей стороны задерживать и захватить любое нейтральное судно. Само собой разумеется, что подобное расширенное толкование понятия и объема блокады давало и дает в руки Англии (как сильнейшей морской державы) оружие, с силой которого едва ли кто может соперничать. Именно против применения этого оружия и выступают в данном случае САСШ. Не даром сенатор Бора заявляет, что «каждый раз, когда Англия это было нужно, ее морская мощь сводила на-нет права нейтральных и силы воюющих». Он же цитирует слова знаменитого Кука, который в свое время сказал: «Господствуя на море, английский король может своих соседей и все государства взять под стражу всякий раз, когда это ему вздумается». Соединенные Штаты не хотят мириться с теорией и практикой английского господства на море. Не хотят не потому, что эта концепция, как таковая, угрожает американскому благополучию, и не потому, что Соединенные Штаты боятся блокады английским флотом американских берегов. Дело не в этом. Вопрос о свободе морей для американской политики есть прежде всего вопрос политический, вопрос о решающей роли САСШ в международных отношениях. Если за Америкой будет признано право беспрепятственно снабжать сырьем и продовольствием любую из воюющих стран в любом из конфликтов, последствия подобного акта самоочевидны. Прежде всего каждая из воюющих стран будет как до, так и в момент конфликта стремиться заручиться расположением Америки, дабы получать от нее необходимую во время войны помощь сырьем и продовольствием. Далее можно быть уверенным в том, что страна или коалиция государств, снабжаемых во время военного конфликта Америкой, имеют больше своих противников шансов на победу. Оба эти обстоятельства неизмеримо по-

вышают политическую роль Северо-Американских Соединенных Штатов. Что касается Англии, то принятие ею американского толкования свободы морей означало бы безоговорочную капитуляцию и сдачу своих основных позиций как страны, господствующей на море. Принимая это американское требование, Англия заранее признавала бы за Соединенными Штатами решающую роль в любом своем конфликте с третьей стороной. Нет нужды добавлять, что подобное положение естественно способствовало бы ослаблению связи между английской метрополией, ее доминионами и колониями и неизмеримо содействовало бы нарастанию темпа центробежных сил Британской империи.

Сказанного достаточно для того, чтобы видеть, что проблема свободы морей является в англо-американских разногласиях столь же важной, как и вопрос о паритете морских флотов. Выше мы говорили, что женевская морская конференция 1927 года потерпела крах именно вследствие конфликта по этому вопросу. Бора говорит совершенно определенно, что «не различие между 6- и 8-дюймовыми орудиями было тем камнем преткновения, который постоянно смущал умы на заседаниях в Женеве и не давал им притти к соглашению. Этим камнем преткновения был вопрос о том, какими методами охранять морскую торговлю». Вопрос о свободе морей, взорвавший конференцию 1927 года, легко может сыграть подобную же роль на лондонской конференции в январе 1930 года. Не даром немедленно после выступления президента Гувера 11 ноября «Таймс» выражал надежду, что дискуссия о правах воюющих сторон во время войны не отвлечет внимания правительств от непосредственной задачи — добиться успешного хода конференции пяти морских держав. «Соглашение пяти морских держав, — пишет газета, — которое четко ограничит размеры флотов, не должно подвергаться опасности вследствие каких-нибудь полемических дискуссий по поводу «особых вопросов». То, что для «Таймс» является «полемиической дискуссией» по поводу «особого вопроса», для американской

политики играет совсем иную роль. Для САСШ это — крупнейший политический вопрос, и вряд ли можно думать, что американские делегаты откажутся от подобной дискуссии.

Следует отметить, что английская печать всех направлений несомненно умышленно не приняла даже газетной дискуссии по вопросу о свободе морей. Речь президента Гувера нашла весьма слабый отклик в английских газетах. Так, правительственная «Дейли Геральд» ограничилась кратким изложением истории вопроса и констатацией того, что предложение американского президента «не имеет в себе ничего революционного, и принятие его восставило бы только положение, которое существовало до мировой войны». Реакционная «Морнинг Пост» воспользовалась предложением Гувера для того, чтобы проявить иронию по отношению к авторам пакта Келлога. «К счастью, — заявляет газета, — пакт Келлога делает дискуссии предложения Гувера чисто академической. Те, которые отказались от войны, больше не должны беспокоиться об исключении продовольственных грузов из понятия военной контрабанды. Ирония консервативной газеты помимо ее воли обратилась не только против непосредственных авторов пакта Келлога — американцев, но и против всей системы и методов буржуазной политики в целом.

Позиция английской печати является «свидетельством о бедности» английского правительства в вопросе о свободе морей. Нет никакого сомнения в том, что для Англии является более чем нежелательной подобная дискуссия на лондонской конференции. Дискуссия эта нежелательна, ибо Англии нечего будет сказать по этому вопросу и нечем будет защищаться.

Значительно более резкий отпор, нежели в Англии, предложение президента Гувера встретило со стороны французской печати. Эта последняя сразу обнаружила в вопросе о свободе морей, кроме антианглийского острия, еще и жало, направленное против Лиги Наций. Комментируя речь Гувера, «Тан» в передовой от 14 ноября говорит: «К несчастью, эту

благородную идею трудно осуществить в виде приемлемого для всех наций, в особенности для Англии, текста, ибо тогда было бы покончено со всякой блокадой. Члены Лиги Наций могут оказаться в положении, когда они должны порвать всякие финансовые и экономические отношения с нападающим государством. И тогда недопустимо, чтобы это государство свободно получало продовольствие. Свобода судоходства без всякого запрещения для судов, перевозящих продовольствие, чаще всего повернулась бы против той цели, которую стремятся достигнуть, т. е. устроить препятствия войне.

Хотя «Тан» в этой статье выступает в роли защитника Англии, как государства, обычно применяющего блокаду, и лишь вскользь упоминает о Лиге Наций, — центр тяжести аргументации официоза французского министерства иностранных дел лежит именно в вопросе о Лиге Наций и статье 16-й ее устава. В этой статье 16-й предусмотрена, как известно, возможность применения военных санкций по отношению к государству, не подчиняющемуся тому или иному решению Лиги. В этом случае Совет Лиги может применить санкции и потребовать их осуществления со стороны каждого члена Лиги по отношению к тому или иному государству как состоящему, так и не состоящему в Лиге. Реально санкции могут выразиться в финансово-торговой блокаде, военной блокаде и, наконец, в действиях сухопутных армий. Что касается посылки сухопутных армий, то это мероприятие представляет собою значительные затруднения. Необходимо организовать (хотя бы и временно) международную армию, что в свою очередь связано с большими расходами и серьезными внутренними осложнениями для каждой из участвующих сторон. Объявление блокады является более действенным оружием хотя бы в силу того, что в этом случае не происходит непосредственного соприкосновения с населением страны, подвергающейся санкциям. Совершенно очевидно, что при нынешнем соотношении сил в мировом хозяйстве осуществление финансово-торговой блокады против воли Со-

единенных Штатов является предприятием, обреченным на неудачу. Нью-йоркская газета «Уордль» со свойственной американской печати простотой совершенно правильно отмечает, что «ст. 16-я устава Лиги вообще неприменима без содействия Соединенных Штатов». В первую очередь, конечно, это относится к финансово-торговой блокаде. Таким образом з распоряжении Совета Лиги по существу остается лишь один вид санкции — морская блокада. Однако, при провозглашении принципа «свободы морей» и это оружие выпадает из рук Лиги Наций.

Соперничество между ст. 16-й устава Лиги и принципом свободы морей является таким образом борьбой за решающую роль в международной политике между Лигой Наций и Соединенными Штатами Америки. При любом военном столкновении двух государств Совет Лиги имеет полную свободу объявить одно из этих государств (независимо, конечно, от фактического положения вещей) нападающей стороной. В этом случае начинает действовать механизм ст. 16-й против стороны, объявленной нападающей. Таким образом, судьба такого военного конфликта находится в руках Совета Лиги, т. е. Англии и Франции. Пакт Келлога с его запрещением войны «в качестве орудия национальной политики» был первой попыткой американского капитала создать особый международный аппарат, при помощи которого можно было бы оформить легальное право воздействия на то или иное государство. Это стремление инициаторов пакта нашло чрезвычайно яркое выражение в переписке Келлога с Брианом по поводу французских оговорок к пакту. Вторая из этих оговорок настаивала на закреплении того, что между пактом Келлога и статутот Лиги Наций не может быть противоречия. Политический смысл этой оговорки (на которой настаивал и английский консервативный кабинет) заключался в защите Лиги и подчеркивании первенствующего значения статута Лиги над пактом. Оспаривая эту оговорку, Келлог стал на ту точку зрения, что между пактом и уставом Лиги Наций нет неизбежного

противоречия. Правда,—говорил он,—усугля Лиги Наций при некоторых обстоятельствах может быть истолкован в смысле разрешения войны, по это есть только разрешение, а не положительное требование. Последняя фраза свидетельствует о том, что подобное противоречие между статутом Лиги Наций и пактом в действительности имеется. Статут Лиги Наций действительно устанавливает в ст. 16-й не только права па ведение войны, но и обязательства государств-членов Лиги, по призыву Совета Лиги эту войну вести против того или иного государства. Толкование Келлога является натяжкой, но политически смысл этого толкования заключается в том, что в случае расхождения между уставом Лиги Наций и пактом Соединенные Штаты отдадут предпочтение именно пакту.

После подписания пакта Келлога любой конфликт между двумя государствами может быть подвергнут обсуждению с двух точек зрения. Этот конфликт может служить предметом обсуждения Совета Лиги, и последний может объявить одно из государств, находящихся в конфликте, нападающей стороной. После этого Совет Лиги может применить к этому государству постановление ст. 16-й, т. е. санкции. Одновременно этот же конфликт может быть предметом обсуждения с точки зрения нарушения пакта Келлога о запрещении войны. Однако, в то время как устав Лиги Наций имеет соответствующий аппарат в виде ст. 16-й и корреспондирующих этой статье обязательств членов Лиги применять санкции против «нападающей стороны», пакт Келлога такого аппарата не имеет. Можно легко себе представить, что Совет Лиги Наций объявит нападающей стороной со всеми вытекающими отсюда последствиями государство, в судьбе которого Соединенные Штаты будут по тем или иным причинам заинтересованы. Нет никакой возможности легально противопоставить решению Совета Лиги какое-либо иное решение (соответствующее воле и желанию САСШ) участников пакта. Ибо, во-первых, эти участники в огромном большинстве совпадают с членами

Лиги, а, во-вторых, пакт Келлога не знает процедуры объявления того или иного государства его нарушителем.

При подобном положении вещей Соединенные Штаты рискуют, что Совет Лиги все же окажется в состоянии применить санкции к государству, в котором заинтересованы САСШ. Провозглашение принципа «свободы морей» должно, по мнению американских политиков, обезвредить эффективность мероприятий Совета Лиги.

После всего сказанного смысл американского требования о «свободе морей» является ясным. Это требование в значительно большей степени, нежели в свое время пакт Келлога, ставит на очередь дня вопрос о решающей роли Америки в международной политике. Это требование заострено не только против Англии, по и против Лиги Наций, как орудия европейской и в частности англо-французской политики.

Трудно предвидеть судьбу вопроса о «свободе морей» на предстоящей лондонской конференции, в особенности принимая во внимание неизбежность острого столкновения между участниками конференции по вопросам соотношения крейсерских флотов и судьбы подводного флота. Вашингтонский корреспондент «Таймс» недавно сообщал о том, что Франция либо Италия или оба государства вместе попытаются внести на лондонскую конференцию вопрос о свободе морей. Если это случится (независимо от инициативы САСШ в дискуссии по этому же вопросу), подобный шаг нельзя будет расценивать, как доказательство приемлемости указанного принципа как для Италии, так в особенности для Франции. В этом случае франко-итальянскую инициативу нужно будет рассматривать, как шахматный ход, направленный на разрушение англо-американского соглашения о судьбе подводного флота. Действуя подобным образом, Франция и Италия будут явно стремиться к провалу конференции.

В цитированной нами статье сенатор Бора заявил: «Если Соединенные Штаты не смогут обеспечить безопасность своей торговли путем соглашения, договора или закона, они добьются этой

цели благодаря превосходству своего флота». На этот случай Бора угрожал постройкой такого флота, который будет сильнее не только английского, но и флота «любой морской комбинатии».

Мы думаем, что установка, данная сенатором Бора, является соответствующей действительному положению вещей. Поскольку вопрос о «свободе мо-

рей» является вопросом политического закрепления экономической мощи американского капитала, нужно думать, что последний сумеет добиться поставленной им задачи.

«Свобода морей» является не «академическим вопросом», а практическим лозунгом американской политики сегодняшнего дня.

## 2. ПО ВСЕМУ СВЕТУ

Очерки международной политики

### С. Гальперин

**В 10 дней от Бонкура до Тардые. — Йоркширское упрямство. — Дэли, Капштадт и Москва. — «Просперити» под вопросом. — Опляг «свобода морей». — О чем говорят германские муниципальные выборы. — «Дерзкая» нота и «удовлетворение» Стимсона.**

#### В 10 дней от Бонкура до Тардые

8 января 1912 г. лидер французского социализма Жан Жорес заявил в палате депутатов: «Это очень серьезная вещь, когда человек, располагающий трибуной самой влиятельной политической газеты, когда человек, гнева которого нередко трепещут министры, когда этот человек, прикрываясь интересами нации, пытается навязать государству дела, в которых он или его друзья лично заинтересованы».

Человек, о котором говорил Жорес, пытался, используя страницы «Temps», заставить французское министерство иностранных дел добиться от Турции концессии на проведение Багдадской железной дороги. В получении этой концессии французским консорциумом влиятельный сотрудник «Temps» был материально заинтересован. Чтобы добиться своей цели, он не останавливался ни перед чем. Через некоего шпиона Маймона при содействии чиновников министерства ин. дел он выкрал из министерства ин. дел до 20 секретных документов, необходимых ему для развертывания кампании против непокорного министра ин. дел того времени Пишона. Министр обратился к прокурору, — Маймон и помогавшие ему чиновники министерства ин. дел были арестованы и преданы суду. Но журналиста, который организовал все

это грязное дело, не решились тронуть. Сам Пишон просил об этом прокурора. Аферист был слишком страшен даже для министра.

6 ноября 1929 г. этот низкопробный «журналист» — имя его Тардые — стал главой французского правительства. 9 ноября большинством 332 голосов против 253 французская палата депутатов выразила доверие этому новому министру-президенту.

9 ноября в палате депутатов был торжественный день. Трибуны парламента были переполнены самой шикарной публикой Парижа. Наряды полиции охраняли входы и выходы в Бурбонский дворец, но не от демонстрирующей пролетарской толпы, а от огромного числа буржуа, стремившихся лично приветствовать нового премьера как спасителя отечества. Биржа реагировала на победу министерства Тардые повышением курсов бумаг, хотя настроение на бирже и до того было твердое.

Признание буржуазной публики Тардые заслужил своей прежней деятельностью в качестве министра ин. дел в кабинетах Пуанкаре и Бриана, деятельностью, ознаменованной бешеными репрессиями против коммунистической партии. Зная вкусы своих поклонников, Тардые заявил в прочитанной им в палате декларации: «Пока я буду у власти, я не позволю образоваться «государству в государстве», управляемо-

му из-за границы и ставящему своей целью завоевание улиц».

Антикоммунистические выпады в декларации Тардьё были достаточны, чтобы создать ему популярность среди той буржуазной сволочи, — без непарламентских выражений иногда обойтись нельзя, — которая в 1871 г. выкалывала глаза пленным коммунарам, для которой политика по самому своему существу лишь средство обогащения как в социальном, так и в личном отношении и для которой беззастенчивый, не останавливающийся ни перед чем удачливый делец является типом национального героя.

Снискать симпатии этой бесформенной буржуазной толпы Тардьё было легко — он пользовался ими, впрочем, и раньше. Несколько труднее было добиться большинства в палате. Не потому, чтобы политическая физиономия палаты депутатов существенно отличалась от толпы, наполняющей французские бульвары, а потому, что в палате идет бешеная борьба за министерские портфели, с которыми связаны и огромные материальные интересы, — правящая политическая группировка располагает для своих сторонников не только значительным контингентом чиновничьих должностей, но и — что еще более заманчиво — массой постов в правлениях банков, акционерных обществ, промышленных предприятий и т. д. Всякое капиталистическое предприятие заинтересовано в том, чтобы иметь в своем правлении «друга министра».

Правительственный кризис продолжался после падения кабинета Бриана целых полторы недели; в течение которых возникали и лопались самые противоречивые на первый взгляд министерские комбинации. Тем показательнее были эти десять дней «междоцарствия» для определения политического лица тех группировок, из которых состоит палата депутатов, и для выяснения всего характера французского парламентаризма.

Самое любопытное в ходе этого кризиса, что при нынешнем составе французского парламента были мыслимы в одинаковой степени: и образование ка-

бинета под председательством социалиста Бонкура, и кабинета радикала Даладьё с участием социалистов, и кабинета Клемантеля из радикалов и центристских групп без социалистов, и, наконец, образование кабинета чистой реакции под председательством Тардьё без радикалов и социалистов.

И еще более любопытно, что программы всех этих мыслимых во французском парламенте кабинетов очень мало чем отличаются друг от друга. Одни министерские комбинации сменялись другими не вследствие программных расхождений, а лишь вследствие трудности сговориться о распределении портфелей. Между кабинетом Бонкура и кабинетом Даладьё не было абсолютно никакой разницы в программе, — обе стороны были согласны даже разделить пополам портфели, и спор шел лишь о том, кому возглавлять правительство: социалисту Бонкуру или радикалу Даладьё. Да и этот спор был вызван не принципиальными соображениями, а практически: боязнь подорвать свой престиж среди тех кругов, которые для каждой из этих двух партий являлись сферами влияния. И радикалы и социалисты имеют опору преимущественно в мелкобуржуазной массе, но радикалы претендуют и на сочувствие некоторой части промышленной буржуазии (главным образом легкая промышленность), для которой кабинет Бонкура был бы мало приемлем. Социалисты же претендуют и на влияние на часть рабочего класса и потому не хотели входить в кабинет Даладьё.

Для настроения французских социалистов в высшей степени характерно, что парламентская фракция соглашалась на вхождение в кабинет Даладьё, но пленум Национального Совета социалистической партии (ничтожным большинством голосов) высказался против участия в радикальном кабинете и вдобавок лишь потому, что боялся усиления коммунистического влияния в рабочем классе.

Центристская комбинация Клемантеля провалилась потому, что Даладьё требовал себе в кабинете Клемантеля поста министра внутренних дел, на



что Клемантель по соображениям устойчивости своего кабинета не соглашался. Отказ Даладьё от министерской комбинации Клемантеля вызвал в парламентской фракции радикалов такое же озлобление (у радикальных депутатов уплывало из-под носа 7 министерских портфелей), какое вызвало в парламентской социалистической фракции решение Национального Совета их партии об отказе от участия в кабинете Даладьё.

Так возникла и осуществилась комбинация Тардьё. Он обошелся и без радикалов и без социалистов, заменив их правой группировкой Марэна, но, чтобы снискать к себе симпатии всех промежуточных элементов, он попросту внес в свою декларацию всю программу Даладьё. Он лишил и радикалов и социалистов их козырей. Когда Тардьё говорил по вопросам внешней политики, социалист Блюм в одном месте воскликнул: «Но ведь это то положение, которое я защищал». А когда он перешел к вопросам финансовой политики, то радикал Шаделэн перебил его: «Но ведь именно это (снижение некоторых налогов) мы, радикалы, защищали в финансовой комиссии парламента против министра финансов Шерона».

Живой связью между всеми парламентскими комбинациями от Бонкура до Тардьё служил Бриан. Он был желанным министром иностранных дел и для социалистов, и для радикалов, и для левых республиканцев, и для лидера реакции Тардьё. И когда Бриан произнес после Тардьё речь о внешней политике нового правительства, ему аплодировала вся палата, кроме, разумеется, коммунистической фракции, которая не имеет ничего общего с разлагающимся трупом французского парламентаризма.

Аплодисменты снискать ему было легко. Он не даром пользуется репутацией «гибкости» и является живым воплощением духа компромисса. В своей речи он бросил несколько пацифистских фраз о верности «духу Локарно», и этого было достаточно, чтобы Бонкуры и Блюмы выдали ему диплом миротворца. А для завоевания голосов

ура-патриотической правой группировки Марэна он вспомнил о своих «военных» заслугах. «За два года до войны,—заявил он,—я проявил инициативу в проведении закона, который дал нам возможность оборонять наши границы (закона об удлинении срока военной службы с 2 до 3 лет. С.Г.). Это было нелегко провести в период мира. Это я, опять-таки в период мира и во время парламентских каникул, взял на себя ответственность в деле заказа снарядов для наших пушек. Без этой меры на Марне мы оказались бы в самом трагическом положении... Я стоял у власти, когда Верден был освобожден от осады... Я организовал и поддерживал Восточный фронт (союзническую армию на Балканах. С.Г.), который имел такое значение для нашей победы...»

Французская коммунистическая газета «Humanité», комментируя эти заявления Бриана, справедливо указывает, что он мог бы еще удлинить список своих «заслуг» — это он мобилизовал три призывных возраста в 1922 г., чтобы взять за шиворот непокорную Германию; это его заботами спущена на воду величайшая подводная лодка в мире, являющаяся одновременно и субмариной и миноносцем; это он содействовал образованию «Всеобщей кампании аэронавигации» с капиталом в 400 миллионов франков для усиления французской армии.

Но Бриан предпочел говорить о своих прошлых заслугах, чтобы сохранить у социалистов репутацию пацифиста в настоящем. Наивный трюк, который мог иметь успех лишь потому, что пацифизм Бонкура совершенно той же породы, что и «миротворчество» Бриана.

### Йоркширское упрямство

Мечты французских социалистов в министерских портфелях остались пока только мечтами. Им остается утешаться только тем, что их английские собраты познали не только сладость власти, но и ее тернии. Открывшаяся в конце октября сессия парламента сулит правительству Макдональда нема-

ло трудностей. Если в области внешней политики Макдональду и Гендерсону удается пока отбивать атаки консерваторов (ниже мы будем говорить о том, как эти атаки «отбиваются»), то разрешение вопросов внутренней политики — в частности рабочего законодательства — представляет для «рабочего» правительства Англии более трудную проблему.

Совершенно неразрешимой оказалась для правительства рабочей партии проблема безработицы. Томас, которого считали в рабочей партии восходящей звездой, показал, что умение околпачивать рабочих и ловкое делячество еще недостаточны, чтобы уметь руководить социальной политикой буржуазного «рабочего» правительства. Со времени прихода рабочей партии к власти число официально-зарегистрированных на биржах труда безработных увеличилось на 100 тысяч человек. За это же время чиновниками Маргариты Бопфильд, ведающей в кабинете Макдональда делом социального страхования и социального обеспечения, снято с учета 225 тысяч безработных, так как они не могли представить доказательств, что они «достаточно усердно искали работу». Под руководством Маргариты Бонфильд биржи труда проявили в этом отношении гораздо больше усердия, чем при консервативном министре труда.

Полная беспомощность Томаса в деле борьбы с безработицей и его неловкие объяснения по этому поводу — объяснения, которые как две капли воды походили на аргументы консервативного правительства во время его пребывания у власти, — дали уже основания дочери Ллойд-Джорджа заявить, что «Томаса с трудом отличишь от консервативного министра». Уже один тот факт, что вся либеральная печать занимает по отношению к проектам и заявлениям Томаса позицию критиков «слева», достаточно говорит о характере его деятельности.

Чтобы несколько поправить репутацию правительства, министром труда Маргаритой Бонфильд внесен в палату законопроект о пособиях безработным, предусматривающий некоторое

повышение этих пособий для несовершеннолетних безработных в возрасте от 16 до 19 лет. Но эта жалкая подачка никого удовлетворить не могла, и даже в рядах рабочей фракции парламента назревает оппозиция против правительственного законопроекта.

Но наибольшую угрозу для правительства Макдональда представляет угольная проблема. «Внеклассовая» задача разрешить эту проблему таким образом, чтобы и волки были сыты и овцы были целы, оказалась не по плечу правительству рабочей партии. Правительственные предложения были решительно отвергнуты шахтовладельцами и с трудом прошли на конференции горняков.

По существу правительственный законопроект сводился к трем основным пунктам: 1) установлению с 6 апреля 1930 г. 7½-часового рабочего дня в шахтах; 2) правительственному регулированию угольного рынка (нормирование выработки и цен на уголь); 3) выкупу государством земельной ренты, уплачивавшейся до сих пор шахтовладельцами собственникам земель, на которых были расположены шахты.

Введение 7½-часового рабочего дня представляло собой компромисс между предвыборным обещанием рабочей партии восстановить 7-часовой рабочий день в шахтах и упорством шахтовладельцев, заявляющих, что отмена 8-часового рабочего дня поведет к разорению угольной промышленности.

Компромисс этот сам по себе был плохо приемлем для обеих сторон. Лишь скрепя сердце согласилась делегатская конференция углекопов удовлетвориться обещанием, что 7-часовой рабочий день будет восстановлен в неопределенном будущем. Но и это согласие было получено лишь путем внутреннего кризиса в федерации горняков. Подвело «иоркширское упрямство».

В ноябрьской книге «Нового Мира» мы говорили о «человеке из Иоркшира» Филиппе Сноудене, упрямство которого на Гаагской конференции сослужило хорошую службу министерству Макдональда. Зато совершенно не-

астати для Макдональда на посту председателя федерации оказался другой «человек из Йоркшира», Герберт Смит.

Этот упрямый старик наотрез отказался войти в положение «рабочего» правительства и потребовал выполнения обещания рабочей партии о семи-часовом рабочем дне. Непримиимость Герберта Смита объясняется, однако, не какой-нибудь его левизной, а попросту тем обстоятельством, что в Йоркширском бассейне и без того существует рабочий день не в 8, а 7½ часов. Если для рабочих Южного Уэльса и большинства других районов принятие правительственного предложения означало сокращение рабочего дня хотя бы на полчаса, то для йоркширских горняков «дар» правительства Макдональда сводился к нулю. Йоркширские делегаты демонстративно покинули конференцию и разъехались по домам. А через несколько дней Герберт Смит подал заявление об уходе с поста председателя всеанглийской федерации горняков.

Любопытно, что аналогичный разлад произошел и в ассоциации углепромышленников. В то время как ассоциация единодушно отвергла правительственные предложения, не желая идти ни на какое сокращение рабочего дня, йоркширские шахтовладельцы решительно выразили свое согласие с правительственной точкой зрения, именно потому, что оно ничего не меняло в сложившихся в Йоркшире отношениях.

Надо, однако, указать, что вопрос о рабочем дне уперся в вопрос о заработной плате. Шахтовладельцы заявили, что если правительство все же проведет вопрос о 7-часовом рабочем дне, то они поставят вопрос о соответствующем снижении заработной платы, ибо проектируемые правительством выкуп земельной ренты с угольных шахт и регулирование рынка не представляют для них достаточной компенсации за сокращение рабочего дня.

Федерация горняков предъявила поэтому правительству требование о том, чтобы оно в той или иной форме гарантировало бы им сохранение существующей заработной платы при со-

кращенном рабочем дне. Правительство долгое время отказывалось дать горнякам подобную гарантию, и лишь выступление представителей других союзов и в частности секретаря Генсовета трэд-юнионов Ситрипа заставило Макдональда дать соответствующее обещание. Повидимому, правительством будет издан закон о создании особой палаты по вопросам заработной платы в угольной промышленности, которая и должна будет разрешить этот вопрос в желательном для горняков смысле.

Чтобы не вызвать, однако, слишком большого сопротивления со стороны шахтовладельцев, правительство намерено регулирование угольного рынка провести таким образом, чтобы добиться повышения цен на уголь на внутреннем рынке. Как сообщает «Manchester Guardian» от 14 ноября, правительство добилось уже согласия на повышение цен на уголь со стороны таких крупных потребителей угля, как железные дороги, газовые заводы и электрические станции и всякого рода предприятия государственного и общественного характера.

В тот момент, когда пишутся настоящие строки, вопрос не получил еще окончательного разрешения, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что правительственный законопроект об угольной промышленности будет весь состоять из цепи компромиссов между требованиями предпринимателей, горняков и потребителей угля, компромиссов, которые не могут создать устойчивой базы для развития угольной промышленности.

И как убого выглядит эта макдональдовская «реконструкция» по сравнению с той уверенностью в успехе, которую питает советское правительство, включая в пятилетний план доведение добычи угля в СССР до 75 миллионов тонн в год.

### **Дели, Капштадт и Москва**

В ожидании серьезных боев по вопросу об угольной промышленности консерваторы произвели несколько атак на правительство по вопросу об

англо-советских отношениях. Не оставившаяся на деталях запросов Гендерсону со стороны ряда консервативных депутатов с Чемберленом во главе и ответов Гендерсона (в русской прессе дискуссия в парламенте была передана достаточно подробно), отметим лишь наиболее характерные особенности этой дискуссии.

Необходимо признать, что своими необоснованными заявлениями об ответственности советского правительства за деятельность Коминтерна и его секций в различных странах Гендерсон дал несомненно консерваторам удобную позицию для нападок на свою линию поведения. Ибо принципиально его точка зрения мало чем отличается от позиции самых твердых консерваторов и несомненно грозит самыми серьезными осложнениями для спокойного развития англо-советских отношений в будущем. В отличие от лидера либералов Ллойд-Джорджа, который заявил, что вопрос о пропаганде носит искусственный характер (аналогичные обвинения всякие лорды Керзоны выдвигали уже более двух десятков лет назад против царского русского правительства, за которым коминтерновских грехов не числилось) и что английскому правительству надлежит вместо паники перед советской «пропагандой» самому заботиться о безопасности своих владений, — в отличие от Ллойд-Джорджа, Гендерсон отвечал на запросы консерваторов аргументами формального характера, сводившимися по существу к тому, что вопрос о пропаганде встанет лишь тогда, когда реально возобновятся дипломатические отношения.

Другой характерной особенностью парламентских прений по вопросу об англо-советских отношениях были аргументы консерваторов о том, что возобновление сношений с советским правительством особенно опасно в настоящий момент, когда в Индии и Южной Африке усиливается революционное движение. Никакой логики, конечно, в запросах консерваторов не было, ибо если допустить, что именно советское правительство повинно в недо-

вольстве трудящихся масс Индии и туземцев Южной Африки, то следует лишь признать, что разрыв дипломатических сношений никакой гарантии против советской «пропаганды» не дает и настаивать на нем незачем.

Предоставим, однако, Гендерсону самому распутываться в чемберленовской и его собственной казуистике и обратимся к рассмотрению по существу тех событий, которые не без основания напугали предъявлявших Гендерсону запросы консервативных депутатов.

Начнем с Индии. В течение целого месяца со страниц английской печати не сходили статьи о «промахе лорда Ирвина», вице-короля Индии. 31 октября англо-индийский офицер в Дэли (резиденция вице-короля) опубликовал заявление лорда Ирвина, в котором последний от имени британского правительства указал, что «конечной целью возвещенной британским правительством в 1919 г. конституционной реформы Индии является признание за Индией прав доминиона», т. е. самоуправления управляемой части Британской империи.

Несмотря на то, что признание этой «конечной цели» ни к чему в данный момент не обязывало британское правительство, в английской прессе поднялся настоящий переполох. Как либеральная, так и консервативная печать признала выступление лорда Ирвина бестактным, а правительство Макдональда ответственным за эту бестактность.

Радикальный еженедельник «New Statesman» поучает лорда Ирвина, что «превращение Индии, как целого, в доминион представляет собой не менее далекую цель, чем, например, создание Всемирной федерации. В течение ближайших ста лет это не только не возможно, но даже и не вероятно. В Индии тысяча Ульстеров (протестантская часть Ирландии, не вошедшая в Свободное Ирландское Государство С. Г.). Захотят ли воинственные магометаны находиться под управлением миролюбивых индусов? Согласятся ли аристократические индийские княжества подпасть под власть безграмотно-

го демоса Калькутты Лагора или Бомбея?» (*New Statesman*» 9 ноября).

Красноречивого автора статьи в радикальном английском журнале следовало бы пригласить в Узбекистан или Казакстан, чтобы он убедился в том, что некоторые «невозможные» для буржуазии вещи легко осуществляются при власти трудящихся в сроки, не превышающие 10 лет. Но почитать английского буржуазного публициста советской политграмоте — дело бесполезное. Важнее отметить другое: по существу точка зрения «*New Statesman*» ничем не отличается от взглядов лорда Ирвина и «рабочего» правительства Англии. Сам Макдональд заявил категорически, что ни о каком изменении прежней политики Англии по отношению к Индии он и не помышляет.

Впрочем, в освободительных тенденциях по отношению к Индии никто Макдональда и лорда Ирвина и не заподозривал. Им ставилось в вину самое упоминание о доминионе, которое, по мнению критиков «промаха» лорда Ирвина, могло лишь разжечь страсти, ибо, как указывает «*New Statesman*», официальное заявление правительства о сочувствии идее доминиона для самих индусов может означать лишь намерение установить его в ближайшем будущем.

Есть, однако, основания думать, что лорд Ирвин вовсе не был таким головоломом, каким хотят его изобразить консервативные и либеральные политики. Его заявление преследовало определенную политическую цель: привлечь на сторону британского правительства индийскую буржуазию, чтобы при ее помощи задушить революционное движение, захватывающее все более и более широкие массы трудящихся Индии.

Антиимпериалистическое движение индийских рабочих масс — а за ними в значительной степени следует и деревенская беднота и низы мелкой буржуазии городов — принимает резко выраженный классовый характер. Если еще десять лет назад индийская буржуазная интеллигенция рассматривала индийские профорганизации как

вспомогательный отряд буржуазных националистических партий, то нарастание стачечной волны и усиление коммунистического влияния в профсоюзах показали буржуазии, что рабочее движение в Индии развивается своими собственными путями — путями борьбы не только против национального, но и против классового угнетения. Этот факт сразу охладил «освободительные» тенденции буржуазных националистов, тесно связанных с индийским туземным капиталом.

Наиболее ярким показателем этого стремления буржуазных националистов найти путь примирения с британским империализмом является позиция, занятая ими на прошлогоднем всеиндийском конгрессе. Вопреки протестам крайних элементов, настаивавших на требовании полной независимости Индии от британского владычества, конгресс по предложению Ганди принял резолюцию с требованием предоставления Индии прав доминиона. Но для удовлетворения левого крыла конгресс дал британскому правительству годичный срок для проведения этого требования в жизнь. По истечении этого срока (1 января 1930 г.) индийский народ должен возобновить тактику пассивного сопротивления англо-индийским властям.

В Англии эта резолюция была принята как верх дерзости; — какие-то индусы смеют ставить требования правительству его величества, — но лорд Ирвин понял истинный смысл этой резолюции, свидетелемствовавший о соглашательских тенденциях индийской буржуазии. Неопределенная фраза о доминионе должна была усилить влияние этих соглашательских слоев, поддержку которых вице-король не мог не считать ценной в виду роста революционного движения в Индии. В запросах Гендерсону консерваторы могут, конечно, сваливать недовольство трудящихся Индии и революционизирование индийского рабочего движения на «московскую пропаганду», но лорд Ирвин, конечно, прекрасно осведомлен, что дело не в московских агитаторах, а в неслыханной эксплуатации, которой подвергаются пролетарии

Индии во славу британского империализма. Учитывая это положение вещей, лорд Ирвип понимал, что для борьбы с революционным движением в Индии соглашение с индийской буржуазией во много раз важнее, чем разрыв дипломатических отношений с СССР, проповедуемый лондонскими твердолобыми.

Что касается рабочих масс Индии, то лозунг доминирования их ни в какой мере не удовлетворяет. Их требование — независимость Индии, ибо эта независимость развяжет руки рабочим и крестьянским массам для борьбы с феодальной аристократией индийских княжеств и индийским капиталом в промышленных провинциях, непосредственно подчиненных британской короне.

В какой мере статус доминиона не обеспечивает прав трудящихся масс цветного населения показывает лучше всего пример Южной Африки, где в настоящее время идет борьба между 5 миллионами пролетариев негров и правительством южно-африканского доминиона, которое лишает их всех гражданских и политических прав. Южно-Африканский союз — это доминион для 1½ миллионов белых поселенцев, которые одни лишь являются его полноправными гражданами, поскольку этот термин вообще применим к поданным капиталистического государства.

А черные... Но вот газетная телеграмма: «Белая полиция, вооруженная винтовками, пулеметами и бомбами, вызывающими слезотечение, окружила бараки туземцев. 600 человек, не имевших квитанций об уплате подушного налога, были арестованы и немедленно преданы особому суду. А когда толпа туземных рабочих собралась вокруг тюрьмы с требованием освобождения арестованных, полиция опять пустила против них бомбы, начиненные слезоточивыми газами».

Но неуплата подушного налога — лишь один из видов «преступлений», вызывающих беспощадную расправу южно-африканских властей. А вот другие: отказ отбывать барщину на белого помещика в течение 180 дней в году; за-

нятие квалифицированным трудом, составляющим привилегию белых; нарушение правил гетто, установленного для черных белыми «культуртрегерами»; отказ пить пиво в специальных столовках, устроенных для черных властями провинции Наталь; участие в политических партиях или, вернее сказать, в коммунистической партии, ибо она одна борется за освобождение негров Южной Африки от уз рабства и крепостничества.

Но пролетарии негры дерзки. Министр юстиции Южно-Африканского союза Пирроу сообщает, что волнения туземцев приняли серьезный характер (даже очень серьезный — черные демонстранты сожгли изображение самого Пирроу), ибо ими руководят коммунистические организации. «Впрочем, газовые бомбы оказали на них должное действие».

Многое можно было бы написать о причинах, вызывающих волнения туземцев, — о систематическом обезземелении черных крестьян, о системе принудительного труда, об ужасах гетто, о налогах подушном и с «дыма» (с лачуги, в которой ютится негритянская семья), о специальных паспортах для негров, об уголовном наказании за самовольное оставление работы по найму... Но предоставим слово корреспонденту «Manchester Guardian».

«Нечего искать в Москве причин так называемых волнений туземцев. Плохие правительства вообще всегда склонны приписывать результат своего плохого управления «агитаторам». В действительности та политика, которую ведут в Южной Африке по отношению к туземцам, как раз и создана для того, чтобы вызвать коммунистическое движение. Прежде имелось в виду наказать туземцев за отказ платить специальные сборы, затем их решили террором заставить посещать пивные, которые они бойкотируют».

Коснувшись указаний Пирроу на хорошие результаты газовых бомб, корреспондент пишет: «Результат этих мер один — он создает новые ряды коммунистов». Прибавить к этим словам буржуазного публициста нечего.

### «Просперити» под вопросом

Из Южной Африки перенесемся в страну рекордов — в Америку

26 марта нью-йоркская биржа установила своеобразный мировой рекорд: за один этот день было сброшено 8 миллионов акций и облигаций. 23 октября этот рекорд был побит: число проданных бумаг достигло почти 13 миллионов. Продавцы, спешившие сбросить свои бумаги до закрытия биржи, подняли такой дикий вой, что собрали огромную толпу любопытных на Уолл-Стрит. Копной полиции пришлось очищать улицу. На следующий день 24 октября паника еще усилилась — было сброшено почти 24 миллиона ценных бумаг. Держатели потеряли за 22—24 октября около 5 миллиардов долларов. На много пунктов упали не только всякие сомнительные бумаги, но и акции таких солидных предприятий, как «General Motors Company» и «Всеобщая Компания Электричества».

Но как ни рекордны были эти цифры, все же более серьезным фактом оказалась не эта стремительность биржевого краха, а устойчивость понижающей тенденции биржи. Вся первая половина ноября хотя и ознаменовалась сменой повышения и понижения курсов бумаг, но понижающая тенденция оказалась преобладающей. Над прославленным американским «просперити» (процветанием) нависли грозные тучи.

Немало внимательных исследователей американской экономики как в Соединенных Штатах, так и в Европе предвидели грядущую катастрофу. Но все их предсказания проходили незамеченными среди гула восторженных отзывов о прочности экономического процветания Соединенных Штатов. «Просперити» стало чем-то в роде национального символа веры. «Просперити» было в сущности единственным избирательным лозунгом Гувера на последних президентских выборах.

А между тем то небывалое потрясение, которое пережила нью-йоркская биржа в октябре-ноябре 1929 г., давно уже готовилось всем ходом экономического развития Соединенных Шта-

тов в последние годы. Соединенные Штаты в сущности переживали период кредитной инфляции. На 1 доллар золотом в обращении находилось 14 долларов в кредитных единицах. По численностям американских экономистов, в 1928 г. кредит увеличился на 7 проц., тогда как производство и обороты выросли лишь на 3 проц.

Кредитная инфляция не могла не породить биржевой спекуляции. Этому способствовал также своеобразный характер кредитных учреждений в Америке. Если в Европе функцией банков является превращение краткосрочного кредита в долгосрочный на основе использования имеющихся сбережений для кредитования промышленности и финансирования капитального строительства, то в Америке имела место обратная картина. Промышленные предприятия кредитовались без отсчета в счет будущих накоплений населения, которые должны быть следствием роста промышленности.

Эта вакханалия кредита не могла не вызывать опасений среди ответственных руководителей кредитного дела в Соединенных Штатах. Федеральный Резервный Банк, являющийся в Америке банком банков, пытался обуздать биржевую спекуляцию, но принятые им меры были явно недостаточны. Находясь в фактической зависимости от правящих кругов, Федеральный Резервный Банк должен был избежать всего того, что могло породить у избирателей сомнение в прочности «просперити» в период президентских выборов. Робкие попытки повысить учетный процент не оказали сдерживающего влияния на биржу. Промышленность от этого удорожания кредита пострадала мало, поскольку она имела возможность увеличивать свой капитал выпуском дополнительных акций, которые публикой брались нарасхват. А торговля компенсировала себя ростом оборотов — кредитная инфляция способствовала росту спроса.

Произведенное Федеральным Резервным Банком повышение учетного процента с 4½ до 5¼, т. е. удорожание кредита всей своей тяжестью обрушилось на сельское хозяйство, кото-

рое вообще является своего рода па-сынком в американской кредитной системе. Если прибавить к этому, что сбор урожая в САСШ в этом году по своей стоимости оказался на 2 миллиарда долларов меньше ожиданий, то не удивительно, что повышение учетного процента поставило в самое затруднительное положение все сельскохозяйственные банки земледельческих западных штатов. Это было исходным пунктом краха «просперити».

После биржевой паники положение изменилось. Орган торгово-промышленных кругов «*Journal of Commerce*» пишет: «В результате биржевого краха уже резко сократилась продажа предметов роскоши и широкого потребления, в частности мехов, драгоценностей и радиоаппаратуры. Оптовые цены на предметы широкого рынка продолжают резко падать» («*Journal of Commerce*», от 18 ноября).

Другим показателем краха «просперити» является резкое сокращение грузооборота. На 12 проц. сократилось строительное дело, на 25 проц. — загрузка стальной промышленности. Уменьшилось производство автомобилей и в еще большей степени сбыт их: в первой половине ноября производилось на 2.800 автомобилей в день больше, чем сбывалось.

Правительство приняло срочные меры к улучшению экономической конъюнктуры: на 1 процент понижены были ставки подоходного налога, учетный процент понижен с 5 до 4½. По сведениям «*Journal of Commerce*» Гувер намерен также начать кампанию по интенсификации экспорта, чтобы компенсировать для американской промышленности сокращение внутреннего рынка.

Биржевой крах и угроза промышленного кризиса в САСШ открывают таким образом перспективу нового обострения борьбы между Америкой и Европой за внешние рынки. Интересно отметить, что на биржевую панику в Нью-Йорке лондонский «*Times*» немедленно отозвался статьей, в которой с торжеством предсказывал возвращение в Европу капиталов, которые были привлечены в Америку под влия-

нием биржевой горячки. И, учитывая этот факт, Английский Банк немедленно понизил учетный процент с 6½ до 6.

Обострение борьбы между капиталистическими государствами за преобладание на денежном рынке и за завоевание рынков промышленного сбыта — вот несомненное следствие потрясения на нью-йоркской бирже, потрясения, которое ставит под знак вопроса американское «просперити».

### Опять «свобода морей»

Косвенным подтверждением этой боевой позиции Соединенных Штатов в борьбе за рынки является «миролюбивая» речь Гувера, произнесенная им 11 ноября, в день годовщины заключения перемирия между Германией и союзниками. Это утверждение кажется парадоксальным, но в Америке уж так заведено: все воинственные стремления облекаются всегда в самую пацифистскую оболочку.

Темой своей последней речи Гувер избрал старый вопрос о свободе морей, при чем американскую точку зрения о недопустимости распространения понятия блокады в военное время на торговлю нейтральных стран он изобразил в виде гуманитарного положения о том, что нельзя пользоваться даже во время войны оружием голода, направленным против женщин и детей какой бы то ни было страны. Все это преподано в виде развития идей, положенных в основу пакта Келлога.

Чтобы оценить «гуманитаризм» и «пацифизм» Гувера, полезно заглянуть в выпущенный недавно «*Congressional Record*» отчет о заседаниях сената, посвященных обсуждению пакта Келлога. При обсуждении этого вопроса в сенате имел место любопытный диалог между сенатором Ридом и сенатором Бора, диалог, очень выукло обрисовывающий американский тезис о «свободе морей» (цитируем по выдержке из этого отчета в газете «*Humanité*» от 14 ноября).

Сенатор Рид: В случае, если возникнет война и Лига Наций объявит под блокадой порты государства, признанного ею нарушителем мира, имеют



ли право по пакту Келлога Соединенные Штаты конвоировать свои торговые суда военными судами?

Сенатор Бора: Полное право.

Рид: Не помешает ли нам пакт Келлога пустить в ход орудие наших военных судов для защиты наших торговых судов, если Лига Наций попытается их захватить?

Бора: Нет, не помешает.

Рид: В таком случае мы имеем полное право пользоваться морями, как мы хотим, и защищать американских граждан и американскую собственность при помощи наших пушек и наших солдат совершенно так же, как если бы мы не подписывали пакта Келлога.

В то же время известный английский журналист Нильсон Гаррис так излагал британскую точку зрения: «В случае войны мы будем поступать с нейтральными судами, как и в 1918 г., кроме тех случаев, когда эти нейтральные суда будут принадлежать стране, обладающей достаточно могущественным флотом, чтобы их защищать. Но в этом случае мы будем иметь войну с этим нейтральным государством».

Не трудно видеть из этого сопоставления, что расхождение точек зрения между Англией и Америкой таково, что в случае будущей войны, в которой Англия была бы одной из воюющих сторон, а Америка — нейтральной страной, через некоторое время между Америкой и Англией неизбежно должна была бы вспыхнуть война.

Тем более знаменательным является спокойное, но категорическое заявление Гувера в его последней речи, что свидание его с Макдональдом «ничего не изменило в позиции ни одной, ни другой стороны». Смысл этого заявления в общем контексте его речи означает: уступки в данном споре могут быть только со стороны Англии.

Но уступить в этом вопросе для Англии равносильно отказу от своего главного оружия в войне — возможности при помощи своего военно-морского превосходства удумать неприятельскую страну голодом. Английская печать не может, разумеется, говорить об этом открыто и предпочитает выд-

вигать обходные аргументы. Возражения первое: допущение подвоза продовольственных продуктов уничтожило бы весь смысл блокады. Ибо такой невинный продовольственный продукт, как сахар, может быть использован для изготовления нитро-глицерина; для целей военной промышленности могут быть использованы жиры и даже отчасти злаки.

Возражение второе: если Америка признала пакт Келлога, она должна делать различие между государствами, нарушающими его, и прочими участниками войны. Известный английский социалист Брейльсфорд ставит Соединенным Штатам вопрос: «Хотите ли вы, которые предложили нам пакт Келлога, пользоваться своим экономическим могуществом, не обращая внимания на правовую сторону конфликта и на поведение воюющих держав? Считаете ли вы возможным использовать свое экономическое превосходство для того, чтобы оказывать помощь обличенному зачинщику войны и тормозить таким образом дело цивилизации?» («New Leader» 15 ноября).

Брейльсфорд видит лишь следующую возможность соглашения с Соединенными Штатами: Лига Наций должна совместно с САСШ устанавливать факт нарушения пакта Келлога, при чем при достижении соглашения в этом вопросе Соединенные Штаты должны отказаться от торговли с государством, нарушающим пакт Келлога.

«Daily Telegraph» называет предложение Гувера о воспрещении голодной блокады «революционным» предложением, а большинство других газет делает Гуверу комплименты по поводу его «возвышенного» образа мыслей, но считает его предложение (о приравнении судов, перевозящих продовольственные припасы, к госпитальным судам) практически неприемлемым.

Разрешения этого спора в ближайшем будущем ждать не приходится — он во всяком случае не будет обсуждаться на назначенной на январь лондонской конференции о так называемом морском разоружении. Тем меньше будет иметь значения эта кон-

ференция, ибо единственное предварительное соглашение, достигнутое до сих пор между будущими участниками этой конференции, — о паритете между военными флотами Англии и САСШ, — не означает никакого сокращения морских вооружений, по крайней мере для Америки. Что касается других государств, то Япония намерена настаивать на изменении принятой на Вашингтонской конференции 1921 г. пропорции между ее флотом и флотами Англии и САСШ в ее пользу: вместо 5:3 она требует пропорции 5:3,5. В то же время вместе с Францией она возражает против англо-американского предложения об уничтожении подводного флота.

Неудачей копчались и франко-итальянские переговоры об установлении сродиземноморского Локарно в виде равенства флотов Франции и Италии. Франция решительно отвергла претензии Италии, указывая на то, что весь итальянский флот сосредоточен в Средиземном море, тогда как Франция должна держать флот и в ряде других морей: поэтому для достижения равенства военно-морских сил обеих стран на Средиземном море общей тоннаж всего ее флота должен быть больше итальянского.

### О чем говорят германские муниципальные выборы

Конференция морских держав почти совпадает во времени со второй Гаагской конференцией и по своему значению затмевает ее. В пылу международной газетной полемики по вопросам морских вооружений и «свободы морей» как-то незаметно прошли даже сообщения о том, что заседавшая в Баден-Бадене конференция экспертов пришла, наконец, к соглашению об уставе Банка Международных Расчетов, которому несомненно предстоит играть в будущем огромную не только экономическую, но и политическую роль.

Только в Германии ждут второй Гаагской конференции с особенным вниманием. Хотя националистам и удалось наскрести требуемые 4 миллиона голосов и добиться таким образом

плебисцитарного обсуждения вопроса о ратификации плана Юнга, но не подлежит никакому сомнению, что плебисцит даст огромное большинство голосов в пользу ратификации. Или, вернее сказать, противники плебисцита, который может иметь силу закона лишь в случае, если в народном голосовании примет участие не менее половины всех избирателей, т. е. 20 миллионов человек.

Агитация националистов, однако, несколько разожгла так называемые «политические страсти», что сказалось в том, что в муниципальных выборах, состоявшихся в середине ноября, приняло участие сравнительно большое число избирателей. Тем показательнее исход этих выборов для характеристики политических настроений в Германии.

Наиболее характерной особенностью этих выборов является победа коммунистов на пролетарском фланге избирателей и сдвиг буржуазных избирателей вправо. За счет социал-демократов усилились коммунисты; в так называемых «срединных партиях» (демократы, центр, народная партия) усилилось правое крыло — народная партия; среди правых партий в выигрыше оказались стоящие на крайне-правом фланге фашисты (национал-социалистическая партия), отвоевавшая ряд мандатов у националистов.

Как и всегда, на характере муниципальных выборов отразились до некоторой степени местные влияния. Так в Рейнских провинциях, где население ждет скорейшей эвакуации союзнических войск, центр и социал-демократы, отстаивающие ратификацию плана Юнга, в общем сохранили свои позиции, а кое-где и завоевали новые мандаты; в Саксонии, где компартия испытывает еще болезненные последствия brandлеровской политики, а социал-демократы изображают из себя «левых», успехи коммунистов менее значительны, чем в других пролетарских центрах.

Но общая картина от этого мало меняется. И наиболее показательными надо признать результаты выборов по Берлину. Компартия собрала там 565

тысяч голосов и увеличила число своих мандатов с 43 до 56. Если на муниципальных выборах 1925 г. компартия имела на 275 тысяч меньше голосов, чем социал-демократия, то теперь она почти ее догнала: социал-демократы получили только на 86 тыс. голосов больше, чем коммунисты. Вдобавок выборы показали мелкобуржуазный состав социал-демократических избирателей, ибо в 8 основных пролетарских районах компартия прошла на первом месте. В общем социал-демократы потеряли на этих выборах 164 тыс. голосов и 9 мандатов, сохранив, однако, пока первое место в берлинском муниципалитете (63 мандата).

Для других партий берлинские выборы показали следующие результаты: демократы потеряли 7 мандатов; маловлиятельный в протестантском Берлине католический центр сохранил свои 8 мандатов; немного выиграла пародная партия, получившая 16 мандатов; 7 мандатов потеряли националисты и, наконец, утроили число своих голосов (с 39 до 132 тыс.) фашисты, которые располагают теперь в берлинском муниципалитете 13 мандатами (в прежнем муниципалитете только тремя).

Германский пролетариат выразил таким образом полное доверие коммунистической партии, твердо идущей по пути революционных директив Коминтерна, и дал сокрушительный ответ и на клеветническую пропаганду социал-демократов и на «критику» ренегатов из Ленинбунда и брандлеровской фракции, растерявших последние остатки своих сторонников.

Огромное значение имеет результат выборов и как показатель тех затруднений, которые переживает Германия в связи с принятием плана Юнга и общей международной обстановкой. Поражение националистов, которые вели шумную кампанию против плана Юнга, показывает, что большинство буржуазных избирателей отдает себе отчет в бесплодности этой кампании. Но, принимая план Юнга, буржуазия делает отсюда и ряд политических выводов.

Германская буржуазия знает, что свои обязательства по плану Юнга она

может выполнить лишь путем расширения своего экспорта, а эта задача достижима лишь при условии максимального нажима на пролетариат. Борьба за рынки будет в ближайший период особенно острой, ибо биржевой крах в Нью-Йорке и угроза промышленного кризиса в Соединенных Штатах вызвали, как мы указывали выше, со стороны правительства Гувера ряд мер, направленных к усилению американского экспорта, главным соперником которого является именно германский вывоз. Интересно отметить, что уже при разрешении ряда вопросов, связанных с организацией Банка Международных Расчетов и второй Гаагской конференции, американская дипломатия заняла резко выраженную антигерманскую позицию, цель которой потеснить германского конкурента на мировом рынке.

Сдвиг буржуазии вправо — это политическая реакция буржуазии на положение, создавшееся в связи с этой международной ситуацией. Победа коммунистов над социал-демократами — это политический ответ пролетариата на предусматриваемое планом Юнга закабаление рабочего класса Германии. Германские пролетарии знают, что никакая тактика приспособления к растущему наступлению буржуазии не может дать выхода из создавшегося положения. Гордиев узел германской политики можно только разрубить мечом революционной борьбы.

#### «Дерзкая» нота и «удовлетворение» Стимсона

«Никогда ни одно правительство не осмеливалось разговаривать таким тоном со страшной Келлога и Гувера» — так пишет по поводу ответной ноты тов. Литвинова на выступление Стимсона французская газета «*Homme Libre*». Такую же оценку ноты тов. Литвинова дают и другие газеты. В зависимости от отношения этих газет к СССР и САСШ меняется лишь окраска этой оценки: для одних она представляется «неслыханно дерзкой, наглой и вызывающей», для других — «острой, меткой и иронической». И даже английская газета в Шанхае «*Nord. China Daily News*»

пишет: «Мы не очень расположены к советскому правительству, но позволяем себе открыто сказать, что именно такого ответа и следовало ожидать. Меньше всего должен удивляться острому ответу Москвы Вашингтон, всегда игнорировавший Москву».

Мы не будем останавливаться на анализе ноты тов. Литвинова и причин, вызвавших ее появление (заявление мукденского правительства о готовности принять наши условия для ведения переговоров, обращение нанкинского правительства к Лиге Наций и Соединенным Штатам; нота САСШ, Англии и Франции, обращенная к СССР и Китаю с предостережением против нарушения пакта Келлога), ибо вопрос этот достаточно освещен в нашей ежедневной прессе.

Следует осветить лишь те международные последствия, которые вытекают из создавшегося положения. В этом отношении очень характерной представляется позиция, занятая министром ин. дел Соединенных Штатов Стимсоном после получения нашего ответа. Начав с оправдания своей инициативы, сводящегося к тому, что каждое государство, подписавшее пакт Келлога, должно благожелательно принимать всякое указание другого государства о необходимости избегать нарушения этого пакта, Стимсон поспешил на следующий день выразить свое «удовлетворение» по поводу благоприятного развития переговоров между Москвой и Мукденом, что дает надежду на полное изжитие конфликта.

Французская поговорка о «хорошей mine при плохой игре» полностью применима к этим заявлениям Стимсона. Ни для кого не тайна, что выступление Америки и присоединившихся к ней Англии и Франции менее всего преследовало цель содействия мирному урегулированию советско-китайского конфликта. Близкая к германскому министерству иностранных дел газета «Kölnische Zeitung» расценивает выступление САСШ, Англии и Франции как создание группировки держав, которая ставит себе определенные политические цели на Дальнем Востоке. «Именно поэтому, — пишет газета, — это выступ-

ление не могло рассчитывать ни на присоединение Германии и Японии, ни на принятие его Советским Союзом» («Kölnische Zeitung» 5 дек.)

Тот факт, что, несмотря на неудовлетворение этих целей, — а они сводятся к укреплению позиций американского капитализма в Манчжурии при помощи так наз. «интернационализации» КВЖД, — Стимсон выразил свое удовлетворение ходом наших переговоров с Мукденом, показывает, что Соединенные Штаты и присоединившиеся к ним державы не располагают достаточными возможностями для проведения своих политических намерений в жизнь.

Три основные препятствия стоят на пути к осуществлению американских претензий. Это, во-первых, сопротивление Японии, которая менее всего склонна пустить могущественного американского соперника в Манчжурию, которую она пытается сделать сферой своего исключительного влияния.

Это, во-вторых, ослабление нанкинского правительства, которое является главным проводником американского влияния в Китае. Вынужденное «перемирие» с Фын Юн-сяном, от которого нанкинцы откупились денежной подачкой, успешное наступление «разбитого» Чжап Фа-гуэя и присоединившихся к нему гуапийцев на Кантон, восстание нанкинских войск в Пукоу (город, расположенный против Нанкина на противоположном берегу Ян-Цзы) — все это факторы, которые менее всего могут способствовать усилению политического веса нанкинского правительства как во внутренней, так и во внешней политике Китая.

И, наконец, третье и самое главное обстоятельство: СССР обладает достаточной силой, чтобы советское правительство могло твердой рукой проводить свою мирную политику. И это лучше всего оценили японцы, хорошо осведомленные насчет истинного соотношения сил на Дальнем Востоке. Японская газета «Цюо», отражая мнение политических кругов в Токио, пишет: «Советский Союз остается одной из величайших европейских держав и является независимой страной, которую

нельзя сравнивать с Мексикой.. Совершенно ясно, что Америка не может запугать СССР.

Не может не только «запугать», прибавим мы, но и отклонить его хотя бы

на ноту от принятой им линии политики на Дальнем Востоке. Вот почему мы можем писать «дерзкие» ноты Стимсону, а последний может лишь выражать свое «удовлетворение».

### 3. ЛЕТО В ИСПАНИИ

#### Л. Никулин

##### Сады Черномера

«Африка начинается за Пиринеями». Из путеводителя.

Александр Яковлевич Таиров, режиссер Московского Камерного театра, сказал:

— Вы едете в Алжир, а я, кажется, в Испанию. В Барселоне—театральный конгресс.— Потом, помолчав, прибавил: — В сущности почему бы вам не поехать в Испанию?

Никто из нас не улыбнулся. На стенах висели плакаты всемирной выставки в Барселоне и Севилье, карта движения автокаров Северо-Африканской компании, плакаты Канадского Пассифик-Экспресса. Мир напоминал о себе в маленькой комнате под стеклянным потолком, в салоне отеля на рю Бюсси.

— В сущности почему не поехать в Испанию? Алжир или Испания? Африка или Пиринейский полуостров? Разве не говорят: «Африка начинается за Пиринеями»? }

Я нахожу единственный довод:

— Виза?

— Давайте устраивать визу.

И начался бешеный день, июньский жаркий день в Париже, телеграф, телефонные звонки, розыски нужных людей, их секретари, их визитные карточки и, наконец, старый, тихий дом вблизи Елисейских полей, тяжелые темно-красные гардины, прохладные, высокие полутемные залы— королевское испанское посольство. В золотой раме над нами в три человеческих роста— господин в мундире, белых панталонах, чулках и туфлях с пряжками. У господина рассеянный и важный вид, большой нос Бурбонов и тут же под рукой на тумбе корона и скипетр. Таиров и я смотрим на портрет и улы-

баемся, тайно, чтобы не смущать нашего спутника.

Старый тихий дом в тревоге. Молоденький секретарь посольства смущен и растерян: «Господин советник, конечно, не возражает. Но такой случай— советские паспорта— мы запросим министерство, мы запросим Мадрид». Наш спутник, однако, настаивает: «У них— приглашение президента Конгресса. Наконец, такое поручительство. Вы говорите: два-три дня. Невозможно...»

В конце концов мы уходим ни с чем. Секретарь посольства обещает позвонить.

На улице наш спутник объясняет:

— Действительно... Со времени русской революции, за двенадцать лет, они дали всего шесть виз русским. Считая в том числе одну визу Шалапину. Вообще они не пускают русских. Ни красных, ни белых. Никаких.

Мы простились на Елисейских полях. Было около шести вечера. Я шел и думал о том, что не будь испанского плана я был бы утром в Марселе, а через сорок восемь часов в гавани Орана, в Алжире.

В конце концов, что мы знаем об Алжире?

В конце концов, что мы знаем об Испании?

— К л и м а т ? — ...«Ночной зефир струит эфир, шумит, бежит Гвадалquivир».

— Б ы т ? — ...«Раздаются серенады, раздается звон мечей...»

— И с т о р и я ? — «В курсе среднеучебных заведений. Испания— колония римлян. Затем пришли готы и уничтожили римскую культуру. Дальше Испания— колония мавров. Кордовский калифат, Гранада, Альгамбра. Затем

пришли испанцы и уничтожили культуру мавров. Восемь дарованных и отнятых королями конституций. Примо де Ривера и нос Альфонса тринадцатого.

— Искусство?—Грекко, Веласкес, Гойя. Музыка—Гранадос, Альбениц. Танцы—Винcente Эскудеро, и все это мешается с фальшивой чепухой «Накинув плащ, с гит-а-рой...»

— Экономика?—Свинцовые рудники, известные со времен императора Траяна, пробковый дуб, пробка, Испания закупоривает бутылки всему миру. Малага, Херес де ла Фронтейра, ведь это же города, а не только винные бутылки...

И шесть виз «русским, все равно каким», шесть виз, включая Шалапина.

В Негорелом на деревянной арке, обращенной в сторону Польши, есть надпись: «Революция сотрет все границы». Граница есть воображаемая линия. Я видел афгано-персидскую границу. Она проходит по руслу высохшей горной речки. Идет верблюд, раскачиваясь под тяжелым вьюком, шагая и по земле Афганистана и по персидской земле. Я видел границу Франции и Швейцарии: два пограничника, француз и швейцарец, закуривают друг у друга сигареты. Вентиля на Ривьере, Хендая на Пиринеях. И здесь и там люди говорят на одном языке, на том, который им знаком с детства. Швейцарец похож лицом на француза из Савойи, испанский баск—на французского. Невидимая, воображаемая линия между людьми, которая внезапно становится реальной и осязаемой в тот момент, когда перед вами стоит человек в форме и говорит, внимательно смотря вам в глаза:

— Ваш паспорт, будьте добры...

Проходят два дня, и еще два дня. Маленький секретарь отвечает: «Мы написали в Мадрид. Pas de reponse. Пока — нет ответа».

«Гаснут дальней Альпухары...» Пусть гаснут золотистые края, но эти шесть виз, выданных русским, «все равно каким», приводят в ярость. Еще день. Из Мадрида не отвечают. Я принимаю решение. В десять часов утра еду в бюро Кука, затем поезд до Мар-

селя и пароход «Мустафа» из Марселя в Оран. В последнюю минуту, как это делается в среднего достоинства фильмах, телефонный звонок и суховатый официальный голос. «Мсье, в два часа дня, бульвар Мальзерб, испанское консульство. Не забудьте—две фотографических карточки и паспорт».

Я позвонил Таирову.

«Да. Мне тоже звонили. Но знаете ли.. Завтра я уезжаю в Шварцвальд».

И он, действительно уехал в Шварцвальд.

В испанское консульство я пошел один. У нас нет дипломатических сношений с Испанией. Поэтому на простом бланке консульства приклеили мою фотографию и написали на звучном языке, языке Кальдерона и Сервантеса:

«Дон Леон Никулин, по национальности русский, отправляется в Испанию. В соответствии с чем гражданские и военные власти Испании не должны чинить ему препятствий в его путешествии.

Генеральный Консул Испании в городе Париже Гарсиа Мунос».

Таким образом я получил визу номер восемь. У Таирова была седьмая виза, но он не поехал.

### Короли и пальмы

«По переписи 1920 года в Испании вместе с колониями—21.880.000 жителей. Барселона с пригородами имеет 1.141.000 жителей. Барселона — индустриальный центр Испании и самый большой коммерческий порт. Барселона более чем какой-нибудь другой город в Испании походит на большие европейские города».

Baeien J. „Principaux traits du développement économique de l'Espagne“ 1924. Paris..

В отличие от «Королей и капусты» О. Генри, в названной главе все же немного говорится о королях и о пальмах.

Я опустился под землю на вокзале Д'Орсей. Он похож на станцию метрополитена. Десять минут мы ехали под землей. Мы начали дорогу в темноте, в тоннеле, продолжали ее ночью по

электрической дороге—267 километров до Виерзон. Оттого, что путешествие началось вечером в темноте тоннеля и кончилось в сверкании моря и блеске белых скал, вся дорога от Парижа до испанской границы показалась тоннелем метрополитена. По пути были большие города—Орлеан, Лимож, Тулуза, Нарбона, Перпиньян. Но ночью большие станции похожи одна на другую, железнодорожные рельсы отрывают всегда один и тот же краешек города. В коробке вагона—свой мир, из окна вы видите одно и то же: стрелки, сигнальные огни, водокачку, закопченные локомотивами дома. В Перпиньяне утром я увидел юг. Тени были чернее, плоскости под солнцем желтее и ярче. Большие белые быки грустно мычали в грязно-серых, легких вагонах. На вагонах было написано: «Барселона—Лимож». Дальше были тоннели, перерезаемые солнцем и виноградниками, сверкающие осколки залива и ребра желтых скал. В Сербере по вагонам пробежал человек в штатском и невнимательно просмотрел паспорта. Последний тоннель, за тоннелем—большой белый вокзал, высокий берег и в провале внизу голубое пламя—Средиземное море. Мы вышли из вагонов, шел обыкновенный контроль паспортов и багажа. Все было, как всюду, как на каждой границе, и даже лица у чиновников были такие же, как у литовских или эстонских пограничников. Но на платформе стоял поезд, и на вагонах были испанские надписи: «пара сеньорас», «пара но фюмадорес», и буфет назывался звучно «фонда», а в соответствующем месте были надписи: «кабалерос», «сеньорас». Начиналась Испания. Человек перестал быть просто человеком, просто мужчиной и назывался звучно и романтично «кабалеро». Два жандарма в светло-серых мундирах картинно рисовались на фоне обыкновенного багажного зала. Лакированные желтые ремни их поясов и портупей отражали каталонское, испанское солнце, на голове у жандармов были черные лакированные шляпы-треуголки, один угол был загнут, и треуголка походила на супрематистский, беспредметный рисунок, ком

бинацию плоскостей. Господин с золотым шитьем на отворотах сюртука, с золотыми лаврами и лилиями на фуражке смотрел на меня из окна вагона. У него был величественный вид, подстриженные усы с сединой, я удивился великолепию испанских морских мундиров, мне было лестно ехать в одном вагоне с адмиралом, но я тут же смутился, потому что, подойдя ближе, я рассмотрел на золотом шитье фуражки слова «вагон-ресторан». Да, мы в стране плаща и шпаги, но этот скромный плащ и старую боевую шпагу заменили золотые мундиры, нашивки, шевроны, эполеты, каски, звезды, шарфы, и от скромного муниципально-го служаки, подметающего улицу, и до самого короля Дон Альфонсо Трезе все имеют униформы и знаки отличия. Позже, в Мадриде, я увидел рослого кавалергарда в черно-золотом римском шлеме и золотых эполетах и не удивился, узнав, что это—пожарный, я увидел обшитых тройным серебряно-малиновым галуном бритых толстяков в балетном болеро и белооснежной лакированной обуви, при коротких мечках и револьверах, и они оказались курьерами «депутационе провинсиаль», т. е. муниципалитета. Наконец, я увидел жандармов и полицию в белых и серых тропических шлемах, в красных и серо-голубых мундирах при белых панталонах, я увидел во всех видах и в любом количестве альгвазилов из «Севильского цырюльщика»,—и все это, в соединении с формами солдат и офицеров, было совершенно не похоже на остальную Европу, а похоже на роскошную постановку первого акта «Кармен» в бывшем императорском театре.

Пока поезд шел ни быстро, ни медленно, пассажиров не швыряло из стороны в сторону, как в остальной Европе, никто никуда не торопился, поезд стоял на станциях больше, чем полагается стоять по расписанию, я мог наблюдать встречные поезда, так называемые «корео», то-есть почтовые, замечательные между прочим тем, что на весь поезд полагается только одна уборная в багажном вагоне. Из окна я видел обыкновенные вокзалы, стрел-

ки и пути, но селения и маленькие города совершенно не были похожи на остальную Европу. И удивительно, что это не было похоже на Испанию, какой мы себе ее представляли, а похоже на какую-то Мексику или Аргентину. Одинокие усадьбы в горах напоминали гасиенды из романов Эмара или испано-американских фильм Фербенкса. Монастыри и соборы заставляли вспоминать Перу и Чили, а не Каталонию. Вероятно, это происходит оттого, что литературный багаж наш главным образом наполнен аксессуарами испано-американской романтики, и мы очень мало знаем, вернее, совсем не знаем Каталонию прошлого века. Только один город, Жерона, вдруг встал на возвышенности со всем угрюмым великолепием средневековья, резкой линией своих темно-серых фасадов, полосатых тентов над решетчатыми окнами, пестрым тряпьем, свисающим из окон и балконов. Как бы оторвавшись от минувших веков, он пролетел, паря в воздухе перед окном вагона, и скрылся, чтобы потом повториться в Толедо, Труильо, Авиле и Сеговии. Дальше была железная дорога, стрелки, шлагбаумы и автомобили и суконовые фабрики, и затем очень большой город, в который мы долго въезжали, пока не остановились под дебаркадом большого и грязного вокзала, каких на земле сотни. Это был «Эстасион де Франсиа» — Барселонский вокзал — 167 километров от французской границы.

Гавани, южные портовые города всего мира похожи друг на друга. Так Одесса похожа на Марсель и Тулон на Севастополь. В Барселоне над облаком белой пыли, над грузовиками, над рекламными паромных агентств вдоль бульвара, называемого Пасео дель Колон, встал двойной ряд пальм, и острые, перистые пальмовые ветви с необыкновенной естественностью входили в этот уличный пейзаж. Аллея пальм не была декорацией, искусственной аллеей ботанических садов, как на Ривьере или у нас на Черноморском побережье. Пальмы росли естественно, пышно и целко, врасая в пейзаж, как акация на одесских улицах, как

киевские тополя или парижские платаны. Так пальмы росли в Барселоне и в Севилье, в парке Марии-Луизы среди бамбуковых зарослей и кактусов. По всей стране из желтой, серой, красно-коричневой земли поднимались эти прямые и наклонные стволы. Высохшие, мертвые их ветви поникали и падали вниз, но свежие темно-зеленые острия торчали из пальмовой кроны, как стрелы из колчана.

Возможно, что Африка начиналась именно здесь, за Пиринеями.

Пасео дель Колон носит имя Христофора Колон, в переводе на европейские языки — имя Христофора Колумба. Каталонцы считают Колону Колумба первым памятником Испании. Один мальчик спросил меня, правда ли, что колонна Колумба выше башни Эйфеля. Ничего замечательного нет в этом памятнике. Это очень высокий и очень громоздкий бронзовый подсвечник. Когда страна теряет свою славу, своих завоевателей и великих людей, она ставит памятники своему прошлому. Много странно и загадочно в открытии Америки. И то, что величайший и прославленный мореплаватель Испании не был в сущности ни испанцем, ни кастильцем, ни каталонцем, а генуэзцем или, по последним исследованиям, левантинцем. И то, что жизнь и смерть Колумба остались загадочными и неясными даже теперь, когда все королевские архивы открыты для обозрения в палатце Испании на всемирной выставке. Вы можете увидеть письма Колумба, вы увидите на разных документах его подпись, вы узнаете, что у него было три каравеллы и 120 человек экипажа, но вы не узнаете, как он умер и где похоронен, потому что в пустом саркофаге Севильского собора в гробнице Колумба нет его останков. В конце концов вы знаете, что новый материк — Америка — назван Америкой в честь Америго, а не Колумбией в честь Колумба, и в этом есть жестокая несправедливость. Великолепна после смерти и печальна при жизни была судьба этого человека, открывшего новую часть света и умершего в нужде, забвении и неизвестности, подобно другому великому



испанцу — Мигуэлю Сервантес де Саведра.

Колонна Колумба начинает удивительные барселонские большие бульвары — Рамбла дель Центро. Барселонский порт открывается со ступеней монумента Колумбу. И казармы барселонского гарнизона как бы сторожат вход в старый город и выход в порт. Он называется, как это ни странно, порт мира. В этом порту на внешнем рейде недавно стояли английская, французская и немецкая крейсерские эскадры, посетившие Барселону по случаю открытия всемирной выставки. Я еще застал эскадру Соединенных Штатов — три сверхкредноута: «Ута», «Арканзас», «Иллинойс», но об этом несколько позже.

Испанская пехота одета в форму, напоминающую форму бой-скаутов. В противовес другим родам оружия пехота одета более чем скромно. Солдаты сидят у ворот на табуретах и, совершенно, как в кафе, едят мороженое и пьют лимонад. Я рассказываю об этом потому, что все это скорее похоже на мизансцены первого акта оперы «Кармен», а не на обыкновенное представление о казарме, и специально для того, чтобы опровергнуть утверждение, что Барселона «более чем какой-нибудь другой город Испании походит на большие европейские города». Старая Барселона — своеобразный и удивительный город, соединение средневековой Каталонии с автоматическими телефонами, газом, электричеством и автомобилями. Новая Барселона тоже, конечно, не Европа. Это — неудержимо растущая столица в каком-нибудь южноамериканском государстве. Это Буэнос-Айрес или Рио де Жанейро в миниатюре, конечно. Новая Барселона производит впечатление выставочной территории незадолго до открытия. Уже совершенно готовы и оборудованы четырнадцатитажные небоскребы, закончены широкие авеню и площади, но кое-где еще строят, кое-где еще достраивают, и есть пустые участки на новых авеню, и на особой доске вы прочтаете, что эта земля — собственность государства или собственность Банко д'Эспана. Все вчерне

готово, уже работает метрополитен и бегают темно-красные высокие автобусы, еще некоторая сумма денег — и новый Сан-Франциско или Буэнос-Айрес готов. Действительно, это не похоже на остальную Испанию, это перескочило новый Мадрид с его чепухой небоскребами. И все это сделал каталонский деловой, азартный темперамент, иностранные займы, дешевые рабочие руки, дешевая электрическая энергия, белый уголь Пиринеев. В этом городе, в этом порту сосредоточилась треть всей испанской индустрии. Дикая сверхприбыль предпринимателей, американские займы дали возможность испанским и каталонским капиталистам бросить очень большую сумму на рискованное предприятие — всемирную выставку в Барселоне и Севилье 1929 года. Пустыри, пустынные горные склоны в течение десяти лет застроили гигантскими постоянными павильонами из камня, бетона и железа, рассчитанными на десятилетия, а не на короткое трехмесячное существование обыкновенной всемирной выставки. 29 мая 1929 года, как выражается выставочный проспект, «под высочайшим покровительством короля Испании, в сотрудничестве с испанским правительством, муниципалитет Барселоны открыл всемирную выставку в присутствии представителей всех дружественных Испании правительств».

Барселонская выставка в сущности — целый отдельный от старой и новой Барселоны город, интернациональный город-парк, рассчитанный на астрономическую цифру иностранных туристов. Широкую и очень импозантную улицу Кале де лас Кортес закончили круглой площадью плаца д'Эспанья и мощным фонтаном, напоминающим романтическую архитектурную декорацию, портал Ренессанса. Один полукруг площади состоит из четырех многоэтажных выставочных отелей. Они отличаются по номерам — первый, второй, третий, четвертый — и имеют однообразно казарменный вид. В этом же полукруге находится специально выстроенный «аренас Барселонас» — новая арена для боя быков. Таким об-

разом Кале де лас Кортес и продолжение ее Кале Каталана — это прямая линия, которая начинается в одном конце новой арены для боя быков и кончается «плаца де торос», то-есть старой ареной для боя быков. Поскольку бой быков и все имеющее отношение к этому жестокому развлечению представляет собой род национальной испанской промышленности, организаторы выставки не могли оставить его без внимания и выстроили тут же, под рукой, для обитателей четырех выставочных отелей специальную, новую арену, рассчитанную на шестнадцать тысяч зрителей. Остальная часть площади представляет собой главный вход на выставочную территорию. Здесь подготовлен замечательный декоративный эффект, рассчитанный главным образом на сверхъестественную ночную иллюминацию. Горные склоны и крутые спуски пустыря превратили в террасы, и главная артерия выставки, авеню от центрального входа, завершается тремя террасами и как бы висящим в воздухе бледно-золотым фасадом национального дворца, дворца Испании. К этому дворцу ведет двойной ряд высоких стеклянных обелисков, представляющих в сущности гигантские электрические лампы. Целая система мощных световых фонтанов разбросана по террасам, но главный эффект, конечно, в большом каскаде, роде водопада, устроенном прямо против национального дворца. Вся эта комбинация фонтанов и электрических обелисков одновременно меняет цвет, медленно переходя от изумрудных к рубиновым тонам. Соединение воды и электричества, воды и пронизывающих ее световых лучей представляет собой чудовищный аттракцион, это не восхищает, а ошеломляет, потому что ночь действительно превращена в день, и притом световые источники местами едва ли не ярче дневных и расположены так, как это нужно для данного угла зрения архитектору. И когда этот аттракцион пущен, когда бьют на большую высоту гигантские водяные кипарисы-фонтаны, меняют цвета и шумят искусственные водопады-каскады, над всем парит в высо-

те розово-золотой дворец и позади дворца, как хвост чудовищного павлина, веером раздвинуты девять лучей, девять самых сильных в мире прожекторов, — зрелище получается ошеломляющее, невообразимое и действительно величественное. Но через пять минут все вместе — потоп света и шум воды — начинает утомлять, и вы норвите уйти в отдаленную аллею парка, который в сущности представляет собой вся территория выставки.

Местность и пространство действительно использованы великолепно. Масштабы и размеры зданий доведены до абсурда. Например, национальный дворец имеет территорию в 32 тысячи квадратных метров при высоте в 19 метров. Зала празднеств вмещает двадцать тысяч человек, и размеры ее — пять тысяч квадратных метров. Дворец текстильной индустрии — 19 тысяч квадратных метров, дворец электричества и двигателей — 17 тысяч квадратных метров. Специально выстроенный стадион имеет арену в 20 тысяч квадратных метров, общие его размеры — 45 тысяч квадратных метров. Я нарочно привожу все эти цифры, они определяют аппетиты организаторов выставки. Огромные суммы и средства были вложены в это дело в расчете на сотни тысяч туристов, все было сделано для того, чтобы удовлетворить взыскательных американцев, англичан, французов, которые сами мастера устраивать развлекательные выставки. Все имело свои основания, даже потоп электричества. Барселона, вообще Испания, живет ночью. Выставка строилась в расчете на ночь, а не на день. С часу до четырех дня она вообще закрыта для посетителей. Деловая жизнь в Испании начинается в десять утра и кончается в час дня. Затем от часу до четырех перерыв, затем от четырех до пяти один час на завершение делового дня. В Каталонии, в Барселоне учреждения работают немного больше, чем в остальной Испании, но для таких городов как Севилья и особенно чиновничий, бюрократический Мадрид все сказанное — непреложное правило. В

летние месяцы, при жаре сорок-пятьдесят градусов в тени, уличная жизнь начинается к вечеру, после пяти часов дня. Спектакли в театрах и синематографах начинаются в одиннадцать часов вечера и кончаются к двум часам ночи. Улицы пустеют только в четыре-пять часов утра. Это очень своеобразно, по-испански, но все это мало устраивало гостей-иностранцев, у которых свои вкусы и свое распределение времени. Затем — жара, этого уже никак не могли вынести иностранные гости. Наконец, географическое расположение Испании и Барселоны: все же выставка несколько в стороне от обычных туристских путей. И вышло так: в июле, за два месяца до закрытия выставки, три специально выстроенных отеля были вообще закрыты, а в самом большом отеле номер один было едва ли двадцать человек туристов. И было так, что в гигантских павильонах, рассчитанных на тысячи, десятки тысяч посетителей, под накаленными зрышами, в изнуряющей духоте бродили одинокие служащие стандов и напуганный одиночеством затерянный иностранец. Специальные такси на выставке, автобусы, маленькая, специально проложенная железная дорога перевозила одного и того же, двух, трех, десять, сто туристов в день, словом, в тысячу, в десять тысяч раз меньше того числа, на которое рассчитывали.

Я стоял поздно ночью на террасе против национального дворца. Девять прожекторов играли, как голубой нимб над его фасадом. Сияли электрическиеobelisks, шумели фонтаны и водяные каскады, надрывались громкоговорители, играли оркестрики пятидесяти баров и ресторанов, грохотали аттракционы только-что выстроенного лунапарка. И во всех аллеях, во всех павильонах и дворцах и бodegaх, таверти баров и ресторанов, грохотали аттракционы только-что выстроенного лунапарка. И во всех аллеях, во всех падирижабль летал над территорией выставки, лавируя между лучами прожекторов. Вдали, на очень большом расстоянии, на склонах противоположных гор тоже играли прожектора, все это было очень эффектно, ослепляло,

подавляло и пугало отсутствием людей. Я бродил от павильона к павильону, почти один в пустынных аллеях. Гирлянды электрических ламп светились среди зелени, в пустых гротах стояли столики для любителей мороженого, где-то играли спрятанные музыканты, и все это удивительно походило на волшебные сады Черномора, в которых одиноко бродила похищенная Людмила.

Но если вы хотите осмотреть дворцы металлургии, транспорта, химической индустрии, надо, не пугаясь жары, приходиться утром, и в несколько дней вы получите представление если не об испанской промышленности, то во всяком случае о немецкой и французской. Испанской промышленности вообще почти нет на выставке. Есть, например, павильон испанской военной промышленности, демонстрирующей образцы военного снаряжения и оружия с характерной надписью при входе: «Если хочешь мира — готовься к войне». Есть павильон автомобильной марки «Испано-Сюзиса», выпускающей дорогие машины и мощные моторы для аэропланов. Но это предприятие представляет собой удивительное сочетание: швейцарские инженеры строят машины во Франции, при помощи французских рабочих и техников, на испанские деньги. Пробковая промышленность, четвертая по значению в стране, вообще не представлена на выставке. Тут мы вплотную подходим к чисто политическим причинам, о которых в таких выражениях говорит мой знакомый каталонец, житель Барселоны:

— Если вы хотите видеть униженную, несчастную и ограбленную страну и нацию, приезжайте в Каталонию. Именно нацию, потому что мы, каталонцы, — нация, имеющая свой язык, свою литературу, музыку и искусство. С испанцами, то-есть с кастильцами, мы имеем столько же общего, сколько с французами и итальянцами. Все, что вы видите здесь, в Каталонии и Барселоне, вы не увидите в остальной Испании. Мы — национальное меньшинство, нас три миллиона, но мы стоим больше, чем остальные восемнадцать

миллионов. Язык каталонский находится под запретом, искусство и музыка допускаются с особого разрешения. Даже танец, наш национальный народный танец «сардана», разрешается по большим праздникам, впрочем, его танцуют на улицах, и полиция приходится закрывать на это глаза.

В чрезвычайно сильных выражениях он пересказал известную историю присоединения автономной Каталонии сначала к королевству Арагон и затем соединение Арагона с Кастилией после брака короля Фердинанда и Изабеллы Католической. Все это можно прочесть в любом учебнике истории, историю уничтожения автономии Каталонии, утрату Каталонией ее привилегий и вольностей, но вряд ли какая-нибудь другая нация острее переживает эти старые обиды.

— Вы приезжаете в нашу страну и называете нас испанцами, вы думаете, что вы находитесь в Испании, между тем это—Каталония, а не Испания. Это каталонская, это барселонская выставка. Если вы хотите видеть испано-американскую выставку,—поезжайте в Севилью и сравните. Они—кастильцы, вместе с Мексикой, Кубой, Аргентиной, Бразилией—не смогли сделать десятой части того, что сделал один город Барселона. Вы спрашиваете о пробке? Конечно, они нам не дали возможности показать четвертую в стране продукцию, но сами они тоже ее не показали у себя в Севилье. И разве это не скандал, когда четвертая промышленность в стране, едва ли не первая экспортная промышленность вообще, не существует на выставке!

Этот разговор происходил в маленьком ресторанчике на Рамбла, на барселонских бульварах. Разговор шел на французском языке, и то, что было не совсем безопасно для моего собеседника подчеркивать, повышая голос, он подчеркивал выразительным жестом, блеском глаз и мимикой, которая в этой стране выразительнее речи.

— А Примо де Ривера? Знаете, кто помог ему захватить власть? Мы, каталонцы. Он командовал барселонским гарнизоном, и каталонцы, умные го-

ловы, помогли ему организовать переворот. Они помогали ему, во-первых, потому, что им надоела эта сумасшедшая жизнь, эта политическая возня между офицерскими союзами и журналистами, между социалистами и синдикалистами, политическая борьба, в которой главный довод был браунинг, убийство из-за угла и мордобой. Так называемые лидеры дрались между собой, рабочие мало понимали в этой драке, но они чувствовали ее и чувствуют на своей спине и, когда они доходили до крайности, они выходили на улицы и тогда... — он сделал выразительный жест, изображая работу пулемета... — вы меня понимаете, я не большевик, я радикал и каталонский патриот, но в конце концов что же они могут делать, эти бедняги? Жизнь в Испании бешено дорога, надо жить и кормить детей, платят мало. Повышать плату нельзя—какой же смысл тогда делать дела в Испании? Словом, я вернулся к Примо де Ривера. Он обещал нашим автономистам автономию Каталонии, захватил власть и послал их к черту. Вы ничего не слышали о барселонской тюрьме? В своем роде тоже аттракцион. Вы ничего не слышали о нашем префекте? У нас выходят газеты на каталонском языке. Одну из них на-днях чуть не задушили чудовищным штрафом. Знаете почему? Из-за простой опечатки. В газете в принудительном порядке, было напечатано объявление о собрании «Унион патриотика»: это, с позволения сказать, партия Примо де Ривера. Газета набирается на лнотипах. Вследствие недосмотра в это объявление попала строка из другого объявления «дрессировка сторожевых собак»... Вы смеетесь? Уверяю вас, редактор газеты не смеялся. Газету закрыли на месяц и взяли три тысячи пезет—штраф. А хотите анекдот о диктаторе, о Примо де Ривера? Государственный совет за его высокие заслуги решил подарить ему дом. И вот, когда выносили постановление о подарке, явился адъютант диктатора и от его имени заявил: «Эль президенте не желает, чтобы ему дарили дом, он предпочитает получить подарок наличными».

И ему подарили пять миллионов пезет. Вы не верите? Но, мой друг, вы же в Испании. Вы собираетесь сделать тур по Испании в автокарах «Иберийской компании транспорта и туризма». Вы знаете, кто главный акционер компании? Эль президенте! И лучший автокар носит некоторым образом его имя: «Raydo del Ogo», «Золотой луч», — это, так сказать, символизирует его имя. Да, мой друг, это очень странно не дать ни одного сантима в дело и быть главным акционером, это странно, но вы же в Испании.

«Но вы же в Испании». Это звучало в дальнейшем, как лейтмотив. По дороге между Кордовой и Гранадой взрывается и сгорает автобус: шестнадцать заживо сгоревших людей, рекордное число для автомобильной катастрофы, — «вы же в Испании». Любое животное, находящееся без присмотра на дороге, можно безнаказанно давить — «вы же в Испании». Мелкий чиновник может вам причинить серьезнейшие неприятности — «вы же в Испании». И наконец, то, что испанская промышленность чрезвычайно слабо представлена на всемирной выставке в Барселоне и Севилье, с этой точки зрения никого не удивляет. «Мы же в Испании...» Зато немцы в химической и металлургической промышленности представлены блестяще. Немецкий современный суховатый, модернизированный стиль преобладает на выставке. Никелевая металлическая конторская мебель захватила все немецкие стэнды. Вы проходите по всем этим дворцам, охватывающим тысячи квадратных метров, и видите одни и те же названия городов: «Штутгарт, Лейпциг — заводы Юнкерс; Эссен — Крупп; Висбаден, Франкфурт, Дармштат — «Мерк», «Бауэр», наконец, пиво, — как не странно, пивную промышленность оборудовали и организовали в Испании немцы. Вся эта дорого стоящая и импозантная инсталляция в общем ни чему, потому что, как я уже говорил раньше, по павильонам бродят одинокие туристы, на которых с радостным удивлением смотрят служащие стэндов. Единственная надежда — приток туристов осенью; когда спадет зной. Американцы в об-

щем не слишком заинтересованы выставкой. Но есть очень интересный павильон — целая обувная фабрика, построенная по системе конвейера. Вы видите первый станок, на котором режут на куски кусок кожи, и проходите тридцать или сорок станков, непрерывно наблюдая превращение куска кожи в совершенно готовые ботинки. Последний процесс работы — шнурки, которые с необыкновенным проворством вдергиваются в дырочки туфель или ботинок. Французы отнеслись к выставке не слишком серьезно, и это странно, потому что у себя во Франции они умеют показать товар. Есть, конечно, автомобили очень хороших марок и образцы хорошей текстильной промышленности из Рубэ, и парфюмерия, которая владычествует на мировом рынке. И почему-то в особых витринах выставлены театральные костюмы Сесиль Сорель из французской комедии.

Великолепен и значителен для специалистов и обыкновенных зрителей дворец транспорта, где Италия показывает гидроаэропланы, авиационные моторы и хорошие, но чудовищно дорогие автомобили Изотто-Фраскини. Немцы выставили целые железнодорожные составы, спальные вагоны и паровозы, и вообще этот павильон, в котором выставлены гигантские двухэтажные автобусы, пассажирские авионы и даже целая носовая часть большого парохода, — самое интересное на выставке. Надо сказать, что и испанцы здесь выставили образцы своих трамвайных, железнодорожных вагонов.

От дворца к дворцу, от павильона к павильону, пока не притупляется внимание, пока глаз останавливается главным образом на вещах и предметах, развлекающих зрителя. Например, в эту сорокаградусную жару под накалиенной крышей норвежского павильона забавно выглядят вязаные шерстяные фуфайки, коньки, лыжи; это в стране, в которой снег бывает только в горах, на высоте тысячи метров, в январе месяце. Тоже весьма кстати в Испании шведские снегоочистители и рядом с ними белокурые шведские и норвежские барышни, совершенно разморен-

ные, изнывающие от непривычной жары. Или вдруг, при выходе из норвежского павильона, вас поразит большая гипсовая группа, изображающая голого молодого атлета, которого кусает пантера туда, где по выражению французов «спина теряет свое название». Что это — символ или просто образец норвежского нового искусства? Вы ускоряете шаг и проходите мимо заранее известных стандов — швейцарского с часами и австрийского с куклами и безделушками. Еще раз вы умиляетесь декоративному фризу над дворцом металлургии. Там изображены мускулистые рабочие в позе рабов на египетских барельефах и элегантные туристы и туристки, так сказать, патриции, юнисходительно интересующиеся трудом рабов. Все это нарисовано вполне серьезно, старательно и безвкусно, но с бесспорным реализмом. В общем, если бы не было желто-красных национальных флагов и эффектных, нигде в Европе не повторяющихся мундиров испанской жандармерии и полиции, — вы бы чувствовали себя в любой европейской столице и на любой интернациональной выставке. Но чтобы вы не окончательно забыли о том, что находитесь в Каталонии и в Испании, всю территорию выставки возглавляет «палаццо» — дворец Испании, а несколько в стороне выстроен «пуэбла эспаньоль», иначе говоря, испанская показательная деревня. Во дворце Испании вы увидите картины и гобелены и сокровища, которые собрала Испания в короткий период своего владычества над миром. Пуэбла эспаньоль тоже стоит внимания и представляет собой экспонат исторический — уходящую старую Испанию.

Пуэбла эспаньоль — средневековая обнесенная стенами деревня. Башни, подвальный мост и бойницы фотографически точно копируют стены испанского городка Авиллы в старой Кастилии. Ворота и подвальный мост копируют Толедо. Наконец, каждый дом есть точная копия фасада какого-нибудь определенного, известного в архитектуре старинного дома в Севилье, Труильо или в Сеговии. Таким образом

в этой маленькой деревне каждая улица представляет собой определенную испанскую провинцию. Есть «Кале Мерченариас», т. е. улица торговцев, — это каталонская улица; «Кале Кабалерос» — точно воспроизведенная улица андалузской деревни. Есть деревенские улицы старой и новой Кастилии, Эстремадуры, монастырь — копия монастыря вблизи Жероны, при чем воспроизведен даже склеп и гробницы прелатов и епископов. По существу это неплохая мысль дать представление о всей стране на пространстве в 20 тысяч квадратных метров. Но это превратилось в ярмарку, и хорошенькие продавщицы в национальных костюмах и севильские таверны с танцовщицами «фламенко», т. е. цыганками, кажутся костюмированными статистами, хотя это действительно настоящие гитаны из Гранады. В общем здесь оправдались все расчеты, именно сюда, только сюда идет турист-иностранец. На площади под открытым небом устраивают турниры и пасторальные балы, и состязания народных певцов и танцоров. На мгновение можно забыть о том, что в толпе под аркадами старинной ратуши не банковские клеточки и представители автомобильных марок и их дамы, не французские рантье, а рыцари ордена Калатравы, по меньшей мере. Но электричество цинично открывает все карты и секреты, и ясно, что старые дубовые балки подрисованы декоратором, дома четырнадцатого века выстроены из бетона, и старинное стекло сделано по особому заказу на стекольном заводе. Нет, не здесь надо искать «призывный звон гитары» и не здесь «раздаются серенады», а если раздаются, то слушают их за особую плату и чаще всего их передают громкоговорители. Монастырь близ Жероны — его копия — может еще ввести в заблуждение. Он расположен на обрыве над дикими кактусами, и плющ глядит в цветные витражи капеллы. Сюда почти не заглядывают туристы, и романтики могут здесь с приятностью мечтать о старой романтической Испании, если им не мешает грохот, гром, визг и ляг соседнего луна-парка, который находит-

ся внизу, как раз под обрывом, в приятном соседстве с копией Жеронского монастыря. А между тем здесь очень старались возродить старую Испанию, и даже полицию переделали в форму альгвазилов начала прошлого века, и герольды на улицах трубят в рога и выкликают программу ночного праздника на площади. Но старая Испания Пушкина, Лермонтова и Мериме существует. Вы находите осколки старого романтического быта, они не всегда безобразны и отталкивающи, иногда они очаровывают и привлекают, потому что они плоть и кровь этого народа, простого, простодушного и мужественного, именно простого народа, который умеет петь и танцевать на улицах, веселиться в бодегах с пустым, туго перетянутым шарфом желудком. Надо только уметь искать, надо среди фольги, мишуры и пальемаше найти настоящие алмазы, которых не замечают туристы. Не даром же поэты всего мира от Гейне до Михаила Светлова поминают Испанию. Без сожаления и печали расстанемся с этим интернациональным городом, с этой ярмаркой тщеславия, называемой всемирной выставкой. Прочтем гордую световую надпись при выходе:

Собственная электрическая станция мощностью в двенадцать тысяч лошадиных сил освещает двести тысяч кубических метров на территории выставки.

Длина проводов одна тысяча километров.

Зарево лампионов, прожекторов, огненные фонтаны останутся позади. И если мы хотим увидеть настоящую Барселону, настоящую Каталонию, мы свернем сразу вправо и по улице, называемой «Параллело», придем в старый город.

### Старый город

Большая и очень широкая улица Барселоны называлась просто и просто запоминалась. Улица называлась «Параллело», иначе Параллельная улица. Другая большая и живая улица назы-

валась «Диагонале» — то-есть попросту Диагональная улица. Первая улица параллельна Рамбла дель Центро, то-есть бульварам старого города. Вторая перерезывает город по диагонали, как это понятно из названия. Теперь эти улицы называются Кале маркиз дель Дуэро и Кале Альфонсо Трезе. Но жители Барселоны называют их по-старому — Параллело и Диагонале.

Параллело начинается несколько скучно, серыми фабричными корпусами, гаражами выставки. Она широка и просторна и замощена тесаным камнем. По вечерам улица несколько темновата, особенно после плаца Эспанья. Но вот вы переступаете какую-то черту и вдруг понимаете, что вы попали в сердце, в центр замечательного города и простодушного, несколько старомодного быта. Это — улица народных кофеен. Широкие тротуары заставлены столами и стульями. Временные, легкие эстрады для оркестров возвышаются над толпой. Столики во всю ширину тротуара, столики под аркадами старых, приземистых и сумрачных домов. Фонари и фонарики только недавно прилажены для электричества. Это именно кофейни середины прошлого века, а не кафе с зеркальными витринами и мраморными стойками. В одиннадцать часов вечера эта длинная и широкая, как Курфюрстендам, как Невский, улица залпужена толпой. Мужчины без пиджаков с расстегнутым воротом сорочки, женщины без шляп с высокими черепаховыми гребнями и цветами в гладких блестящих и черных волосах. Приходят всегда семьями. Родители с взрослыми дочерьми и обязательно с бабушкой в черной кружевной мантилье. Они пьют кофе, здесь вообще мало пьют вино, и совершенно не видно пьяных. Старик с седой, падающей на плечи шевелюрой привозит на тележке механическое пианино. Мальчик лет двенадцати развешивает три разной величины барабана и берет в руки барабанные палки. Затем старик методически вертит ручку механического пианино, а мальчик в такт ударяет во все три барабана по очереди и в разбивку. Барабанная дробь заглушает мелодию пианино. Но

никого это не смущает, — старик вертит ручку, мальчик сосредоточенно отбивает дробь, а люди за столиками и под аркадами тоже сосредоточенно слушают, отпивая маленький глоток кофе и запивая большим глотком воды. Несколько дальше, в следующем кафе, играет настоящий оркестр. Толпа слушает, запрудив улицу. Вагоновожатые трамваев бешено стучат кулаками по звонку, воют рожки таксомоторов, толпа поддается медленно и неохотно. Люди священнодействуют. Они слушают музыку. В двенадцать часов по полицейским правилам прекращается музыка в уличных кофейнях. За полчаса до этого срока музыканты начинают играть народный танец, заперченный правительством каталонский национальный танец «сардану». Я видел «14 июля» в Париже, когда танцуют на площадях. Я видел, как пляшут у нас на окраинах под гармонику. Но невозможно себе представить очаровательной легкости, чувства ритма и врожденной грации каталонцев, танцующих запретную «сардану». Ее танцуют на мостовой, на тесаном бульварике и на тротуаре, взявшись за руки в круг. Танцуют два матроса и солдат. Танцует круг в тридцать человек, молодые и старые, девочки и чуть не старухи, лоя трудный, перемежающийся ритм. Круг ширится, в него входят все прохожие, улица пляшет, взявшись дружески за руки, и серо-голубые жандармы расплываются, не проявляя себя, не существуют в эти пятнадцать минут, пока народ танцует «сардану». Теплая южная ночь над танцующим народом, южные звезды и освежающая горная прохлада. Легкие мыши кружат над аркадами. Под разноцветными бумажными фонарями на зыбкой эстраде над танцующей улицей с темпераментом и самозабвением играют музыканты. Это Каталония, это Испания, которую ищут романтики. Еще две минуты. Мотив обрывается, музыканты складывают инструменты, и откуда-то из боковых переулков с рассеянным и скучающим видом парами спускаются серо-голубые джентльмены при шпагах и револьверах. Все в по-

рядке. Продащица из универсального магазина «Эль цикло», рабочий, грузчик из порта, актер, уличный торговец, адвокат, чистильщик сапог и матрос уходят. Улица пустеет, убирают столики, эстраду для оркестра, и на всем протяжении «Параллело», как костры, светится несколько ночных дансингов: «Мулен-Руж», «Аполло» и «Ампир», рассчитанных на другую публику и другие развлечения, кроме кофе, музыки и национального танца.

Как в Барселоне пьют кофе! Об этом стоит рассказать, потому что можно научиться в тупике, когда вам ставят два стеклянных бокала для кофе, графин воды и затем один бокал наливают до краев черным кофе, а в другой наливают кофе чуть-чуть на донышко. Два плоских кусочка сахара бросают в полный бокал, в другой бросают оставшийся кусок и ждут, пока сахар растает. Затем, когда первый бокал настоящего кофе, наконец, выпит до дна, настоящий каталонец, уходя, доликает второй бокал водой и, не отрываясь, залпом выпивает этот чуть пахнущий кофе сладковатый напиток. Все вместе растягивается на два часа времени, это даже не кейф, а какое-то священнодействие, длительное наслаждение отдыхом, музыкой, прохладой ночи после знойного и тяжелого дня. «Параллело» пустеет в полночь, но ночная жизнь продолжается на бульварах Рамбла дель Центро. Без всякой натяжки можно говорить о лице, о, так сказать, классовом лице этих двух улиц. Однако, это не Большие бульвары Парижа, нет, — это Испания, Барселона.

Рамбла дель Центро — это увеселительная аллея, темно-зеленый лиственный свод, кресла, расставленные под платанами, пестрая толпа бездельников, смех, шорох тысячи шагов, гитары слепых певцов, вопли газетчиков, звон трамваев и рожки автомобилей, — театральный раз'езд из театра Лицео в два часа ночи, каменные господа во фраках, чистильщики сапог, полицейские, офицеры и женщины, профессия которых совершенно ясна с первого взгляда.



Фланер здесь не загнан, залуган, прижат к тротуару, как в Париже или Берлине. Нет, пренебрегая автомобилями, трамваями и автобусами, он шествует наперекор всем правилам уличного движения, волоча на метр за собой трость, развлекаясь музыкой ближайших кафе, приторговывая цветком на цветочном рынке, который действует тут же на Рамбла до глубокой ночи. И бульвар, то-есть променады для пешеходов, занимает здесь всю середину, две трети улицы, он огражден только креслами для желающих отдохнуть, скоротать в кресле вечерок за двадцать пять сантимов. Автомобили и трамваи теснятся в узеньких промежутках между тротуаром и этим променадом барселонских денди. Морской кадет, весь снежно-белый, весь накрахмаленный, выступает, картинно опираясь на шпагу, как на трость, и разве может сравниться с ним американский морской офицер, приземистый, неуклюжий, сосущий резинку увальень. Это фланирование, это светское времяпрепровождение доведено до апогея в Мадриде на знаменитой Пуэрта дель Соль. Невероятное количество чистильщиков сапог обслуживает гуляющих барселонцев. Только в стране, где очень трудно найти работу, может быть такое количество чистильщиков сапог. Право официально нищенствовать закреплено только за калеками и стариками. Безрукий импрессарио ведет за собой группу слепых гитаристов, выбирает кафе и располагает свой оркестр. Затем слепые гитаристы начинают играть «Рамону», от которой нет никакого спасения ни в Европе, ни в Африке. У музыкантов удивительные лица, характерные маски, каждый из них чрезвычайно типичен, с точки зрения режиссера это прекрасный и разнообразный типаж. Пока они играют, чистильщик сапог завладевает вашей ногой, продавец лотерейных билетов вертит перед вашими глазами пачку цветных бумажек, какая-то старушка,—тоже клад для искателей типажа,—настойчиво сует вам в руки кольца и цепочки для ключей, вы теряетесь и отдаетесь во власть этому окружению. Променады

продолжается, в развалку и с прохладцей гуляют и отдыхают в креслах великолепные барселонцы, и только женщины, одинокие женщины, не останавливаясь, носятся из конца в конец бульвара. Полиция запрещает этим женщинам зазывать и навязываться, по полицейским правилам они должны находиться все время в движении, и вот вы видите стремительно шагающих из конца в конец Рамбла женщин, десять, двадцать раз меряющих бульвар от плаца Каталуня до плаца Колон. Во время этого стремительного бега они успевают вести несложную и нехитрую игру, соблазнять, зазывать и назначать место встречи; эта жестикуляция и игра не смешат, нет, это далеко не смешно, это жутко — марширующие и гримасничающие женщины. Однако, барселонская полиция так придирчива и строга только на бульварах,—в стороне от Рамбла, в темных, старинных улочках, идет самый беззастенчивый торг, и знаменитый «китайский квартал» Барселоны успешно соперничает со старым портом в Марселе. Во всяком случае книга Моруа «Весна в Испании» — на три четверти описание барселонских и мадридских домов свиданий. Типография одной газеты, где я встречался со знакомыми барселонскими журналистами, находится как раз в центре этого квартала. Каждому дому в этом квартале триста—четыреста лет. Электричество и несколько кинематографов совершенно не изменили их средневекового облика. Это квартал ночных аптек, танцулек и веселых домов. В одной аптеке в окне я увидел характерную надпись: «У нас анализ крови по Вассерману всего 25 пезет». В эти дни на рейде Барселоны стояла американская эскадра. Матросы флота Соединенных Штатов в белых шапочках пирожками гуляли по китайскому кварталу. Стареющие тучные женщины в огненных и желтых платьях ловили их за руки и тащили за собой в эти старые, осевшие, набухшие от сырости, мокриц и мрака дома. Огненный и желтый — цвета Испании — и снежно-белые шапочки и гетры матросов, матово-черная кожа и

сверкающие белки глаз негров (их много в американском флоте), наконец, серо-голубые мундиры полиции,—калейдоскоп, пестрота, вечный и дикий ночной карнавал. Следом за матросами по трое в ряд ходили такие же матросы с повязкой и буквами «S. P.» — «Ship-police», судовая полиция — на рукаве. Когда какой-нибудь матрос напивался и ввязывался в драку, судовой полицейский подходил сзади и ударял его короткой дубинкой по голове. Делалось это с точностью автомата, глазомером, который дается длительным опытом, — пьяный падал прямо на руки двух других полицейских и через четверть часа лежал на дне катера рядом с другими неудачниками. Все это походило на сцены из американских фильмов и весь этот квартал ночью походил на неправдоподобно, утрированно поставленную фильму. Старый город совершенно меняется по другую сторону бульвара. Эта часть старого города — реликвии прежних каталонских вольностей, «депутационная провинсиаль» раньше называлась «женералидад де Каталуня», то-есть правительство Каталонии. Теперь это скромный провинциальный муниципалитет. Как в Вене и итальянских городах, старый город представляет поразительный контраст с городом новым, эти средневековые улочки — островок, от которого отхватывает, отрезает все новые и новые клочки земли шумная и азартная новая столица. Старый город теснится у кафедрального собора. Могущественная и алчная католическая церковь все еще сильна в Испании, но она уже не центр, и вокруг кафедрального собора уже не строится город, как пять-восемь веков назад. Новая Барселона растет и строится вокруг банковских небоскребов, вокруг четырехсот миллионов пезет капитала, которыми владеют барселонские банки.

В кафедральном соборе Барселоны темно и сыро. Почерневшие витражи не пропускают света, и один из порталов, одна из дверей, ведущих в собор, называется «порт де л'Инквизицион» — ворота инквизиции. Из сырости и мрака собора вы выходите на свет,

на яростное солнце во внутренний дворик, где такая свежая зелень, такое буйное веселие шиповника и роз, и плюща, и дикого винограда, широколистных пальм, что мрачное напоминание об инквизиции и свирепые лица святых и мучеников на витражах совершенно выветриваются из вашей памяти. Темная улочка, род ущелья, выводит вас на плаца дель Рей. Или жизнь остановилась на пять столетий, или это архитектурный музей, и сию минуту вы увидите дремлющего музейного сторожа в униформе. Кубическая шестэтажная романская башня, старик в широкополой шляпе поит мулов у фонтана, ему — семьдесят, а фонтану четыреста лет. Высокие двухколесные телеги поставлены в ряд на площади, и под колесами спят, прикрывшись шляпой от солнца, каталонские крестьяне. Эпически спокойные серые ослики стоят под палящим солнцем и, зажмурившись, смотрят в пространство. Полдень, — животные и люди спят на площади, время остановилось, и вы в пятнадцатом веке. Эти узенькие, темные улочки, — лабиринт улочек Кале Сеговия, Кале Санта Лючия, Кале де Парадиз — Улица Рая, — путают, сбивают с толку, водят вокруг собора и дворца архиепископа и опять вокруг собора и архива королевства Арагон и совершенно неожиданно приводят на плаца Реаль, большую площадь, которую образуют совершенно одинаковые фасады домов. Эти дома, аркады и кофейни выстроены на руинах старого монастыря ордена Капуционов, а сквер, фонтаны и самые прекрасные пальмы в Барселоне были в сущности «патио», то-есть внутренним двориком монастыря. Теперь это похоже на танцевальный зал, когда-нибудь здесь будут танцевать запретную сардану, танцевать на месте разрушенной католической, капуцинской Бастилии.

— Испания будет республикой, федерацией республик, — утверждал тот же каталонец. — Вот вы увидели Барселону и Каталонию. Вы увидите Кастилию и Андалузию и Эстремадуру. И всюду все будет другое: дома, люди и песни...

Не зная усталости, мы бродим по этому островку, спирали кривых и прохладных улочек, и вдруг приходим к гигантской «плаца Каталуна» — площади, соперничающей с Конкорд в Париже. Или эти же улочки нас приведут к плаца Колон, к монументу Колумба, откуда открывается один уголок Барселонского порта.

Весь Барселонский порт откроется только на борту маленькой моторной лодки. Прямые линии молгов, волнорезов и доков, длинные высокобортные корпуса трансатлантических пароходов. Вокруг суета катеров, моторных лодок, грузовых пароходов. Громоздкие морские автобусы, называемые «голондрина», пересекают порт с поворотливостью и ловкостью настоящих автобусов. Свистят буксиры, захлебываясь, взвизгивают сирены, однотонно гудят голондрины. И это движение, бешеный круговорот порта, вливает бодрость, жизненные силы и прогоняет скверные мысли о том, что все у нашего поколения в общем за плечами, что осталась в сущности последняя треть пути, которую надо пройти мужественно, потому что не каждому поколению выпадает на долю такая эпоха. Приходят и уходят корабли, увозят в трюмах тяжелые винные бочки, привозят уголь и нефть, шерсть и металл, треть испанского ввоза и вывоза проходит через Барселонский порт. На открытом рейде стоят три пловучие крепости, три стальные, дымящие морские чудовища под полосатым флагом со звездами, сверхдредноуты «Арканзас», «Ута», «Иллинойс». Два гидроаэроплана, как игрушки на елочной ветви, висят у каждого корабля над броневой палубой. Двенадцать длинных пушек, как растопыренные пальцы, вытянуты над бортом. В море — легкое волнение, белые барашки ходят за волнорезом, но вокруг суматоха катеров и лодок: барсе-

лонцы глазуют на эскадру. Приветственно гудят, свистят, взвизгивают катера и лодки, но три броневые чудовища пренебрежительно молчат, и полосатый флаг со звездами полощется презрительно и надменно над празднующимися катерами. Ночью, когда по небу раскинется павлиний хвост девяти прожекторов «палацо Эспанья», сверхдредноуты скрестят свои лучи с девятью лучами, пошарят по порту и берегу: снисходительный дядя Сам отеческим оком оглядывает предприятие, на которое он отпустил малую толику денег. И неожиданно на рассвете три сверхдредноута уйдут от этих берегов, покинут Каталонию и нацию, у которой есть все для счастливой и сытой жизни, — белый уголь Пиринеев, хлопок, кровные лошади, выносливые ослы и мулы, домашняя птица в количестве большем, чем во всей остальной Испании, и только нет одного: нет права устроить свою жизнь так, как это нужно не дельцам, а труженикам.

Я пробыл в Барселоне одиннадцать дней. Шестиколесный автокар Бюсинг Иберийской транспортной компании выходил в первый тур. Вместо тридцати шести пассажиров в этом просторном и удобном вагоне было одиннадцать человек — трое немцев, восемь испанцев, включая в число испанцев подданного Венесуэлы. В этом обществе я должен был описать восьмерку протяжением в пять тысяч километров.

6 июля в семь часов утра мы оставили Барселону, направляясь в Мадрид через провинцию Арагон и Сарагоссу. Мы тронулись, наполняя ревом сирены пустынную площадь, четыре пустых отеля, сонный или мертвый город, дворцы, башни, фонтаны, галереи выставки, в этот час окончательно похожей на сады злого и хитрого Черномора, укравшего у Руслана Людмилу.

# Из прошлого

## НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФИИ ГЕРЦЕНА И ОГАРЕВА <sup>1)</sup>

Вяч. Полонский

### I

В биографиях А. И. Герцена и Н. П. Огарева до последнего времени ощущался значительный пробел. Совершенно не освещена была драма, происходившая в личной жизни обоих друзей. Отрывочные сведения о ней существовали, конечно. Так, было известно, что Н. А. Тучкова-Огарева, вторая жена Н. П. Огарева, сделалась женой А. И. Герцена. Было известно также, что Н. П. Огарев после ухода жены, ни в какой степени не повлиявшего на братские отношения друзей, сошелся с Мэри Сэттерленд, лондонской проституткой, с которой прожил до самой своей смерти. Не остался далее тайным несчастливый характер семейной жизни Герцена и Тучковой. Сведения эти, за отсутствием свидетельств из первоисточников, не позволяли с точностью воспроизвести соответственные главы жизнеописаний А. И. Герцена и Н. П. Огарева.

Ныне биографическая литература, посвященная Герцену и Огареву, обогащается материалами, окончательно и документально с исчерпывающей полнотой раскрывающими семейную драму Герцена — Огаревых. В ближайшее время Государственное Издательство выпускает объемистую книгу, содержащую переписку, отрыв-

ки из дневников и воспоминаний участников этой драмы. Это бумаги из архива Н. П. Огарева и Н. А. Тучковой-Огаревой, до сих пор еще не опубликованные и хранившиеся у М. О. Гершензона. Они были собраны им и должны были составить пятый том его издания «Русские Пропилеи». Как известно, этот том из печати не выходил. Вслед за четвертым томом был выпущен шестой. Ныне бумаги эти делаются достоянием истории. Здесь находим мы всю личную переписку Н. А. Тучковой с А. И. Герценом, ее отрывки из воспоминаний и дневников, переписку Н. П. Огарева с Мэри Сэттерленд и ее сыном Генри, отрывки из автобиографии Н. П. Огарева, переписку Лизы Герцен с Шарлем Летурно, раскрывающую картину переживаний, приведших девочку к самоубийству. Наконец, в книге имеется одно письмо А. Герцена, письма А. А. и Н. А. Герцен, Маццини, Эли и Элизе Реклю, Гарибальди, А. Таландье, П. В. Алянковца и других, в большей или меньшей степени посвященные основной теме, развертывающейся на страницах остальных бумаг: семейной драме, разрывавшей существование ее участников.

Без документов, вошедших в эту книгу, нельзя написать биографии ни Герцена, ни Огарева. Документы эти — письма и дневники — имеют такое же историко-культурное значение, как

<sup>1)</sup> Настоящая статья — отрывок из предисловия к книге: «Из архива Н. П. и Н. А. Огаревых». Находится в печати.

многие главы «Былого и Дум». Герцена, как лирика Огарева, как беллетристка Герцена и Чернышевского. Письма Огарева к Мэри Сэтэрленд бросают ярчайший свет на внутренний облик этого замечательного деятеля, фигуры, типической для дворянско-революционной интеллигенции прошлого века. Эта глава из личной биографии Н. П. Огарева является вместе с тем главой из истории русского дворянско-интеллигентского гуманизма. Узел взаимоотношений, завязавшихся между А. И. Герценом, Н. А. Тучковой-Огаревой и Н. П. Огаревым, представляет собою полную глубокого общего значения повесть о том, как житейски, практически, в сложных сплетениях действительности, уже не по рационалистической схеме «Что делать?» Чернышевского, но среди живых людей, с плотью и кровью, с ревностью и предрассудками разрешалась, вернее, оставалась неразрешимой для того времени проблема любви и брака.

Личная драма Герцена—Огаревых—не случайный биографический эпизод. Проблема любви, связанная с проблемой освобождения женщины, сыграла большую роль в истории русской общественной мысли шестидесятых годов. Эту проблему Н. Г. Чернышевский ставил беллетристически в знаменитом романе «Что делать?», практически же пытался разрешить в своих личных отношениях с Ольгой Сократовной. Такую же попытку мы имеем в отношениях Н. В. Шелгунова к Л. П. Шелгуновой и многих других. Именно при сопоставлении форм, какие приняла эта драма в отношениях Герцена, Огарева и Н. А. Тучковой-Огаревой, с формами, какие получила она в «Что делать?» и в личной жизни Чернышевского и Шелгунова,— можно понять, какое далеко не личное, а именно социальное своеобразие представляли особенности драмы Герцена—Огаревых. Как действительно непохожи на людей шестидесятых годов герои драмы, развертывающейся на страницах этой книги.

Параллель с Чернышевским надрывается при чтении писем Герцена, Огарева и Тучковой. Это — люди разного отношения к жизни, разного

миропонимания. Они не похожи друг на друга, но непохожесть эта не личного, а социального порядка. Пред нами люди разных социальных слоев, несходных социальных мировоззрений. Отсюда — иные формы драм, разная их окраска, различное психологическое и эмоциональное их наполнение. В этих семейных, глубоко личных, интимнейших, казалось бы, отношениях сталкивались все те же социальные противоречия эпохи, над которыми билась современная мысль: личное и общественное, разумный эгоизм и свобода, деспотизм и проблема семьи. Потому-то документы, раскрывающие пред нами историю любовных и семейных отношений Герцена и Огаревых, выходят за пределы узкобиографического значения. Они приобретают большой общественно-исторический смысл.

## II

Содержание «человеческих документов», вошедших в книгу, раскрывает три драматических истории. Во-первых: А. И. Герцен — Н. А. Тучкова-Огарева. Во-вторых: Н. П. Огарев — Мэри Сэтэрленд. В третьих: Лиза, дочь Герцена и Н. А. Тучковой-Огаревой, — Шарль Летурно. В сущности это три части одной общей драмы гнезда Герцена — Огаревых.

Ценнейшим вкладом в биографию Н. П. Огарева является переписка его с Мэри Сэтэрленд. Русский интеллигент середины прошлого века, кающийся дворянин, еще в юные годы, по свидетельству Н. А. Тучковой, задумывавшийся над участью «падшей» — он остаток жизни посвятил задаче: женщину с улицы превратить в высокое и прекрасное человеческое существо. Замечательно вообще все поведение Н. П. Огарева в истории отношений Герцена к Н. А. Т.-Огаревой. Здесь, уже не на страницах романа, а в подлинной жизни перед нами человек, сохраняющий великое мужество, остающийся на высоте идей, какие защищал с юных лет. Из всех троих — Герцена, Тучковой и Огарева — только о последнем можно говорить как о человеке, с честью выдержавшем тяже-

лое испытание жизни. Далось ему это не даром. Его нежность к Мэри Сэтэрленд свидетельствует о ране, которую он пытался залечить своими отношениями к этой женщине.

Письма Н. П. Огарева к Мэри Сэтэрленд поражают чистотой чувства, высотой человечности. Личность этой женщины в деталях осталась нам неизвестной. Свидетельства о ней противоречивы. Н. А. Тучкова отзывалась о ней с презрением, не жалея слов, порочащих подругу своего бывшего мужа. А. И. Герцен также относился к Мэри С. неуважительно. Неоднократно в письмах к Н. А. он сетовал, что это «они», т. е. он и Н. А., довели Огарева до такого «падения». Случайные показания, встречающиеся в других свидетельствах, отрицательны.

«О. встретился с нею в одном из лондонских кабаков, — рассказывает Н. А. Тучкова-Огарева, — он был не совсем трезвый, познакомился с нею и не имел силы прервать эту ненужную близость, потом привык и подчинился. Письма Огарева показывают, что это свидетельство неправильно. Правда, эти письма говорят больше об Огареве, чем о Сэтэрленд. Но они обнаруживают обстоятельство, не понятное Н. А. Тучковой: в отношениях Огарева к Мэри С. были не только привычка и подчинение. Прожил он с нею восемнадцать лет. До 1864 г. они жили раздельно — в Лондоне. С 1865 г. — после переезда в Швейцарию — жизнь их стала совместной. Огарев заботливо, по-отечески относился к ее сыну Генри: неудовлетворенное чувство отцовства, очевидно, находило здесь свое выражение... «Чего мне надо от тебя, мой Генри, — писал мальчику Огарев, — это — чтобы ты вырос человеком, т. е. разумным существом и честным существом. Мне надо, чтобы ты любил правду и добро и работал для того и другого и сердцем и умом». Письма его полны советов, направленных к поднятию внутренней личности, ее самостоятельности, чувства достоинства. В привязанности Огарева к Сэтэрленд сказались и сиротство, которое несомненно ощу-

щал он на склоне лет: одинокий, бездетный, больной, с непреодоленной страстью к алкоголю, Огарев нуждался в человеческом участии, в женской ласке. Было также в его поведении много проповедничества, одушевлявшего Огарева с юных лет. «Я хочу и верю, — писал он Сэтэрленд, — что после жизни, проведенной в заблуждении, ты сделаешь из себя женщину самую непорочную, самую честную», так, что я смогу сказать всякой гордой леди: вот женщина, с которой вы можете взять пример во всяком человеческом чувстве и действии». В этом кивке в сторону неведомой гордой «леди» — торжкий намек на Н. А. Тучкову. Пожелав познакомиться с Сэтэрленд, Н. А. захала к ней однажды и жестоко ее оскорбила. С этого дня порвал с Н. А. отношения и Огарев. Он верил, что женщина, продававшая себя в лондонских кабаках, по своим душевным качествам способна превзойти иную благородную даму. Он и хотел пробудить в Мэри эти душевные свойства. Он убеждал ее и мальчика «расширить понимание, расширить ум», потому что это дает «больше интереса к жизни и самого благородного интереса». Он обучал Мэри грамматике, объяснял ей строение стихов, давал ей читать Оуэна. «Будь всегда добра и правдива сердцем, — писал он в одном из писем, — это единственное, что дает покой и возвышает темного над грязью». Но на всей переписке Огарева с Мэри Сэтэрленд лежит печать большой грусти и усталости. История их отношений есть история угасания Огарева, ущерба его духа. Из большого мира борьбы он уходил в маленький мир сострадания, чтобы найти покой от огорчений, полученных в большом мире. Его личная драма, как и вся вообще биография Н. П. Огарева, ждет еще своего исследователя.

### III

Несколько в стороне стоит переписка Лизы с Шарлем Летурно. Но и это — па первый взгляд. Судьба девочки тесно связана с историей гнезда Герцена — Огаревых.

Судьба Лизы и ее гибель говорят о среде, ее воспитавшей. В буквальном смысле ребенок жизнью заплатил за грехи отцов. Из писем Лизы к Летурно возникает облик нервной, впечатлительной, избалованной девочки, себялюбивой и своенравной, не знающей преград чувству, требовательной и эгоистической. Чувствительность ее была обострена. Любовь к Шарлю Летурно (ей было семнадцать, ему — сорок четыре) могла и не быть гибельной, если бы девочка переживала свое чувство без трагического гиперболизма. Но она походила на свою мать. Трудно сказать, насколько сильна была вина Летурно: известный автор «физиологии страстей» играл с огнем, недооценивая силу ее увлечения. Некоторые из писем Лизы останутся, вероятно, редкими образцами любовной переписки. Настоящая страсть, звучащая в них, насыщает их блестящей талантливостью. А. И. Герцен неоднократно отмечал даровитость Лизы. С этой стороны он был доволен дочерью. Но все силы ума и сердца у ней, очевидно, ушли в один талант: любить. Он-то ее и погубил. Кто виноват? Была вина на матери. Но был виноват и отец. Была вина даже на Огареве, нежно к ней относившемуся. И вместе с тем никого из них нельзя назвать главным виновником. Лиза пала жертвой условий, в которых выросла и получила воспитание. Дочь Герцена, она «папой» называла Н. П. Огарева, к отцу же обращалась со словом «дядя». Живя отдельно от отца, она оказывалась беззащитным объектом воспитания в руках матери, женщины неуравновешенной и вздорной, без ума ее любившей и без ума ее терзавшей. Если бы Лиза росла с детьми Герцена от его первой жены, — судьба ее была, быть может, иной. Но дети Герцена не выносили Н. А. Тучкову, — между ними была вражда, — и Лиза росла одиноким ребенком, с глазу на глаз с матерью, вечно недовольной, ропщущей, жалующейся, постоянно призывавшей смерть. Лиза возненавидела мать, — это сделало ее еще более внутренне одинокой. Оттого-то она с такой необычайной силой отдала сердце Летурно. Но нельзя, разумеет-

ся, снять вину с родителей, хотя они также были жертвами условий, в которых находились. От них зависело многое в судьбе ребенка и в их собственной судьбе. Особенно это следует сказать про Н. А. Тучкову: в истории постоянного конфликта, какой происходил между нею и А. И. Герценом, значительная доля вины лежала на ней. Жена революционера, эмигрантка, во многом сумевшая преодолеть традиции дворянско-помещичьей среды, Н. А. Тучкова, однако, не сумела этого сделать до конца, и в натуре ее, в ее взглядах, в ее привычках осталось много черт, губительно отразившихся на воспитании Лизы. Выросло хрупкое, нервное, эгоистическое существо, погибшее при первом же сильном дуновении житейского ветра. Но именно Н. А. Тучкова, больше других виновная в судьбе ребенка, больше других и заплатила за его гибель.

#### IV

Главным действующим лицом драмы является Н. А. Тучкова. Она стоит в центре отношений, узлом завязавшихся в гнезде Герцена — Огаревых. И эта фигура до сих пор не изучена, хотя, казалось бы, подруга Н. П. Огарева и А. И. Герцена заслужила внимание биографов. В жизни обоих друзей она сыграла немалую роль. Роль эта не была светлой. Обоим Н. А. принесла много страданий. Даже М. О. Гершензон, менее других склонный сурово расценивать Н. А. Тучкову, замечает, что если бы не мятежная боль, какую внесла Н. А. в жизнь Герцена, «его крепкий организм, вероятно, не так скоро сдался бы диабету».

Публикуемая переписка вносит все необходимые поправки к портрету Тучковой — Огаревой, написанному М. О. Гершензоном. Много для понимания ее облика дают письма к ней А. И. Герцена. Начиная с 1865 г., имя Н. А. Тучковой делается нередким предметом переписки А. И. Герцена с Н. П. Огаревым. Герцен часто отмечает «мрачное отчаяние», которое пронизывает ее письма<sup>1)</sup>, говорит о вечном ее

<sup>1)</sup> Все цитаты — из полн. собр. соч. А. И. Герцена под ред. М. К. Лемке. Гос. Изд.

недовольстве, о том, что она хочет «тысячу невозможных вещей», «ни слушать, ни слушаться она решительно не хочет и на всякий упрек отвечает: «устройте Лизу — и оставьте меня умереть...» «Н. на все смотрит с какой-то затаенной злобой» — пишет Герцен в одном письме. Он бросает ей иногда тяжелые обвинения. «Тебя может исцелить только твоя совесть — она не проснулась» — пишет однажды Герцен. Он обвиняет Н. А. в «безумии» и «эгоизме». «Страх перед Н. всех леденит» — замечает он, имея в виду своих детей от первой жены. Эти обвинения, совпадающие с другими свидетельствами об Н. А. Тучковой-Огаревой, не противоречат также характеру ее собственных признаний. Получается яркое представление о женщине, сыгравшей роковую роль в жизни Н. П. Огарева и А. И. Герцена. Это был шекспировский характер: страстный и непримиримый, злой, ревнивый, беспощадный в любви и ненависти.

«...От диких порывов любви, — писал о ней Герцен Огареву, — до свирепых слов ненависти — все сумбур. Сегодня ужас и желание, чтобы я спас ее и Лизу, готовность звать детей, ехать в Кольмар, Лозанну... а завтра неуважение ко мне, наискорейшие сборы в Россию, распоряжение, как быть с Лизой в случае смерти, и обвинение во всем меня, тебя. Я не отвечаю, говоря, что и это принимаю за такое же невольное, паталогическое состояние, как твои обмороки... только, что ты падаешь телом, а она умом. Через час слезы и оттепель».

При чтении писем А. И. Герцена необходимо, разумеется, помнить, что в своих оценках и суждениях А. И. Герцен не был беспристрастным человеком вообще. Еще меньше беспристрастия можно ждать от него по отношению к Н. А. Тучковой, с которой у него была тязба, разрешенная лишь смертью. Было бы величайшей несправедливостью считать Н. А. Тучкову единственной виновницей трагического характера их совместной жизни. Была доля вины и на Герцене. В истории его отношений с Н. А. проявилось столкновение двух натур, одинаково требова-

тельных и однаково деспотических. «Нашла коса на камень» — можно было бы сказать по этому поводу. Эпикурец, эвдемонист, человек с широчайшим размахом общественной деятельности, живший преимущественно интересами борьбы, он встретил женщину, которая потребовала от него больше того, что мог он дать по всему складу своего характера, своих вкусов, своего понимания жизни. Н. А. Тучкова-Огарева не была кроткой. В противность Наталье Александровне, первой жене Герцена, она была своевольна. А. Герцен с своеволием Н. А. Тучковой примириться не мог. Тучкова же, как и подобало женщине с шекспировским характером, на уступки не шла. В этом столкновении двух деспотических натур, из которых одна была неуживчивой вообще, и заключалась основная причина драмы. Именно покорности требовал Герцен от Н. А. Тучковой. Именно в «вечном бунте», «вечном протесте» и «оппозиции» упрекал он ее. То, к чему готов он был призывать народы, — к восстанию против власти и авторитета, — он не мог терпеть у себя в семье. И здесь еще раз, ярче чем в какой-нибудь другой области, сказалось несходство Герцена, его взглядов на женщину, брак и семью с людьми шестидесятых годов, которые ту же проблему разрешали в ином духе. Н. А. Огарева страдала, лила слезы, жаждала мира. А. И. Герцен также хотел его, но требовал: никакой строптивости.

«...Ты жаждала примирения, отпущения и слез вместе. Ты и теперь хочешь, но все с нетерпением и строптивостью. Помни же, Natalie, если мы сойдемся снова под одной крышей, ты должна взойти под нее, как новый Адам, считающий свой искус жизни от декабря. Одно строптивное слово разрушит все... и тогда все разойдется навеки. Помни же всех».

Случалось: Н. А. делала над собой страшное усилие. Шла на уступки. Но проходил день, два, — новый протест, новое возмущение опрокидывали мир, и вновь «дичие слезы и выходки», слезы, отчаяние, сумасшедшие проекты, упреки, терзание себя и дру-



гих. До какой степени эти отношения превращали в ад семейную жизнь Герцена — можно судить по его переписке.

«...Вот письмо от Нат. ко мне,—писал он в феврале 1867 г. Н. Огареву. — Пошлю, чтобы показать и тон и настроение. Что же делать? Я ничего не знаю, кроме того, что Нат. затерзает и тебя и меня... О, Лиза, как она дорого стоит!»

«...Признаюсь откровенно, — добавляет он два дня спустя, — что я в Ниццу еду, как на казнь. Ни одной записки, ни одного слова без яда...»

Внутри и страх, и боль, и злоба. Я за полгода тихой жизни, одинокой отдал бы пять лет...»

В одном из писем Герцен отчетливо выразил свою точку зрения: «покойсь покойно условиям жизни, — писал он Н. А. Тучковой-Огаревой, — отдай свою судьбу на ведение мне, ты сама никогда не умела вести ее,—и я спасу тебя, но без веры и смирения я ничего не сделаю» (Курсив мой. Вяч. П.).

Но непокорная такой цепой мириться не хотела, да и не сумела бы, если б и захотела. «Укрощение строптивой» превращалось в борьбу, отнимающую силы у всех участников. Однажды Герцен кратко и с горечью охарактеризовал свое положение:

«...В этой дряни,—писал он Н. А.,—с глубокой раной в груди, со всевозможными помехами да еще и общими делами я ничего не работаю и верчусь, как паровое колесо, когда пароход стоит, тратя силу, жизнь... а ее немного впереди...»

#### У

Глубже всех и больше всех страдала, разумеется, Н. А. Тучкова. Публикуемая переписка приподымает завесу над ее внутренним миром. Он был ужасен: мрак, вечная скорбь, отчаяние, думы о смерти, никогда ее не покидавшие. Нескольким раз, по ее словам, она покушалась на самоубийство. Поглощенная своим страданием, она обвиняла всех и все, плохо понимая окружающее. Она, вероятно, не верила и жалобам Герцена, неоднократно писавше-

го ей об усталости, не доверяла ему и тогда, когда он протягивал ей руку.

Всегда ли она была неправа в таком неверии? Этого сказать нельзя. Странное обстоятельство: Герцен хотел сохранить в тайне от посторонних свои отношения с Н. А. Тучковой-Огаревой. Страдало при этом не одно только ее самолюбие женщины, в буквальном смысле отдавшей все, что имела. Она настаивала, чтобы Лиза, дочь Герцена, носила имя отца. Герцен противился: он считал это «внешним». Н. А. Тучкова упрекала его поэтому в «предрассудках», которых он не мог переступить. Она много пишет о лжи, в которой ей приходится жить, о том «страшном», что ворвется в жизнь, когда Лиза подрастет и придет время открыть ей правду их отношений. Она требовала от Герцена: «Создай дом, собери его, сколоть его», а он сделать этого не хотел, не мог. Здесь присоединялось еще обстоятельство, о котором мы уже говорили: Н. А. Огареву не любили дети Герцена. В столкновениях ее с ними он становился на сторону детей. Уже после смерти Герцена, несколько лет спустя, Н. А. Огарева заметила, что Герцен «ревниво защищал» детей и что «эта ревность ужасно мешала проявлению моего расположения к ним». Она указывает на «столкновения с детьми» как на один из поводов к недоразумениям и страданиям. Потому-то Н. А. отказывалась идти к Герцену на условиях, какие предлагал он: «Не зови меня в твой дом. Ты помнишь, что я оказала тебе: «Я не буду в доме твоём, пока твои дети сами не позовут меня». А дети никакого желания звать ее не проявляли. Герцен находился между двух огней. Здесь причина затяжного характера драмы. Годы шли, подрастали дети, а невыносимое положение продолжало оставаться прежним. Н. А. Тучкова была по-своему права, когда упрекала мужа: «...Вот три года, как ты мне все неопределенно обещаешь как-то все устроить, потом вдруг прорывается, что прочного ничего нет».

Иногда Н. А. понимала, что беда лежит больше в их «положении», чем

в их «характерах». Но выводов всех сделать из этого не могла. Она изливалась в жалобах и упреках, погружалась в сладость самоистязания. У нее создалось убеждение в тяжести совершенного ею преступления, в личной ее вине, заключающейся в необдуманности соединения с Герценом. Разбитая жизнь Огарева, будущее Лизы вставали перед нею тревожными вопросами. Ее мучили упрёзы совести, терзалась ложь, в которой она жила, страшило будущее. Она ждала возмездия. Даже на платье свое она перенесла мрачное состояние души: стала носить только черные цвета. По ее словам, она не жила: она была «приготовлена к жизни» судом ее собственной совести. Письма, отрывки из дневников, ее воспоминания иногда с поразительной силой раскрывают мрак и скорбь ее души. Вот фигура, заслуживающая внимания художника. Она не была даровитой писательницей. Но такова сила подлинной скорби: ее проклинающее письмо Шарлю Летурно, страницы, где она описывает смерть Лизы, признания о снах, мучивших ее после смерти детей, производят глубочайшее впечатление и в этом смысле становятся в один ряд с замечательными произведениями искусства. Но сочувствие к себе она вызывала редко. Н. А. была нелюбимой в среде близких ей людей. Даже Н. П. Огарев, душевная мягкость которого представляла необычное явление, даже он, в тех же почти выражениях, что и Герцен, только не прозой, а стихами, осудил Н. А.

В отрывке лирико-автобиографического характера, адресованном Н. А. Тучковой-Огаревой, он пишет о своей вине, он кается перед Н. А., но вместе с тем просит ее «ради прошлых дней», ради «погибшего, погубленного счастья» не разрушать в ее душе «к прошедшему последнего участия». Эта мольба, как рефрен, повторяется несколько раз в отрывке. Он призывает ее заменить «порывы злобы» «тихой грустью благоволения», «очистить жизнь слезами покаянья» — такой нераскаянной, непокорной, непримиримой «волчицей» ка-

залась она тишайшему, нежнейшему, элегическому поэту.

Ужель на жизнь своих детей  
Навешь ты все то же роковое  
Дыханье злобы и страстей,  
Туманный вихрь, с'едающий живое,  
Ума лишающий людей?  
Пойми, что злоба на все лица,  
Что праздно бешеная кровь,  
Тревога дикая волчицы —  
Еще не женская любовь.

Но веры у Н. П. Огарева в действительность его призывов не было. Отрывок кончался строфами:

Но тщетно все! Я знаю, голос мой —  
Пустынный бред души моей больной.  
И я слова мои напрасно трачу —  
Склоняю голову и плачу !).

¶

Перипетии этой драмы особенно примечательны, если сравнить психологию действующих лиц и трагизм их отношений, отсюда проистекавший, с отношениями женщины и мужчины, как их пытались создать русские романисты. Н. Г. Чернышевский представляет в этом смысле паразитическое явление. Его отношения к Ольге Софратовне теперь, после воспоминаний В. А. Пыпиной<sup>2)</sup> не представляют тайны. Проблема, поставленная в романе «Что делать?», стояла практически в семье Герцена. Н. П. Огарев играл, конечно, роль Лопухова, но это был Лопухов не схематический, не рационалист, логически разрешавший поставленную задачу. Огарев — Лопухов с поэтическим темпераментом, с сердцем, которое умело истекает живой кровью, с стремлением к самопожертвованию, покаянию, чего не было и не могло быть в Лопухове. Здесь сказывалось не индивидуальное, а социальное, классовое отличие Огарева от Лопухова. Сам Чернышевский был ближе к герою своего романа — это обстоятельство придает особый блеск его личности, не отступавшей перед трудностями, каковы бы они ни были. В готовности Чернышевского не да-

<sup>1)</sup> «Рус. Пропилеи», т. 2, стр. 174—177.

<sup>2)</sup> В. А. Пыпина. «Любовь в жизни Н. Г. Чернышевского». Книг-во «Путь Знания». Петроград. 1923.

словах, а на деле осуществлять свою теорию «равенства полов» — даже с нарушением равновесия в пользу женщины во имя будущего равенства — сказывалась черта не личная, но социально-психологическая. Таков был характер разночинца, «нового человека», реалиста, «разумного эгоиста», рационалиста, объявлявшего войну всяким остаткам феодального мировоззрения и мирочувствия. Отношение к женщине, к себе, к своим собственным теориям — глубоко практическое, ригористическое, с решимостью претворять «слово» в «дело», чего бы это ни стоило, — все это и было теми именно «новыми песнями», что припесло с собой поколение людей шестидесятых годов. Иным отношением к жизни и к роли человека отличались они от предшествующего поколения дворян, давшего образцы людей с раздвоенной душой, с расхождением между словом и делом, с стремлением к переустройству общественных отношений и, вместе с тем, с сохранением внутри самих себя старых феодальных замашек, барских привычек, дворянско-помещичьих точек зрения. Эти дворянские черты сказывались и в Герцене, когда он сталкивался с «непокорностью» Н. А. Тучковой, «строптивостью», с ее нежеланием покоряться. Все это вызывало в нем, воспевшем и возвеличившем душевную «кротость» своей первой жены, враждебное, бешено-отрицательное отношение.

Н. А. Тучкова была дворянкой. И если в Герцене революционере, в Герцене, вожде своего времени, оказались неистребленными до конца некоторые феодальные взгляды на женщину, что же сказать об Н. А. Тучковой, которая в этом смысле осталась далеко позади Герцена и Огарева. Не в том только заключалась беда, что Н. А. была непокорна, стропова, неуживчива, чем очень огорчала первого и озлобляла второго своего мужа. Сила еще была в том, что она в своем отношении к жизни, во взглядах на мир, в житейской философии, несмотря на близость к двум вождям своего времени, осталась представительницей поколения старого, с старым взгля-

дом на семью, на воспитание, на задачи жизни. Социальная сторона трагедии Н. А. Тучковой-Огаревой коренилась в том, что, сумевши перерастить уровень дворянско-помещичьей среды, она не сумела до конца преодолеть ее духовное наследство. Очуждившись в эмиграции, среди чужих людей, в условиях чужого быта, она оказалась чуждой и этому быту и той действительности, которая поглощала Герцена-Огарева. С этой деятельностью ее связывала только близость к ним. Она не была революционеркой ни по взглядам, ни по темпераменту. Тяготела же она не к борьбе, не к общественной деятельности, а к семье, к своему дому, к «малому миру» в то время, когда и Огарев и особенно Герцен жили «в мире большом», в мире широкой общественной работы. В этом расхождении основных жизненных установок таилась причина многих невзгод, обрушившихся на Н. А. Огареву: она была любимой женщиной, но не была сподвижницей, товарищем, спутником в борьбе на путях того «большого мира», который для Герцена был его настоящим домом. Первая жена Герцена также не была сподвижницей в буквальном смысле. Но она была «кроткая». Она не поднимала бурь в доме Герцена.

Но и «кроткая» в конце концов не выдержала. История с Гервегом была ведь в сущности попыткой к восставанию, и мы знаем, с какой грозой гнева обрушился Герцен на виновника, потрясшего мир в его семье. Другое дело Н. А. Тучкова. Она непрерывно нарушала этот мир, требовала уступок, не мирилась с рамками, какие отводил ей Герцен. Она желала его всего, его постоянной близости, хотела власти, грозила даже лишиться отца свиданий с дочерью. Свой деспотизм она противопоставила его деспотизму — и война была неотвратима. Н. А. звала Герцена в «семью», в тот «малый мир», где она жила в одиночестве. В этот «малый мир» она привнесла взгляды, которые вывезла из отсталой помещичьей среды, от которых не сумела освободиться до конца. Пра-

вда, она порвала со своим «зругом», бросила вызов своему обществу, разрушала «устои», на которых создавалась жизнь русской женщины-дворянки середины прошлого века. Но тем не менее в ее праздности, в ее требованиях к жизни, к Герцену, к дочери, к окружающим, в ограниченности ее внутреннего мира, в бедности умственных интересов, в ее эгоцентризме находили свое выражение традиционные черты помещицы-дворянского уклада. Она дом свой строила на песке: личное, узкое, эгоистическое в ней преобладало над общественным. В этом пункте она уступала женщинам-шестидесятиницам, пришедшим на смену ее поколению. Те же черты дворянского индивидуализма и себялюбия передала она дочери — не даром Герцен горестно предугадывал плоды губительной системы ее воспитания. Но ведь эта система не была новой: так именно, с гувернантками, в пансионах, с поощрением слабостей воспитывались дворянские дети. Н. А. Тучкова-Огарева, воспитывая дочь, по существу мало в чем отступала от дворянского шаблона. Лиза была дочь Герцена. Она читала революционную литературу. Ребенком она произносила слова «земля и воля» и все-таки выросла изломанным, своенравным ребенком, без правильного взгляда на жизнь, цветок, выращенный в теплице. Именно система барского, дворянского воспитания изломала девочку. Предчувствия Герцена оправдались. Лиза выросла с тем же взглядом на мир, с теми же требованиями к жизни для себя, с той же гипертрофией личного, с тем же безграничным себялюбием, что и ее мать. Была, разумеется, и дурная наследственность — нервность, впечатлительность, страстность. Но ведь воспитание тем и занимается, что

вводит наследственные свойства в берега, дает им то или иное направление, указывает человеку ту, а не другую жизненную установку. Никакой установки Лиза не получила, в буквальном смысле слова оказавшись предметом импрессионизма и своеволия своей матери, плохо представлявшей, куда она ведет дочь. Именно судьбой девочки подготовила себе жестокое наказание Н. А. Тучкова.

В письме Шарлю Летурно после самоубийства Лизы, страшном письме, где звучит проклятие матери, она называет Лизу «нашей жертвой», т. е. бросает обвинение и самой себе. «Таких преступников, как Вы и я» — пишет она в другом месте письма. Значит и себя считала в такой же, как Летурно, а может быть, еще в большей степени, убийцей своей единственной, любимой дочери.

С этим самообвинением Н. А. Тучкова несла всю свою остальную долгую жизнь. Печальная судьба! Ее письма полны мыслей о самоубийстве. Она неоднократно говорила о смерти, но смерть к ней не шла. Она проводила в могилу Герцена, пережила Огарева, похоронила своих родителей, схоронила детей, хоронила позднее многих из тех, кого любила и кого терзала, и дожила до глубокой старости. Н. А. умерла в 1913 году 84 лет от роду.

Можно удивляться силе духа, с какой пронесла свою страдальческую жизнь эта женщина. Ей мы в значительной степени обязаны появлением посмертного собрания сочинений Герцена. Ее перу принадлежат известные «воспоминания», недавно переизданные изд-вом «Академия». И, наконец, большая часть документов, о которых выше шла речь, обязана ей своим появлением на свет.

# Литература и искусство

1. Н. ЗАМОШКИН.—Художник-универсалист. 2. И. ПОСТУПАЛЬСКИЙ.—О первом томе Велемира Хлебникова. 3. АРК. ГЛАГОЛЕВ.— Социальный смысл творчества: Сухова-Кобылина. 4. К. ЛОКС.— Рабле. 5. Ю. ДАНИЛИН.— Смеющийся Бальзак.

## 1. ПИСАТЕЛЬ-УНИВЕРСАЛИСТ

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

Н. Замошкин

Мариэтта Шагинян до последнего времени не имела установленной художественной репутации, и виной тому отчасти ее литературно-формальная разносторонность и непостоянство. При неустойчивом равновесии, которым характеризуется ее двадцатитрехлетний писательский путь, мудро найти опору для признания, но в конце концов ведь всякий отрицательный, неизменно повторяющийся признак говорит об известном постоянстве, что одно уже обязывает критика внимательно присмотреться к оригинальной и неустойчивой писательской судьбе М. Шагинян. Критика за немногими исключениями была равнодушна и неблагоприятна к ней. Отсутствие фундаментального произведения в немалой степени способствовало этому равнодушию, — не за что было зацепиться... Тем не менее в творчестве М. Шагинян столько самобытного материала и перепутий, столько фосфорического горения и всегда бескорыстных волнений, вызванных таким грозным для интеллигента фактором, как пролетарская революция, что равнодушию к ее индивидуальности теперь нет места; наоборот, пристрастие подстерегает критика, и нужно быть очень осторожным, чтобы в ее художественных произведениях, которые всегда публицистичны, и публицистике, которая неизменно худо-

жественна, не заметить ценностей им принадлежащих.

Данный очерк композиционно будет как бы нарочито беспорядочным, подражая в этом отношении писательскому пути М. Шагинян, в котором самые разнообразные сочинения и опыты, нарушая порядок, трутся друг о друга и не имеют законченной «своей судьбы». Это не значит, что на ее пути нет вешек и не видно привалов. Одна веха бросается в глаза, решительно изменившая направление литературной работы М. Шагинян, переломившая ее сознание и расщепившая ее индивидуальность, — революция. «Надо начинать сначала» — сказано было ею тогда.

### Ткачество вместо поэзии

Я начну с середины писательской биографии М. Шагинян, совпавшей с революцией, с знаменательного беллетристического очерка «Как я была инструктором ткацкого дела». Нет, это не очерк, а настоящая исповедь русского интеллигента, пережившего катастрофу своего привычного бытия. О детонирующей силе Октября составить представление можно именно по этому горячему сюжетно-подвижному произведению, полному шрапнельных разрывов в содержании, где все летит вверх тормашками. Революция! Новыя

координаты всех жизненных отношений, обновление тканей, звучание мелодий, никогда и никем доселе неслышанных... Исчезли былые радости и печали. Открылись новые дали, лучезарные, никому неведомые. Порвана связь времен. Революция из ничего, огонь с неба! Вот в каком сверх- или внеисторическом аспекте приняла Октябрь восторженная М. Шагинян.

Не удивительно, что поэтическое (и надо сказать: богатое) ремесло М. Шагинян стало никому и ей самой ненужным, как она сама в этом признается, в годину великой перемены. Революция враждебна поэзии и наоборот! Подобный свирепый и в то же время аскетический радикализм, в основе которого было больше личного отчаяния, чем общественной радости, впоследствии, как это и должно было быть, значительно потух, но все же в какой-то мере утвердился в сознании писательницы и стал хроническим. Но в тот момент молниеносное перерождение М. Шагинян, сопровождавшееся испровержением всех прежних кумиров, и ее восприятие (понимания было мало) революции как изначального, совершенно автономного, внеисторического процесса было по-своему явлением закономерным, было естественным фактом в скачкообразном развитии ее личности. Психологически ее соучастничество революции очень оригинально. Никто из ее сверстников и младших современников так импульсивно и обнаженно-радостно не переживал 1917 — 1919 гг. как автор «Orientalia», никто в своей истории не начертал такого резкого зигзага, как это сделала М. Шагинян, никто, далее, так не отрекся от самого себя и, с другой стороны, не демонстрировал невольной своей связанности с отчуждаемым прошлым, как она.

Бессознательная—на первых порах—тяга к новому, к коллективистическому порядку, когда розы будут цвести в декабре и золотая масть карабахских жоней будет вечно ласкать взор уставшего человечества, не преследуемого уже никакими демонами тьмы, когда

зловещий образ «лесного царя», созданный любимым Мариэттой Шагинян Гете, исчезнет, — все это сменится потом слишком сознательной философией практицизма и опыта, но каждодневно с этого исходного момента М. Шагинян будет брать, не замечая своего собственного несовершенства, барьеры будущего, выбирать на гору, забывая о подножке, и, отхватывая от марксизма один прагматический кусок, будет прибегать к простейшему для художественно-одаренного человека способу изображения — к пропаганде образов идеями, к логическим сравнениям и силлогистике, оживленным прямой ссылкой на собственные, всегда красочные переживания. Все ее художественные высказывания будут похожи на исповеди, взволнованные, иногда захватывающие именно потому, что они автобиографичны, в высокой степени личностны.

Первая по счету исповедь — «Как я была инструктором» — потрясает искренностью ловообращенного человека. «Квалифицированной пряхой» она стала потому, что совесть не позволила ей больше заниматься искусством... Очень знакомый в истории русской интеллигенции мотив! Неоплаченный долг, многострадальный народ и пр. археологические аксессуары каждаго интеллигента в то время для М. Шагинян были; однако, так же свежи, как и улыбка ребенка. Поэтому-то ткачество важнее поэзии! Несмотря на увлечение своим новым ремеслом, М. Шагинян почувствует спустя некоторое время трагикомичность своего инструкторства в казачьей провинции, не знавшей ни пряденья, ни ткачества! Некого было инструктировать! Донкихотство в обстановке гражданской войны должно было себя разоблачить. Отвращение к литературной корпорации, к которой она принадлежала, вовсе не обязывало поэта, перекинуться от якобы губительного писательского профессионализма к «спасительному» дилетантству (чтобы впоследствии от него отречься!), от поэзии к ткачеству. В Брюсов, не в пример М. Шагинян, поступил правильнее, даже с точки

зрения революционной полезности, продолжая и в эти годы писать стихи.

Однако, инструкторство застало ее во благовремении сил и уверенности в себе. Противоречия пережитой М. Шагинян метаморфозы, конечно, скажутся рано или поздно, но сейчас не в них дело.

### Книга о крушении гуманизма

Стихийность совершившегося с М. Шагинян перелома не менее резко видна и в другом, тоже исповедальном произведении — в «Перемене».

«Завтра» настало вдруг. Пришло утро, когда весь мир показался иным. «перемена», т. е. революция, застигнутая ее врасплох, означала полное крушение европеизма, которым жила М. Шагинян. Некий «распределитель времени» пожелал вычеркнуть прошлое из человечества. Так именно, как неотвратимость и рок, вместе с жалобно-отчаянным признанием «все равно не избежешь...», восприняла революцию неисправимая идеалистка М. Шагинян. Пребывание в Донской Вандее, составляющее содержание «Перемены», перевернуло все ее помыслы и чаяния. Это обязывало быть предельно искренним: в этих записках, — уверяет автор, — нет ни одного выдуманного слова... Одна только горькая и возвышенная «быль» и больше ничего.

Собственная запоздалость и ученичество в плееде старших символистов, поэтическое, так сказать, второпоследие было слишком мучительным для М. Шагинян, и вот она отрывает себя от своих современников и от всего того, что есть в мире неясного и нерешенного. Увиденные ею на Дону борьба миллионов за право существовать и трусливо-предательское поведение интеллигенции ускорили разрешение затаившегося в ней кризиса. Все заколебалось. Ворвался свежий ветер. Гуманистические надстройки европеизма рухнули, и не только они, но весь Эвклидов мир пошатнулся с треском и христом... Таков и «стиль» этой книги: приподнятый, местами декламаторский, философический, импульсивный, искреннейше-эпигонский. Ритмическая проза в батальных эпизодах, библей-

ский плач и лирическо-гражданские отступления перебиваются едко-сатирическим негодованием (по адресу своей «корпорации»<sup>1)</sup>).

В книге больше всего разлито пафоса падения, мрачная природа которого действует, как это ни странно, сильнее авторских филиппик против белогвардейцев. Самобичевание и любование писательницы своими стигматами в конце концов уводит читателя в сторону от сюжета.

Было бы, однако, странно тогда требовать от писательницы перспективной ясности, точного, в формулах, исповедания новой веры (именно ве-



Мариетта Шагинян

ры). Может быть, достаточно было уже одной доверчивости к революции, смелости и прямоты. О марксизме М. Шагинян тогда и не помышляла, а просто приветствовала очищающую грозу. «Перемена» биографически была счастливым подтверждением смутных и робких предчувствий сумерек буржуазного гуманизма, намеки на который были в дореволюционных произ-

<sup>1)</sup> Былевой и почти фотографически точный стиль «Перемены», само собой разумеется, не больше, как самообман: приемы изображения, как таковые, деформируют материал. Стиль — это не геометрические мнимости, практическое значение которых равно нулю, а реальная величина. «Быль» М. Шагинян поэтому в значительной степени «вымыслена».

ведениях М. Шагинян. Но выйти победительницей в борьбе с неврастенизмом старого мира ей не удалось: слишком неврастенична была тогда сама писательница, сделавшая из персонажей «Перемены» подставные фигуры своих настроений.

О том, как революция перерождает человека и благотворно на него действует даже в том случае, если он социально чужд ей, говорит более связно роман «Приключения дамы из общества», написанный в 1923 г.

### Сердце и революция

История превращения светской женщины в советскую требовала от М. Шагинян чрезвычайных мер. Надо было сделать нетипичное обыкновенным и убедительным. Пришлось выбрать героя в политическом отношении вполне девственного, чтобы он не имел сплы для сопротивления, сделать его в высшей степени совестливым, чтобы «маленькое себялюбивое женское сердце» могло биться в унисон с революцией. И действительно, героиня романа обладает этими свойствами. Но социально-то, как бы велико ни было значение революции, дама из общества чужда революции, антитетична ей. Тогда автор, предчувствуя это возражение, спешит поставить героиню в необычайно тяжелые условия физического существования: заставляет ее голодать, воспитывать чужих детей, непосильно трудиться и т. п. Личный опыт, личные испытания (как это похоже на «Перемену») должны переломить человека, сделать его другим несчастного и забитого человечества, возненавидеть людей из «общества». И все-таки остается некоторая необычайность в самом сюжете, натяжка, которую надо нейтрализовать хотя бы при помощи формального приема. Самым названием романа автор подчеркивает, что вся жизнь героини не более, как «приключения», к которым придирается нельзя: мало ли что случается на свете. Но в таком случае зачем понадобилась такая огромная порция искренности, веры и горячности, если речь идет о «приключениях»?

Женское сердце М. Шагинян сильнее рассудка. Революция должна на первом же этапе своего существования исправить человека, приобщить любого к ее смыслу и целям. Кто хотя бы одной частицей души способен слушать звоны революции, тот делается ее другом, попутчиком.

Стоит ли говорить, как много здесь наивности, истосердечной пылкости и как мало исторического чутья, трезвого анализа действительности. Прекрасны в «Приключениях» страницы, посвященные поэзии коллективного труда, трогателен сам по себе подъем героини на революционную гору. Безсучка и задоринки, гладко, как на накатанной дорожке, идет она навстречу солнцу.

Роман этот, помимо прочего, характерен как последний и решительный взлет М. Шагинян на вершину интеллигентского сознания. Как и в этюде «Веймар», написанном на тему о высокой культуртрегерской роли интеллигенции в революции, она возлагает здесь высокие надежды на интеллигенцию. Затем появится скепсис, потом ирония и, наконец (в «Кике»), недобрая насмешка.

### Не тревога, а замешательство

Подробно говорить об общественном и литературном кредо М. Шагинян заставляет сам автор, очень несдержанный в своих многочисленных высказываниях. Беллетристика ее построена откровенно идеологически, это, во-первых, а, во-вторых, М. Шагинян широко пользуется публицистическими жанрами. Ключ к своим убеждениям она охотно вручает в распоряжение критика, ничто не пряча от взоров общественности. Особенно любопытна «Тревога», охватившая ее в 1925 г. на тему «писатель болен». Статья эта носила все признаки выступления и была сознательно рассчитана на отклики и полемику. Резонанса, однако, она не имела (если исключить поверхностные возражения Л. Авербаха), и не случайно. Не помогла и ее тональность в духе «не могу молчать».



Для М. Шагинян пришла, наконец, пора теоретически раскрыть проблему писательства во время революции. «Ткачество» явно не удовлетворяло. Ум должен был помочь инстинкту. Проблемология писательства была выдвинута на первый план. В чем же причины неудавшегося выступления Шагинян?

Болезнь, которую с опытностью хорошего врача вскрыла автор «Тревоги», относилась, в сущности говоря, к тому крылу художников слова, которые начали писать задолго до революции, а потом очутились в эмиграции. К попугачисмам она касательства не имеет. У них свои болезни... Поправку этого рода необходимо внести, чтобы кое-что прояснилось в этом сложном вопросе.

Как могло произойти, что писатель, которому по славной традиции принадлежало во время революции глаголом жечь сердца, остался один-одинешенек, потерял читателей и симпатическую среду вокруг себя, лишился действительных слов и цели и, наконец, стал жить без проекции будущего? Беда, оказывается, в том, что писатель не способен старыми приемами овладеть новым содержанием, — они годятся лишь для «утончения старого». Буржуазное искусство, искусство заката, живет не самыми вещами, а отражениями форм вещей, оно не натуралистично, условно, культивирует значковую характеристику явлений и пр. Пролетариату такое искусство абсолютно чуждо, ибо он счастлив пока не культурой, а своей голостью (см. статьи в «Литературном дневнике», где М. Шагинян восхищается первобытством пролетариата, где прямо так и сказано: «пролетариат—гол!»).

Истинное в этой диагностике перемешано с ошибками. Дело разве только в устарелых приемах изображения? Разве арсенал приемов классического искусства исчерпан? Да он только-что открывается! Предложенный же в «Тревоге» в качестве лекарства для больного писателя художественный репортаж с проблемой в центре — тоже никак не нов: и прежде хороший репортаж был и ху-

дожественным и проблемным. Пойдем далее. Неужели прошлое искусство, хотя бы и предреволюционное, исчерпывалось гурманством Реми де Гурмонов и полным отрывом от действительности? А К. Гамсун, а великий Гете, которого М. Шагинян хотела бы пронести в века социалистической культуры? Или, наконец, как прикажете поступить с собственными вкусами М. Шагинян, бесконечно далекими от натурализма и от презрения к условному искусству в ее «Литер. дневнике», написанном года за два до «Тревоги»? Художественный репортаж таков же, как и «Цветы зла» Бодлера в одинаковой степени будут чужды пролетариату, если на минуту допустить, что он — гол. В сущности говоря, М. Шагинян подняла в своей статье вопросы культурного наследия, заттав их в самом основании. Не мудрено, что ничего из ее попытки выступить с теоретической исповедью не вышло. Потому что вместо корешков она ухватилась за верхки, почти обойдя молчалим главнейшую причину «болезни»: классовое иное происхождение старого искусства.

Помимо всего этого, в «Тревоге» содержится один логический nonsens, делающий все суждения автора не относящимися к теме. «Революция смела многих наших врагов (имеется в виду мешанство Н. З.), но смела вместе с ними и нас». Следовательно «нас», т. е. самого объекта всех тревог писательницы, нет. Не о болезни следовало бы вести речь, а заняться составлением протокола о причинах смерти. Но М. Шагинян охвачена желанием непременно воскресить покойника, она хочет жить и впрыскивает своих былых друзей и себя «живой водой»... художественного репортажа! Гора родила мышь.

В своей тревоге М. Шагинян просчиталась. Обыкновенно за ложную тревогу о пожаре штрафуют. Оштрафована и она — самым ходом вещей. Если опять-таки правильно, что для «нас закрыт доступ» в новые экономические отношения, то нечего было и огородить. Но в том-то и дело, что все ее вещания о закрытых дверях

и смертельной болезни она только по ненужной скромности отнесла к себе: книга «Искусство и новый быт», предисловием к которой и была «Тревога», и ее позднейшие очерки полны нового содержания, обильной и даже чрезмерной жизнерадостности, весеннего чувства и оригинальной остроты мышления. По многим причинам не было никому никакой охоты откликнуться на тревогу М. Шагинян.

### Художественный репортаж

Вот область, где не видно тревоги, где круглые сутки светит солнце, где лихорадочно и радостно трудится человек. Таковы очень выпуклые, как бы зрячие по богатству рельефов, бытовые очерковые образы современности, первоклассным мастером которых следует признать М. Шагинян. Ничто не напоминает в них автора нервических «былей» и «исповедей». Мне кажется, что именно здесь, в конкретно-предметном мире представлений и советской действительности, где многие вещи приобретают вещей смысл, писательница нашла на искомое: на сочетание лучших элементов европеизма с пролетарской революцией. Не в нем ли и заключается истинное призвание М. Шагинян, для которой «слово» становится «делом» только теперь, в этом мимолетном жанре. Картины раскрытого «нового быта» показывают могучие возможности, заложенные в самом принципе советскости. Чтобы так подметить универсализм советского строя, как это сделано ею в цикле «Новый быт и искусство», надо обладать не только художественной интуицией, но и глубоким умом европейца-революционера. Европеизм (тема ее книги о Гете) в своем очищенном от буржуазно-классовых примесей и, так сказать, ректифицированном виде, привитый к тому же к советской действительности, является главным писательским заданием М. Шагинян. Она сама часто не знает, на какую ценную жилу наткнется в своих поисках нового на старой земле. Техника постановки и отыскания проблемы играет тут огром-

ную роль, — и ею писательница владеет превосходно.

Независимо от спора, какой «род поэзии» для данного момента важнее, ее художественный репортаж хорош и убедителен. Но ведь это только частный, лично ей принадлежащий и удачный случай, который совсем не доказывает предпочтительности статей но-очеркового жанра перед другим видом литературы.

Репортаж действительно нужен (доказывается это простым обращением к фактам), но вовсе не потому, что он является будто бы единственной формой питания и ознакомления с действительностью современного писателя! С. Третьякову к лицу такая аргументация, а не М. Шагинян, пишущей кровью сердца. Требуя от репортера-художника уметь ставить проблемы, М. Шагинян забывает о другой стороне изображения — о расчленении событий до существенных частей, об аналитической работе, которую наравне с проблемологической и продельывает художник — не репортер.

Обратимся теперь к самим очеркам и картинам нового быта. Говоря о таких привычно-газетно-митинговых вещах, как шефство, уголок Ленина, кино-пропаганда и пр., М. Шагинян находит для них мимоходом такие образы и сравнения, такие далекие от казенности обороты речи, что привычные темы зацветают как бы впервые и кажутся совершенно новыми. Пропадает оскомина. Наиболее богато представлен у М. Шагинян очерковый репортаж. Уж, наверно, она знает правило, чтобы очерк, фактическое произведение, статья «смотрели беллетристически» (выражение Белинского). Тогда и неэстетический материал выглядит эстетически, и действительно: самые разнообразные приемы поэтической конструкции широко применяются в ее очерках. Среди них имеются и антропоморфизация сил природы (напр, роман угля и железа), и перенесение определенных качеств в чуждую среду (напр., промышленный голод у шелководных червей), и драматизация отвлеченных категорий и т. п. Персонажами очерков являются уже не отдельные индивидуальности — типы

и аборигены — и даже не коллективы, а природные силы и сама наука, разум человеческий. Безликие в своем естестве, они преобразуются в настоящих героев благодаря персонализации и олицетворению мертвых явлений. Например: строительные проекты в ее очерках сталкиваются, побеждают, идут на компромиссы и т. п. Все это достаточно ново и систематически ею проводится.

Человек же, виновник, всех преобразований слепых ликов природы, у М. Шагинян почти совсем не показывается. Былая привязанность ее к психологии в самом сгущенном виде (роман «Своя судьба») дала резкую реакцию, реакцию отрицания, очень характерную вообще для М. Шагинян. Тогда как М. Пришвин — другой и совсем иной блестящий представитель очеркового жанра — начинает и кончает человеком (см. его «Башмаки»), М. Шагинян проходит мимо «человека», принесшего ей в прошлом только одно разочарование и горечь увлечения. Поэтому-то очерки у нее получаются в буквальном смысле производственные, в отличие, скажем, от правоописательных, физиологических и пр.

«Прогулки по Армении», «Нагорный Карабах», «Зангезурская медь» и «Тявварчельский уголь» — вот кавказская география ее путешествий. Родные края. Страна возрождающихся национальных культур.

Я знаю, мудрый зверь лесной  
 Ползет домой, когда он ранен.  
 Ту боль, что дал мне северянин,  
 О, залечи мне, край родной!

Так читается последняя строфа ее замечательного напевного стихотворения «К Армении» из «Orientalia». Для измученного «северной», холодной культурой человека родина обязательно сопрягается с образом милой родной старины, с натуральной правдой почти естественного человека. Значит еще в годы мировой войны голос крови позвал М. Шагинян на родину, но только в советское время она нашла себе там кров и цель. Чтобы стало возможным сочетание европеизма с «азиатчиной», понадобилась национальная по-

литика Октября. Необходимо было также отречься от взлелеянного ею в туманном Петербурге образа «северянина», которому она обязана была своей мучительной поэзией. После этого естественно было приветствовать родину, — страну не закатного, а восходящего, советского европеизма. Девочка с древнейшим именем Гохарик, держащая в руках декабрьские розы, стала символом возрождения. Ее грубые, но породистые руки, создающие замечательные, благодаря тысячелетнему опыту конструктивности, произведения бытового искусства, для М. Шагинян бесконечно дороже холодных и хитрых выдумок северного искусства. Конечно, в этом предпочтении врожденности (расовая мнемона, огромный светящийся «хвост расового образа» и пр.) выдумке есть значительная доля традиционного романтизма, не согласующегося, кстати, с ее же последней теорией эксперимента и расчета в искусстве, но просто усталое сердце захотело чистого наслаждения и вновь заговорил в человеке рефлекс отталкивания. Прелестные «Прогулки по Армении» — это притча о блудном сыне, возвратившемся в отчий дом.

Охлаждение и трезвость мыслей пришли тотчас же в форме увлечения вещественностью. В Зангезуре и Тявварчелах М. Шагинян прочно вступает на стезю, так сказать, индустриального мышления. Труд восхваляется, как обращенный в будущее. Автор спускается в шахты, подымается на Алагез, терпит лишения, чтобы увидеть и узнанное ею стало достоянием всех. Она готова свое искусство сделать служанкой науки и социалистического строительства, возвышая эти понятия в образы. Чего стоят, напр., подмеченные ею симпатии и антипатии в царстве минералов, которыми так ловко пользуется лишенный милосердия человеческий разум. Интуиция художника таким образом придает самым прозаическим темам плотскую осязаемость и привлекательность.

Подобно М. Горькому и Ф. Гладкову М. Шагинян своими очерками не просто участвует в социалистической пере-

стройке страны, но и толкает вперед строительство, ставя новые проблемы, изобретая те или иные решения, заостряя привычное внимание и т. п. Впечатлительность М. Шагинян ослепительная, не остывающая ни на минуту. Пятилетка для нее — не просто «план», расчет, а философия эпохи, то отличительное, чем дышит наше время. В самом деле, план и есть гармония частей, торжество интеллекта, в его основе лежит прагматический стимул настоящего и проекция будущего. А это все элементы того симфонизма и философии опыта—связи, которые вынесла М. Шагинян из своего изучения жизни и творчества Гете. Я уверен, что именно эта ассоциация придает ее очеркам такой глубокий смысл и поэтическую возвышенность.

### Что такое «Кик»?

Несмотря на наличие в «романе-ком-плексе» фабулы («исчезновение» большевика и контрреволюционный заговор в Карагае) и некоторых других элементов беллетристического произведения, «Кик» не более как очередное пропагандистско-идеологическое литературоведческое выступление М. Шагинян. В нем сожительствоуют два принципа: механическая игра жанров и форм и догматическая цель романа. Замкнуто-виталистическая (формалистская, то есть) конструкция его неминуемо отдаляет произведение от органического охвата жизни. Очень нетрудно заставить любую «форму» служить любой преднамеренности. Тогда магия формальных упражнений легко идет на потребу «идеологии», тенденции. «Кик» — наглядное тому доказательство. После производственных очерков и вдруг такой формализм! Откуда это? В «Литературном дневнике», писанном в революционные годы, можно найти целую систему взглядов, крайним выражением которых будет фраза М. Шагинян «о форме, ставшей носительницей жизни, ставшей самоделью»... Неумеренное пользование морфологизмом привело ее к безжизненной формалистике, ловко уживающейся с «производственной» идеологией.

Представьте себе произведение, состоящее из образцов почти всех литературных жанров, включительно до газеты в ее натуральном виде, очень остроумно смонтированных комбинаторским талантом М. Шагинян в одно целое. Самый же комплекс строится ею на песке: на чисто отрицательном основании, на том, чего нет у персонажей авторов этих жанров. Авторам этим, нейтрально и враждебно относящимся к современности, противопоставлено нечто программно-положительное в лице пятого персонажа — докладчика большевика, в уста которого М. Шагинян вкладывает свое общественно-литературное *profession de foi*.

Получился не роман, а романизированный фельетон, — очень удобная форма, чтобы высказаться о своих вкусах. Процесс превращения «чистой» формы в публицистику тут очень обнажен. Взятый сам по себе, «Кик» выглядит привлекательно и занимательно. Каждая страница в отдельности искрится умом, задором, большим изобретательством. Многосторонняя талантливость М. Шагинян торжествует, но художественного произведения-то не получилось: злободневность темы не преодолена, не вдвинута в будущее. Никакой химии элементов в «Кике» нет. Положительная его часть — проповедь производственного искусства — лишь углубляет всю односторонность лефовского бескрылого толкования искусства, как прикладной дисциплины, и только. Налито-постовская критика ничего не поняла, подняв на щит автора «Кика».

Новое время требует новых песен, логика революции способна исправить даже горбатого и пр. Здесь самый ответственный пункт романа: обоснование должного, революционного искусства. Литература должна строиться на «рабочем жесте», всякая форма вначале была содержательным, рабочим жестом, ленинская речь — воплощенная схема двигательной природы русского языка, лучший критерий — практика (Гете), цель жизни корректируется направлением, слово должно стать утилитарным, вдохновение — лишней нарост на искусстве и пр., и пр. Вглядываешься

во всю эту вязь и спрашиваешь себя: а как же быть с метафорой, как органическим свойством поэтического слова, с музыкальностью даже самого практического слова, этого звучального инструмента труда, с пресловутым лефовским жупелом — вдохновением, — которым кстати насыщена каждая строка ленинских книг, и т. п.? Желая освободиться от фантомов и злых фурий символистской поэтики, М. Шагинян размахнулась по самому ответственному месту языка и поэзии. Пора понять, что лефовство характеризуется вовсе не предметностью и конкретностью (лирика Гумилева, напр., и конкретна и предметна), а особым страхом перед психологией, которая им мерещится в образе мистики, пренебрежением марксистского тезиса, что искусство вырастает на общественной психологии, а не на строительном бутовом камне или антраците! Недаром М. Шагинян не мыслит кулака без батраков, искусство без показа хозяйственных процессов! «Бесчеловечность» ее тут другим боком лезет. В реалистическом искусстве, где важны не сюжеты, а достижения (в Литер. дневнике» все это было понятно М. Шагинян), рабочий жест всегда был и не мог не быть. Под пером М. Шагинян хороше истины иногда как-то искривляются и отшлепываются беспутным ветром вкось.

М. Шагинян к старому искусству потеряла уважение, не найдя в нем «рабочего жеста». Этак она его никогда и не найдет, так как жест, не только выражающий, но и совершающий работу, во всяком искусстве находится в недрах его, в подспудном состоянии, а не на поверхности.

### В тщетных поисках судьбы

Опять для контраста заглянем в иные края — в густопсихологический роман «Своя судьба», написанный в годы мировой войны и напечатанный впервые в 1923 г. Только открытая проблематичность романа роднит его с «Киком». Но дух практицизма и проповеднических нотки, спутники проблемности, здесь выглядят чисто идеалистически.

Идеалы германской культуры, свя-

занные с узкой корпоративно-семейной общественностью и гуманистическим реформизмом в области общественной жизни, незадолго перед тем раскрытые М. Шагинян в «Путешествии в Веймар», нашли свое идеальное подобие в фигуре профессора-психолога Ферстера. Пересадкой этих идеалов на российскую тучную, по неустроенную почву запята писательница в этом растянтом романе, где психология, как научная дисциплина, выступает в роли героя произведения!

Внимание автора здесь устремлено в сторону человека и его судьбы. Личность стоит в центре. Дисгармония между личностью и средой волнует М. Шагинян, она ищет путей для преодоления разрыва и находит их в условиях буржуазного первопорядка. Человек беззащитен перед насильем и перед лицом авторитарных социальных учреждений. Поэтому он должен, следуя за Ферстером, аскетизировать свою натуру; в дозволенном и предустановленном найти возможности для благой гуманистической деятельности, воспитывая свой характер, как единственное противоядие злой воле и истинкам. Пропаганда деятельного толстовства, окрашенного философией практического поведения и активизма в пределах своей ячейки, проводится М. Шагинян в этом романе настойчиво. Судьба вполне подсудна человеку, если он будет обходить острые углы общественного, основанного на насильи, строя. Однако, она чувствует, что «узкие врата» (так называется один из ранних ее рассказов) морали тесны для личности, желающей выйти за околицу своей среды. Тогда она распахивает широкие врата христианской любви. Ферстер и его подголосок ассистент, представитель золотой середины и буржуазной благонамеренности, комментирующий соответственным образом все поступки героев и ведущий от своего имени повествование в романе, — эти два центральных персонажа встречают бешеную оппозицию в лице другого, крайне типичного для закатной буржуазии представителя, пациента Ястребцова: циника, соблазнителя, насмехающегося над моралью «светлых

личностей» типа Ферстера и д-ра Газа, человека ставрогинской складки, живущего не рассудком, а раба импульсов. Он олицетворяет неврастенизм декадентских слов буржуазии, который М. Шагинян и хочет обезвредить достижимой для всех гуманностью и добрыми делами. Два лика европеизма даны в романе, и оба обреченные, чего, однако, автор не заметил. Мироззрение М. Шагинян того времени было бесконечно далеко от революционного решения вопроса.

Проблема личности, ее психизма подана в романе в изоляции от широкой среды, «судьба» людей поэтому неразрешима. Не даром действие происходит в ограниченном пространстве, в горном ущелье, как бы под стеклянным лабораторским колпаком (вообще в романе много «лабораторности» и экспериментально-психологических ценных деталей). Личность и ее судьба в изображении М. Шагинян дуалистичны: частная и общая, ноуменальная и феноменальная судьба, но в обоих случаях основное ядро личности, социальная сердцевина ее, почти не раскрыто. Выбор санатория не случаен. Больные герои — лишь увеличительное стекло болезни человечества, классовой дифференциации которого Шагинян не видит.

Что «Своя судьба» иллюстрирует немецко-буржуазные, «европейские» идеалы М. Шагинян, будет видно из следующей главы. Российское предреволюционное бездорожье помешало ей акклиматизировать немецко-филистерский цветок. У нас могли произрастать тогда не засухоустойчивые Ферстеры, а только черные лилии, в роде Ястребцова.

Писательнице надо было искупаться в теплом источнике психологизма и человечности, проверить пригодность европеизма, заглянуть в буржуазную домашность, семь раз примерить и один раз отрезать, чтобы, наконец-то, приветствовать «перемену» со всем пылом неистового сердца. Не знаящая классовой борьбы и не понимавшая смысла мировой войны, М. Шагинян иначе поступить не могла. Потребность же в разрешении социальной судьбы человека, пропедевтически поставленная ею в «Своей судьбе», была уже тогда налицо.

### Паломничество к Гете

Прежде чем притти к мысли, что наступил «ликвидационный период нашего европейского сознания», и уверовать в провиденциальный смысл Октября, М. Шагинян одно время возлагала все надежды на европеизм или, точнее, на германизм.

«Путешествие в Веймар» — несомненно лучшее произведение М. Шагинян. Это целая поэма о народе, художественный трактат на огромную культурно-философскую тему, в котором мысль и образ, абстракция и предметность чудесно слились в одно целое, в лиро-эпическое единство. Писательница путешествует по старым городам Германии и по отдельным реликтам былого воссоздает великий образ Гете как символа германизма, этой наиболее организованной и гармонической формы европейской культуры. Книга раскрывает Германию одновременно в двух аспектах: гетевском и начала XX века. В этом отличительная, смелая и многообещающая особенность замечательной работы М. Шагинян, в едином восприятии охватывающей разнообразные исторически складывавшиеся черты целого народа. Гете взят в широком культурно-эстетическом разрезе, а не только как объект исследования и предмет поклонения. В этом смысле метод книги — внеисторичен, душа ее — традиция, упругая, живучая. Мгновенным постижением культурных явлений и главным образом бытовых форм культуры характеризуется художественно-синтетический метод книги. Динамика событий берется как бы в застывшей стадии, — не литературно, где развитие совершается во времени, а архитектурно. По отдельным камушкам, относящимся к разным эпохам (от позднего средневековья и до кануна мировой войны), складывается образ Гете, как конденсатора национальных свойств германства. Приемы М. Шагинян чем-то напоминают работу археологов, по отдельным предметам умозаключающих о типе культуры. Я не знаю в современной литературе другой подобной книги, которая бы так интуитивно подходила к исторической теме, как подошла к ней М. Шагинян.

Каковы же особенности «духа» немецкого народа? Автор не подозревает, что его блестяще раскрыты во всей жизни и многоцветности псковский буржуазный быт. Домашность, как естественный предел странствований и увлечений молодости, уют, симметрия в работе и профессионализм, крепость семейных отношений, анти-катастрофичность, замкнутая, каштовая, социально-классовая общественность, почитание авторитетов, целая система предупредительных мер против взрыва недовольства, свой, «веймарский» патриотизм, трудолюбие, разумная организация опыта, укрепление единожды созданных связей, прогресс в пределах возможного, постепенность, практический идеализм и мечтательный позитивизм в политике и т. д.— вот зрелая формация буржуазного правопорядка, «практический разум» которого писательница попыталась перенести в «Свою судьбу».

О, конечно, сам-то Гете не таков. Великий поэт и ученый, морфолог и органицист Гете не мог не презирать отменных отличий буржуазно-цеховой Германии. Он преодолел в себе родную среду умеренности и аккуратности, создал качественно иную среду. Его философия опыта и связи ничем не похожа на ту же философию, выработанную бюргерством. К сожалению, М. Шагинян не показала, как преодолел Гете свою среду. Автор не учел диалектики развития личности в сопротивляющейся среде. Надо было дать образ Гете-борца<sup>1)</sup> в его странствиях, победах и поражениях. Генетики образа нет. Нет «страданий молодого Вертера», «годов странствования Вильгельма Мейстера» и хождений по мхам Фауста. Прежде чем притти к гармоническому мирозерцанию и объективному оптимизму, Гете пережил ведь мно-

го дисгармоний, был одиноким и уединенным, знал муки от невыполнимости желаний («лишь слабый след от тех стараний лег...»), иногда злобствовал (см., напр., его басню о критике), христианство в нем боролось с язычеством и т. д. М. Шагинян же ограничилась образом зрелого Гете-олимпийца, который на склоне лет в своем быту пришел «к той узости, что нас одна счастливит...» Вот эта самая «узость» и совпала с бюргерско-мещанским духом Германии! Едва ли М. Шагинян предвидела этот вывод, — если бы предвидела, то поступила иначе. Двуклассности европеизма она не подчеркнула. Произошло это оттого, что проблема сознания и понимания германизма в книге отвлечена от истории и социологии, а проблема роста Гете и его «почетное» пребывание при герцогском дворе в Веймаре и совсем обойдены.

В предисловии к этой книге, изданной в 1923 г., через 8 лет после ее написания, автор прокламирует о том духе беспокойства, совпавшем с позднее написанным «Закатом Европы» Шпенглера, который ее охватил во время путешествия. Если исключить импрессионистски-взволнованную манеру изображения сцен мобилизации и предвоенной горячки немецких улиц (автор вел дневник путешествия в конце июля 1914 г.) и рассуждения о европейском человеке, променявшем самочувствие на ядовитое и индивидуалистическое себячувствие, то никаких признаков беспокойства за живучесть европеизма и надвигающейся катастрофы в книге нет. И не может быть, так как М. Шагинян восхищена строем культурных отношений, создавших величие Германии, жизнеделанием и музыкальностью немецкого духа, «антиреволюционной» природой его и дисциплинированностью. Тревога могла появиться в том случае, если бы автор почувствовал антиномичность общественного устройства страны, его классовую структуру. По настроению «Путешествие» никак не совпадает с «Закатом Европы». Скорей их сближает над-исторический метод и тонкое искусство феноменологического портретирования. — и в этом смысле, дей-

<sup>1)</sup> В революционное время, когда со всей категоричностью встал вопрос о месте интеллигенции среди борющихся классов, М. Шагинян (в статье «Веймар») обратилась вновь за помощью к Гете, подчеркнув на этот раз значение гения, как создателя новой среды, действующего наперекор традициям, выступившего против веймаризма — синонима косности, мещанства, застоя.

ствительно, М. Шагинян как бы предвосхитила манеру Шпенглера. Но одного констатирования неврастепизма буржуазного общества недостаточно было для такого ответственного прогноза, как крушение буржуазного европеизма.

Несомненной заслугой М. Шагинян является популяризация такой сложной и продолжающей быть малоразаданной проблемы как Гете. Невольно поддаешься очарованию созданного ею мужественного и плепительного образа поэта-философа. Но чем действительно богата книга,—это раскрытием философского облика Гете, его творческой конституции. На этом источнике М. Шагинян построила свою нормативную эстетику,—как она выглядит, по крайней мере, в ее «Литературном дневнике», где теоретические предпосылки искусства вытекают из прекрасного чувства формы, а литературные портреты и характеристики говорят о блестящем критическом таланте автора.

Эволюция взглядов привела ее, однако, к тому странному положению, которое мы видели в главе о «Кинке». От гетевой эстетики остался только принцип делания жизни, знаменитый же морфологизм выродился в формальную поэтику, а органицизм Гете — в своеобразный конструктивный витализм. Мне кажется, что виной тому автоматическое пользование взятыми на веру понятиями... Так что от Гете к современной М. Шагинян ведет ныне только едва заметный пунктир.

### От морфологии к формалистике

Толкование М. Шагинян эстетики Гете совпадает в основных положениях с капитальным трудом Г. Зиммеля «Гете»<sup>4</sup>). К ним относятся: принцип морфологического понимания искусства, тесно связанный с натуралистическими занятиями великого поэта, требование мужественности и плотности в образах, «артистизм» Гете, неприятие им «романтики» и эмоции, отвращение к «натурализму эффекта», уничтожающему в произведении «мра-

морность» и пр. М. Шагинян опередила советских формалистов, назвав их поэтику морфологической, по в одном просчиталась: формалисты, в отличие от Гете, подводят художественную форму под жизненное содержание, «делают» искусство, игнорируя восприятие (потенциальная форма произведения), переживания и созерцание, которые есть уже формирование. Г. Зиммель в отличие от М. Шагинян изумительно тонко это вскрыл в поэтике Гете. Здесь именно начинается отход пашей исследовательницы от правильных позиций. До этого же все было благополучно с точки зрения верности заветам Гете.

Обстоятельство, что художник должен мыслить расчлененно (одна из важнейших черт европеизма в понимании М. Шагинян) требовало от нее особо критического подхода. Привожу пример из жизни Гете. Когда Гете разглядел прекрасные крылышки стрекозы, то ему представилась печальная темная синева и он возмутился против этой анализаторской способности человека, выступив в защиту сплошности восприятия, видности (отсюда борьба его с шютюповой теорией цвета, ибо она разлагала цвет на спектр). Пусть красота иллюзорна, но она должна быть! Без таких поправок к морфологизму нельзя правильно понять его. Формалистка М. Шагинян как раз это и упускает в своей эстетике.

Не будет преувеличением сказать, что для М. Шагинян истинное произведение живет самоцелью, зиждется на некоей животворящей силе, имя которой—форма. Своеобразный художественный витализм! Внутренняя телеологичность формы непроницаема для внешних воздействий как в процессе создания ее в произведении, так и в бытии уже имеющегося произведения. Дальше идти некуда. Органицизм теряет свой первоначальный, глубоко жизненный смысл и предстает в самообожествленном виде.

Есть некоторая связь между пониманием формы как замкнутого в себе организма, обладающего некоей жизненной силой, и пристрастием М. Шагинян

<sup>4</sup> Русское издание ГАХН, 1929 г.



к фабуле, благодаря которой произведение из статического состояния переходит в подвижное. М. Шагинян хочет видеть произведение в непрерывном потоке действия. Справедливое желание. Я бы так интерпретировал идеальную роль формы: форма в потенциальном состоянии подобна сжатой пружине, толчок художника освобождает заключенную в ней силу, и пружина бешено разворачивается. Но на практике эта воображаемая функция формы в чистом своем виде не дана. Пружина в своем движении встречает препятствия, разнообразные торможения со стороны изображаемого материала. Некоторая замедленность и даже остановка абсолютно необходимы для мотивировок, отступлений, наконец, просто нужны передышки, так как воеприятие имеет свою скалу и предел давления. Поэтому-то чрезвычайное увлечение М. Шагинян фабульной динамикой противозаконно. Закрывши глаза, она бросается вперед, требуя от литературы невозможного, просто ненужного. А тут еще заманчивая «европейско-американская» динамичность заставляет ее бросить обвинение всей русской литературе в отсутствии фабулярности.

«В фабулярном построении темы русскому писателю всегда чувствовалось что-то несерьезное, что-то опорочивающее тему, сбивающееся па забаву, па потеху. И огромное поле русского быта... почти совершенно не использовано нашей литературой в фабулярном смысле, спокойное бытописание или психология быта, но не фабула, — вот типичное русское воплощение темы».

Здесь все, от начала до конца, противоречит фактам. Пора резко обрушиться на это ставшее модным стремление приписать русской литературе статичность, азиатскую неподвижность. Русское искусство фабульно, как и всякое истинное искусство.

Правда, оно не гонится за авантюрной занимательностью и курьезностью, но и не чуждается динамики. Психология быта без фабулы—это уже не искусство. Достоевский, Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Лесков, Чехов, Тол-

стой, а из позднейших и современных Сологуб («Мелкий бес»), М. Горький, Куприн, Сергеев-Ценский («Движения»), Ал. Толстой, Пильняк и мн. др. Разве не насыщены их произведения богатой фабулярностью, подчас экстравагантной, гиперболической?

Посмотрим, как обстоит дело с фабулярностью в Европе. Возьмем Гете. В драматических произведениях его очень мало сценичности и много лирики. Романы (особенно «Годы странствований Вильгельма Мейстера») отягощены длиннотами, вставками, склеенными иногда механически. Все это общеизвестно. А М. Пруст, «Тристам Шенди» и др.? Европейец Флобер мечтал о будущем «афирном» искусстве, книгах «ни о чем», т. е. о бесфабульных даже произведениях. Примеры эти, конечно, не обязательны для М. Шагинян, но ведь они принадлежат европейцам! Целесообразнее было бы говорить, если уж па то пошло, о пропорции фабулы и описания, об особых темах, требующих обильных происшествий, а вовсе не о фабульности вообще.

Эстетика М. Шагинян бесконечно далеко отстоит от ее художественной практики. Высокие слова о телеологичности формы и пр.—результат умозрительных упражнений писательницы. Искусство ее как романистки во всяком случае чуждо эстетства и не обладает качествами чистой формы. Но фабулярность она с охотой приводит в свою практику. Крайнее выражение этот принцип получил в ее приключенческих романах, хотя искусство и пострадало от этого эксперимента.

### Фабула торжествует!

Пренебрежение «психологией быта» во славу фабулярности не прошло бесследно. В романах «Месс-Менд» и «Лори-Лэн», вышедших под псевдонимом Джим Доллара, и счезла тема! Вместо нее «французский набор» фактов, приключений, неожиданных превращений, безостановочно проносащихся с курьерской быстротой по страницам этих сыщицко-революционных романов. Что и говорить: техника огромная, вир-

туозная, способная увлечь самого взыскательного читателя. Никто из русских писателей не сумел бы так ярко доказать таящихся в принципе фабулярности возможностей, как это сделала М. Шагинян. Фабула торжествует. Ради чего? Автор уверяет, что в романах показан — па ф о е к л а с с о в о г о т р ю б а ! Традиционные сыщики из уголовных романов, превращенные в рабочих-революционеров, борются с фашистами... Америка, СССР, Германия, Грузия... Надо доказать, что рабочий может победить капитал только тогда, когда получит власть над вещами! Но это все от «ratio», фактически же нет ничего, кроме фабулы. О «вещах» и говорить нечего; если они и есть, то — по слову Диккенса — «каждая вещь против меня»...

Насколько все случайно в романах видно также из признаний самого автора, сменившего свои «европейские» симпатии на «американизм» чистого вида. В ее брошюре по автоистории романа «Как я писала Месс-Менд» сказано: роман «изобретен и выдуман»... В патенте М. Шагинян на изобретательство позволительно усомниться: в Европе и Америке жанр чистого приключенчества имеет давнюю историю и ведет свою родословную от рыцарско-разбойничьих романов. Конан-Дойль, Десберри — не они ли являются ближайшими образцами Красного Пинкертоня? Но вот что роман «выдуман», это совершенно верно. В нем нет ничего от настоящей творческой потребности, а все от техницизма. Сколько бы ни было фабульных моментов, их всегда можно скомпонировать так, что получается подобие сюжета. Такова «психология творчества» Джим Доллара.

Происхождение джим-долларовщины не менее случайно и книжно. В свое время в прессе был выброшен лозунг о Красном Пинкертоне. М. Шагинян немедленно за него ухватилась. Напрасно лефовские горе-теоретики «социального заказа» об этом разительном, подтверждающем их теорию случае умалчивают. Большой козырь в их руках, да что толку-то!

### «Санктпетербургско-Восточный Диван»

А ведь было время, когда М. Шагинян жила только «пророческими снами», ловила лунные тени и покорно мирилась с тем, «что желанное не сможет»... Фабулярность и пр. были за порогом ее желаний. Какая дистанция разделяет ее, автора юных стихов «Первые встречи» (1906—1908 гг.) и технически-ловких, пародийно-насмешливых стихов в поэме «Рог Дианы» (в «Кике»)! Еще в «Тревоге» слышалось требование, чтобы современность не посягала на священное право поэта видеть «пророческие сны», да так и умерло парализованное, — и не по внешнему запрету, а по внутреннему нехотению «пророчествовать» поэзией. Просто атрофировались в ней поэтические склонности, и весь жар души М. Шагинян отдала на служение и делающие «яви», где нет места ни вымысла, ни ложности. «Угрюмый мученик мечты» возмутился против угрюмости и мученичества. Над своей поэзией М. Шагинян поставила крест. Между тем лирика ее была жизненна, тепла и прекрасна открытостью и открывенностью. Безучастием к жизни М. Шагинян никогда не страдала.

Первая книга стихов (изд. 1909 г.) мало кому известна. Ее затмила другая — счастливая — «Orientalia». Но она драгоценна именно первостью как в любви к миру, так и первостью разочарования. Ни лукавости, ни практицизма нет в ее первых стихах, хотя и есть предчувствие того часа, когда «ворвется в сердце ветер снежный»... Пока же встреча с миром ласкова и благословенна. Несоответствие порывов и действительности (извечный мотив романтической молодости), голоса о том, что рано или поздно «нас огнем прожжет тревога», на ряду с безмятежностью простодушного ребенка придают ее ранней поэзии особую психологическую тональность первого знакомства с жизнью. Обращаясь доверчиво за помощью к небу, с которым можно беседовать языком сердца и цветов, она начинает прозревать, что разделенное и себялюбивое человечество с грубым криком замыкает перед ней все двери. Не может быть счастья в «огоньках

одинокях». Зарождается подозрение к установившемуся.

Лирика только тогда становится искусством объективного, когда личное чувство поэта находит опору в объективном познании мира. И, конечно, в «Первых встречах», этих слишком субъективных и грустных *Clavier-abend's*, нет необходимой опоры. Не пришло время. Грозный образ укоризны, столь значимый каждому испорченному поэту буржуазной эпохи, для юной М. Шагинян не стал еще объективной реальностью. В годы 1906—1908 искусство ушло в себя, как улитка в свою радужную раковину. В этом смысле стихи М. Шагинян ничем не отличительны, но неиспорченность и молодость поэта покровительствуют истинному направлению ее поэзии. Чуждаясь социальной тематики, она социалью переживала и свою душную эпоху и свою напрасную мечтательную юность. Стало ясно, что в мире вражды, чуждости и собственности отзывчивой душе поэта нет успокоения. Поневоле пришлось уходить в сладостные воспоминания, кого-то за что-то благодарить («Я без конца благодарю...») и с наслаждением набрасывать на действительность акварельно-голубую паутину хрупких, иногда ребячливых (раздел «Картинки») стихов. Звучит в ее стихах женственная преданность миру, который еще не окончательно обманул, но в котором так много непонятого и обманчивого:

Волны стонут глухо и протяжно  
И ползут на берег, сонные, как ртуть,  
Все многозначительно и важно,  
Все как-будто хочет дать и обмануть.

Художественная значительность стихов первой книги очень неодинакова. На ряду с пластическим и замечательно-стремим циклом «Мраморы», напоминающим паросские мраморы Т. Готье, встречаются тривиальные, мертвенно-холодные строки о колдовстве и пр. в цикле «Заколдованный замок». Признание:

И учусь я неведомой жизни  
Со страниц неживого рассказа

относится главным образом к ее поэтической лексике, где невнятность и

intérieurs безликое молчание и улыбки мгновения—не редкие гости, а также и в стиховых реминисценциях (напр.: «Мое одиночество—бездонное, безграничное; но такое душное; такое странное», «вечно-далекие, вы отошедшие, вы не настанете», «я стоял и ждал за колоннами», «и безумье, и безумье, и движение»). Нет нужды указывать, где Блок, Гиппиус, Сологуб, Бальмонт, Лермонтов, Тютчев и др.—не в этом дело: в целом-то не «неживым» рассказом, а живыми переживаниями дышат «Первые встречи». Переживания эти окрашены в специфическо-петербургский, символистский цвет, при котором «слово важнее дела» (гетевское: слово должно стать делом — было впереди) и иго «северянина» не кажется игом, но иначе и не могло быть.

В «Orientalia», которую следует считать вершиной творчества М. Шагинян, беспокойство как-будто оставляет автора. Времени оно найдет выход в пантеистических настроениях, которые помогут поэту выстрадать себя. Некоторое предрасположение к этому выходу страстей встречается уже в «Первых встречах», главным образом в поэзии пейзажа, существующего «не для себя», а как окно в мир смысла, космоса (классическое разрешение поэзии пейзажа в русской лирике именно таково: для Тютчева и Лермонтова природа не натуралистична, а онтологична). Поэтому в «Orientalia» момент личного полускрыт, местами совершенно объективирован, здесь сердечные раны не зияют, холодное лезвие познания умеряет жар крови (в стихотв. «Жалоба», впрочем, они чувствуются). Нет в этой книге лирическо-субъективных излишеств, но есть мера и некоторая сдержанность даже в самых несдержанных религиозных порывах и в фискованной мистике пола. М. Шагинян избегает стихийности в своих излияниях, сдерживает ее некоторой манерностью и деланностью (стороны, прекрасно ею вскрытые в поэзии Ахматовой). В изысканной, тщательно проработанной простоте стихов ее нет музыкальной крикливости, эффектов, приблизительных и вольных

созвучий, каких-нибудь особенных аллитераций, столь модных тогда. Знаменитое «Полнолуние» М. Шагилян своей предметностью и терпкой пряностью выпуклых образов продолжает, — в ином, «восточном» роде, — линию «Мраморов».

«Orientalia» резко делится на две части: собственно ориентальную и палестино-сибирскую символистскую. Первая стоит несколько особняком, вторая связана с «Первыми встречами».

В пышных и ленивых «восточных» стихах ее чувствуется отраженное влияние языческой, анакреонтической поэзии Омар Хейяма, моралистские мотивы Саади и цветы гафизовой лирики (по аналогии с «Западно-восточным Дивалом» Гете, в котором великий поэт дал свободную интерпретацию лирики Гафиза и др. персидских поэтов, я беру, с небольшой натяжкой, назвать обе книги стихов М. Шагилян одним общим комбинированным названием). Но не только это. Ориенталистика и экзотика их современена эротической поэзией Сологуба, Гиппиус и розапевским «полом» (цикл «Женщина»). «Всему живущему идти путем зерна»...—так позднее было—В. Ходасевичем—выражено это течение в русском символизме. По колориту стихи вполне восточны. Прекрасная женщина Востока только в нарушении брачных уз находит выход к своему самоутверждению. Большое значение поэтому приобретает мотив «господина», случайного «гостя», любовника, который «освобождает» женщину от рабства. Тогда женщина восклицает: «Лжет Коран, лукавит Аверроэс», но тотчас же в страхе обращается с мольбой о прощении к Аллаху. Дерзость ее мгновенна, чадра, как символ полюбленной любви, остается неснятой с лица женщины. Душная знойная ночь мусульманства побеждает. Ибо даже гость-освободитель такой же владыка, как и муж («Кто бы ты ни был, будешь господином»). Замечательна техника обмана, которая выработалась у восточной женщины, и особая наука страсти нежной, живописно переданная поэтом в «Orientalia». М. Шагилян предстояло дать все это в совершенно

свежем виде,—уж слишком часто брались такие темы в поэзии<sup>1)</sup>, что и было ею достигнуто главным образом локальными эпитетами и соответствующим подбором образов. Чуть промелькнувшие в «Первых встречах» эротические мотивы здесь стали доминирующими и получили предметное, а не психологическое только выражение.

Иное, спиритуалистическое, освещение получил эрос во второй половине книги: как слияние с вечностью, как истезповение в космосе. Это вполне соответствует общему духу второй части «Orientalia» и вообще основной идее шагилянской философской поэзии. Идея связи личности с вечностью, представления с бытием волнует М. Шагилян. И, как бы против Тютчева, влияние которого в книге тем не менее определяюще, она восклицает:

Мысль изреченная — есть связь.

— так велика ее вера во всеобщую обусловленность явлений, собирающихся в пучок представлений и слов. Из предыдущего было видно, как эта центральная идеалистическая идея приобрела контуры телеологической темы в искусстве (варьирующая кантовскую идею о замкнутом единстве многообразия) и потом трансформировалась в позитивную идею связи реальностей. В «Orientalia» же связь не более как ощущение чего-то неделимого во времени и пространстве, чтобы человек мог всегда и впредь «онять грядущее найти» через это чувство связи. Единственная последовательность, которая прорывается на всем пути писательницы, имеет, следовательно, начала и концы в философии связи. Понятие связи, кроме того, сосуществует у ней с понятием опыта. Поэт озабочен «разумением опыт» оплодотворить... Своей стремление к расчлененному знанию, к схематизму сказалось и в лирике. Любомудрствует она для того, чтобы преодолеть хаос ощущений, навеянный поэзией холодного Пе-

<sup>1)</sup> Популярная в начале XX в. среди нетребовательной публики поэтесса М. Лохвицкая культивировала и этот жанр. Вот изображение приготовления к любви у ней: «Торопливо сорвать запястья, ожерелье отстегнуть» и у М. Шагилян: «Я ремни спустила у сандалей, я лениво расстегнула пояс»...

тербурга, и продвинуться к европейскому познанию:

Нам душу грозный мир явлений  
Смятенным хаосом обстал.  
Но ввел в него ряды делений  
Твой разлагающий кристалл.

М. Шагинян на этом пути стремится преодолеть в себе вечно-жопствошное, податливое, безмятежно-покорное, и вслед любимому своему поэту тех дней — Э. Гиппиус (которая любила обращаться от имени мужского «я»: «О, если б острое почуял жало я») — ищет сильного мужского познания<sup>1)</sup>.

### Новеллы М. Шагинян

Никогда М. Шагинян не забывала о пропагандистской цели своего писательства. Большую свою выдумку в сюжетах она всегда скрепляла разумностью, а иногда и морализированием на тему о социальном благополучии и неблагополучии людей. Ей чуждо простое любованье жизнью и узорами ее. Какая-то учительская споровка и заботливость неизменно присутствуют и в ее многочисленных рассказах, как бы экстравагантна ни была их фабула. Анализ художественной ткани повелл наводит на мысль, что М. Шагинян формально близка Э. Гиппиус — новеллистке, в симпатиях к которой она не раз признавалась. У обеих исключительная «идеологичность» приемов. Обе писательницы — волевые, пропагандистские типы. Но направленность их идеологий совершенно различна. Отчужденность людей друг от друга, сознательный культ этой отчужденности — вот идеология Э. Гиппиус. М. Шагинян, наоборот, боится этой отчужденности, ищет путей для ее преодоления, обращаясь то к филантропии, то к революции, но никогда революция не была для нее гиппиусовским «многопогим оно», зверем из бездны, которого надо заклясть... Бессознательно уже в ранних рассказах М. Шагинян хотя и недоверчиво, но поджидала революцию

без всякого мистического ужаса и отращения. Формально же, повторяю, все ее рассказы, от «Узких врат» и «Семи разговоров» до советского «Мерсиэ-ханум» и повеллы «13—13» в «Кике», сделаны по одному догматическо-изобразительному рецепту.

В «Голове Медузы» (1915 г.) двое юношей ищут тайну людского сожительства. Поняв такую простую истину, что в буржуазном обществе все существует за счет другого, они волею автора социальную солидарность мыслят по аналогии с флорентинской Кампалиллой, где даже печетное число частей составляет гармонию. Сюжет здесь иллюстрируется идеей — образом, взятым из искусства. В рассказе «Где я» о непрошеном госте памяти, которая подобно совесть («когтистый зверь...») терзает человека, — идея (дисгармония личности) подается на ладони, почти как тезис. Аллегорией, притчей, параллелизмами, обращением к рассудку, образами искусства, социальными аксиомами орудует М. Шагинян в своих содержательных рассказах. Губительность эмоций и нарушение долга разоблачаются ею в моральных рассказах «Норинфский капал» и «Единственный». В «Агит-вагопе» пропаганда, как таковая, является самой идеей рассказа: «убедить, привести к умственному суждению и сознательному выбору». Цитату эту можно поставить эпитафией к большинству произведений М. Шагинян. В последних рассказах уже начинают звучать не общечеловеческие, а классовые мотивы («Волшебный дом», «Сестрица Цедрик», «Прыжок» и др.). В одном месте автор прямо заявляет, как о недостатке, что «рассказ оставался без морали». Характерная оговорка! Постепенно ее рассказы начинают терять фабульную занимательность и превращаются в документированную прозу. Зарождаются очерк («Три стула», «Качество продукции»). Красноречиво она агитирует за социалистические формы труда в пролетариате, опять-таки оформляя свои сюжеты, списанные с жизни, в полусказку, полуприту. Наконец, появляется серия произведений «промышленной беллетристики» (издатель ВСНХ). Чи-

<sup>1)</sup> Докладчик в «Кике», ассистент в «Своей судьбе», Джим Доллар и пр., от имени и именем которых повествует М. Шагинян, — все это разные вариации мужского «я».

стое описание в них чередуется с жанровыми сценками. Отсюда один шаг к более широкому охвату современности, к производственно-очерковой литературе. Так, от полукнижно поставленных вопросов человеческого поведения рассказы М. Шагинян эволюционируют к литературе факта, к поэзии производства, одушевленной верой в новое коллективистическое сознание. Новеллы — единственная область М. Шагинян, где можно уловить поступательное развитие писательницы, где контуры ее художественно-социального лица очень ясны.

### Нео-прагматизм

Обозревая всю пеструю литературную деятельность М. Шагинян, натыкаешься на один чрезвычайной важности момент, касающийся не только ее одной, но и той теоретической среды, к которой она ныне принадлежит как писатель «дела» и «мысли». Я говорю о прагматическом мировоззрении, под крылом которого приютились самые радикальные художественные течения современности: конструктивизм и лефовство. Беру на себя смелость доказать, что «радикализм» этих направлений и их старшего попутчика М. Шагинян не нов и по своему происхождению дореволюционен. Наиболее удобная философия в мире, это — прагматизм, который по самой своей резиновой природе обладает исключительной приспособляемостью. Любой костюм можно надеть на него, в том числе и рабочую блузу. Революционная, индустриальная фразеология лефовцев и конструктивистов — лишь «техническое выражение» их прагматической сущности. В отличие от них М. Шагинян более искренна и целомудренна, ее практическая философия идет от бескорыстной художественности субъективных намерений. Поэтому-то, может быть, критика и не поставила ее в один ряд с более счастливыми, в отношении внимания, соседями.

Два слова в защиту допущенного мною сближения М. Шагинян с конструктивистами и лефовцами. Подчеркнуто-практическая целеустремленность, культура сюжета, документальность,

локальность и конкретная правдоподобность материала, игра на случайных ситуациях и совпадениях, переключение европеизма в американизм, — здесь точки пересечения конструктивистской линии с линией М. Шагинян. Враждебное отношение к психологии, «бесчеловечность», сугубо деловая установка, фактография и, прочее — М. Шагинян и лефовцы. Конечно, М. Шагинян и ее соседи различаются. Например, в мотивациях и, главное, в результатах своей работы. Но вот механистическое толкование органической природы искусства и их своеобразное «рабочедельчество» — общая забота.

В чем же сущность передовой философии буржуазии — прагматизма?

Прежде всего о самом термине: латинское *pragmaticus* означает относящийся к делам, фактам. В смысле метода прагматизм означает суждение о ценности любого высказывания по его практическим результатам. Эта коротенькая справка, можно подумать, извлечена из последних публикаций М. Шагинян. Прагматисты допустили в известной мере и диалектику, утверждая, что предмет, вещь не есть, а становится, непрерывно делается. Такую же позицию занимают, исключая лефовцев, конструктивисты и М. Шагинян. Устами киковского докладчика она по сути дела повторяет мысль В. Джемса об «инструментальном» назначении идеи в искусстве (ср. «рабочий жест» и пр.). То обстоятельство, что практически выраженные идеи имеют несомненную потребительскую ценность, заставляет ее и ее неожиданных соратников отделяться молчанием от познавательной ценности идей (в своей поэзии М. Шагинян была другой, но то прошло...). Идеологичность их не надстроечного, так сказать, характера, когда идеология есть новое качество, а нечто осязаемое и зримое, материальное, «базисное». Естественно, что экономика и искусство в этом плане дают знак равенства. Марксизм их мнимый. Марксистское понимание стремится, чтобы плоть искусства, объект изображения были лишены немoty молчания, чтобы они заговорили язык

ком живого образа, а не всамделишной материи. Однажды М. Шагинян (в статье «Пролетарская культура») отважилась определить марксизм, как особую систему, в которой познавательная схема совпадает с целой программой действия. В том-то и дело, что в этом определении отсутствует важнейший член: как это единство достигается. Без него отмеченный ею признак подходит как раз к прагматизму, которым он и исчерпывается.

Познание, в его гносеологическом смысле, у прагматистов находится в загоне (их не интересует вопрос о ложности или истинности его). Так и наши союзники предпочитают опираться на одну практику, видя в познании нечто потустороннее. Пресловутый «смысл» их не более, как софизм, прикрывающий утилитарное назначение поэзии (в бытовой речи смысл очень часто означает выгоду, полезность). Произведение искусства становится истинным благодаря событиям, в нем изображенным. Такой критерий прагматистов напоминает ловушку: туда все, при добром желании, может попасть.

Истинное в прагматизме («понимание всех действий, которые производит объект, и есть понимание самого объекта» — Пирс) тонет в пучине относительности и безразличия: упразднению всякого различия между фактом и правом, предметом и психологией, отсутствии вкуса к количественно качественному обороту. Точь-в-точь эти упущения свойственны и нашим нео-прагматистам.

Г. Зиммель справедливо отводит родство прагматизма с Гете. Для Гете важна была не та простая, всем доступная эмпирическая истина, что человек может схватить предмет лишь тогда, когда правильно оценит расстояние до него. Годовалый ребенок, добавлю, и тот постигает па опыте справедливость этой истины. Важно само познание предмета, как элемента жизни. Практическая мудрость нео-прагматистов очень напоминает этот опыт ребенка, она настолько примитивна и невесома в познавательной деятельности, что всерьез о их философии даже и говорить не приходится.

«Прагматизм довольствуется практическими результатами, не беспокоясь об истинности основных начал!» — говорит А. Фулье. Он робок и агностичен по своему происхождению и портативен в применении. Конструктивистский «опыт» предстает во всей своей голости.

Эстетический прагматизм укладывается целиком в следующую формулу Сократа: удобство дома составляет его истинную красоту. Но кто скажет, что в этом вся красота? Что ответит на этот вопрос М. Шагинян, так роскошно и полно чувствующая красоту в мировом искусстве?

Моралистическая тенденция, четко проглядывающая в художественных произведениях М. Шагинян, стоит в связи с ее прагматической эстетикой. Полезность должна быть моральной (вспомним «Свью судьбу» и пр). Блаженство должно быть «имущим». Сравним ее увлечения религиозным реформаторством с практическо-религиозной догмой В. Джемса. Да и восторженное отношение ее к современности чем-то связано с ее фидеистическим прошлым (Об этой стороне прагматизма кратко и выразительно упомянуто в «Материализме и эмпириокритицизме» В. Ленина, том X, стр. 289).

Сделать здесь небольшую экскурсию в чуждо-звучащую и напрасно позабытую ныне область прагматической философии я почел нужным в целях чисто испытательных, чтобы поставить вопрос о происхождении конструктивистского направления. М. Шагинян дала достаточный повод для этого.

\* \* \*

За какой бы жанр и род литературы ни бралась М. Шагинян, она доводила его до предела. Соответственно этому и содержание, которое вкладывалось ею в эти жанры, всегда было предельным. Почти все буквы алфавита мелькают в ее литературно-алгебраических упражнениях. И ни одного уравнения она не решила правильно, окончательно. Зато нельзя не любоваться ее стремительностью и искренностью. Универсализм ее (с внешней стороны сход-

ный с Гете) резко выделяется среди современной литературы, культивирующей в лице ее главных представителей один какой-либо жанр. Чувствительная, как мембрана, лирика М. Шагинян и ее современные рационалистические опыты нащупывания нового искусства, решительный переход от радикализма личности к общественному радикализму, поиски фаустовско-социалистического «нового города», забота о внедрении в нашу жизнь европеистических начал, невольная связанность с прошлым, постоянно чувствующая и поэтому решительно преодолеваемая ею, — придают писательскому лицу М. Шагинян подвижнический, мятущийся облик. Опытная пряха, она часто не может распутать клубка своих мыслей, но объективно процесс развития ее мыслей дает все-таки картину роста интеллигента-революционера. Обостренное чувство современности и умение найти в ней зародыши будущих героических мифов, т. е. историческое оправдание современности (художественный историзм таков и есть по природе) были бы, пожалуй, невозможны, если бы М. Шагинян не прошла многих культурных ступеней, характерных для писателей большого интеллектуального опыта. Прагматические истоки ее производственного материализма таковыми являются лишь в свете объективного анализа ее творчества. Субъективно же она в настоящее время бесконечно далека от симпатии к этой слишком откровенной идеологии приобретательства.

Вместо того, чтобы медленно и неуклонно взбираться вверх по лестнице к своему возрождению, она как бы перешагнула через некоторые препятствия и сразу вышла на аванпосты революционной современности, минуя важные этапы марксистского познания, отдавшись зато целиком охватившему ее порыву, который можно на-

звать марксистским чувством современности: «Настоящая музыка началась лишь теперь, ее слушайте, товарищи, под нее, если хотите, танцуйте, потому что настоящая музыка — это социалистическое хозяйство, это план, это учет». В отличие от своих невольных союзников — нео-прагматистов — М. Шагинян совершенно чужда приспособленчества и той деляческой атмосферы, в которой с таким упоением вращаются крикливые «бизнесы» и «фактографы» наших дней. Неподдельное воодушевление живет в каждом образе и в каждом высказывании «неистовой» М. Шагинян.

Извилистый, истинно попутнический путь ее к настоящему моменту значительно определился в сторону полной отдачи себя революции. Это такой огромный и показательный факт, мимо которого не пройдешь. Нет никаких ручательств, что М. Шагинян художественно уже достигла того, чего хотела. Если она обогатит свою богатую сюжетную технику и глубокое понимание совершающегося столь же глубоким пониманием роли человека в современности, то она сумеет создать произведение омонументального значения. «Разве борьба плана с анархией неспособна воодушевить писателя?» — риторически вопрошает она своих собратьев по профессии, а заодно и себя. Именно воодушевить... Сюда как раз и надо писательнице обратить свое художественное внимание в дальнейших произведениях, чтобы человек в них заговорил и ожил, чтобы рационализация художественного материала не привела к обезличению. В настоящее время М. Шагинян закалчивает новый роман, где будут люди, строящие новую жизнь, где будет показан новый принцип строительства вещей, а не строительства вообще. В случае удачи придет и для нее пора признания.



## 2. О ПЕРВОМ ТОМЕ В. ХЛЕБНИКОВА

## И. Поступальский

## 1

Первый том собрания сочинений В. Хлебникова (поэмы) вышел под редакцией Ю. Тынянова и Н. Степанова. Львиная доля труда по собиранию материалов, их планировке и комментированию принадлежит второму.

Вступать в особую полемику с Ю. Тыняновым, написавшим для первого тома довольно прострашную статью, необязательно. Статья эта не слишком грешит прежней формалистской узостью и, конечно, содержит ряд острых замечаний скорее критического порядка (замечание о том, что «случайное» в старой поэзии стало для Хлебникова «главным элементом искусства», замечание о «бессмысленных» Пушкина и др.). Здесь только следует заметить, что и сейчас нельзя отрывать Хлебникова от футуризма, как это делает Ю. Тынянов в самом начале своей статьи. Как бы ни отличался Хлебников от Маяковского, Лившиц от Крученых, Асеев от Пастернака, как бы ни расходились дороги каждого из них при поэтическом росте, — всем им в достаточной мере присущи особенности одного школьного порядка. И я уже не говорю о том, что в момент наметившейся в современной русской поэзии (и пролетарской и «попутнической») дифференциации по каким-то эстетическим признакам это произвольное выдергивание В. Хлебникова из футуристической почвы будет правиться прежде всего тем любителям словесности, которые издавна болтают об «одипочетстве» художественной индивидуальности, которые не умеют считаться с коллективной дисциплиной и не понимают того, что литературную школу надо элементарно представлять в виде древесного ствола с растущими в разные стороны ветвями различной величины; как бы ни отличалась одна ветвь от другой — ствол все-таки является одним. Следовательно Ю. Тынянов делает и стратегическую ошибку...

Большая статья о творчестве В. Хлебникова написана Н. Степановым. По-

добно Ю. Тынянову, и Н. Степанов говорит, что «Хлебников сейчас не принадлежит футуризму, его творчество несоизмеримо со школой, оно вырастает за пределы своего времени». По самым материалам статьи Н. Степанова в глазах беспристрастного читателя противоречит этому заявлению. Чрезвычайно широко в этой статье освещена историческая роль В. Хлебникова, как одного из вождей футуризма (правда, Н. Степанов чересчур усердно посягает на биографии других футуристов...). Очень многие наблюдения Н. Степанова безошибочны (особенно частные наблюдения над поэтикой В. Хлебникова). Однако, Н. Степанов с излишней доверчивостью относится к наукообразной философии поэта, к его метафизическим изысканиям над числовыми построениями, к пресловутым «Доскам судьбы», к «звездному языку» и т. п. Наличие в поэзии В. Хлебникова некоторых материалистических взглядов на историю, позитивная утопия «Ладомира», четкая революционность множества фрагментов — все это не должно заслонять общей путаницы идейного багажа поэта (тут нет места данному упреку; тут только констатируется, что лишь в последних созданиях поэт достиг известной ясности своих взглядов, формировавшихся в дореволюционное и даже в довоенное время).

Впрочем, в общем статья Н. Степанова оставляет отрадное впечатление. Не будучи марксистской статьей (автор вообще не умеет или не хочет думать о социологическом эквиваленте поэзии В. Хлебникова, о публицистической полезности поэта, действует в теоретической работе только как аналитик, не смотря на то, что данную статью отнюдь нельзя рассматривать, как предвзятую, ошибается в оценке метафизических концепций В. Хлебникова, пытается изолировать его...). — не будучи марксистской статьей, она все же довольно полновесна. И не беда, если Н. Степанов грешит против истины, когда в излишнем восторге заклю-

чает, что В. Хлебников — «не только величайший (!) поэт нашей (!?) эпохи, но и будущего (!?!)».

Крайне обстоятельно и трудолюбиво Н. Степановым составлен обильный текст примечаний. Несомненно, в дальнейшем могут обнаружиться различные погрешности (как курьез: Н. Степанов хлебниковское слово «сигналы» после небольших колебаний расшифровывает как «китайцы и японцы»). Н. Н. Асеев же утверждает, что слово Хлебниковым выдуманно на основе знакомства с семьей Синяковых, о которых говорили: сипяки — голяки...). Но, конечно, никакие будущие поправки не смогут дискредитировать очень добросовестный труд.

## 2

Преждевременным будет совсем ретроспективный взгляд на поэзию В. Хлебникова. Множества его вещей мы пока не знаем. Кое-что в его диалектическом восхождении представляется спорным и сейчас. Короче, первый том не дает права произносить окончательный приговор над наследием поэта (нельзя считать таким приговором и статьи Ю. Тынянова и Н. Степанова, как бы значительны ни были их частные достоинства, так как выводы этих статей в какой-то степени ошибочны...).

Неизбежно социологические комментарии первого тома будут во многом и схематичными и упрощенными. Более подробно сейчас можно (а в целях пропаганды еще вполне актуальной поэтической культуры — и необходимо...) говорить о его исторических традициях, о его художественном методе, отличительных признаках тематики, частных особенностях...

Но еще раз необходимо подчеркнуть, что целый ряд истолкований и оценок сейчас еще не может быть совсем категоричным, поскольку в поле критического зрения в настоящий момент находятся главным образом поэмы первого тома, поскольку мелкие произведения поэта сохраняют свое особое место.

Ранние поэмы В. Хлебникова насыщены романтическими (беру это слово, как термин, только в историческом

разрезе) повторениями. Футуристический бунт сам по себе отнюдь не означал стопроцентного бегства от предыдущей поэзии. И поэт, начавший писать в годы развала символизма, не мог остаться незатронутым эстетикой этого крупнейшего литературного движения (в целом являвшегося детищем декаданса отечественной интеллигенции...), впоследствии погребенного заступом футуризма и акмеизма. Характерно, что до В. Хлебникова к истокам державинской речи, балладных традиций и народного эпоса с жадностью припадали крупнейшие символисты — Вячеслав Иванов, Бальмонт и даже положительный Брюсов. Характерно, что пребывавший тогда в символистских рядах С. Городецкий в известной мере оказался близок для Хлебникова (Н. Степанов кстати сообщает, что Хлебников на экземпляре второго «Садка судей», подаренном Городецкому, написал: «Одно время носивший за пазухой «Ярь», любящий и благодарный Хлебников...»).

Смутные контуры первых поэм В. Хлебникова мы узнаем и в некоторых пореволюционных вещах поэта. Романтическая баллада о Марии Вечере, «Царская невеста», повесть о каменном веке, «Гибель Атлантиды» и другие ранние создания В. Хлебникова перекликаются с «Поэтом», «Тремя сестрами», «Лесной тоской» — с поэмами, датированными 1919—1922 гг. Нет особой нужды объяснять это более подробно, так как и самый средний читатель сумеет угадать, откуда взялись все эти цари, жрецы, воины, рабыни, лешие, русалки и т. п.

Футуристическое разрушение символизма у В. Хлебникова в смысле тематическом начиналось не с легкомысленного и некультурного поругания его эстетики (декларации, конечно, остаются на своем месте), но со своеобразного перепрыгивания через голову символистов, в обращении к их условным предтечам, к старо-романтической балладе, к фольклору, примитивной сказке.

Но для В. Хлебникова было необходимым делом и создание новых футуристических форм. Жанровым канонем

символизма была малая лирическая форма; В. Хлебников выдвигал и настаивал на эпосе. Метрико-ритмические каноны символистов он убивал беспощадной ломкой размеров, не боясь начальных нелепостей, возведя это в постоянный прием. Вячеслав Иванов (поэт значительный, цельный и по-настоящему неисследованный) возрождал громоздкий стиль до-пушкинского периода; В. Хлебников в своих экспериментах умудрялся опережать его архаический слог («два или три через мига», «и в этот миг бессмертие как красава, она одно просила», «и мы стоим миров двух между» и т. д.). Выдержанный голос символистов он компрометировал принципиальным «безвкусием», разрешил себе пользоваться на ряду со славянизмами и самыми современными словами. Высокий риторический голос он снижает по собственному усмотрению, добиваясь особенных успехов в «Шамане и Венере»:

Когда-то храмы для меня  
Прилежно воздвигала Греция.  
Могол, твой мир обременя,  
Могу ли у тебя согреться я?  
Меня забыл взять художник,  
Мной не клянется больше витязь,  
Народ безумец, народ безбожник,  
Куда илете, оглянитесь?  
«Не так уж мрачно, —  
Ответил ей кура шаман, —  
Озябли вы, и неудачно  
Был с кем-нибудь роман».

Очень широко В. Хлебников и в своих поэмах культивирует метафору, самую неожиданную, самую пространную и всегда конкретную, вещную (здесь, конечно, задание диктуется мировоззрением — В. Хлебников пишет «Журавль», поэму о восстании вещей...). Композиция его поэм состоит в абсолютно свободном нанизывании текучих импрессионистических ассоциаций (В. Хлебникову до конца жизни оставалось непонятным стремление конструировать вещи по иному плану...). В самый серьезный поэтический рассказ В. Хлебников вводит момент пародии, перетряхивая стих Пушкина (точнее, его эпигонов), стих русских идиалликов. Мешает банальные созвучия с фокусными рифмами. Иными словами, создает при постоянной верности

своим принципам — стиль из «бесстилья».

Постоянное нарушение стилистических требований символистов превратилось в оригинальное поэтическое *sredo* — и превратилось для того, чтобы впоследствии другие поэты, по своим соображениям, опрокинули и это здание, сохранив его лучшие кирпичи и четкое представление о приемах архитектора...

Непреходящей ценности поэмы раннего периода, конечно, не имеют. Время уже потрудились над творчеством одного из застрельщиков футуристического бунта деклассированной интеллигенции, позднее во многом слившейся с революцией. Дольше других будут жить те дореволюционные поэмы В. Хлебникова, в которых особенно выразительна идеалистическая направленность автора, особенно выпукло существуют поэтические приемы или поэмы, охраняющие тематическую свежесть.

Такой поэмой, на мой взгляд, можно считать уже «И и Э», повесть о каменном веке, содержащую ряд наивных описаний седой древности:

Сучок  
Сломился  
Под резвой векшей.  
Жучок  
Измучился,  
На волны лезши.  
Волн дети смеются,  
В весельи хохочут,  
Трясут головой,  
Мелькают их плечики,  
А в водухе вьются,  
Шекочут, стрекочут  
И с песней живою  
Несутся кузнечики.  
.....  
Огромный качается зверя хребет,  
Чудовище вышло лесное.  
И лебедь багровою лапой гребет —  
Посланец метели весною.

Такой поэмой, на мой взгляд, является «Гибель Атлантиды», поэма о возмездии, постигшем город древнего деспотизма и произвола. Причинность этого возмездия отчетливо метафизична — речь идет о том, что вся сила науки жрецов (и, как надо понимать, науки вообще) все-таки оказывается ничем перед темными инстинктами человека и таинственной волей небес («И пусть нам поступь четверенок давно забыта

и чужда, по я законов неба пленник, я самому себе изменник, отсюда смута и вражда»). А внешняя значительность некоторых частей этой поэмы явствует из таких превосходных строк об одном из величайших наводнений:

Точно кровь главы порожней,  
Волны лещут, волны поют  
Нынче громче и тревожней.  
Скоро пристань воды скрестует.  
И хаты, крытые соломою,  
Не раз унес могучий вал.  
Свирельщик так, данно знакомый,  
Мне ужас гибели играл.  
Как-будто недра раскаленные,  
Жерл огнетлищащей горы,  
Идут на нас вилы зеленые,  
Как люди волны и храбры.  
Не как прощальное приветствие,  
Не как сердечное «прости»,  
Но как военный клич и бедствие  
Залились, водами пути.  
Костры горят сторожевые  
На всех священных площадях;  
И вижв. едут часовые  
На челнах, лодках и конях...

В еще большей степени сохранились (и должно быть, сохранились надолго...) и поэмы «Шаман и Венера», «Хаджи Тархан», «Вилла и лесный». Приходится пожалеть, что подробное рассмотрение этих вещей в небольшой статье невозможно. Но пытливый читатель и сам сумеет увидеть их высокие достоинства.

## 3

Выше я писал, что известная часть написанных после революции поэм В. Хлебникова в какой-то степени принадлежит периоду его ранней работы. Несмотря на бесспорную ценность этих поэм (в буквальном смысле слова — я наудачу перевернул страницу «Поэта» и увидел блестящие строки: «И смуглую веру воды, веселые брызги русалок, и мельницы ветхой труды, и дерево, полное галок...», а сколько подобных стихов в «Трех сестрах» и «Лесной тоске»?), — я не склонен ставить их на одну доску с теми вещами В. Хлебникова, в которых он становится поэтом активно-общественного назначения.

«Ночь в окопе» (1919 или 1920 г.) несомненно одна из наиболее четких поэм В. Хлебникова — и в смысле монументальности стиля и в смысле политической определенности материала.

Семейство каменных пустынных  
Просторы поля сторожило.  
В окопе бывший психотинец  
Ругался сам с собой: «Могла!  
Объявилась эта тетья,  
Завтра мертвых не сочтете,  
Всех валушит повемпожку.  
Ну, сверну собачью ножку».

Такое использование подобия песенных куплетов в первых же строках поэмы вовсе не случайно. Далее следует точно такое же включение в стих различных частушечных отрывков («два аршина керенок брошу черноглазой, пож засуну в черенок, покачу я сразу»). Включены и лозунги («кто был ничем, тот будет всем» и т. п.). Ритмы поэмы В. Хлебников расшатывает по всегдашней привычке, сохраняя доминанту — четырехударный ямб. Заранее можно ожидать, что здесь появятся и сильнейшей выразительности метафоры, острашенные описания вещей и событий. Попробуйте не заметить силы вот этого описания боевых действий бронированной машины:

Подобное часам, на брюхе броневом  
Оно ползло, топча живое!  
Ползло, как ящер до потопа,  
Влоль нити красного окопа:  
Дерева падали на слом,  
Заставы для него пустое!  
И такая звонкий пулемет,  
Чугунный выставив живот.  
Казалось,  
Над муравейником окопа  
Сидел на корточках медведь,  
Неоколумбий, точно медь,  
Громадной лапою тревожа  
И правых храбрых — смерти ложе —  
И стоны слабых, боже, боже...

Архаические усилия хлебниковского стиха тут балластом не кажутся. Поэт волен переключаться со всеми батальными стихами русской поэзии («ворчанье старика», например, прямо аналогично «ворчанью стариков» в лермонтовском «Бородино») и с былинным эпосом («одни вкочили па хребты и, стоя, борются с врагом, а те за конские хвосты рукою держатся богом»). Что ж, бой и в гражданской войне иногда имеют такой первобытный характер.

Но политическая направленность поэмы не допускает кривотолков уже в начале:

Не даром тот грозил углом  
 Московской брови всем довольным,  
 А этот рвался направо  
 К московским колокольням.

Больше того; В. Хлебников не ограничивается одними восклицаниями узко политического порядка («Рать алая! Твоя игра! Нечисты масти у вымирающего белого!»). Он вспоминает и о том, как «вскрывали ножицами мощи и подымали над толпой перчатку женскую, жилищу искусно сделанных мощей», и утверждает, что «эта женская перчатка была расстрелом суеверий». Он не пугает и заключительным пророчеством каменной бабы о том, что «на смену войне» придет «сышняк».

Клянусь кониной, мне сдается,  
 Что я не мышь, а мышеловка.

Еще резче выясняются идеологические воззрения поэта в «Ладомире». Посторонние наследия не в силах заслонить целеустремленности этой поэмы:

И замки мирового торга,  
 Где бедности сияют цепь,  
 С лицом злорадства и восторга  
 Ты обратишь однажды в пепел.  
 Кто изнемог в старинных спорах  
 И чей застепок там, на звезде,  
 Неси в руке гремучий порох,  
 Зови дворец взлететь на воздух.

Поэма «Ладомир» обладает большими художественными качествами и нет никакой возможности подвергать ее детальному разбору в настоящей статье. Отдельные цитаты будут вырваны незаконно, толкования окажутся беглыми. Но агитационное значение поэмы в плотную встречает нас не только процитированными стихами, но только такими якобы пустяками, как «это шествуют творяне, заменивши Д на Т» (строки, обязанные своим существованием старым словотворческим опытам поэта), «у великороссов нет больше отечества» и т. п., — но и исключительно четкими строфами:

В последний раз над градом Круппа,  
 Костями мертвых войск шурша,  
 Носилась золотого трупца  
 Всегда проклятая душа.

«Ладомир» в революционной поэзии останется одним из наиболее совершен-

ных произведений В. Хлебникова, мечтающего в этой поэме — в духе Кампанеллы или Фурье — о грядущем социализме, поре, когда будет построен подлинно новый «стеклянный колокол столиц». Моментами В. Хлебников представляет будущее интернационального государства свободного труда даже совсем идиллически-пародийно:

Построив из земли катушку,  
 Где только проволока гроз,  
 Ты славнись милую пастушку  
 У ручейка и у стрекоз.

Нам «Ладомир» нужен еще и потому, что русская революция местами опясала и исторически. Например, В. Хлебников фиксирует любопытную роль особняка балерины Кипесинской:

Море вспомнит и расскажет  
 Грозным своим глаголом —  
 Замок кружев девой нажит,  
 Пляской девы пред престолом.  
 Море вспомнит и расскажет  
 Грозным своим раскатом,  
 Что дворец был пляской нажит  
 Перед ста народов катом.  
 С резьбою кружев известняк  
 Дворец подруги их величий,  
 Теперь плясуньи особняк  
 В набат умов бросает илчи.  
 Ты помнишь час ночной грозы,  
 Ты шел по запаху врага,  
 Тебе кричало небо «взы!»  
 И выло с бешенством в рога...

## 4

К живучим созданиям В. Хлебникова относится и «Ночь перед советами», поэма, насыщенная мыслью о справедливости исторического возмездия (это уже не возмездие поэмы «Гибель Атлантиды...»), — возмездия для барства («барыня, вас завтра повесят»), возмездия, корни которого уходят в недра крепостничества, к поруганию человеческого достоинства женщины, принуждаемой грудью кормить господского щенка.

«Труба Гуль-Муллы», поэма о Персии, построенная на манер дневника, местами крайне полезна для биографов В. Хлебникова. «Уструг Разина», баллада, тематически совпадающая с цветистыми песнями Алексея Толстого, имеет сегодняшний стержень («И Разина глухое «слышу» подымается со дна холмов, как знамя красное взойдет

на крышу и поведет войска умов»). Поэма «Ночной обыск» несомненно ничем не хуже лучших вещей В. Хлебникова, она была бы даже совсем значительной, если бы у нее не было предшественницы в лице «Двенадцати» Блока.

Далеко не безразлично надо относиться и к остальным поэмам, может быть, менее ясным и глубоким, но зато свидетельствующим о поисках каких-то совершенно новых возможностей для В. Хлебникова (уже определенно преобладает установка на разговорный ритм, вполне определяется акцентный стих, иногда графически рассекаемый па интонационные единицы...). Но эту ра-

боту В. Хлебников завершить не успел. в ней опять много от эксперимента.

Заканчивать настоящую статью подведением окончательных итогов, как уже писалось, покамест не нужно. Уместно только отметить общую ценность первого тома собрания сочинений В. Хлебникова, выразить благодарность за нее культурного издательства и подчеркнуть необходимость хотя бы быстрого ознакомления с поэзией интересного революционного поэта — для широких кругов, и обстоятельного — для нашей поэтической молодежи, обязанной отвыкнуть от равнодушия к создателям прогрессивных художественных форм.

### 3. СОЦИАЛЬНЫЙ СМЫСЛ ТВОРЧЕСТВА СУХОВО-КОБЫЛИНА

Арк. Глаголев

...Если бы кто-нибудь из уважаемых мною личностей усомнился в действительности, а тем паче в возможности описываемых мною событий, то я объявляю, что я имею под рукой факты довольно ярких колеров, чтобы уверить всякое неверие, что я ничего невозможного не выдумал и несбыточного не сплел.

(«ДЕЛО». «К публике».)

Недавно исполнившееся двадцатипятилетие со дня смерти Сухова-Кобылина (11/III—1928 г.), постановка его «Дела» во II МХТ'е, выпуск Госиздатом полного текста его знаменитой трилогии, новая работа по биографии Сухова-Кобылина Леонида Гроссмана, в короткий срок выдержавшая два издания<sup>1)</sup> — все это делает в настоящее время имя Сухова-Кобылина весьма актуальным и настойчиво вызывает необходимость целостного социологического осмысления его творчества.

За всей фантастикой, «анекдотическим содержанием», прихотливой символикой, внешней ирреальностью трилогии Сухова-Кобылина в ней скрывается, однако, подлинно «целость» и «логика мотивов», имеющие глубоко реальное значение. За «французским влиянием» прорывается значительное

социальное «содержание»<sup>1)</sup>. Трилогия крепко цементирована большим социальным смыслом. Творчество Сухова-Кобылина — значительный памятник классической дворянской литературы.

Два мира, два класса резко противостоят друг другу в творчестве Сухова-Кобылина. «Силы» и «ничтожества». «Начальства» и «частные лица». Столица и провинция. Бюрократия и дворянство. Натуральное хозяйство и деньги. Патриархальная психология и авантюризм. Психология чести и взятка. В смертельной схватке показывает драматург нам обе эти социальные формации. Подлинной классовой борьбой веет со страниц трилогии Сухова-Кобылина. Ни у кого из классиков так

<sup>1)</sup> Только «анекдотическое содержание» и «французское влияние» усматривал в «Свадьбе Кречинского», напр. рецензент «Русского вестника» (1856 г., № 1) и др. Социальный генезис трилогии доселе еще точно не исследован.

<sup>1)</sup> Об этой работе Гроссмана см. наш отзыв в кн. I «Печати и революции» за 1928 г.

резко не показывается вражда дворянина к чиновнику, как у Сухово-Кобылина. С огромной силой показывает художник власть чиновника, его торжество над старым дворянством, гибель стародворянского быта и морали и нарождение городского авантюризма, тесно связанного с ростом денежного хозяйства.

Представителями одного полюса жизни в творчестве Сухово-Кобылина являются Муромский и его семейство. Это типичное стародворянское гнездо дореформенной России. Муромский — типичный среднепоместный дворянин-крепостник. «Зажиточный ярославский помещик, деревенский житель» — так аттестует его автор. Он владелец двух имений, всецело связан с деревней, точнее с дворянским провинциальным помещьем, его интересы возвращаются исключительно вокруг земли. Чрезвычайно показательны в этом отношении его разговоры с Кречинским (о деревенской жизни — стр. 76—77) и с Расплюевым (о том же — стр. 161—164<sup>1</sup>). Муромский интересуется исключительно «урожаем», «черноземом», «умолотом», «скотоводством» и т. п. Уклад жизни семейства Муромских типично патриархально-помещичий. Оно живет на доходы от поместья, трудами своих крепостных крестьян. Муромский органический, так сказать, крепостник. Он исповедует стародавнюю дворянско-помещичью мораль: крестьяне для него, он для «государя». Он религиозен, монархист, свято блюдет законы дворянской чести. Превыше всего ценя свое «Стрешнево», провинциальную помещичью жизнь, Муромский совершенно чужд городу, столице. Последняя для него — «омут». «Одно зло — это город» (стр. 100). Насколько близки Муромскому интересы поместья, деревни, земли, настолько чужд он обществу столичных «светских людей» — «праздношатаек, побродяг всесветных». Муромский чувствует инстинктивную неприязнь к тем дворянам, кои оторва-

лись от своего поместья, ради столицы забыли о «навозе», во влечении к столице он усматривает причину разорения поместных дворян (см. его разговор с Атуевой, стр. 68—69<sup>1</sup>). Муромский — яркий представитель стародворянской поместной российской дореформенной провинции. Типичная помещичья барышня и его дочь. Социально однороден с Муромским и Нелькин, недаром вызывавший к себе сильную симпатию первого. Нелькин такой же провинциальный помещик среднего кабрига, как и Муромский. Он также чужд столице и симпатизирует деревне, провинции. Подлинное общество для Нелькина — усадебное; столичных жителей он искренне презирает, не видит в них никакой социальной крепости. «Городская птица — перед кармазинный, а зад крашенинный» (стр. 85). Нелькипу приятнее и ближе ровный, спокойный ход провинциальной усадебной жизни, чем столичный блеск, который помогает темным личностям скрывать под фракком «черную рубашу, грязь» (стр. 168—7). Подобно Муромскому, и Нелькин «не гонится» за тем, чтобы слиться со столичным обществом (стр. 75). Социальный продукт той же дореформенной патриархальной провинции и управляющий имениями и делами Муромского Иван Сидоров. Патриархальный мещанин, он также наполнен неприязнью к столице, где господствует «соблазн» и «кумир позлащенный» (стр. 229—230).

Таков социальный облик первой группы образов в творчестве Сухово-Кобылина. Это представители старого провинциально-патриархального дворянства. Их социально-экономическая основа — натуральное хозяйство, их психология — психология дворянской «чести» (см., напр., стр. 228—229).

Вторая группа образов трилогии социально резко отлична от первой. Если первые тесно связаны со старым дворянским помещьем, то у вторых нет

<sup>1</sup> Цитируем здесь и везде по тексту государственного издания трилогии Сухово-Кобылина (М. 1927. Серия «Русские и мировые классики»).

<sup>1</sup> А.: Так неужели сам помещик должен навоз накладывать? — М.: Должен. — А.: Приятное занятие! — М.: Оттого все и разорилось. — А.: От навозу! — М.: Да, от навозу (стр. 69). По Муромскому — «без навозу баликов давать не будете» (стр. 68).

никаких связей с последним. Чиновники Сухово-Кобылина тесно связаны со столицей. Они вскормлены не доходами от собственных родовых имений, не трудами собственных крепостных крестьян, а только личным «потом и кровью», как выражается Варравип. Не «вотчина», а «государево жалованье» — источник их существования. В противоположность Муромским и Нелькиным, Варравипы и Тарелкины «темного», низового, плебейского происхождения. «Судьба выкормила ржаным хлебом; остальное приобрел сам» (подчеркнуто нами. А. Г.) — таков «действительный статский советник», «правитель дел и рабочее колесо какого-либо ведомства» Варравип. «Состояние» Варравипа не барского, а «трудового» происхождения.

«...Состояние?! — А что, как вы думаете — оно мне даром пришло — а? Потом и кровью пришло оно мне! Голого взял меня Антон Трофимыч Крек да и мял... и долго мял, пусто ему будь. Испил я из рук его чашу горечи; все терпел, ничем не брезгал; в чулане жил, трубки набивал, бегал и в лавочку — да!» (стр. 268).

Таково плебейское происхождение Варравипа. Такой же плебей, такая же «голь» и другой центральный образ второй группы героев трилогии — Тарелкин. Тарелкип — человек «без роду, без племени»: «беден, ведь как беден: нет той суммы нищенской — ну, старых панталон, которые были бы беднее меня...» — такова самоаттестация Тарелкипа. У него — «ни состояния, ни родства» (стр. 261). Психология Тарелкиных и Варравипных глубоко отлична от психологии Муромских — психологии дворянской чести, барского достоинства и т. п. Им чужда ветхозаветная дворянская мораль. Не имея прочной социально-экономической базы в виде поместий, они могут рассчитывать лишь на «государево жалованье» да на изворотливость собственных голов и рук. Усовершенствование последней, стремление всяческими легальными и нелегальными способами завоевать себе прочное место в столице, в бюрократическом царстве, — основная черта в их существовании.

Варравипы и Тарелкины не брезгают ничем ради приобретения «состояния», которым они не были наделены, как Муромские, при своем рождении. Подобно Варравипу, и Тарелкип «всего насмотрелся, всего и попробовался», (стр. 358—9). Существование столичного чиновника по Сухово-Кобылину — это стремление «прокатить по Невскому в коляске Баховой... схватить чин да кавалерию, подцепить какую-нибудь воропопегую купчиху в два обхвата мерою, и ее свиным, сонным жиром залить раны и истомы служебные» (стр. 389). В этом мире столичной бюрократии, как повествует Сухово-Кобылин, все направлено на увеличение собственного кармана. Психология чести здесь заменена духом авантюризма, плутовства, личной моральной нечестоплотности. Чиновник — плут, авантюрист. Взятка — главное орудие его мошенничества, главное средство производства личных благ. «Только бы мне вот силу да случай, да я таким бы взяточником стал, что с мертвого снял бы шкуру» — мечтает Тарелкип (стр. 265). И вся деятельность столичной бюрократической машины сводится к этому спиманию шкуры с живого и мертвого. Взятку берут все, — от курьера Парамонова до самого значительного лица — «пиззя».

Таков второй мир, — столица, — изображенный в трилогии Сухово-Кобылина. Люди темного происхождения, авантюристы, плуты, карьеристы — таковы герои сухово-кобылинской бюрократической столицы — чиновники.

Мир столицы для Сухово-Кобылина не исчерпывается одними Тарелкиными и Варравипными — авантюристами от бюрократии, — в нем есть еще Кречинские и Расплюевы — плуты, так сказать, в штатском платье. Эти последние в очень многом родные братья первых. Социально Кречинские и Расплюевы такое же порождение столицы, как и герои бюрократической кащелярии николаевской России. Отношение близок к последним Расплюев. Темное происхождение, темные делишки характеризуют этого стопроцентного авантюриста. Быт Расплюева бесконечно далек от быта Муромских и Нелькиных. Подобно Варравипу, Расплюев



тоже «ученый». В беседе со слугой Кречинского Расплюев признается: «Я, брат, учепый; я сам, брат, сидел по 10 суток рылом в углу, без работы и хлеба насущного, вот с какими фонарями...» и т. д. (стр. 108). Социальное отличие Расплюева от Муромского совершенно ясно встает в его беседе с последним па квартире Кречинского, когда Расплюеву приходится одевать на себя маску помещика. Полное неумение Расплюева выдержать себя в роли последнего выпукло выявляет его плебейскую «разночипную» патуру. Психология Расплюева — психология раба и плута. Он пресмыкается перед Кречипским, перед Варравиным и Охом, он всю жизнь свою форменных и неформенных «петличек дрожал» (стр. 485). Расплюев — вечный шулер, которого вечно бьют. Вся сущность Расплюева заключается в том, что у него голодный желудок. «Желудок особой конструкции: не то что волк, а волкап, т. е. три волка» — вот единственное достояние Расплюева. Ради добычи «кашп» для этого «волкапа» Расплюев готов па все. Основой психиологии Расплюева не служит какое-либо чувство «чести», личного достоинства и т. п., у него нет никаких положительных психо-социальных чувств и эмоций. Полное удовлетворение интересов «волкапа», кармана, денег и еще раз деньги — вот единственный его идеал. Если у Муромских, Нелькиных очень развито чувство принадлежности к определенному классу, к определенному социальному слою, если они четко классовые существа, то Расплюев совершенно деклассирован. Деклассированный хищник, обретающийся между «полусветом», полицейским участком и социальным дном столицы, — таков социальный облик Расплюева.

Такой же деклассированный столичный авантюрист и его «патрон» — Кречинский. Но в то время как Расплюев — деклассированный плебей, Кречинский — деклассированный барин. Кречинский — типичный представитель того дворянского «оскудения», которое станет характернейшим явлением конца XIX ст. Образ Кречинского — против тех дворян-авантюристов,

которых впоследствии изобразит с такой яркостью бытописатель дворянского разорения Атава (Терпигорев) в своем «Оскудении» (1881 г.). В отличие от Расплюева, а также от Варравинных-Тарелкиных, Кречинский — дворянин, светский человек. Он когда-то обладал «имением в степи», был в университете. Он вращался в барском, дворянском обществе, его знакомые были «графы, князья» (стр. 195). К типам, подобным Расплюеву, к купцам, в роде Щебенева, к ростовщикам он относится как барин к плебейам. В психологии Кречинского чувство барского достоинства, дворянского гонора проглядывает отчетливо. Барство проглядывает во всем: от презрения к «хамскому почерку» «жида» ростовщика Бека, от барского приказа слуге убрать квартиру надлежащим образом, — «а то у вас, что порядочный человек вечер делает, что купчиху замуж отдают — все равно» (стр. 131), — до страстного желания выпутаться из долгов, сохранить «почет», «положение в свете». Дворянский гонор еще силен в Кречинском. Несмотря на все свое падение, он верит в свой «ум», с коим сумеет поддержать свою «честь». «Мы еще чество дорожим; мы еще вот в этом кармане (в «голове». — А р к. Г.) ресурсы имеем» (стр. 130).

Но при всей своей барственности, при всех своих дворянских замашках Кречинский также бесконечно далек от Муромских-Нелькиных. У него нет никакой устойчивой социальной базы, его жизненная опора не поместье, а, подобно Расплюевым и Варравиным, только личная изворотливость, авантюризм, личный «ум». Деньги в его психиологии все-таки решительно заслоняют чувство «чести». Деклассированный дворянин, он давно опустился до Расплюева. Он такой же столичный хищник, как и Варравины, Тарелкины и т. п. Хищническое, плутовское приобретение денег — основа его психидейного и социального бытия. Он также порождение капиталистического города, порождение эпохи первоначального капиталистического развития.

Таков тот основной человеческий материал, которым оперирует Сухово-

Кобылин в своей трилогии. Рассмотрим теперь соотношения между главными действующими лицами в трилогии, т. е. уложим социальную динамику в ней.

Основной ход действия трилогии — это столкновение дворянского гнезда и столицы, показ борьбы дворянской чести и столичной «правды», показ глубокого различия между этими обоями началами, подчеркивание их полной непримиримости. Вскрытие смысла динамики трилогии чрезвычайно четко и ярко подкрепляет те выводы социального анализа статистики трилогии, кои были выше только что изложены.

Совершенно разный психо-социальный строй жизни мира Муромских и мира Кречинских-Варравиных ни в каком случае — как учит нас трилогия Сухово-Кобылина — не может способствовать их мирному сожительству. Они не могут мирно и спокойно существовать рядом — одновременно и на едином, так сказать, пространстве. При малейших столкновениях между ними возникает вражда и борьба не на жизнь, а на смерть.

Жизнь Муромских в своем поместье, в провинции, вероятно, прошла бы тихо и безмятежно. Муромский получал бы свой нетрудовой доход с «вотчин», занимался бы «скотиной» и «укопом», выдал бы дочь за одного из подобных Нелькину и искренне и беспрепятственно почитал бы себя солью земли под сенью родовых лип. Столица же сразу всколыхнула и видоизменила мирное, патриархально-барское бытие Муромских. Еще до встречи с Кречинским, всякие новомодные столичные «колокольчики», выезды и туалеты дочери, «вечеринки» и «балики» начинают понемногу встряхивать карман и тревожить покой Муромского. «Вытащили меня в Москву: пошли затем балы да балы, денежная трата всякая, знакомство... суетня, стукотня!.. Дом мой поставили вверх дном...» (стр. 51). Муромский еще до истории с Кречинским явственно ощущает, что столица ему враг, что она принесет лишь одно разорение, — «будем нищие» (стр. 54). Встреча с Кречинским и результаты его сватовства всецело оправдывают

недоверие Муромского к столице, в которой трудно провинциалу отличить истинный «свет» от «полусвета», в которой только «об'едят, обопьют, да... на смех подымут!..» (стр. 53). Отношения между Муромским и Кречинским обрисовываются как резко неприязненные. Муромский не верит в социальную и моральную устойчивость Кречинского. Для последнего же Муромский также чужд. И автор рельефно показывает всю непрочность готовящегося союза Муромских и Кречинского, оправдывая свой тезис ипородности дворянского гнезда и столицы. История с Кречинским заставляет Муромских вплотную прикоснуться к столице, к самому ее нутру — царству всеисильной бюрократии. И тут еще более резко обнажается вся социальная разница между представителями дворянского гнезда и чиновничьего департамента. Отношения между ними — борьба, борьба дворянского «права» и «чести» с «правом» чиновника. Центральная пьеса трилогии «Дело» ярко отображает это столкновение усадебного дворянина и бюрократии. Бесконечное презрение испытывают Муромские и их друзья к чиновничьему миру, с которым им невольно приходится сталкиваться в Петербурге. Чиновник в лице Тарелкина для Нелькина — «тряпка, канцелярская бумага... лоб у него картонный, мозг у него из папье-маше — какой это человек!?. Это особого рода гадина, которая только в петербургском болоте и водится» (стр. 217). Презрением и ненавистью к «обильному и хищному племени» чиновников дышат и речи верного слуги и единомышленника Муромского Ивана Сидорова. «...Все скорби наши, труды и болезни от этого антихриста действительного статского советника, и глады и моры наши от его отродия» (стр. 233—4). Столь же враждебно настроены к Муромскому и чиновники. Для них он такое же ничтожество, как они для него. Огромным презрением к Муромскому дышит такой, напр., диалог между князем и Варравиным.

Князь: Так что ж капитан-то (т. е. Муромский. — Арк. Г.) на приступ и лезет?

Варравин: Ну, уж характер такой, а ж тому же и чванство... (подчеркнуто нами. — А р к. Г.).

Князь: Вот как.

Варравин: Я, мол, сам большой барин...

Князь: Капитан - то? (стр. 328).

Презрение переходит в неприкрытую борьбу—у одних за «честь», у других за наживу. Муромский плачется, что «потерял честь», Тарелкин, — что деньги Муромского могут и не попасть в его с Варравиним карманы (диалог Тарелкина с Варравиним в XII явлении третьего действия «Дела»<sup>1</sup>). Дальнейшее развитие действия приводит Муромского, по мере ухудшения положения его «дела», к все более резкому протесту против бюрократии, к все более глубокому осознанию своей чуждости столичным владыкам. Сущность динамики «Дела» и заключается в постепенном разворачивании нарастающей ненависти Муромского к чиновнику. Он начинает открыто «бунтовать». «Пусть слышит меня и курьер; пусть он пойдет в трактир, в овощную лавку, ну — в непотребный дом! и пусть там — ну, хоть там — расскажет, что нашелся хоть один дворянин на Руси, которого судейцы до тех пор мучали, пока не хлынула у него изо рта правда вместе с кровью...» (подчеркнуто нами. — А р к. Г.) (стр. 323). Департамент в пятом действии уже окончательно представляется ему «Муромскими лесами», «разбоем», где только «грабят» (см. стр. 370). Муромский «бунтует», все еще не теряя надежды на свои дворянские права, мечтая через голову бюрократии получить защиту от «государя». Он не хочет и не может, подобно Расплюеву, покориться чиновнику. Он до конца остается верным своей старозаветной морали дворянской чести. Он искренне не понимает всей сущности бюрократической

судебной кухни. Он органически ей чужд, как, равно, органически чужда его мораль, его «правда» психоидеологии «судейцев». Для последних же, в свою очередь, все поведение Муромского представляется бессмысленным бунтом «помешанного человека».

«Ведь это бунт! — Каковы гуси! вот мы говорим провинция, — нет, вон как в провинции — то поговаривают. Да он сумасшедший, он помешан..» — так квалифицирует Муромского «князь» (стр. 323).

Бунт Муромского бессилен, он обречен на гибель. Его друзья Нелькипы не могут ничем ему помочь. Нелькин четко осознает свое бессилие в борьбе против чиновника.

«Сердце пустое, зачем ты бьешься?! Что от тебя толку, праздный маятник? — колотишься ты без пользы, без цели — ясно осознает Нелькин свою беспомощность. — «Да что я могу для вас. Видите, какое я создание — какая судьба! — Вот и теперь, ну на что я вам годен?» — Таковы его слова Лидочке Муромской. Нелькип в столице даже денег не может запясть — «кто меня здесь знает?.. Меня никто не знает!..» (стр. 356, 357, 350).

Бюрократия беспощадно подавляет бессильный «бунт» Муромского. Дворянская «честь» до конца осквернена столицей. Дворянское «право», дворянская мечта о «государевой» защите поправны мундиром чиновника. Столичный воздух удушлив для дворян, он губит Муромских, он превращает в авантюриста Кречинского, в атмосфере «Петербурга» могут жить лишь Расплюевы, Варравилы и Тарелкины.

Чиновник торжествует над бессильными Муромскими-Нелькипами. Полное торжество Расплюевых-Варравинных показывает последняя пьеса трилогии — «Смерть Тарелкипа». Здесь уже нет ни Муромских, ни Кречинских, здесь только Варравилы и Расплюевы. После всех своих темных похощений Расплюев обрел лоно своего полного успокоения — полицейский участок, казенный мундир. В лице Расплюева полицейско-бюрократические силы нашли исправнейшего слугу. Авантюризм «частный» и «казенный» об'единились в единую

<sup>1</sup> Т.: Он умрет, вот увидите, скоро умрет. А дочка, за это отвечаю, — гроша не даст... — В. и Т. (вместе): Тс... ах... (Тоскуют, молчание). — Т.: Стало, так он со своими деньгами домой и поедет? — В.: Так и поедет. — Т.: Это немисливо!.. Сколько лет... что забот... что хлопот. (В сторону): Меня кредиторы завтра же за ворот возьмут. (Вслух): Это немисливо (стр. 334)

грозную силу, собирающуюся «учинить в отечестве нашем поверку всех лиц: кто они таковы?» (стр. 489). Во власти полицейского участка оказываются все сословия. Расплюев безнаказанно распоряжался и кушом Попугайчиковым, и помещиком Чвакиным, и прачкой Брапдахлыстовой, и другими. Расплюев в казенном мундире ощущает себя непобедимой силой. Надев мундир, приобрета «петлички», Расплюев нашел свое истинное место, открыл свое истинное призвание. «—Теперь меня дрожать будут». Раб прерратился в господина, собираясь всех и вся, кто стоит вне пределов участка и департамента, превратить в рабов. Все «раболепствовать будут!» — мечтает Расплюев (стр. 485). Теперь — «все наше! всю Россию потребуем» (стр. 488). «Все наше отечество — это целая стая волков, змей и зайцев, которые вдруг обратилсь в людей, и я всякого подозреваю; а потому следует постановить правилом: всякого подвергать аресту!» (стр. 489).

Такова заключительная, последняя мысль трилогии: торжествующий полицейский участок — и безмолвная Россия, которую собираются всю целиком подвергнуть полицейскому промотру.

Свиная туша Расплюева в мундире квартального надзирателя, замахнувшаяся кнутом на всю страну, и «вечный жид» в чиповничьем фраке — «неумирающий» Тарелкин над трупом Муромского, — таков заключительный аккорд трилогии «Картины прошедшего». Бюрократия торжествует над дворянством. Столица уничтожает дворянские гнезда, заставляя птенцов последних или превращаться в Кречипских, или погибать, или возвращаться обратно в свои гнезда, у кого таковые еще остаются. Сохранить в чистоте дворянскую честь в столице невозможно, примириться с бюрократией могут только Расплюевы — таков внутренний смысл трилогии.

Вся форма трилогии, самый метод художественных зарисовок Сухова-Кобылина указывает на то, что автор трилогии претендует на некоторые обобщения, хочет подчеркнуть социально-

символическое значение образов трилогии. Автор всячески указывает на то, что его творение не фарс, не легкая комедия, не праздный вымысел его фантазии, а большая социальная сатира, глубоко реалистическое произведение. В этом отношении чрезвычайно характерны те авторские указания, коими Сухово-Кобылин снабдил свою трилогию. В этих авторских примечаниях прежде всего характерно подчеркивание реальности, жизненности, объективности, правдоподобности содержания трилогии (см., напр., обращение «К публике» в «Деле» и др.). Далее, Сухово-Кобылин стремится подчеркнуть, что история Муромских — не случайный факт из канцелярского бытия какого-либо единичного департамента, но что это типичное явление для всякого «департамента», поэтому Сухово-Кобылин указывает, что действие в «Деле» происходит «в залах и аппаратах какого ни есть (т. е. любого.— А р к Г.) ведомства». Варравин — «рабочее колесо» опять-таки «какого ни есть ведомства». «Послесловие» к «Смерти Тарелкина» вновь подчеркивает обобщающий характер пьесы: «Если бы, за всем этим, мне предложен был вопрос: где же это я все-таки такие картины видел?.. то я должен сказать, положи руку на сердце: нигде!!! и — везде..» (стр. 531). Словом, автор всячески хочет подчеркнуть, что содержание его трилогии очень широко, что оно распространяется за пределы индивидуального семейства Муромского, что судьба Муромского — судьба всякого патриархального дворянина в бюрократической столице. Сухово-Кобылин претепдуст на то, что его зарисовка отношений дворянина и чиновника имеет некоторое объективное значение, что она не его личная выдумка. И, действительно, художественная идеология трилогии не является единственной в нашей классической литературе.

В русской классической дворянской литературе не трудно уловить идеологические моменты, совершенно схожие с тем, что является социальным смыслом трилогии Сухова-Кобылина. Нашей дворянской литературе весьма не

чуждо то противопоставление подлинного дворянина и чиновника-бюрократа, дворянской чести и чиновничьей бесчестности, поместья и столицы, та ненависть к казенной аристократии, кони наполнена трилогия Сухово-Кобылина.

И правая, дворянско-барская фракция декабристов, и Грибоедов, и Пушкин, и Лермонтов, и др. — едипо-мысленники в этом отношении Сухово-Кобылина, автора «Картин прошедшего». Ненависть к столице, бюрократии, к «Фоме Фомичу», к Молчалипу с его чиновничьими идеалами у Чацкого<sup>1</sup>); пушкинская борьба против светской черни, против вельмож в случае, против новой, не родовой, а чиновной аристократии<sup>2</sup>); лермонтовский гнев к

<sup>1</sup>) Этот мотив враждебности «подлинного» дворянина к чиновнику, к бюрократу, присутствующий Грибоедову и его герою — Чацкому, выявляет в своей статье «Грибоедов и «Горе от ума» проф. Н. К. Пиксанов (Грибоедов. Горе от ума. «Русские мировые классики». Гиз. 1927. Вступительная статья). «Горе от ума» — «барская пьеса». «Лирика «Г. от ума» — лирика чести и личного достоинства. Эти чувства заставляют Чацкого обличить придворную знать за «охоту поподличать» перед царской властью... Чацкий презирает низкопоклонника Молчалина...» (стр. 48). «Безродный», «ничий»... Молчалин является характерным разночинцем, карьеристом-чиновником (как и Тарелкины-Варравины Сухово-Кобылина. — Арк. Г.). Чацкий относится к нему с барским высокомерием...» (как, напр., и Нелькин к Тарелкину. — Арк. Г.) (стр. 42). В «Горе от ума» «обличение чиновничества», — констатирует профессор Пиксанов, — представлено «обильно». Чацкий неустанно громит чиновничество, лишенное чувства «чести». И это не случайно. «В самом Грибоедове такая ненависть к «придворным полцедам», «вельможам» и «кресам» не была случайной, не была только моральным переживанием «порядочного человека». Это было устойчивое и постоянное социальное настроение, объединявшее Грибоедова со многими другими деятелями его времени» (стр. 37) — исконная неприязнь родового дворянства к «разночинской бюрократии». Любопытно еще отметить, что Чацкий — гораздо более урбанизированный дворянин, чем Муромский или Нелькин — также влечется от столицы к деревне. Как подчеркивает Пиксанов, «власть деревни (т. е. усадьбы) над сознанием Чацкого» весьма сильна (стр. 42).

<sup>2</sup>) Пушкин резко всегда противопоставлял «родовое дворянство», «боярство» и новую чиновную аристократию. Материалы по сему

«падменным потомкам известной подлостью прославленных отцов», «пятоурабскою» поправших «обломки», «игрою счастья обиженных родов»<sup>1</sup>), — все это социально родственные идеологии трилогии Сухово-Кобылина, повествующей о точно таком же «попрании» дворянской чести Муромских «рабской пятой» Варравиных. Таким образом, Сухово-Кобылин по праву мог утверждать, что «идея» трилогии не его личная выдумка, но что она действительно отражает некий сверхличный социальный опыт, умонастроение целого класса — падающего старого дворянства. Художественная идеология трилогии Сухово-Кобылина — классовая идеология старого родового средне-поместного «неслужащего» дворянства. Таково объективное историко-социальное значение трилогии Сухово-Кобылина.

Своеобразие художественной идеологии творчества Сухово-Кобылина, ее отличие от идеологий других дворянских классиков в том, что власть чиновника в ней особенно сильно сгущена, что дворянин показан слишком хилым существом, что борьба дворянского гнезда и столицы представлена с безнадежным исходом для дворянства. Идеологическое своеобразие этой трилогии в ее социальном пессимизме. Наличие пессимизма в трилогии Сухово-Кобылина совершенно верно отметил Л. Гроссман.

«Три драмы Сухово-Кобылина загружают душу своими преступлениями и грехами, не освобождая ее от этого груза, не указывая пути к облегчению или исходу... Бескрылый драматург... никуда не зовет нас, не указывает никаких дорог к будущему... Никаких спасительных путей, никакого просветления...» (Вступ. ст. к последнему изданию трилогии, стр. 33—34).

поводу см., напр., у Благого — «Классовое самосознание Пушкина».

<sup>1</sup>) Эту социальную вражду Лермонтова, как представителя старого барства, старого среднепоместного дворянства, к бюрократической столичной аристократии, к «Петербургу» хорошо вскрывает статья У. Р. Фохта — «Демон Лермонтова, как явление стиля». Сборник «Литературоведение» под ред. В. Ф. Переверзева. ГАХН. 1923 г.

И это верно, но, разумеется, основная причина этого пессимизма — индивидуально-идеалистического характера, как это полагает Гроссман, а не чисто социального. Трагичность идеологии творчества Сухова-Кобылина в том, что последний не видит на общественной арене никого другого, кроме падающего или развратившегося дворянина и хама-чиновника, власть которого кажется Сухово-Кобылипу всемогущей. Верно подметив наступающую власть денег, правильно отметив растущую силу большого города, справедливо показав общественную беспомощность птенцов дворянского гнезда в новых условиях жизни, т. е. чутко отметив начало перелома в истории российского общества — начало смены натурального хозяйства денежным, начало торжества буржуазной и бюрократической столицы над дворянской усадьбой, Сухово-Кобылин не смог, однако, всесторонне и полно осмыслить сущность этого социального переворота. Он не смог вплотную подойти к истинной «смене» старого дворянства, к подлинной массе столицы, к тому положительному, что несла с собой столица, что несло денежное хозяйство — к новым, восходящим классам. Передавая буржуазия, новая европеизированная дворянская либеральная интеллигенция, образованные слои разnochинства — все это фатально осталось вне поля зрения Сухова-Кобылина. Новый городской строй обернулся к Сухово-Кобылипу только своей хищнической, паразитарной, отрицательной стороной. Ничего социально-положительного в столице, в педворянском новом обществе Сухово-Кобылин не усмотрел. Капиталистическое общество в целом было непонято Сухово-Кобылиным и осталось ему глубоко чуждым. Справедливо и верно отметив «мишусы» столицы, он не заметил ее «плюсы». Сознывая обреченность Муромских, он не смог противопоставить царству Расплюевых и Варравинных какого-либо положительного героя, — в этом и заключаются основы пессимизма трилогии<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Идеология трилогии весьма близка личной идеологии С.-К. С.-К., конечно, нельзя отождествлять с Муромскими-Нелькиными,

Сухово-Кобылин видел только падающее дворянство и бюрократию; молодая буржуазия, обуржуазивающаяся дворянская интеллигенция и прогрессивное разночинство были им совершенно незамечены. Совершенно игнорировал он как социальную силу и крестьянство.

Несмотря на свой классовый облик, трилогия Сухова-Кобылина, однако, сохраняет большую ценность и для нас, и не только как историко-социальный документ, но и в более актуальном значении — как подлинный художественный шедевр. Нам, конечно, глубоко чужд пессимизм трилогии, мы сознаем классовый характер творчества Сухова-Кобылина, образы Расплюевых и Тарелкиных в наших глазах чрезвычайно далеки от тех вечных символов русской действительности, коих видел в них их творец. Однако, вместе с тем эти облики живы и для нашего времени, они не умерли совершенно, ибо еще не отмерла всецело стихия бюрократизма.

однако, он близок последним. Он — такой же «неслужащий» дворянин, усадебный барин, помещик. Как свидетельствует биограф и друг С.-К. Рембелинский, он — типичный «русский барин» «прежней крепостной эпохи». Подобно Муромскому, он питает огромную симпатию к деревне, к «своей земле», к «своему хлебу». Он любил и много жил в своих поместьях. «Я все время, при восхитительной погоде, царил среди моих лесов и полей, — писал однажды С.-К., — любуясь своим Я, которое семидесяти пяти лет от роду еще свежо стоит среди своей земли, само убирает свой хлеб и лично сторожит свое достояние» — эту фразу можно было услышать и из уст Муромского. Подобно Муромскому, С.-К. также глубоко ненавидел бюрократию. В соответствии с идеологией трилогии, он и в личной жизни наглухо отгораживался от буржуазии, разночинной интеллигенции. «От земской деятельности» «он уклонялся совершенно» и «менее всего чтит себя литератором» (Воспом. А. Рембелинского. «Русская Старина», 1910 г., V). В предисловии к «Делу» С.-К. заявлял: «Класс литераторов» мне чужд. Но в отличие от Муромского, он сознавал социальную обреченность помещицкого дворянства, его уже наступившее вырождение. Творец Кречинского сознавал, что «мы, помещики, — старая оболочка духа, та оболочка, которую он, дух, ныне, по словам Гегеля, с себя скидывает и в новую облекается» (подчеркнуто нами.—Арк. Г.). Сознывая это, С.-К., тем не менее, остался в «старой» оболочке, не меняя ее на «новую».

Бюрократизм, взятка — это тяжелое наследие буржуазного общества — все еще живой наш враг. И трилогия Сухово-Кобылина — это беспощадное разоблачение царства бюрократии — может послужить весьма актуально в нашей борьбе против бюрократизма, против его идеологии и психологии. Образы Сухово-Кобылина — расплюевщина, варравинщина — в такой же степени актуальны для нашей эпохи, в какой еще живы герои Гоголя — его хлестаковщина, ноздревщина и т. п. Поскольку еще не вполне отмерла частная собственность, постольку еще осталась почва для таких явлений, как взятка (хотя размеры этой «почвы» и уменьшаются буквально с каждым днем), постольку может еще жить и «расплюевщина», «тарелковщина», как может еще существовать «хлестаковщина». О Сухово-Кобылине можно сказать то же, что сказал А. В. Луначарский о Гоголе: «Гоголь вскрывал, конечно, не мистическое «общечеловеческое», а длительно-буржуазное, длительно-собственническое, что живет еще вокруг нас и в нас самих»<sup>1)</sup>, в этом — актуальное, типическое, если угодно, символическое значение типов и трилогии Су-

хово-Кобылина, в этом — ценность его разоблачения стихии бюрократизма.

Исходя в своем разоблачении бюрократии из чисто классовых побуждений, Сухово-Кобылин силой своего таланта дал такое яркое и глубокое изображение самых основ бюрократической психологии, что его сатира жестоко бьет не только по николаевскому чиновничеству, но сохраняет свое значение и по отношению ко всякой другой эпохе, еще не утратившей окончательно власти частной собственности с ее неизбежными последствиями в виде существования взятки, всякого рода авантюризма и т. п.

А поразительно стройная формальная конструкция пьес Сухово-Кобылина, его превосходное техническое мастерство, сочный язык, из которого многое в роде знаменитого выражения Расплюева (по адресу Кречинского) — «маг и волшебник» или варравинской «обюдо-острости» и др. стало поговоркой — все это повышает значение трилогии Сухово-Кобылина, познакомиться с которой будет очень полезным нашему молодому широкому читателю, а особенно нашим молодым драматургам.

#### 4. Р А Б Л Е

К. Локс

«Гаргантюа и Пантагрюэль», давно обещанный из-вом «Земля и Фабрика»<sup>2)</sup>, наконец, вышел из печати, хотя и с некоторыми сокращениями, но зато в хорошем переводе.

Эта удивительная книга в течение нескольких столетий не утратила ни своей жизненности, ни ценности, она вся до сих пор дышит той глубокой и отрадной свежестью, которая охватывает вас, когда вы входите в дре-

мучий лес, где все перепуталось и слилось вместе, — и свет, и тени, и запах листвы. Такая свежесть и жизненность отличает только гения, обладавшего от природы гигантским здоровьем и редким даром перерабатывать в какой-то неиссякаемый источник веселья и радости все, что встречалось ему на пути. Ученые и комментаторы ищут на дне этого родника аллегории, намеки и символы, действительно находят их, но, несмотря на все старания, не могут превратить Рабле в добросовестного педанта, — он современен своей эпохе во всем, но эта современность расцвела слишком причудливыми и неожиданными цветами. Вокруг этой книги зыблется

<sup>1)</sup> «Что вечно в Гоголе». «Правда» от 4/III 1927 г.

<sup>2)</sup> Ф. Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль». Перевод и примечание Вл. Пяста, под ред. и со статьей проф. И. И. Гливенко и с предисловием проф. П. С. Югана, 1929 г. 529 стр. Ц. 5 р. 50 к.

такой же причудливый и неожиданный узор исторических событий.

Во Франции — раннее Возрождение, первые ученические попытки подражать Италии, во всей Европе глубокий кризис католической церкви, Лютер и Кальвин. На Западе — Новый Свет, удостоверивший существование «антиподов», бесконечные войны Карла V, опустошающего в мечтах о всемирной монархии Европу, а на Востоке турецкие полчища, докатывающиеся до границ Германии. Историки быта и правов утверждают, что не было эпохи более смутной и противоречивой. Во Франции, потерявшей в битве при Павии свою военную славу, пылают костры — жгут еретиков, бесноватых, колдунов, сумасшедших: сто тысяч процессов с обвинениями в ереси насчитывается в этот период. В Труа и Гренобле присуждают к изгнанию из страны гусениц и слизняков; иногда кажется: человеческий разум поколеблен в своих основах, и грандиозное здание феодально-католической Европы готово рухнуть и разрушиться до конца. Рядом с этим возрождение наук и искусств, греческие и латинские пергаменты, над которыми бредят сотни учепых голов, гигантский взрыв невиданного свободомыслия. Pamфлеты Эразма Роттердамского и его друзей освобождают умы от предрассудков, и сатира приобретает совершенно исключительное значение. В эту эпоху вырос и сложился Рабле. Быть может, теперь для нас самое удивительное в его биографии — монашеская ряса, которую он носил. Это, конечно, парадокс, впрочем, вполне объяснимый различными житейскими случайностями. Но воистину это был монах буйный и непокорный, начавший свой подвиг послушания прямым нарушением обета духовной и телесной нищеты. В монастыре св. Франциска в Фонтенэ-ле-Конт он был арестован и присужден к вечному заключению за чтение греческих книг, которые рассматривались как опаснейший источник ересей. Освобожденный стараниями друзей, Рабле с этих пор ведет жизнь бродяги-гуманиста. На не-

которое время он переходит в орден св. Бенедикта, потом покидает его. Переезды из одного города в другой, три путешествия в Италию, разнообразные умственные занятия и литературная деятельность — такова вторая половина его жизни. Он эллинист, естествоиспытатель, доктор, энциклопедически образованный ученый. Его речь о растениях на диспуте в университете в Монпелье приносит ему степень бакалавра, его медицинские познания позволяют ему стать врачом госпиталя в Лионе, его искусству врачевания изумляются современники. Действительно, в «Гаргантюа» обнаружено прекрасное знание анатомии. В том же Монпелье он вместе со студентами изучает морских рыб и печатает с комментариями Гиппократ и Галиена. Вокруг него кружок просвещенных гуманистов, братья Белла, Тираке, Доле, из которых последний погиб на костре за еретические воззрения. Вся эта жизнь, разнообразная, широкая и беспокойная, сопровождалась отчетливым сознанием очередных задач эпохи и ее глубокого исторического значения. Любопытнее всего, что Рабле, говоря о своем времени, пользуется образами, которые впоследствии превратились в общие места и вошли в учебники, — тогда, конечно, они звучали несколько иначе: «Как может случиться, мой просвещеннейший Тираке, — пишет он другу, — что, несмотря на свет, ярко пронизывающий наше время, иногда благодаря благосклонному дару богов возрождаются самые полезные и прекрасные науки, всюду встречаются люди, которые не хотят и не могут освободиться от готического тумана, со всех сторон обволакивающего нас, и более густого, чем киммерийский мрак. Это вместо того, чтобы поднять глаза к ослепительному свету солнца!» Естественно, для той эпохи «ослепительный свет солнца» заключался в возрожденной античности, которая для Рабле и его друзей была знаменем борьбы, а для духовенства — источником всевозможных ересей. Действительно, соблазны язычества и отрицания аскетизма во всех его видах — главная ересь «Гаргантюа



и Пантагрюэля». И нет ничего удивительного, что автор избежал костра на Гревеской площади только благодаря заступничеству сильных покровителей, восхитившихся его дарованием.

Даже если отбросить непрерывные издевательства над монахами («я никогда так хорошо не сплю, как за проповедью или за молитвою. Умоляю вас, начнем вместе семипсалмие, увидите, что вы сейчас уже заснете». «Принимайте сколько хотите ваше слабительное, а я пойду за своим рвотным.—За каким рвотным? — спросил Гаргантюа.— За моим требником, — сказал монах»), даже если признать, что Рабле в этом отношении задевал только быт и нравы духовенства, не касаясь религии по существу, то все же в его книге налицо опаснейшая ересь — отождествление Христа и языческого Пана, сделанное с удивительной красотой (кн. IV, гл. 28). Такое необычайное истолкование евангелия, конечно, было не по вкусу руководителям церкви, хотя и вполне в духе Ренессанса. А в описании Телемского аббатства, этого светского монастыря, который по традиции, начиная от Бокаччио, занимает в воображении всех гуманистов, мечтавших основать какой-то земной рай, где наука и красота были бы в неразрывном союзе, Рабле разрывал со всем принудительным строем католического мировоззрения и его бытовым укладом. Как бы фантастичны ни были все остальные выдумки и причуды, какие бы толкования и кривотолки они ни допускали, несомненно одно: самое опасное и явное в этой книге — великий дух свободомыслия, пронизывающий ее всю насквозь. В этом освобождении природы от всяких норм и правил, в этой веселой пляске образов и понятий рассыпалось как-будто от прикосновения магической палочки иерархически регламентированное мышление, а феодальные замки и университеты падали, словно карточные домики. В сущности книга написана в опровержение логики Аристотеля, она утверждает всю эстетическую прелесть абсурда и переворачивает все вещи и отношения вверх ногами. Здесь

самое обычное и естественное превращается в исключительное и неправдоподобное, при этом с такой реалистической очевидностью, что возражать нет никакой охоты. («В тот же самый день Пантагрюэль прошел два острова — Тохю и Бохю, на которых не нашли ничего съедобного. Бренгариль, страшный гигант, за недостатком ветряных мельниц, которыми он обыкновенно питался, поглотил все сковороды, котлы, кастрюли, горшки и даже печи и печурки на острове»). Основной прием автора чрезвычайно прост: все пропорции и соотношения расширены в какую-нибудь одну сторону, и в результате весь мир превращен в причудливый гротеск. Явный вздор и нелепость весело выются со страницы на страницу и, — быть может, самое удивительное, — не кажутся однообразными или утомительными. Наоборот, Рабле всегда неожиданен, и в этом его главное преимущество, преимущество комика, умеющего превращать привычное, вековое — в новое и небывалое. Конечно, современники Рабле могли найти у него в дидактическом смысле много полезного и instructive. Первая и вторая книга Гаргантюа доставила автору неожиданную честь быть включенным в историю педагогики, страницы, посвященные воспитанию, для схоластов представляли собой откровение, — теперь уже это все утратило свою остроту в гораздо большей степени, чем война Грангузье и Пикрошоля.

Каков же общий стиль и источники этой книги? Для знатока и любителя литературы большое удовольствие следить, как огромная начитанность Рабле и его богатые знания послужили поводом для блестящих пародийных мотивов. Мы можем вспомнить народные легенды и рассказы Геродота, первую книгу которого он перевел на французский язык и которая явно пародирует в некоторых главах, можем вспомнить Лукиана, Плиния и множество других авторов до Платона включительно. И все же эти источники второстепенны и в данном случае несущественны. Основной

и главный источник — гений самого Рабле, выросший из почвы старой Франции. Эта почва во многом определила его дарование, значительнее и глубже во всяком случае, чем те или другие вечные книги. Поэтому, как ни странно, книжка самая незначительная, безыменная имела для него большое значение. Мы говорим о народном альманахе, повествовавшем о похождениях и подвигах «великого и огромного гиганта Гаргантюа». Этот альманах, в издании которого Рабле принимал какое-то участие, вышел в Лионе в 1532 году и послужил толчком для создания всей пятитомной хроники. Рабле сначала написал вторую часть своей книги, как продолжение народного альманаха, а затем уже возвратился к началу и обработал по-своему рассказы о Гаргантюа, чье имя часто встречается в народных сказках Франции. Опора, найденная в этой легенде, объясняет и весь общий стиль повествования, выполненного в духе того великого средневекового искусства, неизвестные творцы которого украсили грифонами собор Парижской богематери. Мы говорим о стиле орнаментального гротеска, который в средние века проходит сквозь всю величавую готику. Происхождение этих удивительных сплетений, различных мотивов, людей, зверей и растений в известном смысле остается загадочным. Скорее всего в данном случае властно проявлялись какие-то языческие инстинкты. Глубоко подавленные иерархией и догматикой, они должны были вызвать в ответ эту самую свободную и причудливую форму искусства. В стиле орнаментального гротеска Рабле и написал свою книгу, отмеченную чрезвычайно свободной композицией и отсутствием строго развивающегося сюжета. Самый на первый взгляд незначительный мотив является для него поводом развернуть рассказ чуть ли не на сотню страниц и незаметно отвести в сторону читателя. Так женитьба Панурга мотивирует последнюю часть книги — путешествие к оракулу божественной бутылки. Впоследствии та-

кой способ развития темы встретится у Сервантеса и Стерпа, а вслед за ними у немецких романтиков. Таким образом родоначальником спорного и трудно определяемого романтического жанра следует считать именно Рабле, который в то же время — и в этом один из парадоксов его дарования — был учеником и поклонником античности с ее строгостью, гармонией и мерой. Вот почему общие идеи занимают у Рабле такое незначительное место — они растворяются в живописи, в конкретных деталях, в какой-то абсолютной реалистичности письма.

Стиль Рабле в смысле чисто словесном вполне соответствует всему построению целого. Он так же причудлив и неожиданен, так же далек от каких бы то ни было норм. Это удивительный сплав провинциализмов, варваризмов и слов, изобретенных самим автором. Исследователи находят у него слова арабские, турецкие, итальянские, английские, немецкие, баскские. Подсчитано 952 латинских слова и 517 греческих, а в четвертой части встречается 177 слов, которые он должен был сам истолковать в качестве непонятных его современникам. Если к этому прибавить неологизмы, имеющие комический смысл или чисто музыкальное значение, то станет ясным, с какими трудностями пришлось иметь дело переводчикам. Конечно, в переводе неизбежно должны были исчезнуть богатейшие аллитерации и ассонансы, точно также почти невозможно передать особенности тех или иных синтаксических оттенков. Но главное очарование Рабле даже не в этих тонкостях, а в его необычайной естественности, отсутствии книжности, во всем том, что у нас называется «сказовой» манерой. Читая его, мы действительно слушаем рассказ, льющийся так же свободно, как льется ручей после сильного ливня. Переводчики, по нашему мнению, удачно справились со своей ответственной задачей. Единственно с чем трудно примириться, — это с сокращениями, которых в значительной степени можно было избежать.

## 5. СМЕЮЩИЙСЯ БАЛЬЗАК

Ю. Данилин

Кто смеялся в эпоху романтизма? Какой класс, какая социальная группа могли беззаботно хохотать в пору главенства того трагического стиля, где доминировали неистовства, кошмары и ужасы, где действовали роковые, загадочные, гибнущие персонажи?

Речь идет не о той желчной, цинической усмешке, которая срывалась порою с уст пресыщенного представителя золотой молодежи Альфреда де-Мюссе или молодого Эжена Сю. Не о том «сатанинском», завывающем смехе-визге, которым иступленно кривились губы Петрюса Бореля, дикого вождя бузэнго, республиканской и мелкобуржуазной группы богемы. Смех начинает звучать только в группе золотой богемы, возглавлявшейся Теофилом Готье; но это еще не громкий смех, не хохот, не кульминация: это только юмор, быстротечная, непоседливая, интимная улыбка.

Между тем в Париже 30-х годов жили не только трагические мечтатели, влюблявшиеся в болезненных, скелетообразных, «вулканических» женщин, этих «унылых чудовищ», прозрачная кожа которых, испещренная сеткой голубых вен, уже как будто позволяла чувствовать запах тления... Нет, Париж 30-х годов умел и хохотать. И он хохотал так громко, довольно и раскатисто, как давно не смеялась Франция.

\* \* \*

Весной 1832 года Париж как-будто перепугался.

Давно уже было известно, что из Азии, из России на Европу медленно надвигается холера. Уже давно высмеивали ее в карикатурах, водевилях и бойких куплетах.

И вот она пришла. На улицах стали падать прохожие. Ежедневно умирали сотни парижан. Нехватало гробов и похоронных дрог. Ползли жуткие слухи об отравителях. Каких-то несчастных хватали, увечили, бросали в

Сену. По ночам на пустынных улицах загорались багровые огни холерных пунктов.

Историки с удивлением отмечают, что, однако, обычная парижская жизнь не прекращалась. Все так же шли спектакли и концерты. Все так же давались обеды и балы.

Быть может, то была взвинченная веселость пира во время чумы? Нет, ничто не позволяет так думать. Наоборот, кто-то чувствовал уверенную, ясную потребность наслаждения. Было два Парижа: один трясся в испуге, другой желал беззаботно хохотать. И никто так не угодил этому веселившемуся Парижу, как Бальзак, только что выпустивший тогда первый десяток своих «Смехотворных рассказов»<sup>1)</sup>.

В этих замечательных рассказах воскресла — казалось бы, так неожиданно! — традиция средневековых фавль, того озорного «жанра голуа», где все веселье, примитивное и грубое, заключалось в том, чтобы называть вещи их именами. Авторы средневековых смешных рассказов (фавль и новелл) и слушатели последних отличались одинаковой некультурностью. Это были преимущественно купцы, торговцы, чиновники, словом, зажиточный слой средневековых горожан, которые откупались от феодалов и королей и отдавались торговле, ремеслам и обогащению.

И где-нибудь на постоянных дворах или по окончании ярмарки, или в средневековых кабачках эти преуспевающие предки современных Морганов в дружеской беседе, за бутылкой и плотным ужином, развлекали друг друга разными забавными и назидательными историями. Сдавленная господствующими сословиями — дворянством и духовенством — буржуазия молчаливо и упруго накапливала силы, и только в этих историях проявлялся ее жадный

<sup>1)</sup> О н о р е д е - Б а л ь з а к . — «Смехотворные рассказы». Перевод М. В. Голицына, под редакцией проф. А. А. Смирнова ГИЗ. М.—Л. 1929. Стр. 171. II. 1 р. 40 к.

вкус к жизни, ее мораль, новая, особенная мораль.

В этих историях буржуа сводили счеты и брали реванш. Монах или дворянин неизменно оказывались здесь не святыми, не достойными людьми, а распутниками и обжорами, дураками и трусами. Оказывалось, что хитрость, пронырливость, изворотливость стоят больше, чем меч феодала или молитвенник аббата. Если жещипа ловко обманывает мужа, особенно старого, — честь ей и хвала. Если кто-нибудь изобретательно способствует гибели братьев, чтобы получить наследство, — это настоящий делец, достойный всякого уважения.

...И вот в холерном Париже 1832 года вдруг вышла книга точь-в-точь таких же средневековых новелл, где с такою же насмешкой обличались монахи и дворянство, где автор с такою же рубенсовской, плотоядной заиптересованностью зарисовывал альковные похождения лукавых жен и предприимчивых ловеласов. И Бальзаку так нравилось оттачивать и смаковать эти резвые истории, что писал он их стилизованным старинным языком, правда, перепутав при этом язык XII и XVI столетий.

Но почему же произошло такое странное событие? В чем его закономерность? Где предпосылки для репесанса фэбльо во Франции начала 30-х годов прошлого века?

Проф. А. А. Смирнов пишет в предисловии: «В жизни крупных писателей, захваченных обширными идейными замыслами, случаются иногда моменты не то чтобы усталости, а просто потребности в «гигиенической» передышке, — желание на минуту вырваться из круга навязчивых идей и отдаться более вольному и легкому творчеству, чтобы затем с удвоенной энергией вернуться к своему основному любимому делу...» Такого рода «аполитичное» объяснение вряд ли удовлетворит читателей даже в узком вопросе о субъективно-творческой истории «Смехотворных рассказов», а разговоры о «гигиенической передышке» могут — увы! — завести слишком далеко. Вопрос о возрождении жанра фэбльо

остается для проф. А. А. Смирнова неразгаданной загадкой. Отмечая же, что стиль «Смехотворных рассказов» представляет собою «не что иное, как мастерски усвоенный и возрожденный Бальзаком стиль Рабле», автор предисловия может объяснить это только тем, что Бальзак «всегда питал глубокую нежность к своему великому земляку» и что оба они, Бальзак и Рабле, были уроженцами Турени...

Бальзак приступил к работе над «Смехотворными рассказами» еще в начале 1831 года и вскоре предложил первый рассказ Верону, редактору «Ревю де Пари». Верон убоился напечатать эту вещь. «На другой день после разрушения церкви и снятия крестов, — писал он Бальзаку, — было бы слишком большой безтактностью снова обвинять священников, которые теперь боятся только одного, чтобы их не бросили в воду». Верон страшился затронуть своих богомольных читателей, а Бальзаку рекомендовал целомудрие.

Но Бальзак не желал быть целомудренным, не желал отказаться от своего замысла. Когда парижская мелкая буржуазия и рабочие, борцы июльской революции, разрушали церкви и срывали кресты, Бальзак отнесся к этому совсем не так, как благочестивый трус Верон. Бальзак одобрял разрушителей.

Бальзак обеими руками подписался бы под заявлением буржуазного историка Огюстена Тьерри, который накануне этой революции с такой гордостью говорил о предках своего класса: «Наши герои носят темные имена. Мы — люди городов, люди коммун, люди земли, сыны тех крестьян, которых изрубили рыцари в XIV веке, сыны тех буржуа, пред которыми дрожал король, сыны возмущившихся жаков!»

Духовный потомок либеральных турских буржуа, славных своим политическим самоуважением, управлявших когда-то государственными финансами Франции, Бальзак не мог не испытывать радости при виде июльской революции, наносившей окончательный удар династии Бурбонов и старому главен-

ству дворянства и церкви. Ведь теперь победила буржуазия, та крупная буржуазия, предки которой некогда тешили себя незамысловатыми историями на постоянных дворах средневековой Франции.

Восторг достижения, гордая радость наполняли победителей. Как они смеялись! Они беспечно отдавались счастливому, раскатистому, жирному хохоту. Что было им до холеры? И в звучном их смехе гордость победы соединялась с умиленностью перед предками. Если Тьерри писал о последних с пафосом воинствующего буржуа, то Бальзак рассказывает теперь об этих предках, о милых его сердцу средневековых турецких буржуа, с болтливым самодовольством счастливого сына, с бескомпромиссной любовью к их маленьким грешкам и плутням, с глубоким родственным пониманием их удивительного, искрящегося жизнелюбия.

В ту эпоху только один класс, именно торгово-промышленная и финансовая буржуазия, класс настоящих июльских победителей, мог хохотать так громко. Но этому ли классу было не смеяться, когда после революции, сделанной руками иных классов, он сумел без всяких затрат и жертв захватить «бесхозную» власть? Это был ловкий трюк, совсем в духе пронырливых предков банкира Лафитта. Всем же другим было не до смеха. Мелкая буржуазия, пролетариат, дворянство, духовенство — все они чувствовали себя, одни обманутыми, другие обиженными исходом революции. Но они были бессильны свергнуть смеявшихся победителей.

И неудивительно, что «Смехотворные рассказы» далеко не всем пришлись по вкусу. Одни называли эту книгу просто грубой и срамной. Другие говорили, что квази-скабрзные истории Бальзака скучны и холодны, как «безлюбвные поцелуи прости-тутки».

Даже свободомыслящая Жорж-Занд была скандализирована. Она не любила грубостей. Герои ее романов носят деликатные итальянские имена. Крестьян она изображала идеализированно. Кающаяся дворянка, она не переставала

быть культурной дворянкой. А Бальзак на правах старого литературного друга бесцеремонно угостил ее чтением некоторых отрывков, выбрав с тайным удовольствием наиболее острые. Она велела ему замолчать. Он продолжал. Она вырвала у него рукопись и швырнула ее ему в лицо:

— Какая гнусная непристойность!

— Ханжа! — обиделся Бальзак и, спускаясь по лестнице, заключил: — Вы просто-напросто дура!

Но если дворянская, католическая или мелкобуржуазная критика не могла не осуждать эту книгу, то «Смехотворные рассказы» находили своего читателя в кругах победителей, где веселились, где вызрела самая потребность в этой книге. И там принимали ее целиком, со всеми прихотями ее жанра и оформления. Ведь стилизационная попытка Бальзака не была уже новостью. Сейчас же после июльской революции появилось несколько романов, язык которых был стилизован под старо-французский. Авторы этих романов (Поль Лакруа, Альфонс Роше) тоже принадлежали к буржуазному классу и тоже поняли, что поклоняться предкам нужно было во всем их обличьи, вплоть до воскрешения языка, на котором они говорили.

«Смехотворные рассказы» входят в романтический стиль по своей средневеково-исторической теме. Антидворянская и антиклерикальная тенденция этой книги указывает на их принадлежность к стилю буржуазного романтизма (в отличие от стиля дворянского романтизма и романтизма богемы). На общей карте романтического стиля «Смехотворные рассказы» отмечают высшую точку смеха, кульминацию цветения юмора, ступенькой к которой был сравнительно сдержанный юмор золотой богемы.

\*  
\* \*  
\*

При старом режиме «Смехотворные рассказы» были у нас запретной вещью. Цензура не позволила бы перевести книгу столь вольную. Лишь после революции этот запрет начинает рушиться. Но до сих пор у нас было переведено (Ф. Сологубом и

И. Б. Мандельштамом) лишь три рассказа. Ныне к ним присоединяется еще одиннадцать. Непонятно, почему Гиз отказался от перевода сборника в целом

В Гизовском издании не передана также стилизационная установка Бальзака. Быть может, здесь не нужен тягелый прием церковно-славянизмов сологубовского перевода. Но необходимо было дать почувствовать стилизацию подлинника, ибо она органична. Жаль, что приходится упрекнуть в этом переводчика, работа которого вообще безупречна (если не считать некоторых малосущественных ошибок в передаче ряда старинных оборотов): «Смехотворные рассказы» переведены таким сочным, цветущим языком, которого

читатель не находит обычно ни в переводных книгах, ни даже в произведениях иных почитаемых советских беллетристов.

Нужна ли нам эта книга? Конечно, нужна. Историко-литературное ее значение полно интереса. В творчестве Бальзака она занимает своеобразное, яркое место. Она преломленно знакомит нас с веселой средневековой новеллой, — а ведь советский читатель еще не получил никаких образцов этого жанра, ни «Сотни новых новелл», ни «Гептамерона». Наконец, самая мораль этой книги, жизнерадостная, несколько языческая мораль, не будет неприемлема для нашей эпохи, чуждой ханжеского лицемерия и мещанской ограниченности.



## Книжное обозрение

1. АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ «Пирующая весна». С. Пакентрейгера.—2. ПАВЕЛ ЛОГИНОВ - ЛЕСНЯК «Голубой дым». Арк. Глаголева.—3. ДМИТРИЙ ПЕТРОВСКИЙ. К. Локса.—4. П. ПАВЛЕНКО «Азиатские рассказы». Р.Рош.—5. П. Е. ЩЕГОЛЕВ «Книга о Лермонтове». В. Гольцева.—6. БАРОН АЛЕКСЕЙ БУДБЕРГ «Дневник белогвардейца». Г. Сандомирского.

**Артем Веселый.** — «Пирующая весна». Со вступительной статьей В. Полонского. Изд. «Пролетарий». Стр. 543. Ц. 3 р. 25 к.

В сборник «Пирующая весна» включена малоизвестная работа автора «Зеленый куст», над которой Веселый — по собственному признанию — пока еще не занес «карающей руки». Это сказано скромно, хотя и сильно. Как бы, однако, ни была скромна эта художественная самооценка, в юной работе сказываются потенциальные стороны веселовского таланта.

Что характерно в этом незрелом рассказе о негре-кочегаре? Духовная жизнь дается как продолжение физической, плотской жизни. Неутолимая моральная жажда негра не уступает по своей силе и напору стихийной жажде верблюдов: «Десяток пушек и тысяча плетей не остановили бы верблюдов: со страшным ревом, сшибая друг друга, ломая лед, они кинулись в озеро и, ладая на колени, припадали к влаге».

Той же страшной силой напоено все существо негра, возжаждавшего страны, «где китайцы, персы, азиаты работают вместе с русскими», где «наш брат—черный—ходит по тротуару и никто не гонит его палками по мостовым».

Хотя Веселый и рисует отдельного негра, но он вырастает в воображении читателя не как отдельное лицо, а как сборище, как слияние разных существ.

Веселый пытается конденсировать духовную жизнь группы, сборища лю-

дей в одном лице. По существу здесь новизны никакой нет. В ряде других работ, перешагнув полосу «оголтелого ученичества», автор нащупывает иные дороги. Он ищет возможностей для передачи сборищ, групп, деревень, фронтов, митингов, казарм новыми средствами. Он хочет, чтобы заговорили они, а не отдельные лица.

Он прибегает ко всевозможным способам: пользуется документами, письмами, дневниками, вымышленными переписками, звуковыми уподоблениями, безличным революционным жаргоном, ведет повествование в третьем лице от имени человеческих сплавов и массивов.

Веселый в этом деле не пионер. Ту же попытку сделал А. Малышкин в «Падении Даира». Ему принадлежит почин и попытка говорить голосом «множеств». Но Малышкин не продолжил творчества в этом направлении. А Веселый упорно и действительно решает задачу на протяжении всех своих работ. И хотя задачи этой до конца не разрешил, но во многих случаях добился выразительного эффекта, и эстетического и социально-психологического.

Вот массовидное выражение духовного состояния фронта в переломный момент конца войны и начала первой революции. Передан внутренний говор доведенных до отчаяния масс, начало кризиса солдатского сознания:

«— Бог ты наш, бог солдатский, нечесаный, немывтый! И куда ты, бог, мать твою непорочную, некачаную, не-

ворочаную, куда ты подевался и бросил нас, как плохой пастух овец своих? Зачем ты спокинул нас на растерзание злой судьбе и зачем ты, вшивый солдатский бог, не желаешь нашей солдатской жизни?» («Россия, кровью умытая»).

Внутренний говор вымышлен и вместе с тем доподлинен в своей художественной реальности, как доподлинны его вымышленные массовидные диалоги. Однако, Веселый перебарщивает, увлеченный массовидными передачами, порой жертвует отдельными фигурами, законченным построением отдельных частей работ, их пригонкой друг к другу, порой стилизует разлив, вихревое движение фразы, стилизуется под «дикаря», под «варвара». Даже в новом названии сборника «Пирующая весна», включающего все его работы, есть некий элемент стилизаторства под самого себя.

С большим трудом Веселый улавливает голоса жизни, схваченной творческими планами, организуемой коллективами, вышедшими в надполье уже на заре гражданской войны.

Заставить звучать эти новые образования — дело столь же сложное и более благодарное, чем находить выражения для сплошняков и множеств стихийных. Веселый тут не всегда уверен, не чувствует зрелой решимости, но и здесь идет путями индивидуальными, проявляет чутье и меру и не соскальзывает на проторенные дороги.

Из отдельных фигур воображению Артема наиболее близки: фигура бешеного ураганного полудеклассированного бунтаря и фигура мятущегося, жадно рвущегося к новой жизни мужика. В «Россия, кровью умытой» проснувшаяся, спокойная и вместе с тем деловитая, хозяйственная фигура дана в образе мужика Кужеля, Артем Веселый знает всю подноготную, все почесывания, все нутро этого мужика, приобщающегося к государственной жизни и разуму хозяйствующего класса.

Сам Веселый — сын, гражданин, человек этой новой исторической среды, ее выдвигенец.

*С. Пакентрейгер.*

**Пав. Логинов - Лесняк.** — «Голубой дым». Роман. Изд. «Федерация». М. 1929. Стр. 292. Ц. 1 р. 75 к. Пер. 20 к.

В творческий облик Логинова-Лесняка «Голубой дым» ничего нового не вносит. Социологически данный роман весьма однороден с той ранней вещью автора «Степные табуны», которая дала ему литературное имя.

Вновь в центре повествования стоят мятущиеся полудеклассированные слои крестьянства и провинциальной интеллигенции эпохи 1914—18 гг., лесные бунтари, неустойчивые, анархистствующие бродяги, мечтатели, «со слутанным клубком мыслей», раздираемые всевозможными «противоречиями», «терниями одиночества», «страшной пустотой в душе». Общественные пути этой социальной массы, представленной в «Голубом дыме», крайне неопределенны и зигзагообразны: одни, как учитель Петр Евгеньевич, искренне тянутся к большевикам, другие (напр., Павел) превращаются в «лесных разбойников» или в «комиссаров» в кавычках (Яшка). Тяжелый жизненный путь всех этих запутавшихся лесных людей оканчивается их полной гибелью. «Голубым дымом» развеивается над родной землей эта «бесплодно сгоревшая одинокая человеческая сила».

Старательно обрисовывая печальную судьбу этих лесных неудачников, беллетрист остается в романе художественно маловнимательным к фигурам иной социальной среды, к подлинным (по замыслу самого автора) большевикам (Андрей), с одной стороны, к представителям буржуазно-дворянской интеллигенции (Алеша, профессор) — с другой.

Композиционную рыхлость романа правильнее будет объяснить не столько техническими свойствами мастерства самого романиста, сколько социологическими причинами — социальной рыхлостью центральных персонажей повествования, обусловившей не только «содержание», но «форму», построение вещи.

На фоне нашей современной литературы роман выглядит тематически крайне запоздавшим, а имеющийся на нем (в отличие на этот раз от «Степ-



ных табунов») налет определенно пессимистических настроений, проявляющихся при изображении конечных судеб героев романа, делает его регрессивным литературно-художественным явлением. Десятитысячный тираж романа остается совершенно непонятным.

*Арк. Глаголев.*

**Дмитрий Петровский.** Изд-во «Федерация». М. 1929. Стр. 154. Ц. 1 р. 65 к.

Автор не считал нужным озаглавливать свою книгу более подробно и на этот раз, кажется, поступил правильно. Небольшой сборник его рассказов и воспоминаний — книга о себе, о своих подвигах и приключениях в период революции и гражданской войны. Здесь субъективное отношение к событиям является ясно осознанным художественным принципом. За такую открытость можно быть только благодарным, ибо она не дает повода к ложным толкованиям. Философия этой книги, не содержащая, впрочем, ничего потрясающего в смысле новизны, не нуждается в пересказе. Для автора прошлое дано в некоторой художественной интерпретации, а мысли, рассыпанные там и сям, удачны или неудачны в зависимости от их оправдания в образах и событиях. Некоторое самолюбование, вполне извинительное, входит также составным элементом в эту книгу, начатую интересными воспоминаниями о Хлебникове и законченную рассказом об умершем с голода крымском татарине Ибрагиме.

Петровский любит Хлебникова, Гоголя, украинскую ночь, сказочных партизан и бандуристов. Всего этого вполне достаточно для живой и свежей книги, если налицо умение избежать банальности и трескучей фразеологии анархической беспринципности. Автор сумел, несмотря на постоянную опасность сорваться, создать книгу, которая была бы совсем хороша, если бы «Дмитрий Петровский» был уравновешен в ней большею долей эпоса.

Такое требование или, если хотите, пожелание относится, однако, скорее к будущему. Судить же эту книгу следует, как книгу партизана в широком

смысле этого слова, для которого вся жизнь — цепь вылазок во вражеский или дружеский стан.

*К. Локс.*

**П. Павленко.** — «Азиатские рассказы». Изд. «Федерация». М. 1929 г. Стр. 221. Ц. 1 р. 35 к. Пер. 20 к.

Азия Павленки — это Азия Стамбула и Средиземноморья, Азия, известная в тысячах литературных преломлений от романтики «Чайльд-Гарольда» до... «романтики» Бенуа, Азия, превратившаяся в традиционную декорацию «экзотического» романа.

Казалось бы, здесь трудно найти образ, не избитый уже тысячами повторений, трудно найти ситуацию, не ставшую художественным штампом. И то, что «Азиатские рассказы» увлекают, волнуют, а местами и потрясают читателя, свидетельствует о серьезном даровании автора.

В любовании вещью — художественная сила «Азиатских рассказов», а также в остроте видения, в осязательности изображения. И не случайно избранная автором форма почти статического описания, лишь слабо скрепленного фавулой, форма «воображаемого портрета», но портрета вещи.

Действительно, вещь — жювер в «Двух королях», благовония в «Мастерах Эйюба» — герой очерков Павленки, и из изображаемых им людей ему близки и дороги те, кто «знает закон вещей». «Вещи человечества достойны привязанности. Они суть камни будущих дней, но умирают и в прах рассыпаются люди, не оставив по себе следа» («Изображение вещей»). Эта, казалось бы, чисто романтическая, достойная Т. Готье «апология вещи» соединяется, однако, в «Азиатских рассказах» с умением раскрывать подлинную сущность тех социальных отношений, которыми порождаются «вещи», которыми создаются эти пленяющие и отталкивающие чужестранца формы культуры Востока. В этом сказывается новая эпоха с ее чуждым романтизму здоровым материалистическим миропониманием. И это новое миропонимание влечет за собой пересмотр застывших образов, обновление шаблонной

экзотики. Новый подход к средиземноморскому Востоку уже осуществлен в некоторых из «Азиатских рассказов», особенно в бесфабульном «Гали-Болу» и в острой и запоминающейся «Родине» — одном из лучших рассказов сборника. Правда, в других рассказах автор еще всецело под обаянием романтического образа, — Азия являет ему лик варварства, выросшего на развалинах древних культур — раздробленной византийской и умирающей исламской. Этим определяется и круг тем «Азиатских рассказов»: почти все они варьируют один и тот же основной мотив — столкновение непомятого Востока с непонимающим Западом, будет ли представителем последнего венецианский художник Возрождения («Изображение вещей»), французский колониальный офицер («Orientalia») или английский скупщик ковров («Два короля»). Но и здесь сквозь старое, умирающее автор уже видит ростки новой здоровой жизни.

В любовании вещью — художественная сила «Азиатских рассказов», на чем построены лучшие рассказы сборника — «Мастера Эйюба» и «Два короля». Слабее владеет автор построением фабулы; здесь выступают реминисценции «экзотического» романа, — так «Orientalia» повторяют ряд мотивов и ситуаций из К. Фаррера. Еще слабее попытки усвоить форму психологического этюда, — написанный совместно с Б. Пильняком рассказ «Лорд Байрон» принадлежит к наименее удачным; к тому же для всякого, знающего хоть немного жизнь Байрона, невыразимым комизмом звучит «поэтическая вольность» Павленко — Пильняка: замечание о «тихой матери» великого поэта.

Тематика «Азиатских рассказов» и ее своеобразная концепция требуют от автора разрешения труднейших стилистических задач. Неудивительно, что образный, прячущий под убедительностью объективного сказа силу лирической эмоции стиль «воображаемого портрета» не всегда дается автору. Иногда удачный образ («потные глаза», «перевитые жгуты жил») утомительно повторяется из рассказа в рассказ (стр. 64, 81, стр. 45, 56); иногда проस्कаль-

зывает нарушающий тон рассказа газетный неологизм («глупый вопрос поэта Сулейман-Хикмета превращался в бытовую», стр. 47) или, что еще хуже, варваризм переводного романа (стр. 13). Из отдельных приемов композиции автор мастерски владеет техникой конечной *pointe*.

Небрежно составлены примечания: разъяснено давно вошедшее в русскую литературу «муэдзин», и оставлены без разъяснения «фалджи» (гадатель), «дефтардар» (чиновник казначейства, архивариус) и т. д. Не дано примечаний к именам собственным («Абу-Зия-эфенди» — крупный деятель раннего младотуркизма, Ансара — арабский поэт и др.), которые читатель легко может принять за вымышленные.

Но эти чисто внешние недостатки не могут, конечно, помешать оценить «Азиатские рассказы», проникнутые знанием Востока и подлинной к нему любовью, как вещь, появлению которой нельзя не порадоваться.

*Р. Рош.*

**П. Е. Щеголев.** — «Книга о Лермонтове». Выпуск первый. Изд. «Прибой». Л. 1929. Стр. 337. Ц. 3 р. 20. Выпуск второй. Стр. 247. Ц. 2 р. 60 к.

Как это ни странно, изучению такого замечательного поэта и прозаика как Лермонтов до сих пор уделяется очень мало внимания. В то время как Пушкиным занимались и занимаются у нас чуть ли не все историки литературы, Лермонтов попрежнему находится в тени. Мало помогло делу изучения Лермонтова даже столетие со дня его рождения (1914 г.), заглушенное прохотом империалистической войны.

В годы революции, за исключением интересной, но во многих отношениях спорной книги Б. Эйхенбаума, обстоятельной популярной книжки С. В. Шувалова<sup>1)</sup> и еще нескольких статей, не появилось ни одной серьезной работы по Лермонтову. Мы не имеем до сих пор исследовательской монографии о

<sup>1)</sup> Б. Эйхенбаум. «Лермонтов. Опыт историко-литературной оценки». Гиз. Л. 1924. С. В. Шувалов. «М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество». Гиз. М. 1925.

Лермонтове, отвечающей современным требованиям. Ведь не можем же мы удовлетворяться работой П. Висковатого (содержащей очень много ценных сведений), вышедшей в свет 38 лет назад<sup>1)</sup>! Изучение Лермонтова с социологической, марксистской точки зрения в сущности вообще еще не начиналось.

«Книга о Лермонтове» относится к тому же жанру, что и «Пушкин в жизни» В. В. Вересаева. Но Щеголев решительно отгораживается в своем предисловии от приемов работы Вересаева, заявляя, что подход этого писателя представляется ему «абсолютно ненаучным».

И действительно, сопоставляя эти две работы, мы убеждаемся в правоте П. Е. Щеголева.

Рука опытного исследователя чувствуется во всем. В то время как в четырех выпусках вересаевской работы отсутствует самое простое оглавление, П. Щеголев, разбивая оба выпуска своей книги на главы, предпослал каждой из них обстоятельную хронологическую канву, помогающую читателю усвоить прочитанное. Сжатые подстрочные примечания содержат в себе целый ряд полезных указаний, уточняющих смысл приводимых свидетельств современников. Помещая в некоторых случаях материалы, вызывающие сомнения, П. Е. Щеголев делает необходимые оговорки. Некоторые рукописные документы опубликовываются им впервые. Наконец, книги снабжены интересными репродукциями, среди которых выделяется кавказский автопортрет Лермонтова (1837) и портрет воображаемого предка Лерма, также исполненный самим поэтом. Очень характерными для эпохи, для социальной среды, окружавшей Лермонтова, были его попытки скрасить свое неродовитое дворянство знатной родословной, хотя бы и весьма недостоверной.

Отмеченные выше особенности делают «Книгу о Лермонтове», составленную П. Е. Щеголевым при участии

В. А. Мануйлова, не только увлекательной книгой для чтения, но и пособием для предварительного изучения Лермонтова.

Следует попутно отметить еще одно обстоятельство: в то время как Вересаев начисто отказывался от печатания в своей книге каких бы то ни было отрывков из произведений Пушкина, Щеголев счел уместным включить те стихотворные и прозаические строки Лермонтова, которые имеют автобиографическое значение. Например, приводя свидетельства А. Меринского, М. Н. Лонгинова и др. об авантюрной поездке вместе с А. Столыпиным на дачу близ «Красного кабачка», П. Е. Щеголев помещает рядом лермонтовское стихотворение «Монго», посвященное этому приключению. Рядом с данными о пребывании Лермонтова на Кавказском побережье приводится отрывок из «Тамани» и т. д.

Подобный прием П. Е. Щеголева представляется нам совершенно целесообразным.

Первый выпуск «книги» заканчивается первой ссылкой Лермонтова на Кавказ после появления «предосудительных» стихов на смерть Пушкина. Перед нами проходит детство Лермонтова, омраченное враждой его бабки с его отцом, его первые увлечения, годы воспитания в «благородном пансионе» и недолговременной университетской жизни. Далее мы видим Лермонтова-гусара в Петербурге, среди «блестящего» света, Лермонтова, постепенно приобретающего литературную славу и затем — опального поэта на Кавказе.

Но как-то всегда получается, что в любой книге о любом поэте «в жизни» — о самом творчестве поэта мы находим сравнительно очень мало данных. О Лермонтове, ще голявшем в гвардейском гусарском ментике, волочащемся за светскими женщинами, мы все-таки узнаем гораздо больше, чем о том, как этот неприятный бреттер писал изумительные литературные произведения.

Но, разумеется, подобный дефект неизбежен при собирании всевозможных фактических материалов: в творческую лабораторию поэта (да еще такого замкнутого и судорожного как Лермонтов)

<sup>1)</sup> П. Е. Щеголев почему-то всюду вместо «Висковатов» пишет «Висковатый».

доводилось заглядывать лишь редко-му современнику.

Второй выпуск охватывает период от возвращения Лермонтова в Петербург до его гибели. Ряд интересных сведений, неизвестных многим читателям, приводится о дуэли Лермонтова с Барантом, об участии поэта в военных действиях против горцев на Кавказе, о романтической встрече его с французской поэтессой Оммер де-Гелль и, наконец, — о последних месяцах, проведенных в Пятигорске перед роковой дуэлью с Мартыновым.

*В. Гольцев.*

**Барон Алексей Будберг.** — «Дневник белогвардейца» (Колчаковская эпопея). Редакция П. Е. Щеголева. Л. Изд. «Прибой». 1929. Ц. 2 р. 75 к.

П. Е. Щеголев довольно метко в своем вступлении называет Будберга «Ассандрой белого лагеря». Действительно, читая страницы его дневника, легко понять то возмущение, которое вызывали в «омском болоте» все его мрачные предсказания, неразрывно связанные с его безжалостной критической оценкой всего, что ему пришлось наблюдать в роли военного министра Колчака. Из каждых десяти скороспелых сановников, так или иначе причастных к омским правителям или вонтелям, девять квалифицируются Будбергом как взяточники, воры, изменники, убийцы и — в лучшем случае — как жалкие пустомели и Хлестаковы последнего разряда. Неудивительно, что не только его коллеги, но и сам Колчак сделали все, что могли (это очень ясно видно из самого дневника) для того, чтобы он покинул Омск.

С этой точки зрения дневник Будберга представляет собой один из самых грозных обвинительных актов, направленных против белогвардейского движения, и может служить велико-

лепным противовесом пресловутым идеализаторским потугам Шульгина в его «Белой Мысли».

И все же неправ П. Е. Щеголев, заявляя, что самым интересным личным качеством Будберга является его пессимизм. Это неверно. В пессимизме Будберга обвиняли именно его омские коллеги, которые полагали, что омский цветник превращается в глазах Будберга в навозную кучу только оттого, что он смотрит на него сквозь темные очки. На это Будберг отвечает на последней странице своего дневника: «На звание присяжного пессимиста я не согласен» и добавляет: что он с юных лет приучил себя трезво анализировать жизненные явления. Виноват ли Будберг в том, что та мерзость запустения, то нравственное одичание и откровенная жажда наживы, картины которых ему пришлось увидеть в царстве Колчака, способны были превратить в неисправимого пессимиста любого Манилова белого движения?

Напротив, если в чем можно упрекнуть автора, так это в том, что он почти до самого конца колчаковской эпопеи все же оставался человеком, не разочаровавшимся в том белом знамени, которое он видел в Омске в таких грязных руках. И оттого ему пришлось за свои иллюзии расплатиться дорогой ценой. Не даром он заканчивает свой дневник в элегических тонах:

«Я выпил смертельный яд безысходного отчаяния в безысходные ночи подведения омских итогов. С таким багажем кончаю омский период своей жизни и качусь к временному харбинскому гнезду, в печальное бытие печального доживания без прошлого и будущего».

Эти слова могли бы послужить великолепной эпитафией для всего белого движения.

*Г. Сандомирский.*

# Содержание журнала „НОВЫЙ МИР“ за 1929 год<sup>1)</sup>

## Романы, повести, рассказы:

- Веселый, Артем.** Россия, кровью умытая. Главы из романа, X—5.  
**Веселый, Артем.** Домыслы. XII—69.  
**Долгих, А.** Неукротимость, рассказ. VI—81.  
**Еремин, Дм.** Соседи, рассказ. III—29.  
**Лавренев, Борис.** Белая гибель, повесть. I—110.  
**Лидин, Вл.** Искатели, роман. I—82. II—76, III—66, IV—92.  
**Мальшкин, Александр.** Севастополь, повесть. I—5, II—5, III—5.  
**Марков, Сергей.** Встречи, рассказ. VII—104.  
**Марков, Сергей.** Летающий куршак, рассказ. XII—71.  
**Никандров, Н.** Лесосека, рассказ. II—40.  
**Никандров, Н.** Руда, рассказ. V—100.  
**Никифоров, Георгий.** О Майдане, сдобном пироге и женщине, рассказ. IV—21.  
**Никифоров, Георгий.** Игра, рассказ. X—38.  
**Нитобург, Лев.** Простодушие Туреуна Фузайлова, сентиментальная проза. XI—43, XII—8.  
**Огнев, Н.** Фабзаяц и смерть, рассказ. VI—5.  
**Павленко, П.** Всеобщий классик, рассказ. VIII-IX—47.  
**Пастернак, Бор.** Повесть. VII—5.  
**Пильняк, Бор.** Двадцать восемь тысяч печатных знаков, рассказ. III—105.  
**Платонов, Алексей.** Макар карающая рука, рассказ. V—27.  
**Пришвин, Михаил.** Журавлиная родина. Повесть. IV—5, V—5, VI—28, VII—45. VII-IX—5.  
**Пришвин, Михаил.** Гибель биолога Давыдова и народного учителя Автономова 5 сентября 1929 г. на реке Сулоти, рассказ (с иллюстрац.). XII—47.  
**Романов, Пант.** Яблоневый цвет, рассказ. VI—94.  
**Сейфуллина, Л.** Выхваль, рассказ. I—47.  
**Сейфуллина, Л.** Расплата, рассказ. X—49.  
**Слетов, П.** Листья, рассказ. II—119.  
**Слетов, П.** Перевозчик, рассказ. XI—93.  
**Соколов-Микитов, И.** Дни, рассказ. III—118.

- Соколов-Микитов, И.** Дороги, рассказ. IV—85.  
**Соколов-Микитов, И.** Елень, повесть. VIII-IX—70.  
**Соколов-Микитов, И.** Тайфун, рассказ. XII—115.  
**Спасский, Сергей.** На расстоянии, рассказ. VIII-IX—145.  
**Спасский, Сергей.** Повесть о старшем брате. XI—5.  
**Толстой, Алексей.** Петр Первый, повесть. VII—67, VIII-IX—112, X—15, XI—73, XII—98.  
**Форш, О.** Последняя Роза, рассказ. II—149.  
**Ширяев, Петр.** Двое, рассказ. I—162.  
**Шторм, Георгий.** Повесть смутного времени о Ивашке Болотникове. IV—43. V—63. VI—44.

## С т и х и:

- Адалис.** Робаят. III—115.  
« Бедственное положение. IV—90.  
**Адалис.** Встреча. IV—90.  
« Из восточных мотивов. VIII-IX—46.  
**Адалис.** Посвящение лошади Наргыз. X—14.  
**Александровский, В.** Карусель. II—75.  
**Асеев, Ник.** Необычайное. V—22.  
« Мальчик большеголовый. VII—44.  
**Багрицкий, Э. Я.** XII—5.  
« Он в моем представлении. XII—6.  
**Багрицкий, Э.** Так будет. XII—7.  
**Берендгоф, Ник.** Гроза. VI—43.  
**Бершадский, Руд.** Струя. V—128.  
**Герасимов, Мих.** Грузия. X—37.  
« Печальный лес да ельник. XII—96.  
**Голодный, Мих.** Марш под марш. II—37.  
**Голодный, Мих.** Пляска. II—38.  
« Письмо. VI—103.  
**Гусев, Виктор.** Выдающийся город. V—99.  
**Дементьев, Н.** Из цикла «Лирическая экскурсия». III—64.  
**Дементьев, Н.** Сверстник, фрагмент из поэмы. VIII-IX—142.  
**Забелин, Евг.** В тайге. IV—82.  
« Казакстан. VII—55.  
**Зарудин, Н.** Тени от бурана. VIII-IX—157.  
**Зарудин, Н.** Вдали на равнинах. VIII-IX—167.  
**Зарудин, Н.** В комнатах лесных (два стихотворения) XII—122.

<sup>1)</sup> Содержание составлено в алфавитном порядке. Римские цифры обозначают номер книги, арабские — страницу.

**Зенкевич, М.** Перелет Москва—Армавир. II—115.

**Исаковский, Михаил.** В заштатном городе. X—82.

**Кириллов, В.** Критику. III—117.

« У Невы. VI—104.

**Клычков, Сергей.** Слово друг, сверчок за печью. II—148.

**Колычев, Осип.** Ночь на катке. II—146.

**Колычев, Осип.** Лето. VII—121.

**Луговской, Вл.** Кухня времени. VI—41.

**Мандельштам, О.** А небо будущим беременно... IV—41.

**Марков, С.** Путешествие в Пишпек. IV—83.

**Оболдуев, Г.** Скачет босой жеребец. V—62.

**Олендар, Семен.** Из поэмы «Часовщик». XI—107.

**Пастернак, Бор.** Из «Баллады». I—107.

**Пастернак, Бор.** Из неоконченной поэмы. I—108.

**Приблудный, Ив.** Случай в Монреале. III—125.

**Приблудный, Ив.** Моей учительнице. XI—106.

**Рильке, Рейнер Мария.** По одной подруге Ревкием. Перевод Бор. Пастернака. VIII-IX—63.

**Рождественский, Всеволод.** Вассо охотник. XI—71.

**Рождественский, Всеволод.** Слова. XII—97.

**Рудерман, Мих.** Рынок. V—127.

**Садофьев, Илья.** Встреча. I—168.

« Песня. IV—132.

**Саянов, Виссарион.** Полос. II—39.

**Светлов, М.** Поезд. I—80.

« Ветер. I—80.

« Ветер и поезд. I—81.

**Сельвинский, И.** Крымская коллекция. Севастополь. Форос. Симеиз.

Алушка. Ялта. X—83.

**Семеновский, Дм.** Нет, не пойду я в свою конуру. VII—122.

**Соловьев, Борис.** Революция. V—60.

**Тарловский, Марк.** За окном. XI—72.

**Фиш, Геннадий.** В Уфе. I—167.

**Шведов, Я.** Шторм. VI—80.

**Эркин, Евсей.** Двор. VIII-IX—144.

Письма, воспоминания, материалы:

**Бонч-Бруевич, В. Д.** Из воспоминаний о В. И. Ленине. I—203.

**Воронский, А.** За живой и мертвой водой. I—169.

**Неизданные письма М. Е. Салтыкова-Щедрина к Н. А. Некрасову** (с предисл. и примеч. В. Евгеньева-Максимова). V—187.

**Полонский, Вяч.** Новые материалы для биографии Герцена и Огарева. XII—208.

**Санто, Бела.** Из воспоминаний о советской власти в Венгрии. IV—139.

**Черняк, Як.** Конец Огаревского дела (по неопубликованным материалам). X—153.

Статьи и очерки:

**Аварин, Влад.** Харбин революционный, очерк. XI—165.

**Аграновский, А.** Хутора безыменные, очерк. V—141.

**Адалис.** По Туркмении, очерк IV—220.

**Айхенвальд, Б. Ю.** Образы Алтая, очерк. XII—154.

**Алпатов, Лев.** Нефть, очерк (с иллюстрац.). VI—137.

**Анибал, Борис.** На отдыхе, очерк. VI—148.

**Байков, Н. А.** Поиски жень-шеня, очерк. XI—143.

**Бакушинский, А. А. И. Кравченко** (с иллюстрациями). XI—226.

**Бек, А. и Тоом, Л.** О психологизме и «столбовой дороге». VII—207.

**Березин, Л.** О стихах М. Зенкевича. V—242.

**Бешкин, Г. И. И. Степанов-Скворцов,** как историк и публицист. VIII-IX—180.

**Большаков, М.** Забайкальские переселенцы, очерк. X—97.

**Борисов, С.** Прибалтика. VIII-IX—242.

**Борисов, С.** По Донецкому бассейну, очерк. XII—124.

**Брауде, Вл.** Япония на перепутье. XI—172.

**Васильев, В.** Монгольские очерки. X—144.

**Виноградов, А.** Социальная тематика «Отверженных» Гюго. XI—206.

**Вихрев, Ефим.** Палех, очерк (с иллюстр.). III—203.

**Вихрев, Ефим.** Ножницы, очерк (с иллюстрац.). VIII-IX—224.

**Гальперин, С.** По всему свету. Очерки международной политики. I—269. II—267, III—253, IV—230, V—466, VII—162, VIII-IX—255, X—124. XI—153, XII—179.

**Гамильтон, Л.** Письма из Японии, очерк. III—247.

**Глаголев, Арк.** «Атаманщина» Мих. Алексеева. III—181.

**Глаголев, Арк.** Поэт-стеклящик (Е. Е. Нечаев). VI—212.

**Глаголев, Арк.** Социальный смысл творчества Сухова-Кобылина. XII—242.

**Горбов, Д.** Исторический пробег гр-на Адуева. VII—225.

**Гроссман, Л.** Исторический фон «Выстрела». V—217.

**Гуревич, Г. Я.** Об отравлениях организма. VI—105.

**Данилин, Ю.** Смеющийся Бальзак. XII—255.

**Дерман, А.** Одна из чеховских магистралей. VII—173.

**Динамов, С.** Идеология научной и технической интеллигенции. II—193.

- Замошкин, Н.** О третьем альманахе «ЗИФ». I—255.
- Замошкин, Н.** «Личное и безличное». VI—201.
- Замошкин, Н.** Писатель-универсал-лист (Мариэтта Шагинян). XII—217.
- Заславский, Д.** Второй Интернационал в 1914 г. VIII-IX—169.
- Зенкевич, М.** Обзор стихов. VI—216.
- Зингер, Макс.** Красавец Енисей, очерк (с иллюстрац.), XII—134.
- Ильинский, И.** Заметки о высшей школе. III—225.
- Казас, М.** Капгарские очерки. VII—137.
- Калинин, М. И.** К V Съезду Советов СССР. IV—133.
- Киш, Э. Э.** За кулисами статуи Свободы, очерки. IV—155, V—155, VI—169, VII—152, VIII-IX—235.
- Кокиева, Елизавета.** По горной Осетии, очерк. II—258.
- Крептюков, Дан.** Из книги «Степные восходы», очерк. V—129.
- Крептюков, Дан.** По степям и бугоркам, очерк. VIII-IX—195.
- Кушнер, Б.** Южное сияние, очерк. I—279.
- Кушнер, Б.** Коммунистический маяк, Кушнер, Б. Арзгир, очерк. IV—215.
- Кушнер, Б.** Новый сев. из книги «Южное сияние», очерк. XI—124.
- Лебедев, Н.** В гостях у хевсуров, очерк. VIII-IX—215.
- Левин, Б.** Деревенские очерки. Адыгум. II—253.
- Лежнев, А.** Критика «критиков». IV—189, V—232, VIII-IX—279.
- Лежнев, А.** Молодежь о молодежи. VI—191.
- Лежнев, А.** Разговор в сердцах. XI—188.
- Локс, Н.** Художественная манера Чехова. X—186.
- Локс, Н.** Рабле. XII—251.
- Луначарский, А.** О «многоголосности» Достоевского. X—195.
- Ляшко, Н.** С дорог без вешек, очерк. X—111.
- Майзель, Б.** Средиземноморская проблема. II—163.
- Малов, Федор.** О песне современной деревни. X—210.
- Марков, П.** Из литературы о театре. VI—231.
- Марков, П.** Очерки современного театра. О «Командарме» Сельвинского у Мейерхольда (с иллюстрац.). XI—245.
- Никитин, Мих.** Хангычар-река, очерк VI—120.
- Никольский, В. Д.** Мировая энергетика. XI—108.
- Никулин, Л.** Лето в Испании, очерк. XII—193.
- Нитобург, Л.** Новая губерния, очерк. III—232.
- Нотович, Ф.** Ремонтный узел. III—127.
- Обручев, Сергей.** Анатолий Франс в халате и без... IV—208.
- Обручев, Сергей.** С аэроплана на оленей (перелет Иркутск — Якутск), очерк. VII—147.
- Outsider.** Итоги «разоружения». VI—159.
- Outsider.** К вопросу об англо-американском соперничестве. XII—173.
- Пакентрейгер, С.** Заметки недоумен-ные. IV—204.
- Пакентрейгер, С.** Не затягивайтесь (из цикла «Халтуроведение»). V—245.
- Пакентрейгер, С.** Сестра моя мечта. VIII-IX—294.
- Песис, Б.** Франция и Толстой. I—249.
- Песис, Б.** Жан Жироду. III—185.
- Писанов, Н.** Грибоедов-мастер. III—141.
- Пограничник.** Горная страна Памир (с иллюстрац.), очерк. II—203.
- Пограничник.** Курильские острова, очерк. X—136.
- Полонский, Вяч.** Очерки современной литературы (о творчестве Всеволода Иванова). I—216.
- Полонский, Вяч.** Очерки современной литературы. Преодоление «Зависти». V—198.
- Полонский, Вяч.** Очерки современной литературы. О Фадееве. VII—190.
- Полонский, Вяч.** Листки из блокнота. II—225.
- Полонский, Вяч.** Дневник журналиста. III—157.
- Полонский, Вяч.** О читателе и теории «иммунитета». VIII-IX—266.
- Полонский, Вяч.** Проблемы литературы. Кого же, наконец, считать крестьянским писателем (заметки). X—174.
- Полонский, Вяч.** Репортаж должен быть честным (письмо в редакцию). X—225.
- Полонский, Вяч.** Заметки о критике. XI—178.
- Полонский, Вяч.** Новые материалы для биографии Герцена и Огарева. XII—208.
- Поступальский, И.** О первом томе В. Хлебникова. XII—237.
- Рогинская, Ф.** Бытовая художественная культура и современность. I—261.
- Рогинская, Ф.** Ткани будней (с иллюстрац.). VI—220.
- Рогинская, Ф.** Художественная жизнь Москвы (с иллюстрац.). VIII-IX—302.
- Рош, Р.** Из новой литературы о Гофмане. XI—221.
- Ряховский, Вас.** Колдун, очерк. VII—123.
- Ряховский, Вас.** Земля бродит, очерк. XI—132.
- Сандомирский, Г.** Экзотический фашизм. VI—181.
- Серебрякова, Галина.** Клара Лакомб, союзница «бешеных». IV—173.
- Сиворцов, Б.** Спутница Л. Н. Толстого. II—242.

**Смирнов, Ник.** Александр Малышкин. I—236.

**Смирнов, Ник.** Неотразимый образ. Заметки о Ларисе Рейснер. II—174.

**Смирнов, Ник.** Художественное творчество рабкоров (по поводу одного альманаха). IV—199.

**Смирнов-Кутаческий, А.** На Вареговом болоте, очерк. XI—148.

**Соловьев, В.** Как надо писать о деревне. X—223.

**Старчаков, А.** Поход на Москву (о книге А. И. Деникина). III—198.

**Тимофеев, Л.** Современная украинская литература. III—171.

**Троцкий, Ис.** Первый провокатор профессионал (Шервуд). II—182.

**Фрид, Я.** Миссионер призывает к оружию. II—249.

**Фурман, Г.** Путь развития борьбы с алкоголизмом. X—87.

**Хайрхан.** В гостях у курдов, очерк. X—117.

**Шестаков, А.** На историческом фронте. II—236.

**Шестаков, А.** «Крестonosцы» ЦЧО. XII—148.

**Шкляр, Н.** Телеграмма, очерк. V—151.

**Эйхискина, Н.** Из американской литературы. VIII-IX—299.

#### Книжное обозрение:

**Алешин, Александр.** Квартира номер последний. Рассказы. «Моск. Т-во Писателей». 1929. Стр. 156. VIII-IX—316. Ник. Смирнов.

**Анненков, П. В.** Литературные воспоминания. Пред. И. Пиксанова. Вступит. статья и прим. Б. М. Эйхенбаума. Изд. «Academia». Л. 1928. Стр. 661. I—296. И. Сергиевский.

**Барбюс, Анри.** Правдивые повести. Пер. с франц. Гиз. 1929. Стр. 195. V—253. Я. Фрид.

**Бах, А. Н.** Записки народовольца. «Мол. Гвардия». 1929. Стр. 255. VIII-IX—319. Б. Козьмин.

**Белоруков, А.** В непогоду. Повесть-хроника. «ЗИФ». 1928. Стр. 265. III—269. В. Анибал.

**Бибик, А. П.** Старый токарь (соб. соч., том III). Рассказы. «Недра». 1929. Стр. 182. IV—244. Б. Гроссман.

**Боборыкин, П. Д.** За полвека. (Мои воспоминания). Ред., предисл. и прим. Б. П. Козьмина. «ЗИФ». 1929. Стр. 383. X—237. Н. Прянишников.

**Богданов, Николай.** Первая девушка. Романтическая повесть. «Мол. Гвардия». 1928. Стр. 254. III—265. Борис Гроссман.

**Брюсов, Валерий.** Мой Пушкин. Статья, исследования. Ред. Н. Пиксанова. Гиз. 1929. Стр. 319. V—254. И. Сергиевский.

**Будберг, барон Алексей.** Дневник белогвардейца. (Колчакская эпопея.) Редакция П. Е. Щеголева. «Прибой». 1929. XII—264. Г. Сандомирский.

**Вайан-Кутюрье, Поль.** Бал слепых. Новеллы. Пер. с франц. Гиз. 1929. Стр. 170. X—235. Б. Песис.

**Венус, Георгий.** Последняя ночь Петера Герике. Рассказы. «Прибой». 1928. Стр. 230. VIII-IX—318. К. Локс.

**Веселый, Артем.** Пирующая весна. Со вступительной статьей В. Полонского. «Пролетарий». Стр. 543. XII—256. С. Пакентрейгер.

**Волков, Мих.** «Т. Т.». Повести. «Моск. Т-во Писателей». Стр. 222. VIII-IX—317. Арк. Глаголев.

**Вяземский, П. Л.** Старая записная книжка. Ред. Л. Гинзбург. «Изд-во Писателей в Ленинграде». 1929. Стр. 347. X—236. И. Сергиевский.

**Гаузнер, Г.** Невиданная Япония. «Федерация». 1929. Стр. 123. II—285. А. Бонч-Осмоловский.

**Гольдберг, Ис.** Сладкая пыль. Повести и рассказы. Гиз. 1928. Стр. 340. II—281. Арк. Глаголев.

**Грaбарь, Леонид.** Журавли и картечь. Повести. Гиз. 1928. Стр. 271. V—250. Арк. Глаголев.

**Грaбарь, Леонид.** Семейная хроника. Книга 1-я. «Прибой». 1929. Стр. 259. VII—235. Мих. Рудерман.

**Григорович, Д. В.** Литературные воспоминания. С приложением воспоминаний П. М. Ковалевского. Вводная статья, ред. и прим. В. Л. Комаровича. «Academia». 1928. Стр. 515. VIII-IX—320. И. Сергиевский.

**Гриц, Т., Тренин, В., Никитин, М.** Словесность и коммерция. Под ред. В. Шкловского и Б. М. Эйхенбаума. «Федерация». Стр. 373. IV—248. Н. Прянишников.

**Гроссман, Леонид.** Достоевский на жизненном пути. Вып. I. Молодость Достоевского. «Никитинские субботники». 1928. Стр. 225. VII—239. И. Сергиевский.

**Гуца, Тарас (Якуб Колас).** В глуши Полесья. Перевод с белорусского. Гиз. 1929. Стр. 211. IV—254. Борис Гроссман.

**Дайреджиев, Б. Л.** Через отдели. «ЗИФ». 1928. Стр. 317. X—233. Л. Тимофеев.

**Дементьев, Петр.** Душа на колодке. Повесть. «ЗИФ». Стр. 216. II—283. Борис Гроссман.

**Джавахишвили, Михаил.** Хизаны Джако. Роман. Пер. с грузинского. Гиз. 1929. Стр. 173. VI—236. Р. Рош.

**«Дикало Замана».** (Записки Никиты Лукьянова. Найдены и опубликованы Дзахо Гатуевым). «ЗИФ». Стр. 156. IV—243. Д. Фибих.

**Донской, Г.** Борьба за Латинскую Америку. «Моск. Рабочий». М. Стр. 151. I—293. А. Бонч-Осмоловский.

**Драбкина, Ел.** Грузинская контрреволюция. «Прибой». Л. 1928. Стр. 178. I—296. Юр. Бородин.



- Дроздов, Александр.** На мосту. Роман. «ЗИФ». 1929. Стр. 240. VII—236. Арк. Глаголев.
- Дроздов, Александр.** Укравший могилу. «Моск. Т-во Писателей». 1929. Стр. 179. VIII-IX—315. Н. Замошкин.
- Евдокимов, Иван.** Заозерье. Роман. Книга 1-я. Стр. 542. Книга 2-я. Стр. 286. «ЗИФ». 1929. VII—234. Ник. Богословский.
- Езерский, Милий.** Чудь белоглазая. «Федерация». Стр. 317. X—235. А. Старчаков.
- Еллинский, Б. Е.** Сахалин — черная жемчужина Дальнего Востока. Гиз. 1928. Стр. 157. VIII-IX—318. Лев Катанский.
- Жданов, В. А.** Любовь в жизни Льва Толстого. Книга 1-я и 2-я. Изд. Сабашниковых. 1928. II—287. Д. Благой.
- Жеребцов, Петр.** Человек разных профессий. «Федерация». Стр. 202. VI—235. Н. Богословский.
- Житков, Борис.** Виктор Вавич. Книга 1-я. «Прибой». 1929. Стр. 352. V—250. К. Локс.
- Иллеш, Бела.** Тисса горит. Роман. Книга 1-я. Перевод С. Бернера. С предисл. Бела Куна. «Моск. Рабочий». 1929. Стр. 335. IV—246. Б. Песис.
- Ильин, Я.** Жители фабричного двора. «Молодая Гвардия». 1928. Стр. 168. I—302. А. Бек.
- Ирандуст.** Движущие силы кемалистской революции. Гиз. 1928. Стр. 150. I—294. Б. Пурецкий.
- Каверин, В.** Скандалист или вечера на Васильевском острове. «Прибой». 1929. Стр. 297. III—266. С. Пакентрейгер.
- Кац, Григорий.** Распахнувшийся мир. Стихи. Изд. Северо-Кавказ. отдела ВАПП. Ростов-на-Дону. 1928. VI—237. И. Поступальский.
- Кибальчич, Степан.** Поросль. Повесть. «ЗИФ». Стр. 208. I—300. Ник. Богословский.
- Клебер, Курт.** Пассажиры III класса. Роман. Пер. с нем. «Моск. Рабочий». 1928. Стр. 255. II—286. Я. Фрид.
- Кожевников, А.** Веники. Повесть. «Молодая Гвардия». 1928. Стр. 252. III—268. Н. Замошкин.
- Козаков, Мих.** Человек, падающий ниц. Рассказы. V—249. А. Лежнев.
- Колесинский, В.** Угроза новых войн. С пред. Т. Белла. Гиз. 1929. Стр. 162. I—292. А. Бонч-Осмоловский.
- Колоколов, Николай.** Мед и кровь. «Федерация». 1928. Стр. 233. IV—242. Б. Анибал.
- Кольцов, Михаил.** Соб. соч. Том II и том III. Стр. 346 + 441. «ЗИФ». 1928. V—248. Ник. Смирнов.
- Коцюбинский, Михаил.** Сочинения. Том I. Пер. с укр. Гиз. 1929. Стр. 454. IV—254. Л. Тимсфеев.
- Кочин., Девки.** Роман. «Федерация». 1929. Стр. 212. XI—253. С. Пакентрейгер.
- Красноперов, И. М.** Записки разночинца. «Молодая Гвардия». 1929. Стр. 149. VII—240. М. Клевенский.
- Лайцен, Линард.** Взывающие корпуса. Пер. с латышского. «Прибой». 1929. Стр. 232. VII—238. Я. Фрид.
- Лапин, Борис.** Повесть о стране Памир. «Федерация». 1929. Стр. 187. VII—237. Виктор Гольцев.
- Левонтин, Эзра.** Фелука. Стихи. «Никитинские субботники». 1928. Стр. 64. V—251. И. Поступальский.
- «Леонид Борисович Красин».** Годы подполья. Сборник воспоминаний. Под ред. М. Н. Лядова и С. М. Познер. Гиз. 1928. Стр. 398. II—278. Б. Родин.
- Логинов-Лесняк, Пав.** Голубой дым. Роман. «Федерация». 1929. Стр. 292. XII—260. Арк. Глаголев.
- Лугин, Александр.** Джада. Роман ни о чем. «Федерация». М. 1928. Стр. 255. I—301. Н. Замошкин.
- Луницкий, П.** Волчек. Стихи. Изд. автора. 1928. Стр. 46. V—251. И. Поступальский.
- Лу Синь.** Правдивая история А-Кея. Перевод с китайского под ред. Б. А. Васильева. «Прибой». 1929. Стр. 189. XI—255. Я. Фрид.
- Мадариага-де, Сальватор.** Священный жираф. Роман. Пер. с англ. Гиз. 1928. Стр. 267. I—303. Я. Фрид.
- Макаров, А.** Путь секундной стрелки. «Федерация». Стр. 178. IV—241. А. Лежнев.
- Мак-Кей Клод.** Домой в Гарлем. Пер. с англ. «ЗИФ». 1929. Стр. 240. VI—237. Я. Фрид.
- Мархлевский, Ю.** Литературные наброски. Письма из Японии. Гиз. 1929. Стр. 111. X—238. А. Старчаков.
- Миндлин, Эм.** На «Красине». «ЗИФ». 1929. Стр. 278. IV—247. Ник. Смирнов.
- Митрейнин, К.** Бронза. Стихи. Ульяновск. 1928. Стр. 32. IV—245. И. Поступальский.
- Москвин, Николай.** Жена. Повести и рассказы. «Федерация». 1929. Стр. 153. XI—254. Борис Гроссман.
- Мугуев, Хаджи Мурат.** Смерть Николая Бунчука. «ЗИФ». 1928. Стр. 164. II—282. Бор. Анибал.
- Низовой, П.** Собр. сочинений. Том I. Черноземье. Стр. 239. Том II. Язычники. Стр. 228. Том III. Повесть о любви. Стр. 232. Том IV. Золотое озеро. Стр. 231. Изд. «ЗИФ». I—299. Ник. Смирнов.
- Никулин, Лев.** Высшая мера. Повести и рассказы. «Федерация». 1929. Стр. 171. X—231. А. Шафир.
- Новиков, Иван.** В гостях у себя. «Федерация». 1929. Стр. 255. III—267. Н. Замошкин.

- Новиков-Прибой, А.** Соленая купель. Роман. «ЗИФ». 1929. Стр. 232. VIII-IX—315. Н. С. м.
- Огнев, Н.** Собр. соч. Том. I. Рассказы. С пред. А. Воронского. «Федерация». М. Стр. 334. II—281. С. Пакентрейгер.
- Островский, А.** Молодой Толстой в записях современников. Ред. и вступ. статья Б. М. Эйхенбаума. «Изд. Писателей в Ленинграде». 1928. Стр. 498. I—297. И. Сергиевский.
- Павленко, П.** Азиатские рассказы. «Федерация». М. 1929. Стр. 221. XII—261. Р. Рош.
- Панов, Н. (Д. Туманный).** Тайна старого дома. Роман приключений. «ЗИФ». 1928. Стр. 112. I—298. Ник. Богословский.
- Панч, Петр.** Голубые ашелоны. Рассказы. Пер. с укр. «Федерация». Стр. 409. IV—244. С. Пакентрейгер.
- Пестюхин, А.** Тундра. Стихи. «Федерация». М. 1929. Стр. 154. VII—238. И. Поступальский.
- Петников, Г.** Ночные молнии. 4-ая книга стихов. Изд. «Academia». 1928. Стр. 48. II—284. И. Поступальский.
- Петровский, Дмитрий.** «Федерация». М. 1929. Стр. 154. XII—261. К. Локс.
- Петровский, Д.** Червоное казачество. Стихи. «ЗИФ». 1928. Стр. 64. III—270. И. Поступальский.
- Писанов, Н.** Творческая история. «Горе от ума». Гиз. 1928. Стр. 363. VI—238. Н. Замошкин.
- Пиранделло, Луиджи.** Грешница. Роман. Пер. с итальянского. «Прибой». 1928. Стр. 248. II—286. К. Локс.
- Раковский, Леонтий.** Сивопляс. «Прибой». 1928. Стр. 167. II—284. А. Шафир.
- Ремарк, Эрих Мариа.** На Западном фронте без перемен. Пер. с нем. «ЗИФ». 1929. Стр. 224. Тоже в изд. «Федерация» («На Западе без перемен»). 1929. Стр. 298. X—228. Я. Фрид.
- Рыклин, Г.** С подлинным верно. Гиз. 1929. Стр. 267. VI—234. С. Борисов.
- Светлов, М.** Хлеб. Поэма. «Моск. Рабочий». 1928. Стр. 32. V—251. И. Поступальский.
- Ситковский, Арк.** Бронзовая молодость. Изд. Ассоц. пролет. писат. Грузии. Тифлис. 1928. Стр. 32. V—251. И. Поступальский.
- «Сказки из разных мест Сибири».** Труды кабинета при педагогич. факультете Иркутского университета. Том 1-й. Иркутск. 1928. Стр. 170. IV—250. Р. Шор.
- Слонимский, М.** Западники. Соч. Том 2-й. «ЗИФ». Стр. 143. III—266. М. Полякова.
- «Советская страна».** Лит.-худож. и публицист. альманах народов СССР. №№ 1 и 2. Гиз. 1928. II—279. В. Гурко-Кряжин.
- «Советский Союз в борьбе за мир».** Собрание документов и вступит. статья. Гиз. 1929. Стр. 344. XI—252. С. Гальперин.
- Соколов-Микитов, Ив.** Повести и рассказы (собр. соч. Том. 2-й). «Федерация». 1929. Стр. 322. VII—233. Н. Замошкин.
- Тачалов, Ив.** Мрачная повесть. С пред. М. Горького. «Федерация». 1929. Стр. 171. IV—242. Арк. Глаголев.
- Травэн, Б.** Корабль смерти. Роман. Пер. с нем. «Моск. Рабочий». 1929. Стр. 326. III—271. Я. Фрид.
- Триоле, Эльза.** Защитный цвет. Роман. «Федерация». Стр. 169. I—302. А. Шафир.
- Тугендхольд, Я.** Художественная культура Запада: Собрание статей. Гиз. 1928. Стр. 190. IV—252. Б. Терновец.
- Ундсет Сигрид.** Обоздоленные. Пер. с норвежского. Гиз. 1928. Стр. 241. I—304. К. Локс.
- Фейгенберг, Рахиль.** Летопись мертвого города. Пер. с еврейского. «Прибой». 1928. Стр. 183. V—254. А. Гурштейн.
- Фролов, А.** Путанная жизнь. Повесть. «ЗИФ». 1929. Стр. 224. X—231. Арк. Глаголев.
- Хаит, Давид.** Перепутье. Роман. «Федерация». 1929. Стр. 283. VI—235. Борис Гроссман.
- Чаттарджи, Банкимчандра.** Саиб пришел. Роман. Пер. с бенгальского. «Библиока всемирной литературы». 1928. Стр. 253. III—271. Р. Шор.
- Шагинян, Мариэтта.** Кик. Роман-комплекс. «Прибой». 1929. Стр. 215. XI—253. Н. Замошкин.
- Шкляр, Николай.** Свет. Повести и рассказы. «Федерация». 1929. Стр. 192. X—230. Н. Замошкин.
- Шпанов, Ник.** Во льды за «Италийей». «Мол. Гвардия». Стр. 222. IV—247. Ник. Смирнов.
- Щеголев, П. Е.** Книга о Лермонтове. Выпуск первый. «Прибой». 1929. Стр. 337. Выпуск второй. Стр. 247. XII— В. Гольцева.
- Эрлих, Вольф.** Софья Перовская. Стихи. «Изд-во Писателей в Ленинграде». 1929. X—232. И. Поступальский.
- Юрезанский, Вл.** Костры. Госиздат Украины. 1929. Стр. 333. VI—234. А. Шафир.

#### Письма в редакцию:

Письмо кабинета по изучению читателя художественной литературы. X—239.

#### Книги поступившие на отзыв:

IV—256, V—255, VI—240, VIII-IX—321, X—240, XII—271.

# КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ НА ОТЗЫВ

## «ФЕДЕРАЦИЯ»

**СЛЕТОВ, П.**—Мастерство. Повести. Стр. 203. Ц. 1 р. 50 к.  
**СОКОЛОВ-МИКИТОВ, Ив.**—Елень (собр. сочинений, том третий). Стр. 371. Ц. 2 р. 65 к.  
**ГРИН, А. С.**—Огонь и вода. Стр. 213. Ц. 1 р. 60 к.  
**ТЕЛЕШОВ, Н.**—Перселенцы. Рассказы. Стр. 293. Ц. 2 р. 70 к.  
**ВОРОНСКИЙ, А.**—За живой и мертвой водой. Воспоминания. Книга вторая, часть первая. Стр. 268. Ц. 1 р. 70 к. (в перпл.)  
**ВОРОНСКИЙ, А.**—За живой и мертвой водой. Воспоминания. Книга I. Изд. 3-е. Стр. 216. Ц. 1 р. 55 к. Пер. 20 к.  
**ТРУСОВ, Ив.**—Собственник. Рассказы. Стр. 179. Ц. 1 р. 10 к.  
**АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, В.**—Костер. Стихи. 1918—28 гг. Стр. 157. Ц. 1 р. 75 к.  
**ПАСЫНОК, Макар.**—Сердце и порох. Стихи. Стр. 93. Ц. 1 р.  
**ГУСЕВ, Вигтор.**—Поход вещей. Стихи. Стр. 99. Ц. 1 р. 25 к.  
**ЯКУБОВСКИЙ, Г.**—Писатели «Кузницы». Статьи. Стр. 226. Ц. 2 р. 50 к.  
**ВЕНУС, Г.**—Огни Башкирии. Рассказы. Стр. 168. Ц. 1 р. 10 к.  
**ГРИН, А. С.**—Дорога никуда. Роман. Стр. 390. Ц. 2 р. 80 к. Пер. 20 к.  
**СЕРГЕЕВ-ПЕНСКИЙ, С.**—Поэт и поэтесса. Стр. 245. Ц. 2 р. 10 к. Пер. 20 к.  
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО**  
**САНДОМИРСКИЙ, Г.**—Теория и практика европейского фашизма. Стр. 239. Ц. 2 р. 50 к.  
**ДОЛИН, Владимир.**—Листья. Лирика. Стр. 100. Ц. 1 р. 10 к.  
**ДЕМЕНТЬЕВ, Н.**—Шоссе энтузиастов. Стихи. Стр. 95. Ц. 90 к.  
**СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В БОРЬБЕ ЗА МИР.**—Собрание документов. Стр. 344. Ц. 2 р.  
**БУРЖУАЗНЫЕ УЧЕНЫЕ О ЗАКАТЕ КАПИТАЛИЗМА.**—Пер. с нем. Предисловие Г. Я. Сокольникова. Стр. 174. Ц. 1 р.  
**ШТОРМ, Георгий.**—Повесть о Болотникове. Стр. 181. Ц. 1 р. 10 к.

**ШТОРМ, Георгий.**—Ход слона. С гравюрами Кравченко. Стр. 79. Ц. 50 к.  
**ПРОТИВ НОВЕЙШЕЙ КРИТИКИ МАРКСИЗМА.**—Сборник критических очерков. Под редакцией И. Луппол. Стр. 275. Ц. 2 р. 50 к.  
**ЛАРИН, Ю.**—Еврей и антисемитизм в СССР. Стр. 311. Ц. 1 р. 75 к.  
**МАНДЕЛЬШТАМ, Р. С.**—Марксистское искусствоведение. Библиографический указатель литературы на русском языке. Редакция Н. К. Писанова. Стр. 126. Ц. 1 р. 25 к.  
**СЕЛВИНСКИЙ, И.**—Пушторг. Роман. Стр. 192. Ц. 3 р. 60 к. (в пер.)  
**ТОЛСТОЙ, Ал.**—На дыбе. Ист. пьесы. (Собрание сочинений, т. XIV). Стр. 438. Ц. 4 р. 30 к. (в пер.)

## «ПРИБОЙ»

**ФИЛИППОВ, А.**—Юность. Повесть. Стр. 215. Ц. 1 р. 40 к.  
**КОФМАН, Б.**—Производительный труд и метод Маркса. Стр. 151. Ц. 1 р. 50 к.  
**БАДАЕВ, А. Е.**—Большевики в Государственной Думе. Воспоминания. Стр. 390. Ц. 3 р. 50 к.

## «НЕДРА»

**ТОПУНОВ, Ал.**—На пороге дней. Роман. в 2-х частях. Стр. 218. Ц. 1 р. 80 к.  
**НИКАНДРОВ, Н.**—Белый колдун. Рассказы. Стр. 254. Ц. 2 р. 25 к.  
**«НЕДРА».**—Литерат.-худож. сборник. Книга 17-я. Стр. 292. Ц. 2 р. 50 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**МАК-ЛАРЕН.**—В австралийских джунглях. Стр. 153. Ц. 1 р.  
**БАСОВ-ВЕРХОЯНЦЕВ, С.**—Каликов город. Сказки и поэмы. Стр. 86. Ц. 1 р. 20 к.  
**ЛУНАЧАРСКИЙ, А. В.**—«Искусство и молодежь», сборник. Стр. 133. Ц. 95 к.  
**ТЭЙЛОР, МЕРЛИН МУР.**—В стране палуасов. Стр. 237. Ц. 1 р. 45 к.  
**МАК-ГОВЕРН, В.**—Переодетым в Лхассу (тайная экспе-

диция англичанина в Тибет). Стр. 295. Ц. 1 р. 80 к.  
**«ЗЕМЛЯ И ФАБРИКА»**  
**ДЕМИДОВ, Алексей.**—Село Егастеринское. Роман. Стр. 418. Ц. 2 р. 65 к.  
**АЛЬМАНАХ «Земля и Фабрика».**—Книга 6-я. Стр. 339. Ц. 2 р. 50 к.

## РАЗНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**«ВЕТЕР УКРАИНЫ».**—Альманах Ассоциации Революционных русских писателей. «АРП». Книга 1-я. Стр. 160. Ц. 1 р. 80 к.  
**РОЗЕНТАЛЬ, Л. В.**—Краткий путеводитель по Третьяковской Галерее. С иллюстр. Изд. Госуд. Третьяковской Галереи. Стр. 139. Ц. 30 к.  
**ЗАЛКА, Матэ.**—На голубом Дунае. Изд. «СЕРП». Стр. 160. Ц. 90 к.  
**КВИТКО, Д. Ю.**—Философия Толстого. Изд. 2-е. Изд. Коммун. Академии. Стр. 227. Ц. 1 р. 75 к. Пер. 25 к.  
**ФАТОВ, Н. Н.**—О Демьяне Бедном. Обзор литературы в тему для самостоятельных работ. Изд. Казахского Гос. У-та. Москва — Алма-Ата. Стр. 118. Ц. 70 к.  
**ДЕРМАН А.**—Творческий портрет Чехова. Изд. «Мир». Стр. 349. Ц. 2 р. 50 к., пер. 40 к.  
**ПОПОВА, Людмила.**—Берега и улицы. Стихи. Изд. «Время». Л. Стр. 64. Ц. 1 р. 35 к.  
**ЖДАНОВ, Лев.**—Крушение богов. Исторический роман. Изд. «Безбожник». Стр. 243. Ц. 1 р. 55 к.  
**«СИБИРСКИЕ ОГНИ».**—Лит. худ. журнал. Книга 5-я. 1929 г. Новосибирск. Стр. 177. Ц. 1 р. 50 к.  
**ЦИОЛКОВСКИЙ, К.**—Космические ракетные поезда. Изд. Коллектива Секции научных работников. Калуга. Стр. 38.  
**«ХИМИЯ И ХОЗЯЙСТВО».**—Ежемесячн. журнал. Изд. Научного Химико-технич. Изд-ва НТУ ВСНХ. Л. Книги I, II, III. Стр. 161 + 240.  
**НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ СБОРНИК.**—Том II. Изд. Нижегород. общ. по изучению местного края. Стр. 293. Ц. 2 р.

Издатель «Известия ЦИК СССР и ВЦИК».

Редакция:  
 А. В. Луначарский.  
 А. Г. Малышкин.  
 В. П. Полонский.  
 В. И. Соловьев.

# ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1930 год

НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

# Н О В Ы Й М И Р

(6-й год издания)

под редакцией А. В. ЛУНЧИАРСКОГО, Я. Г. МАЛЫШКИНА, ВЯЧ.  
ПОЛОНСКОГО и В. И. СОЛОВЬЕВА.

В 1930 году в журнале „НОВЫЙ МИР“ будут напечатаны:

## I. Романы и повести:

- Л. ЛЕОНОВ.—Соть (роман).  
М. ШАГИНЯН.—Гидроцентрль (роман).  
А. МАЛЫШКИН.—Севастополь (повесть).  
Артем ВЕСЕЛЫЙ.—Главы из романа «Россия, кровью умытая».  
Алексей ТОЛСТОЙ.—Петр I (повесть).  
К. ФЕДИН.—Христофор с собачьей головой (повесть).

## II. Рассказы:

Н. АСЕЕВА, А. АРОСЕВА, И. БАБЕЛЯ, С. БУДАНЦЕВА, В. ВЕРЕ-  
САЕВА, Еф. ВИХРЕВА, Ф. ГЛАДКОВА, Б. ГУБЕРА, Л. ЗАВАДОВСКОГО,  
А. КАРАВАЕВОЙ, В. КАТАЕВА, Ив. КАТАЕВА, Л. КОПЫЛОВОЙ, С. КЛЫЧ-  
КОВА, Л. ЛЕОНОВА, Н. ЛЯШКО, Вл. ЛИДИНА, А. МАЛЫШКИНА,  
С. МАРКОВА, А. МАКАРОВА, П. НИЗОВОГО, Н. НИКАНДРОВА, Л. НИТО-  
БУРГА, Г. НИКИФОРОВА, А. НОВИКОВА-ПРИБОЯ, Н. ОГНЕВА, Ю. ОЛЕ-  
ШИ, П. ПАВЛЕНКО, Бор. ПИЛЬНЯКА, М. ПРИШВИНА, Андр. ПЛАТОНОВА,  
Ал. ПЛАТОНОВА, П. РОМАНОВА, С. СЕРГЕЕВА-ЦЕНСКОГО, Л. СЕЙФУЛ-  
ЛИНОЙ, И. СОКОЛОВА-МИКИТОВА, П. СЛЕТОВА, М. СЛОНИМСКОГО,  
Г. СЕРЕБРЯКОВОЙ, Нины СМИРНОВОЙ, Н. ТИХОНОВА, Д. УРИНА,  
П. ШИРЯЕВА, Вяч. ШИШКОВА, А. ЧАПЫГИНА, А. ЯКОВЛЕВА и др.

## III. Стихи и поэмы:

АДАЛИС, Н. АСЕЕВА, А. БЕЗЫМЕНСКОГО, Э. БАГРИЦКОГО, М. ГЕ-  
РАСИМОВА, М. ГОЛОДНОГО, М. ДАНИЛИНА, Н. ДЕМЕНТЬЕВА, П. ДРУ-  
ЖИНИНА, А. ЖАРОВА, Я. ЗАБОЛОЦКОГО, Ник. ЗАРУДИНА, М. ЗЕНКЕВИ-  
ЧА, В. ИНБЕР, М. ИСАКОВСКОГО, С. КЛЫЧКОВА, В. ЛУГОВСКОГО,  
П. ОРЕШИНА, Бор. ПАСТЕРНАКА, И. ПРИБЛУДНОГО, Вс. РОЖДЕСТВЕН-  
СКОГО, В. САЯНОВА, И. САДОФЬЕВА, М. СВЕТЛОВА, И. СЕЛЬВИН-  
СКОГО, Вл. СОЛОВЬЕВА, М. ТАРЛОВСКОГО, Н. ТИХОНОВА, Н. УШАКО-  
ВА, Е. ЭРКИНА и др.

## IV. Очерки современной литературы:

Вяч. ПОЛОНСКОГО.

**ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1930 г.**

на ежемесячный журнал ЦИК Союза ССР, посвященный вопросам советского строительства Союза ССР и союзных республик,

**„СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО“**

Ответственный редактор **Ю. М. СТЕКЛОВ**

В 1930 г., как и в прежние годы, журнал будет разрабатывать теоретические и практические вопросы государственного строительства Союза и союзных республик, освещать их конституционные взаимоотношения, вопросы национального строительства автономных республик и областей, вопросы строительства низового советского аппарата и т. д. Журнал будет своевременно ставить проблемы развития и укрепления Союза ССР и всей системы местных советов. В журнале найдут отражение все политические кампании и задачи, стоящие перед центральными и местными органами власти.

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА**

Члены редакционной коллегии: **А. Ангаров, В. П. Антонов-Саратовский, М. К. Ветошкин, С. М. Диманштейн, А. С. Енукидзе, В. И. Игнатьев, К. О. Киркич, А. С. Киселев, А. В. Медведев, Е. Б. Пашуканис, А. Таджиев, Н. И. Фалеев.**

**СПИСОК СОТРУДНИКОВ ЖУРНАЛА**

**В. Абаев, Агамалы-Оглы, И. Акимов, Н. Аҭгаков, Ю. Ахунбабаев, В. Будагов, М. С. Василенко, М. Васильев-Южин, С. Вдовиченко, А. Н. Винокуров, М. Ф. Владимирский, Ю. Власов, Ф. Гладовский, Г. Ф. Гринько, Х. Даниэльян, А. Досов, М. Еремеев, П. Ф. Зайцев, А. Золотаревский, Ф. Т. Иванов, А. Ильинский, Л. М. Каганович, М. И. Калинин, П. Каминская, Э. Квириг, С. А. Котляревский, Г. М. Кржижановский, Н. В. Крыленко, Н. Лаговнер, В. Лебединский, Т. Левичев, А. В. Луначарский, Ф. Мельников, М. П. Орахелашвили, С. Орджоникидзе, П. Осадчий, Н. Осинский, Н. И. Пахомов, Г. И. Петровский, Я. В. Полуян, Е. В. Полюдов, Э. Э. Понтович, Ю. Н. Потехин, М. Я. Презент, Н. Самурский, И. Свиридов, П. Г. Сидович, П. И. Стучка, С. М. Тер-Габриэлян, А. Ф. Толоконов, А. И. Хацкевич, Ф. Ходжаев, А. Ходжибаев, А. Г. Червяков, В. Я. Чубарь, С. И. Чугунов, М. Шадюпа, В. Шипихин, Ш. З. Элиава и др.**

**ПОДПИСНАЯ ЦЕНА С ПЕРЕСЫЛКОЙ:**

на 1 год — 10 руб.; на 6 мес. — 5 руб. 50 коп.; на 3 мес. — 3 руб.

Цена отдельного номера — 1 руб. 25 коп.

В каждой книжке журнала не менее 160 страниц.

**ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:**

Главной Конторой издательства при Президиуме ВЦИК — «Власть Советов» — Москва, ГСП. 6, Неглинная, 21; Московским почтамтом и всеми почтовыми конторами; письмоноседами; Всесоюзным Контрагентством печати и его кносками; акц. обществом «Огонек».

**АДРЕС РЕДАКЦИИ:** Москва, Кремль, ЦИК Союза ССР, комн. 20.

Телефоны: Кремль, 3-87 и гор. 4-52-77.

Цена 1 р. 40 к.

**ГОСИЗДАТ**



**РСФСР**

ПЕРИОДСЕКТОР ГОСИЗДАТА  
РСФСР

Москва, Центр, Ильинка, 3.

В БЛИЖАЙШЕЕ  
ВРЕМЯ БУДЕТ

**ОТКРЫТА ПОДПИСКА**  
НА  
**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ**



**А. С. ПУШКИНА**

В 5-ти ТОМАХ, В ПРОЧНЫХ КОЛЕНКО-  
РОВЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ (в футлярах)

== ПОД РЕДАКЦИЕЙ ==

А. В. Луначарского, П. Н. Сакулина,  
В. И. Соловьева, П. Е. Щеголева  
== и Демьяна Бедного. ==

ВСЕ ИЗДАНИЕ  
В Ы Й Д Е Т  
В Т Е Ч Е Н И Е  
1 9 3 0 г.

Условия подписки и сроки выхода  
будут объявлены дополнительно.